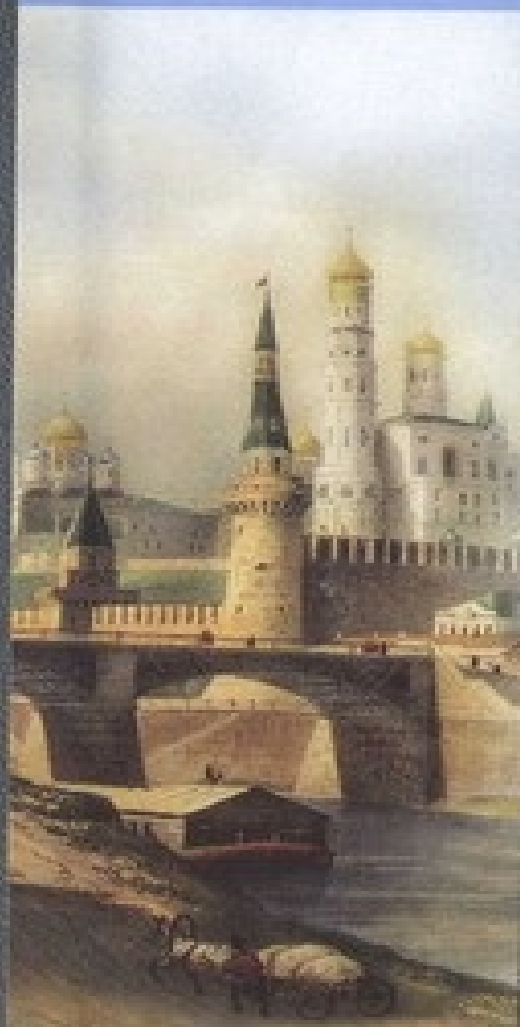


КАРАМЗИН



Владимир
Муравьев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Николай Михайлович Карамзин — великий российский историк и писатель, реформатор отечественной словесности. Создатель бессмертной повести «Бедная Лиза», он не только положил начало новому литературному направлению — сентиментализму, но и определил дальнейшие пути развития отечественной литературы. Однако главным трудом всей его жизни по праву считается двенадцатитомная «История государства Российского», подвижническая работа, в которой автор впервые во всей полноте раскрыл перед читателями масштабную картину нашего прошлого. Известный историк и литератор Владимир Муравьев не только глубоко исследовал литературные и исторические труды дворцового историографа, но и показал удивительную современность многих замечаний и выводов Карамзина. Безусловным достоинством книги является то, что автору удалось воссоздать живой облик своего героя — внимательного сына, любящего мужа, заботливого отца. Человека с большой буквы, до конца жизни преданного своему отечеству. Под редакцией и с сопроводительным аппаратом В. Муравьева в различных издательствах выходили сборники и отдельные произведения Н. М. Карамзина.

знак информационной продукции 16 +

-
- [В. Муравьев](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. М. КАРАМЗИНА](#)

- [ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. М. КАРАМЗИНА И ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ\[14\]](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)



В. Муравьев
Карамзин

ПРЕДИСЛОВИЕ



В. П. Марш

Единственный литературный жанр, который в течение тысячелетий сохраняет неизменный читательский и тем самым общественный интерес к себе, — это биографический. Время от времени вокруг него разгораются дискуссии, в которых участвуют и литераторы, и историки, и читатели. Всякий раз спорят обычно о принципах работы над биографическим трудом — о позиции автора (в недавние десятилетия в нашей литературе это означало, что автор обязан с точки зрения современной идеологии

поправлять, а в более серьезных случаях *разоблачать* своего героя), об отборе *нужных* и *ненужных* фактов в его деятельности и судьбе, о пределах домысла и вымысла. При этом, конечно, возникают вопросы о форме биографии: должна ли она быть беллетризована и в какой степени.

Не входя в разбор этих дискуссий и взглядов, хочу сказать о принципах, которыми я руководствовался при написании этой книги, придя к убеждению, что, описывая жизнь Николая Михайловича Карамзина, всего вернее и плодотворнее будет руководствоваться его творческими принципами.

Биография — это история событий и обстоятельств жизни человека, поэтому ее автор должен быть историком. Биография — это рассказ о чувствах, страстях, переживаниях, мыслях человека, здесь необходимо перо литератора. Так, соединяя в себе историка и литератора, писал Карамзин «Историю государства Российского». В предисловии к ней он объясняет свой подход к работе над исторической темой.

Историческое повествование должно заключать в себе прежде всего рассказ о событиях и людях: «Мы должны сами видеть действия и действующих: тогда знаем Историю». Мысли и примечания автора должны лишь «дополнять описания», а не заменять их.

Историческое повествование, считает Карамзин, должно быть строго документально.

«Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю. Как Естественная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло. Но История, говорят, наполнена ложью, скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примес лжи; однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и строже Критика, тем непозволительнее Историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах».

Это — главные заповеди историка.

А вот что Карамзин говорит о литераторе:

«Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не производит золота из меди, но должен очистить и медь, должен знать всего цену и свойства; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом».

Далее Карамзин пишет о том, как в работе над «Историей...» он соединил на практике эти предъявляемые к автору — историку и литератору — требования: «Обращаясь к труду моему. Не позволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусство, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени, и характер Летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми...»

Я пошел путем Николая Михайловича Карамзина. В книге нет вымысла, нет «выдуманных речей», я старался, чтобы прежде всего говорили ее герой и эпоха.

Глава I

УТРО ЖИЗНИ. 1766–1778

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в селе Михайловке, Преображенском тож, входившем по тогдашнему административному делению в Оренбургскую губернию. Это имение было пожаловано его отцу, Михаилу Егоровичу Карамзину, поручику Оренбургского гарнизона, в 1752 году, когда офицерам и чиновникам губернии отводили земли в завожских степях. Карамзину имение досталось в 50 верстах от Бузулука по тракту на Бугуруслан и еще от тракта 10 верст в сторону. Места были дикие, пустынные, незаселенные. Вновь отстроенную деревню, как это велось, по имени владельца называли Михайловкой, называли ее также Карамзино, а после постройки в ней в начале 1770-х годов храма во имя Преображения Господня стали называть также и селом Преображенским.

По фамильному преданию, начало русскому дворянскому роду Карамзиных положил татарский мурза, или князь, в XVI веке поступивший на службу к московскому царю (неизвестно, к какому именно), крестившийся и получивший поместье в Нижегородской губернии. Звали его Семен Карамзин. Николай Михайлович был его прямым потомком в седьмом колене.

Все Карамзины традиционно служили в военной службе, не занимая заметных должностей и не имея больших чинов. Не были они и богаты. Прадед и дед Карамзина — Петр Васильевич и Егор Петрович, — как следует из документов Герольдии, с начала XVIII века владели всего лишь двумя селами — Карамзиной и Алексеевкою в Симбирском уезде. Там жил, будучи в отпусках, и его отец, Михаил Егорович. Известная московская аристократка Е. П. Янькова, воспоминания которой охватывают последнюю треть XVIII века и начало XIX и являются своеобразной энциклопедией дворянства того времени, положения в свете и родственных связей многих фамилий, так трактует Карамзиных: «Карамзины — симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший „Русскую историю“. Они безвыездно жила в своей провинции, и про них не было слышно».

Получив оренбургское имение, М. Е. Карамзин первоначально, видимо, не собирался обосновываться в нем. Соседка Карамзиных,

помещица Караулова, хорошо знавшая их семью, рассказывала, что «Михаил Егорович ездил в Михайловку из своей симбирской деревни хозяйничать и охотиться. В один из таких приездов супруга его разрешилась историографом, который отсюда увезен младенцем в симбирское имение».

Однако в рассказе Карауловой, наверное, совместились воспоминания о холостых приездах Михаила Егоровича в имение до женитьбы и его семейной жизни в Михайловке. Родственница Н. М. Карамзина Наталья Ивановна Дмитриева, ссылаясь на записи его родного брата и собственные воспоминания, сообщает, что дети Михаила Егоровича от первой жены — сыновья Василий, Николай, Федор и дочь Екатерина — «все родились в Оренбургской губернии. Отец мой всегда смеялся, говоря своему племяннику (сыну Михаила Егоровича от второго брака): „Братья твои родились в Оренбургской губернии кругом башкир, и никоторый не похож на башкира, а особенно Николай (у которого белизна была необыкновенная), а ты родился близ Симбирска и черен, как азиатец“».

По воспоминаниям той же Карауловой, ко времени рождения Н. М. Карамзина в имении уже был выкопан пруд «при двух ключах», стоял «господский дом с садом и оранжереями. В доме была значительная библиотека старых книг... В этом доме родился историограф», и вообще Михайловка, свидетельствуют современники, была «замечательна своим прекрасным расположением».

Николай Михайлович Карамзин провел в Михайловке лишь годы раннего детства, и его воспоминания об оренбургском имении очень скудны. В одном из писем 1798 года старшему брату Василию он писал: «Читая Ваше письмо, я мысленно представлял себе заволжские выюги и метели. Хотя темно, однако ж помню тамошние места; помню, как мы с Вами возвращались оттуда в начале зимы». В то же время Карамзин очень интересовался собственным ранним детством. Уже в зрелые годы, в 1779 и 1803 годах, он пишет автобиографическую повесть, или, как он сам означил, *роман*, «Рыцарь нашего времени», оставшуюся неоконченной. При публикации отрывка в 1803 году Карамзин снабдил его примечанием: «Сей роман основан на воспоминаниях молодости»; реальную основу его подтвердил он и еще 20 лет спустя в беседе со своим секретарем К. С. Сербиновичем, отделив истину от художественного вымысла. Повесть «Рыцарь нашего времени» — основной источник сведений о детстве Карамзина, остальные материалы лишь дополняют и уточняют факты, но ни в чем не изменяют образ, созданный им в этом романе.

«Романическую историю» своего приятеля, а именно так представляет

Карамзин Леона, героя повести, читателю, автор начинает с женитьбы родителей. «Отец Леона, — пишет Карамзин, — был русский коренной дворянин, израненный отставной капитан; человек лет в пятьдесят, ни богатый, ни убогий, и, — что всего важнее, — самый добрый человек... добрый по-своему и на русскую статью. После турецких и шведских кампаний возвратившись на свою родину, он вздумал жениться, — то есть не совсем вовремя, — и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа».

Все, что здесь сказано об отце Леона, соответствует биографии Михаила Егоровича. Год женитьбы его неизвестен, по косвенным данным можно предположить, что это произошло в начале 1760-х годов. Его женой стала Екатерина Петровна Пазухина. Род Пазухиных, как и род Карамзиных, появляется на страницах русской истории на грани XVI–XVII веков. Его основатель Иван Демидович Пазухин участвовал в действиях против поляков в 1613 году, при царе Михаиле Федоровиче был пожалован вотчиною.

Екатерина Петровна, рассказывает Карамзин, безусловно, основываясь на семейных воспоминаниях, «несмотря на молодые лета свои, имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже с разительным красноречием; а когда взглядывала на человека, то всякому хотелось остановить на себе глаза ее: так они были приветливы и милы!...». Причиной ее меланхолии была пережитая душевная трагедия, которая осталась тайною для мужа: она была влюблена, но тот, кого она любила, не отвечал ей взаимностью, и она, глубоко затаив печаль, вышла замуж за соседа — отставного капитана, «непорочная душой и телом», и искренне полюбила супруга, «во-первых, за его добродушие, а во-вторых, и потому, что сердце ее никем другим не было... уже занято».

Екатерина Петровна умерла, когда Николаю Михайловичу было около трех лет. Он очень остро ощущал свое сиротство и, став взрослее, создал свой, идеальный, образ матери. В «Послании к женщинам» (1793) он писал:

Ах, я не знал тебя!.. ты, дав мне жизнь, сокрылась!
Среди весенних ясных дней
В жилище мрака преселилась!
Я в первый жизни час наказан был судьбой!
Не мог тебя ласкать, ласкаем быть тобой!

Другие на коленях
Любезных матерей в веселии цвели,
А я в печальных тенях
Рекою слезы лил на мох сырой земли,
На мох твоей могилы!
Но образ твой священный, милый
В груди моей напечатлен
И с чувством в ней соединен!
Твой тихий нрав остался мне в наследство.
Твой дух всегда со мной.
Невидимой рукой
Хранила ты мое неопытное детство;
Ты в летах юноши меня к добру влекла
И совестью моей в час слабостей была.
Я часто тень твою с любовью обнимаю
И в вечности тебя узнаю!..

Унаследованной от матери считал он природную черту своего характера: склонность к меланхолии, наложившую такую сильную печать на его творчество. В «Рыцаре нашего времени» он говорит о Леоне: «Сверх того, он любил грустить, не зная о чем. Бедный... Ранняя склонность к меланхолии не есть ли предчувствие житейских горестей?.. Голубые глаза Леоновы сияли сквозь какой-то флёр, прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение к грусти. Ах! самый лучший родитель никогда не может заменить матери, нежнейшего существа на земном шаре! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!..»

Рассказывая о смерти матери Леона, он пишет: «Герой наш был тогда семи лет», хотя сам он осиротел трех лет. События смещены во времени, видимо, сознательно, ради большей стройности рассказа и еще потому, что именно с этих лет Карамзин начинает помнить себя; скорее всего, к этому времени, к 1773 году, относится «темное» воспоминание об отъезде из Михайловки «в начале зимы».

Тот отъезд действительно мог быть памятен. Осенью 1773 года к их уезду подошли отряды пугачевцев. 26 сентября священник села Ляховки, что неподалеку от Михайловки, гостил в Илецкой крепости у тамошнего священника. Сидел он у него в доме и вдруг услышал на улице громкий крик: «Эй, люди, радуйтесь и веселитесь!» Священник выглянул в окно и

увидел казака. Казак, по имени Василий Новоженков, проехал в свой дом. За ним пошли местные жители — узнать, что значит его объявление, пошли и священники. Войдя в избу, как полагается, перекрестились на иконы. И тут Василий Новоженков напустился на них, зачем они крестятся троеперстным сложением, мол, государь Петр Федорович крестится двумя перстами. И далее казак рассказал, что Петр Федорович с войском находится в Озерной крепости и идет сюда, а что он Петру Федоровичу присягал и руку целовал. Потом, усмехнувшись, добавил, глядя на священника: «В Озерной попа повесили, и с вами то же будет...»

Ляховский священник в страхе помчался домой и о том, что слышал, сказал ближайшим помещикам — майору Александру Кудрявцеву (крестному Карамзина), капитану Михайле Карамзину и прапорщику Даниле Куроедову, и они в тот же день уехали из своих деревень.

Отряд казаков-пугачевцев с калмыком-проводником нагрянул в Михайловку три недели спустя, в середине октября. Спросили у крестьян, дома ли их помещик, и, получив отрицательный ответ, разграбили господский двор и, уезжая, наказали крестьянам, чтобы они не слушались помещика. Так же были разграблены господские дома в окрестных деревнях.

После 1773 года Михаил Егорович с семьей больше жил не в Михайловке, а в симбирской Карамзинке и в Симбирске, и все детские воспоминания Н. М. Карамзина относятся к ним.

В 1770 году Михаил Егорович женился вторым браком на Авдотье Гавриловне Дмитриевой, родной тетке поэта Ивана Ивановича Дмитриева, ставшего впоследствии ближайшим другом Н. М. Карамзина.

«В 1770 году, — вспоминает И. И. Дмитриев, — в провинциальном городе Симбирске старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру под руководством нашего учителя г. Манженя. В толпе пирующих увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувьеневом камзольчике с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михаил Егорович соединился тогда вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе».

Этот отрывок из воспоминаний И. И. Дмитриева — единственное мемуарное свидетельство о Карамзине-ребенке. Но, несмотря на свою краткость, оно включает в себе важные сведения. Прежде всего, это противопоставление двух систем воспитания: Дмитриевы были на

свадебном пиру под руководством учителя-француза господина Манжени, а Карамзина подводила к новобрачной русская нянюшка.

Карамзин в детстве получил первоначальное русское образование и воспитание. «Тогдашнее воспитание, — пишет П. А. Вяземский в книге „Фонвизин“, — при всех своих недостатках, имело и хорошую сторону: ребенок долее оставался на русских руках, был окружен русской атмосферою, в которой ранее знакомился с языком и обычаями русскими. Европейское воспитание, которое уже в возмужалом возрасте довершало воспитание домашнее, исправляло предрассудки, просвещало ум, но не искореняло первоначальных впечатлений, которые были преимущественно отечественные. Укажем на одно свидетельство: большая часть переписки государственных людей царствования Екатерины велась на русском языке, несмотря на господство языка французского и иноплеменных нравов. После мы видим совершенно противное: первые звуки, первые понятия, которые передавали детям другого поколения, были исключительно иностранные, потому что ребенок от груди русской кормилицы был обыкновенно вверяем чужеземцам. Только позднее, в летах юношества, а часто и в возрасте перезрелом для исправления вкоренившихся погрешностей, русский гражданин, по собственному обратному влечению и как будто по уязвлению пробудившейся совести, обращался к изучению отечественного. Более домоседства в жизни родителей, более приверженности к исправлению частных обязанностей и соблюдению обрядов русского православия, может быть — менее суетности, но в семейственном кругу более живого участия в делах общественных и, между тем, независимости в нравах способствовали тогда к некоторому практическому гражданскому воспитанию; оно имело свои недостатки, и весьма важные, но, как замечено выше, имело в себе что-то положительное, действовавшее в народном смысле». Эти наблюдения и выводы П. А. Вяземского полностью приложимы к Карамзину. Очень многие черты его характера, интересов, миропонимания и будущей деятельности имеют своим источником первоначальные детские впечатления.

Детство Карамзина типично и характерно для того круга и слоя дворянства, к которому он принадлежал, но по натуре своей он не мог быть типичной фигурой своего времени. Типичность становится очевидной после того, как создан литературный образ. Два типичных образа отроков тех лет создала русская литература: это — Митрофан из «Недоросля» Д. И. Фонвизина и Петруша Гринев из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина.

«Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор

жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина». Этими строками, лишь с переменой имен, можно было бы начать и биографию Карамзина — земляка Петруши Гринева. Кстати сказать, чин премьер-майора по Табели о рангах равнозначен капитанскому, оба входят в разряд 8-го класса. И даже знаменитый вопрос Гринева-отца, обращенный к жене: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» — поскольку он сам не помнил этого, имеет отношение и к Карамзину.

Точная хронология детских и отроческих лет Карамзина весьма затруднена: недаром исследователи его жизни и творчества, рассказывая об этом периоде его биографии, вместо даты употребляют описательную формулу «когда пришло время»: когда пришло время, мальчика стали учить грамоте, когда пришло время, отец определил его учиться в пансион профессора Шадена... Но даже сам Карамзин, конечно, со слов отца, годом своего рождения ошибочно считал 1765-й (в 1790-м он писал: «Мне скоро минет 25»; в 1800-м — «Мне уже 35») и только в 1806 году, обратившись к архивным документам, установил, что день рождения — 1 декабря — он отмечал правильно, а вот в исчислении возраста ошибался, прибавляя себе год. Эта родительская забывчивость вызвала к жизни такое количество статей и заметок исследователей, что в известном библиографическом указателе С. Пономарева о жизни и творчестве Карамзина их пришлось выделить в специальный раздел: «О годе рождения».

Называя автобиографическую повесть «Рыцарь нашего времени», Карамзин, с одной стороны, как бы указывает на достоверность описываемого, а с другой — подчеркивает неординарность своего героя. Когда вышел «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, известный критик П. А. Плетнев в статье о новом романе вспомнил повесть Карамзина: «Не без намерения сблизили мы два произведения русской литературы, между которыми легло чуть не столетие. Каждое из них ознаменовано печатью истинного таланта; каждое приняло на себя живые яркие краски эпохи их создания».

Психологический тип человека того или иного времени не является сразу в чистом и законченном виде, он складывается исподволь и до поры «невидим», как сказал Н. Г. Чернышевский о Рахметове, но, сложившись и явившись миру, ознаменовывает обычно другое, более позднее время. Таким был Карамзин. Такой была его мать, тесное духовное родство с которой он ощущал всю жизнь и от которой многое унаследовал. Это сближение тем более очевидно, что натура творческого (художественно творческого) человека по сути своей — женская.

Екатерина Петровна Карамзина была предтечей того образа русской женщины, который стал очевиден на грани XVIII–XIX веков и уже был отмечен в сочинениях сентименталистов, но полное художественное воплощение получил только у Пушкина в образе Татьяны Лариной. Читая страницы карамзинского «Рыцаря нашего времени», посвященные матери и главному его герою Леону, невольно вспоминаешь строки из «Евгения Онегина»:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.

Отец Леона, когда тот зачитывался до позднего вечера, говорил ему: «Леон! Не испорти глаз. Завтра день будет: успеешь начитаться». А сам про себя думал: «Весь в мать! бывало, из рук не выпускала книги...»

Карамзин в стихах и прозе часто возвращается к теме своего сиротства, одиночества. Это кажется странным, так как он имел братьев и сестер. Но он не был близок с ними, старшего брата (старшего всего на год-полтора) называл на «вы», в «Письмах русского путешественника» нет ни одного упоминания о родных, хотя, кажется, как не вспомнить их на чужбине, да и времена были такие, когда в высшей степени считались с родством и свойством. И причиной этому были, видимо, не родные, а он сам. Так же, как и Татьяна, которая

В семье своей родной
Казалась девочкой чужой...

Карамзин прожил жизнь *рыцарем своего времени*, но постоянно

опережая самых «передовых» хронологически современников на эпоху; с этим постоянно приходится сталкиваться, так же как и при перечитывании Пушкина...

После смерти матери Карамзин был передан на попечение нянюшки, затем дядьки, из родни же наиболее близким был отец, который любил его, свидетельством чего можно считать, что день рождения сына «отец всегда праздновал с великим усердием и с отменной роскошью (так что посылал в город даже за свежими лимонами)». Карамзин хорошо чувствовал себя в обществе друзей отца. Вообще, он легче сближался с людьми старше себя.

В «Рыцаре нашего времени» отец и его друзья изображены с любовью и симпатией. Верность описания подтверждал И. И. Дмитриев, знавший тех, кто послужил оригиналом для Карамзина.

Карамзин пишет, что друзей отца не портретировали модные тогда придворные художники Виге Лебрэн и Иоганн Лампи, создавшие обширную галерею портретов деятелей второй половины XVIII века, но их образы ясно сохранило *зеркало его памяти*. «Как теперь смотрю на тебя, — пишет Карамзин, — заслуженный майор Фаддей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина в вашем уезде! Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крюкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и Тайной канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних...»

Но не только их яркая характерная внешность запомнилась мальчику. Он слушал их разговоры. «Провинциалы наши не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, охота, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатою материею для рассказов и примечаний...»

И. И. Дмитриев в своих воспоминаниях раскрывает темы «анекдотов старины», которые рассказывались в кругу провинциальных симбирских дворян и к которым он, как и маленький Карамзин, прислушивался, будучи «весь внимание». Говорили о театральные спектаклях, об актерах, «иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепствовало моровое поветрие, судили о мерах, принимаемых против него светлейшим князем Орловым, или с таинственным видом, вполголоса, начинали говорить о политических происшествиях 1762 года; от них же восходили до дней могущества принца Бирона, до превратности счастья вельмож того времени, до поразительного видения императрицы Анны...». Последняя история заключалась в том, что однажды императрице Анне Иоанновне дежурный офицер доложил, что какая-то женщина приходит в тронную залу и садится на трон; она подумала, что это заговор против нее и к трону примеряется цесаревна Елизавета Петровна. Императрица со взводом гренадер идет в тронный зал и видит на троне призрака. «Кто ты?» — спрашивает она. Ответа нет. Она приказывает стрелять. Призрак в тот же миг исчез. «Это вестник моей смерти», — сказала императрица, на следующий день слегла в болезни и вскоре скончалась. Дмитриев пишет, что, слушая эти разговоры, он набирался сведений, для него небесполезных. Таким образом, в сознание детей входила История, пока не в виде научных книг, а как воспоминания свидетелей, но от этого она не переставала быть Историей.

Не менее важны, чем знакомство с фактами недалекого прошлого, были оценки и соображения, которыми неизменно сопровождался рассказ о них. Капитан Радушин (под этим именем Карамзин описал в «Рыцаре нашего времени» отца) и его друзья имели свою жизненную философию, нравственный кодекс, объединявший их. Карамзин рассказывает, что однажды они решили образовать союз, названный ими Братским обществом, далее сшили специальные мундиры, и приводит «Договор Братского общества» — документ, закрепивший его создание:

«Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честью благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: „Тот дворянин, кто за многих один“; не бояться ни знатных, ни сильных, а только Бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть их прихлебателями и не такать против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из Братского общества. — Следует восемь имен».

Карамзин отмечает, что их «беседа имела влияние на характер моего героя»: «Леон в детстве слушал с удовольствием вашу беседу словоохотную, от вас заимствовал русское дружелюбие, от вас набрался духу русского и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже и в знатных боярах: ибо спесь и высокомерие не заменяют ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляет человека от подлости и дел презрительных. — Добрые старики! Мир вашему праху!»

Карамзина учил грамоте сельский дьячок, как водится, по часослову. Мальчик поразил своего учителя тем, что усвоил церковнославянский алфавит, склады, титулы за несколько недель, и дьячок после рассказывал другим грамотеям о его способностях как о чуде. Затем Карамзин по книге Эзоповых басен научился разбирать гражданский алфавит и таким образом прочел первую в своей жизни светскую книгу. Басни ему так нравились, что, читая, он выучил их наизусть, «отчего во всю жизнь свою, — пишет он в „Рыцаре нашего времени“, — имел он редкое уважение к бессловесным тварям, помня их умные рассуждения в книге греческого мудреца, и часто, видя глупости людей, жалел, что они не имеют благоразумия скотов Эзоповых».

В те же детские годы огромное впечатление оказывали на него волжские пейзажи. Летом он уходил читать на берег реки. «Иногда, оставляя книгу, — вспоминает Карамзин, — смотрел он на синее пространство Волги, на белые паруса судов и лодок, на станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе. — Сия картина так сильно впечаталась в его юной душе, что он через двадцать лет после того, в кипении страстей, в пламенной деятельности сердца, не мог без особого радостного движения видеть большой реки, плывущих судов, летающих рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись его воображению, трогали душу, извлекали слезы. Кто не испытал нежной силы подобных воспоминаний, тот не знает весьма сладкого чувства. Родина, апрель жизни, первые цветы весны душевной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезною склонностью к меланхолии!»

В 1793 году Карамзин напишет большое стихотворение — оду «Волга». Он вспоминает великие исторические события, происходившие на берегах великой реки, говорит о красоте ее пейзажей, богатстве городов и сел, описывает ее, величественную в покое и ужасающую в бурю. Вспоминает он и свое детство на ее берегах:

Где в первый раз открыл я взор,
Небесным светом озарился
И чувством жизни наслаждался;
Где птичек нежных громкий хор
Воспел рождение младенца;
Где я природу полюбил, —
Ей первенца души и сердца,
Слезу, улыбку посвятил,
И рос в веселии невинном,
Как юный мирт в лесу пустынном.

В детстве с Карамзиным произошел случай, который определил характер его религиозного чувства. В очерке «Деревня» (1792) он пишет: «Как мила природа в деревенской одежде своей: она воспоминает мне лета моего младенчества, лета, протекшие в тишине сельской, на краю Европы, среди народов варварских. Там воспитывался дух мой в простоте естественной; великие феномены были первым предметом его внимания. Удар грома, скатившийся над моей головою с небесного свода, сообщил мне первое понятие о величестве Мироправителя, и сей удар был основанием моей Религии».

Случай был такой. Однажды в лесу, во время грозы, из чащи выбежал медведь и бросился на мальчика. Гибель казалась неизбежной. Карамзин закрыл глаза и твердил лишь одно слово: «Господи...» И когда в следующее мгновение пришел в себя, раскрыл глаза, то увидел страшного зверя, поверженного на землю. Дядька, сопровождавший его, объяснил, что медведя убило молнией, и сказал, что это «чудесным образом Бог спас его».

Карамзин, рассказывая об этом случае в повести «Рыцарь нашего времени» (то же, по свидетельству современника, он неоднократно рассказывал, вспоминая свое детство, в семейном кругу), пишет: «Леон стоял все еще на коленях, дрожа от страха и действия электрической силы; наконец, устремил глаза на небо, и, несмотря на черные, густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие Бога-Спасителя. Слезы его лились градом; он молился во глубине души своей, с пламенной ревностью, необыкновенною во младенце; и молитва его была... благодарность! — Леон не будет уже никогда атеистом, если прочитает и Спинозу, и Гоббеса, и „Систему натуры“ (трактат французского философа-атеиста XVIII века П. А. Гольбаха. — В. М.). Читатель! Верь или не верь; но этот случай не выдумка».

Другой аналогичный случай, когда Карамзин ощутил чудесную защиту Бога, описан им в оде «Волга»:

Едва и сам я в летах нежных,
Во цвете радостной весны,
Не кончил дней в водах мятежных
Твоей, о Волга! глубины.
Уже без ветрил, без кормила
По безднам буря нас носила;
Гребец от страха цепенел;
Уже зияла хлябь под нами
Своими пенными устами;
Надежды луч в душах бледнел;
Уже я с жизнью прощался,
С ее прекрасною зарей;
В тоске слезами обливался
И ждал гибели своей...
Но вдруг Творец изрек спасенье —
Утихло бурное волненье,
И брег с улыбкой нам предстал.
Какой восторг, какая радость!
Я землю страстно лобызал
И чувствовал всю жизни сладость.

Среди воспоминаний раннего детства, оставивших след на всю жизнь, был голодный год, случившийся на Волге накануне Пугачевского бунта. Карамзину тогда было около семи лет.

«Не могу я без сердечного содрогания вспомнить того страшного года, который живет в памяти у низовых жителей под именем голодного, — писал он в очерке „Фрол Силин, благодетельный человек“, — того лета, в которое от долговременной засухи пожелтевшие поля орошаемы были одними слезами горестных поселян; той осени, в которую вместо обыкновенных веселых песен раздавались в селах стенания и вопль отчаянных, видящих пустоту в гумнах и житницах своих; и той зимы, в которую целые семейства, оставя дома свои, просили милостыни на дорогах и, несмотря на вьюги и морозы, целые дни и ночи под открытым небом на снегу проводили. Щадя чувствительное сердце моего читателя, не хочу описывать ему ужасных сцен сего времени. Я жил тогда в деревне

близ Симбирска, был еще ребенком, но умел уже чувствовать, как большой человек, и страдал, видя страдания моих ближних».

Не менее важно отметить в очерке наряду с воспоминаниями об ужасах голода и его тогдашнем детском сострадании также и то, что детская память сохранила образ и имя человека — зажиточного крепостного крестьянина Фрола Силина из принадлежавшей Дмитриевым деревни, который в то тяжелое для односельчан время пришел к ним на помощь, роздал свои запасы хлеба. Для Карамзина его поступок стал серьезным нравственным уроком практического сострадания.

Видя интерес сына к чтению, отец отдал Карамзину ключ от желтого шкафа, в котором хранилась библиотека его матери. Видимо, после ее смерти ни Михаил Егорович, ни мачеха ее не касались. Для Карамзина это была встреча не только с книгами, но и с матерью.

Библиотека матери была по тем временам довольно значительной: «На двух полках стояли романы, а на третьей несколько духовных книг». Обратим внимание на ее состав: романов — две полки, духовных книг — несколько. Карамзин называет четыре из находившихся в библиотеке матери романов: «Даира. Восточная повесть. Перевод с французского. 1766 г.», «Селим и Дамассина. Африканская повесть. Перевод с французского. 1761 г.», роман Ф. Эмина «Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда. 1763 г.» и «История лорда Н.» (романа с таким названием литературоведам обнаружить не удалось, видимо, Карамзин тут привел не название романа, а имел в виду его героя).

Судя по годам изданий, мать Карамзина и после замужества продолжала пополнять свою библиотеку, самый поздний по изданию роман — «Даира» — вышел в год рождения Николая Михайловича.

«Все было прочитано в одно лето, — пишет Карамзин о романах из желтого шкафа, — с таким любопытством, с таким живым удовольствием, которое могло бы испугать иного воспитателя, но которым отец Леона не мог нарадоваться, полагая, что охота ко чтению каких бы то ни было книг есть хороший знак в ребенке».

Названные Карамзиным романы принадлежат к числу так называемых авантюрных. Безусловно, в доставшейся ему от матери библиотеке были не только эти и не только такие романы, позже Карамзин упоминает, что тогда же он прочел и «Дон Кишота», но именно с них началось знакомство мальчика с художественной литературой, или, как тогда ее называли, — изящной словесностью. Это знакомство стало, как отмечал сам Карамзин, важной эпохой в образовании его ума и сердца.

Романы, перечисленные Карамзиным, давно уже ушли из области

живого читательского интереса в историю литературы, а еще более — в историю быта и вкусов. Один литературовед заметил, что, если бы Карамзин не прочел этих романов в детстве, он не прочел бы их никогда. Замечание справедливое, потому что русская литература и русский читатель в конце XVIII — начале XIX века развивались так интенсивно и вкусы менялись так быстро, что беллетристическая книга, вышедшая десять лет назад, у нового поколения вызывала зачастую лишь снисходительную усмешку: устарелым казались стиль, язык, речи героев. Они действительно не были литературным совершенством. Но для Карамзина (да и для почти всех читателей того времени) главным в этих романах были не литературные качества, а сюжет и содержание, тем более что именно через них автор стремился передать свои идеи, мораль и жизненную философию.

Перелистаем два романа из желтого шкафа — один переводной, другой — сочинения российского автора.

«Восточную повесть» «Даира» французского писателя XVIII века Ле Риша да ла Попелиньера перевел на русский студент Московского университета, соученик Д. И. Фонвизина Николай Данилевский, отпечатана книга в типографии Московского университета, две первые части в 1766 году, две остальные в следующем.

Героиня этой повести, прекрасная, добродетельная и бедная девушка по имени Даира, живущая в некоей восточной стране, любила прекрасного юношу, и он любил ее. Но девушку продали в гарем к паше. Верная своей любви, она отвергает все притязания пашы, и тот, разгневанный ее непреклонностью, заключает ее в темницу. Возлюбленный Даиры помогает ей бежать из тюрьмы, однако обстоятельства их разлучают. Даира одна скитается по чужим странам, терпит бедствия, ее преследует своей любовью богач, который ненавистен ей. Не видя возможности спастись от него, она решила умереть и закололась кинжалом. Ее сочли мертвой, но добрый отшельник распознал, что в ней еще теплится жизнь, и вылечил ее. Пока же лечил, разузнавал, кто она такая; в конце концов, обнаружилось, что она — дочь эмира. Повесть кончается счастливо: Даира возвращается в родной дом и сочетается браком с юношей, которого продолжала любить и которому осталась верна при всех выпавших на ее долю бедствиях и злоключениях.

Еще более насыщен приключениями роман Федора Эмина «Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда». Он и по объему значительно больше «Даиры». Если в ней каждая из четырех частей состоит всего из шестидесяти двух страничек, то каждая из трех частей

романа Эмина включает в себе около трехсот страниц.

Когда Карамзин читал «Мирамонда», он еще ничего не знал о его авторе — ни его биографии, ни других его сочинений. Все это он узнал гораздо позже, и не менее чем в детстве роман, его увлекла история жизни автора. Когда в 1800 году П. П. Бекетов предпринял издание «Пантеона российских авторов» — альбома гравированных портретов замечательных русских писателей с древних Бояна и Нестора до современных авторов, то предложил Карамзину отобрать имена и написать к каждому портрету краткую справку. В число двадцати пяти отобранных писателей Карамзин включил и Эмина.

Вот справка об Эмине; судя по ее содержанию, Карамзин не только использовал печатные и библиографические сведения, но и расспрашивал о Федоре Эмине знавших его.

«Федор Эмин. Титулярный советник и кабинетный переводчик. Родился в 1735-м, умер в 1770 году.

Самый любопытнейший из романов г. Эмина есть собственная жизнь его, как он рассказывал ее своим приятелям, а самый неудачный — российская его „История“. Он родился в Польше, был воспитан иезуитом, странствовал с ним по Европе и Азии, неосторожно заглянул в гарем турецкий, для спасения жизни своей принял магометанскую веру, служил янычаром, тихонько уехал из Константинополя в Лондон, явился там к нашему министру, снова крестился, приехал в Петербург и сделался — русским автором. — Вот богатый материал для шести или семи томов! Сочинив „Мирамонда“, „Фемистокла“, „Эрнеста и Доравру“, „Описание Турецкой империи“, „Путь к спасению“, он издавал журнал под именем „Адской почты“ и, наконец, увенчал свои творения „Российской историей“, в которой ссылается на *Полибиевы известия о славянах*, на *Ксенофонову скифскую историю*: и множество других книг, никому в мире не известных. Ученый и славный Шлецер всего более удивляется тому, что Академия напечатала ее в своей типографии. — Впрочем, г. Эмин неоспоримо имел остроумие и плодовитое воображение; знал, по его уверению, более десяти языков, и хотя выучился по-русски уже в средних летах, однако ж в слоге его редко приметен иностранец».

В дальнейшем историки и литературоведы, уточняя биографию

Федора Эмина, обнаружили новые сведения, как правило, основанные на его собственных рассказах. По одной версии, он был турок по национальности, родился в Стамбуле, учился в Италии, затем скитался по разным странам Европы, Азии и Африки, в 1761 году явился в Лондоне к русскому посланнику и заявил, что желает перейти в православие и уехать в Россию. По другой версии, Эмин родился на Украине, учился в Киевской духовной академии, по неизвестной причине бежал в Турцию, там принял магометанство, затем бежал из Турции; конец его истории совпадает с первой версией. В России он служил преподавателем в кадетском корпусе, занимался литературой. В романе «Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда», опять-таки по его свидетельству, он описал в образе Феридата — друга Мирамонда — себя и поведал некоторые эпизоды собственных приключений.

В романе рассказывается о жизни незнатного, но образованного юноши турка Мирамонда. Начинается роман с того, что корабль, на котором плыл Мирамонд в чужие страны с образовательной целью, был разбит бурей. Юношу, ухватившегося за обломок мачты, долго носило по морю. Показался корабль. Мирамонд спасен, но капитан корабля по прибытии в порт продал его в рабство.

Через некоторое время Мирамонду удастся бежать от хозяина. Он скитается по чужой, неизвестной ему стране, терпит голод и холод, попадает в Португалию, Испанию, Англию и, наконец, в Египет. В Египте поступает на службу в войско султана, проявляет храбрость в сражениях, в которых «неприятели сами более его мужеству дивились, нежели сопротивлялись», и таким образом доставляет несколько побед султанской армии.

Однажды он, раненый, лежал в забытии во дворце.

Дочь султана Зюмбюля пришла посмотреть на героя и, увидев, влюбилась. Он очнулся и был поражен красотой девушки. Она признается ему в любви, он же, хотя тоже воспылал к ней страстью, отвечает, что не смеет и мечтать о любви такой знатной особы. Зюмбюля, обидевшись, ушла. Мирамонд оправился от ран, но теперь он страдает от сердечной раны — от любви к Зюмбюле.

Между тем он узнает, что султан решил отдать дочь замуж и уже назначена свадьба. В невыносимой тоске Мирамонд решает умереть, но в тот момент, когда он поднял кинжал, чтобы вонзить его себе в сердце, является Зюмбюля и останавливает его руку. Оказывается, замуж выходит не она, а ее сестра. Тут происходит решительное объяснение, юноша и девушка клянутся, что «во всю жизнь свою» будут любить только друг

друга.

Зюмбюля просит отца выдать ее замуж за Мирамонда. Султан отказывает. На упреки султана Мирамонд отвечает с горечью: «Я в рабском моем теле имею великую душу!» Чтобы избавиться от Мирамонда, султан посылает его в Жирийское королевство с поручением убедить тамошнюю королеву Белилю выйти замуж за его сына и при удачном исполнении поручения обещает разрешить Мирамонду и Зюмбюле соединиться браком. Путешествие в Жирийское королевство было очень опасно, султан рассчитывал, что Мирамонд погибнет в пути.

Но Мирамонд после многих приключений добрался до Жирийского королевства, королева Белиля согласилась выйти замуж за султанского сына, но потребовала, чтобы Мирамонд прежде возглавил бы ее войска, так как она в это время вела войну. Мирамонд выиграл войну. Но тут Белиля, влюбившись в него, предложила ему жениться на ней. Он, все время вспоминая образ Зюмбюли, отказывается, тогда королева «впала в лютость» и обвинила его в том, что он насильно хотел овладеть ею. Мирамонда бросили в тюрьму и отправили письмо султану с описанием его вины.

Это письмо повергло Зюмбюлю в горе. Султан посылает в Жирийское королевство нового свата, так как королева написала, что готова выйти замуж за султанского сына. Зюмбюля посылает со сватом письмо Мирамонду, в котором упрекает любимого в неверности.

Но на Жирийское королевство вновь напали враги. Королева Белиля освобождает Мирамонда из тюрьмы, снова поручает ему командовать войсками, и снова враги разбиты. Раскаявшаяся Белиля заявляет, что оклеветала его, просит прощения, пишет новое письмо султану и отпускает Мирамонда в Египет. По дороге Мирамонд заболел. Мимо того постоянного двора, где он лежал без сознания, ехало посольство султана. Его посол Феридат когда-то знал Мирамонда, они вместе были в рабстве. Феридат прослезился и оставил Мирамонду письмо Зюмбюли с упреками. Очнувшись, Мирамонд прочел его и воскликнул: «Непостоянная Фортуна на изломанной ездит колеснице, и так угадать не можно, на которую сторону она опрокинется!» Тем временем Зюмбюля, прочитав второе письмо королевы Жирийской, упрекает себя в жестокости к Мирамонду. А тот, приехав в Египет, боится показаться ей на глаза и посылает письмо с оправданиями. Все разъясняется, султан соглашается на брак влюбленных. Но к Зюмбюле посватался соседний властительный бей Гуссейн и в случае отказа грозит пойти на султана войной. Придворные с помощью хитрой интриги обвинили Мирамонда в том, что он собирался убить сына султана.

Его судили и присудили к тому, чтобы он «жил и умирал», то есть к высылке из страны. Мирамонд, возненавидя весь свет, поселился отшельником в пустыне.

Однажды к нему в пустыню явился знатный богатый старик, который, зная о его подвигах, решил сделать его наследником своих богатств. От старика Мирамонд узнал, что Гуссейн взял султана в плен и что всенародно объявлено о невинности Мирамонда. Мирамонд возглавляет войско султана. Враг разбит. Но Гуссейн продолжает держать султана в плену и грозит убить, если ему не отдадут Зюмбюлю. Мирамонд уговаривает девушку выйти замуж за Гуссейна и тем спасти отца.

Зюмбюля, взяв кинжал отца, едет к Гуссейну. Когда она подъехала к городу, отец из тюремного окошка увидел ее и велел скорее уходить. Но узрел ее и Гуссейн, схватил и потащил во дворец. При виде несчастных отца и дочери даже стоящие на часах Гуссейновы мамелюки «испускали слезы из очей своих».

Когда солдаты Мирамонда увидели, что их герой-предводитель в тоске стенает из-за того, что Зюмбюля должна отдаться Гуссейну, они напали на его дворец, зарубили стражу и освободили султана, а храбрая Зюмбюля отцовским кинжалом убила Гуссейна.

Мирамонд же, полагая, что навеки лишился Зюмбюли, не хотел больше жить и принял яд. Однако врачи спасли его. Влюбленные поженились. Тесть уступил ему престол, и Мирамонд стал султаном. Таким образом, Мирамонд, заключает свое повествование автор, «показал Вселенной, что постоянная терпеливость побеждает все сего света гонения и непостоянной Фортуне вечное приносит поражение».

Несмотря на всю фантастичность истории Мирамонда, на сходство многих эпизодов романа со сказками «Тысячи и одной ночи», сюжет его в отдельных эпизодах имеет реальную основу, изображения быта и нравов разных народов сделаны очевидцем. Этим объясняется живость и правдивость многих описаний, а также чувств и переживаний персонажей романа.

Своими романами Федор Эмин имел цель не только развлечь читателя, но и принести ему некоторую пользу. «Романы, — писал он, — изрядно сочиненные и разные нравоучения и описание различных земель с их нравами и политикою в себе содержащие, суть наипольнейшие книги для молодого юношества к привлечению их к наукам. Молодые люди из связно-сплетенных романов обстоятельнее познать могут состояние разных земель, нежели из краткой географии, из которой ничего они без толкователя понять не в состоянии... Не всяк же имеет достаток содержать

учителя, а нравоучение и старым людям не бесполезно».

О том, что искал и находил в «Мирамонде» Карамзин, что привлекало его в романах, он объяснил в «Рыцаре нашего времени».

«Но чем же романы пленяли его? — спрашивает Карамзин, имея в виду Леона. — Неужели картина любви имела столько прелестей для осьми-или десятилетнего мальчика, чтобы он мог забывать веселые игры своего возраста и целый день просиживать на одном месте, впиваясь, так сказать, всем детским вниманием своим в нескладницу „Мирамонда“ или „Даиры“? Нет, Леон занимался более происшествиями, связию вещей и случаев, нежели чувствами любви романической. Натура бросает нас в мир, как в темный, дремучий лес, без всяких идей и сведений, но с большим запасом любопытства, которое весьма рано начинает действовать во младенце, тем ранее, чем природная основа души его нежнее и совершеннее. Вот то белое облако на заре жизни, за которым скоро является светило знаний и опытов!

Леону открылся новый свет в романах; он увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений — игру судьбы, дотоле ему совсем неизвестную... (Но тайное предчувствие сердца говорило ему: „Ах! И ты, и ты будешь некогда ее жертвою! И тебя схватит, унесет сей вихорь... Куда?.. Куда?..“) Перед глазами его беспрестанно поднимался новый занавес: ландшафт за ландшафтом, группа за группою являлись взору. — Душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Колумб на Атлантическом море, для открытия... сокровища.

Сие чтение не только не повредило его юной душе, но было еще весьма полезно для образования в нем нравственного чувства. В „Даире“, „Мирамонде“, в „Селиме и Дамасине“ (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах желтого шкапа герои и героини, несмотря на... многочисленные искушения рока, остаются добродетельными; все злодеи описываются самыми черными красками: первые, наконец, торжествуют, последние, наконец, как прах, исчезают. В нежной Леоновой душе не приметным образом, но буквами неизгладимыми начерталось следствие: „Итак, любезность и добродетель одно! Итак, зло безобразно и гнусно! Итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!“ Сколь же такое чувство спасительно

в жизни, какую твердою опорою служит оно для доброй нравственности, нет и нужды доказывать. Ах! Леон в совершенных летах часто увидит противное, но сердце его не расстанется с своею утешительною системою; вопреки самой очевидности он скажет: „Нет, нет! Торжество порока есть обман и призрак!“».

В 1802 году в статье «О книжной торговле и любви к чтению» Карамзин, говоря о подобных романах, снова подчеркивает их положительное значение для русской читающей публики.

Он отмечает, что 25 лет назад, как раз приблизительно в те годы, когда он с восторгом читал «Мирамонда» и «Даиру», в Москве были две книжные лавки, продававшие в год книг на 10 тысяч рублей, теперь же их — 20, и выручают они около 200 тысяч рублей. Карамзин интересовался у книгопродавцев: какие книги более всего расходятся? Те отвечали: романы. В то время, когда писалась статья, к романам, подобным «Мирамонду», в среде просвещенной публики уже становилось хорошим тоном относиться с презрением. Но Карамзин выступил их горячим защитником.

«Не знаю, как другие, — писал он, — а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, — даже без всякого таланта писанные, — способствуют некоторым образом просвещению.

...Всякое приятное чтение имеет влияние на разум, без которого ни сердце не чувствует, ни воображение не представляет. В самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому же нынешние романы богаты всякого рода познаниями. Автор, вздумав написать три или четыре тома, прибегает ко всем способам занять их, и даже ко всем наукам: то описывает какой-нибудь американский остров, истощая Бишинга; то изъясняет свойство тамошних растений, справляясь с Бомаром; таким образом, читатель узнает и географию, и натуральную историю; и я уверен, что скоро в каком-нибудь немецком романе новая планета Пиацци будет описана еще обстоятельнее, нежели в „Петербургских ведомостях“».

Далее Карамзин пишет об ошибочности мнения, что романы могут

дурно влиять на нравственность. Человеческая природа такова, объясняет он, что она тянется к добру и ищет в романе изображения не дурных, а хороших людей и сравнивает себя с ними, становится на их место и тем развивает и укрепляет в себе добрые чувства. «Дурные люди, — замечает Карамзин, — романов не читают».

Карамзину было около десяти лет, когда на него обратила внимание соседка по имени графиня Пушкина (в повести она названа графиня Мирова) — 25-летняя светская дама, вынужденная жить в деревне с мужем-стариком. Она скучала, сначала занялась мальчиком от скуки, и так как он «до того времени не знал ничего, кроме Езоповых басен, „Даиры“ и великих творений Федора Эмина» (признание самого Карамзина), взялась обучать его истории и географии. Ее познания были невелики, и скоро он почти сравнялся с ней в знаниях научных. Гораздо более в этом отношении ему дала графская библиотека, из нее он получил «Римскую историю» Шарля Роллена в переводе В. К. Тредиаковского. Устарелый язык перевода не был для Карамзина помехой: за неуклюжестью фраз он видел и воображал те события, о которых повествовалось.

«Какими приятными воспоминаниями обязаны мы Истории! Мне было 8 или 9 лет от роду, когда я в первый раз читал Римскую, — вспоминал он, — и, воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его как своего Героя. Аннибала я ненавидел в щастливые времена славы его, но в решительный день, перед стенами Карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли, когда он, укрываясь от злобы мстительных Римлян, скитался из земли в землю, тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала и врагом жестоких республиканцев».

Графиня (Карамзин называет ее в «Рыцаре нашего времени» Эмилией) разбудила в мальчике «нежные, — как называли их тогда, — чувства». Четверть века спустя после описываемых событий, живя в Москве — а графиня была москвичкой, — Карамзин постарался собрать о ней сведения и узнал, что «московские *летописи злословия* упоминали об ней весьма редко, и то мимоходом, приписывая ей одно кокетство минутное или — (техническое слово, неизвестное профанам!) — *кокетство от рассеяния*, исчезающее от первого движения рассудка и не имевшее никогда следствий».

Приветив мальчика, графиня Эмилия прежде всего позаботилась о его внешнем виде — «старалась образовать в нем приятную наружность», говорит Карамзин, обучала манерам — как надо ходить, кланяться, одела

по моде: «Через две недели соседи не узнавали Леона в модном фраке его, в английской шляпе, с Эмилиною тросточкою в руке и совершенно городского осанкою». «„Я хочу заступить место твоей маменьки, — сказала она мальчику. — Будешь ли любить меня, как ты ее любил?..“ — Он бросился целовать ее руку и заплакал от радости...» Называя графиню маменькой, в какой-то момент мальчик начал испытывать к ней не совсем сыновние чувства.

Карамзин назвал романы «теплицею для юной души, которая от сего чтения зреет прежде времени», и, конечно, хотя он и сомневался в том, что картина любви может иметь столько прелести для восьми-десятилетнего мальчика, чтобы он забывал обычные для этого возраста игры, однако описанные в романах любовные истории и эпизоды западали в память, волновали воображение, тем более что он был склонен часами «играть воображением».

В то же время графиня, видимо, отдавшись привычке, обратила на мальчика свое *кокетство от рассеяния*. Когда он приходил, встречала его «нежными поцелуями» («когда, не было графа», — замечает Карамзин), он «служил» ей при утреннем туалете: расчесывал ей волосы («которые любил он целовать»), подавал башмаки («Можно ли так унижаться благородному человеку?» — скажут провинциальные дворяне. Зато он видел самые прекрасные ножки в свете), во время уроков французского языка она садилась возле и клала голову ему на плечо, чтобы можно было глядеть в книгу, которую он читал. Прочтя правильно несколько строк, он «взглядывал на нее с улыбкою — и в таком случае губы их невольно встречались: успех требовал награды и получал ее!».

Кокетство от рассеяния возымело свое действие. «Заря чувствительности тиха и прекрасна, но бури недалеко, — пишет Карамзин в „Рыцаре нашего времени“, обращаясь к графине Эмили. — Сердце любимца твоего зреет вместе с умом его, и цвет непорочности имеет судьбу других цветов!» И однажды в летний день Леон, купавшийся в речке, увидел, что к тому же месту приближается графиня в сопровождении служанок и трех английских собак. Он выскочил из воды, спрятался в кустах и стал наблюдать, как она раздевается. Тут его учуяли английские собаки и бросились на него, он убежал. Опомившись, мальчик «с унылым видом, через час времени, возвратился к своему платью; но, видя, что к шляпе его пришпилена роза, ободрился... „Маменька на меня не сердита!“ — думал он, оделся и пошел к ней... Однако ж покраснелся, взглянув на Эмилию; она хотела улыбнуться и также покраснелась. Слезы навернулись у него на глазах... Графиня подала ему руку, и, когда он целовал ее с

отменным жаром, она другою рукою тихонько драла его за ухо. Во весь тот день Леон казался чувствительнее, а графиня — ласковее обыкновенного...». На этом эпизоде обрывается роман «Рыцарь нашего времени». При публикации в конце, где обычно пишется «Продолжение следует», стояло: «Продолжения не было». И это не литературный прием. Тем летом кончилось домашнее деревенское воспитание Карамзина: отец отвез его в Симбирск и отдал во французский пансион, открытый в городе неким господином Фовелем, которого по просьбе дворян пригласил в Симбирск служивший в Москве сенатор А. И. Теряев.

У Фовеля Карамзин проучился недолго — год или полтора — и считался первым по успехам среди учеников. От времени учебы в Симбирске у Карамзина остались два ярких воспоминания. Одно — о столетнем старике Елисее Кашинцеве, который угощал его банею и зеленым чаем и был известен тем, что звонил в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, а потом был гребцом на той лодке, в которой плыл Петр Великий, когда ехал на персидскую войну. Об этом Кашинцеве Карамзин писал И. И. Дмитриеву в 1824 году: «Я обрадовался, нашедши здесь у живописца Орловского старинные часы с вырезанным на них именем этого Елисея... Мир его праху!»

Второе воспоминание — о враче-немце, который учил его немецкому языку. Этого доброго старика знал и И. И. Дмитриев. В своих воспоминаниях поэт пишет: «Очень помню его привлекательную, несмотря на спинной горб, физиогномию; он говорил тихо; в глазах и на устах его сияла кротость и человеколюбие». Замысел сказки Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый карла», написанной в 1792 году и рассказывающей о том, как царевна полюбила горбуна-карлу, у которого «телесные недостатки» возмещались «душевыми красотами», наверное, возник под впечатлением о добром горбуне-немце.

В Симбирске, рассказывает Карамзин, он «ходил в пансион и читал много книг русских». И это было главное. Учеба отнимала немного времени, и Карамзин в довольно короткий срок пребывания в пансионе смог основательно познакомиться с русской литературой.

Племянник И. И. Дмитриева М. А. Дмитриев, сын его старшего брата, прекрасно знавший быт старого Симбирска и по собственным впечатлениям, и по рассказам старожилов, несколько страниц в своей книге «Мелочи из запаса моей памяти» посвятил тому, что и как читали в старину. «Наша литература последней половины прошедшего века (XVIII) была не так слаба и бесплодна, как некоторые думают, — пишет он. — Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила и плоды, которыми в

свое время пользовались и наслаждались... По деревням, кто любил чтение и кто только мог заводился небольшой, но полной библиотекой», «читали с величайшим вниманием». Литература воспринималась и как часть общественной жизни, и как ее отражение. «Когда я был еще ребенком, — рассказывает М. А. Дмитриев, — дед мой, отец Ив. Ив. Дмитриева, разговаривая с своими гостями о времени Екатерины, о ее славе, о ее учреждениях, о хорошем и худом, приходил или в восторг, или негодование и, смотря по этому, посылал меня достать из своей библиотеки или Державина, или Хемницера; и я с чувством своего достоинства читал вслух перед гостями или оду Державина, или какую-нибудь басню Хемницера... Все слушали с уважением и с живым участием». Вспоминает он и о семейных чтениях романов: «Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали; особенно дамы и девицы. Какой ужас распространяла славная г-жа Радклиф. Какое участие принимали в чувствительных героинях г-жи Жанлис! — *Страдания Ортенберговой фамилии* и *Мальчик у ручья* Коцебу — решительно извлекали слезы! Дело в том, что при этом чтении, в эти минуты вся семья жила сердцем или воображением и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным; а главное — чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни».

Дмитриев описывает состав библиотек симбирских любителей чтения: все известные русские авторы были представлены в них, а также различные журналы. Кстати сказать, журналы в те времена не были журналами в сегодняшнем понимании, это были сборники, альманахи, отличавшиеся от книг лишь тем, что они выходили выпусками, с определенной периодичностью; их читали и перечитывали долгие годы. Особенно популярные журналы переиздавались: например, «Трудолюбивая пчела», издававшаяся в 1759 году А. П. Сумароковым, была переиздана в 1780-м, журнал Н. И. Новикова «Живописец», выходивший в 1772–1773 годах, переиздавался четырежды: в 1773, 1775, 1781, 1793 годах.

Итак, Карамзин в симбирских библиотеках мог найти сочинения М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского, В. И. Майкова, М. Н. Муравьева, Д. И. Фонвизина, М. М. Хераскова, И. И. Хемницера, В. П. Петрова, И. Ф. Богдановича, Е. И. Кострова, Г. Р. Державина, М. Д. Чулкова, В. А. Лёвшина, по журналам познакомиться с современными поэтами и писателями. Видимо, он читал и исторические сочинения: пользовавшийся тогда большой популярностью многотомник «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова, сборники «Древняя Российская Вивлиофика», издававшиеся Н. И. Новиковым.

С 1774 года Карамзин, по обычаю, был записан на военную службу, «состоял в армейских полках», находясь в домашнем отпуске «до окончания образования».

Когда Карамзину было 12 или 13 лет, по совету того же А. И. Теряева отец отправил его для продолжения учения в Москву в частный пансион профессора Московского университета Иоганна Матиаса Шадена, считавшийся одним из лучших учебных заведений подобного рода. Карамзин ехал в Москву с некоторым запасом знаний, приобретенных чтением и уроками графини и господина Фовеля, с желанием учиться.

В «Рыцаре нашего времени» он, рассказав о своем герое, легким пунктиром намечает его будущее.

Леон «мог уже часа по два играть воображением и строить замки на воздухе. *Опасности и героическая дружба* были любимой его мечтой. Достоин примечания, что он в опасностях всегда воображал себя *избавителем*, а не *избавленным*: знак гордого, славлюбивого сердца! Герой наш мысленно летел во мраке ночи на крик путешественника, умерщвляемого разбойниками; или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его. Такое донкишотство воображения заранее определяло нравственный характер Леоновой жизни. Вы, без сомнения, не мечтали так в своем детстве, спокойные флегматики, которые не живете, а дремлете в свете и плачете только от одной зевоты! И вы, благоразумные эгоисты, которые не *привязываетесь* к людям, а только с осторожностью за них *держитесь*, пока связь для вас полезна, свободно отводите руку, как скоро они могут чем-нибудь вас потревожить! Герой мой снимает с головы маленькую шляпку свою, кланяется вам низко и говорит учтиво: „Милостивые государи! Вы никогда не увидите меня под вашими знаменами с буквою П и Я!“ („Паки и Я“ — то есть „Еще и я“. — В. М.).

Сверх того он любил грустить, не зная о чем. Бедный! Ранняя склонность к меланхолии не есть ли предчувствие житейских горестей?.. Таким образом, Леон был приготовлен натурой, судьбою и романами к следующему».

Глава II

ГОДЫ УЧЕНИЯ. 1778–1785

Впервые в жизни Карамзин уезжал из дома так далеко и надолго. Правда, в Симбирске Москва не считалась совсем уж чужим городом. Исторически сложилось так, что Поволжье более тяготело к Москве, чем к Петербургу. В старую российскую столицу ехали служить, отправляли детей учиться в пансионы и в Московский университет, многих москвичей связывали родственные узы с дворянством поволжских губерний. Достаточно вспомнить, куда и к кому самый московский барин грозитя отправить огорчившую его дочь: «К тетке, в глушь, в Саратов!» В Москве жила наездами Дмитриевы, так что Карамзин и читал про Москву в книгах, и слышал рассказы о ней. Кроме того, в пансионе Шадена, как ему сообщили, учились Платон и Иван Бекетовы — двоюродные племянники мачехи.

Наверное, Карамзин чувствовал все то, что чувствуют мальчишки, уезжающие из родного дома: и печаль расставания, и страх перед неизвестным, и любопытство. Выросший дома на воле, он, конечно, задумывался о том, каково ему будет в пансионе, ведь классическим образом учителя был суровый педант с розгой в руке. Скорее всего, в мыслях он сравнивал себя с героями прочитанных романов, отправлявшимися в плавание по бурному морю жизни, и, может быть, про себя, а может быть, и вслух произносил приличествующие случаю фразы. А может быть, удивлялся и огорчался, что его отъезд не соответствовал романским описаниям, как это было и с И. И. Дмитриевым, когда тот однажды ехал из деревни в Симбирск.

«Я сидел в коляске с моим братом, — вспоминает Дмитриев, — он молчал, и я тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения; вдруг пришло мне на мысль, отчего я так долго молчу и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой маркиз дорогою рассуждал в коляске с своим наставником, барон Пельниц с своим сыном, и дон Фигеоразо, или Уединенный Гишпанец, также со своими детьми: отчего же никакие предметы, никакой случай не возбуждают во мне размышлений?»

Конечно, Карамзина, как положено, сопровождал слуга, крепостной человек. Наверное, это был тот самый «добродушный Илья», служивший

ему и потом и упоминаемый в «Записках русского путешественника». Поскольку на Илье, о котором Карамзин мог сказать стихами Д. И. Фонвизина из «Послания к слугам моим» (ими, кстати, характеризовал своего дядьку Савельича и Петруша Гринев):

Любезный дядька мой, наставник и учитель,
И денег, и белья, и дел моих рачитель! —

лежали все заботы по путешествию, то Карамзину оставалось только смотреть на проезжаемые поля, дубравы и селения.

От Симбирска до Москвы 850 верст, ехали дней десять-двенадцать, путь лежал или через Нижний Новгород и Владимир, или через Саранск и Рязань. Во всяком случае, каким бы путем ни ехал Карамзин, он мог наблюдать изменение и пейзажей, и облика сел, деревень и городов. Средняя Россия весьма отличалась от степного Заволжья: известный путешественник академик Паллас, думая, что между Москвой и Симбирском не может быть большой разницы в географическом отношении, в свое знаменитое академическое путешествие 1768–1774 годов положил на это расстояние две недели — ровно столько, сколько надобно, чтобы проехать, останавливаясь лишь на ночевку, — но, начав наблюдения, сборы гербариев и других коллекций, достиг Симбирска лишь через четыре месяца.

Но вот и Москва. Она поражала приближающихся к ней путешественников, как видевших ее впервые, так и уже побывавших в ней. Панораму Москвы в начале осени, то есть в то же время, когда ее увидел впервые Карамзин, описал наполеоновский офицер Лабом. Его первые впечатления были настолько яркие, восторг настолько силен, что даже последующие бедствия, которые он претерпел в России, отступая от Москвы до Березины, не заставили забыть того солнечного сентябрьского дня.

«К одиннадцати часам Генеральный штаб расположился на высоком пригорке, — пишет Лабом. — Оттуда мы вдруг увидели тысячи колоколен с золотыми куполообразными главами. Погода была великолепная, все это блестело и горело в солнечных лучах и казалось бесчисленными светящимися шарами. Были купола, похожие на шары, стоящие на шпиге колонны или обелиска, и тогда это напоминало висевший в воздухе аэростат. Мы были

поражены красотой этого зрелища, приводившего нас в еще больший восторг, когда мы вспоминали обо всем том тяжелом, что пришлось перенести. Никто не в силах был удержаться, и у всех вырвался радостный крик: „Москва! Москва!!!“

Услышав так давно жданный возглас, все толпой кинулись к пригорку; всякий старался высказать свое личное впечатление, находя все новые и новые красоты в представшей нашим глазам картине, восторгаясь все новыми и новыми чудесами. Один указывал на прекрасный видный слева от нас дворец, архитектура которого напоминала восточный стиль, другой обращал внимание на великолепный собор или новый другой дворец, но все до единого были очарованы красотой панорамы этого огромного расположенного на равнине города. Москва-река течет по светлым лугам; омыв и оплодотворив все кругом, она вдруг поворачивает и течет по направлению к городу, прорезывает его, разделяя на две половины и отрывая таким образом друг от друга целую массу домов и построек; тут деревянные, и каменные, и кирпичные; некоторые построены в готическом стиле, смешанном с современным, другие представляют из себя смесь всех отличительных признаков каждой из отдельных национальностей. Дома выкрашены в самые разнообразные краски, купола церквей — то золотые, то темные, свинцовые и покрытые аспидным камнем. Все вместе взятое делало эту картину необычайно оригинальной и разнообразной, а большие террасы у дворцов, обелиски у городских ворот и высокие колокольни на манер минаретов, все это напоминало, да и на самом деле представляло из себя картину одного из знаменитых городов Азии, в существование которых как-то не верится и которые, казалось бы, живут только в богатом воображении поэтов».

Пансион профессора Шадена находился в Немецкой слободе, на Яузе, за Земляным городом — современным Садовым кольцом.

В XVI–XVII веках это была слобода, где селились иностранцы разных национальностей Западной Европы, которых на Руси называли общим именем «немцы», подразумевая, что они вроде немые, то есть не говорят по-русски. Прежде население слободы состояло исключительно из иностранцев, но уже со времен Петра Великого здесь начали селиться и русские вельможи и дворяне, так что к последней четверти XVIII века Немецкой слободой эту местность называли скорее по традиции. Впрочем,

она сохраняла еще кое-где свой старый вид: прямые улицы, аккуратные немецкие домики с палисадниками, шпильки нескольких кирх, каменные лавки, огороженные постоянные дворы — герберги...

Главная улица слободы называлась Немецкой (сейчас улица Баумана), она проходила через всю слободу от Покровской дороги (сейчас Бакунинская улица) к Язуе. Приблизительно на середине этой улицы, на углу с Бригадирским переулком, находилось владение профессора Шадена. На плане последней четверти XVIII века на территории этого владения обозначено около десятка строений, жилой дом и службы, и довольно большой сад.

Постройки все были деревянными, они сгорели в 1812 году. Современное здание на углу Бригадирского переулка, первоначально двухэтажное, построено в начале XIX века, позже надстроено третьим этажом. По современной нумерации это здание имеет номер 68. Вот сюда, на это место и прибыл со своим дядькой осенью 1778 года Карамзин, чтобы стать пансионером в пансионе профессора Иоганна Матиаса Шадена.

Пребывание Карамзина в московском пансионе оказалось для него, к счастью, легким и приятным.

По тем немногим сведениям, которые имеются о пансионе Шадена, к нему вряд ли приложимо несколько казенное определение — учебное заведение; в пансионе царствовали семейные, патриархальные отношения. Воспитанников, или учеников, было всего восемь человек; Шаден жил в том же доме, в котором помещался пансион, поэтому дети всегда были у него на глазах.

Из соучеников Карамзина известны лишь двое — братья Бекетовы, Платон и Иван Петровичи. Они были старше Карамзина, но у них обнаружились общие интересы. Впоследствии Платон Петрович стал известным издателем, занимался древней русской историей, был председателем Общества истории и древностей российских, Иван был авторитетным нумизматом. Дружеские связи с ними Карамзин поддерживал и по окончании пансиона.

Об атмосфере и характере преподавания в пансионе Шадена рассказывают бесхитростные воспоминания одного из его воспитанников.

«Поутру каждый со своим маленьким столиком, книгами и тетрадями входил в залу и располагался, где хотел.

Уроки наши проверяла профессорша по утрам, когда супруг ее уезжал в университет. Утром в назначенные часы приходили также другие учителя. Обед всегда представлял трапезу

семейную с молитвою до и после обеда. В четыре часа начинались классы профессора. О, как любили мы собираться вокруг него, когда он в большом своем кресле, в пестром халате и зеленом тафтяном колпаке, положив ноги на скамейку, рассказывал о разнообразных произведениях природы или событиях мира.

Вечером всякий занимался, чем хотел, но старшие ученики позволяли нам играть только после приготовления заданного урока. Так как комнаты наши были довольно тесны, мы не смели ни прыгать, ни шуметь. Обыкновеннейшее занятие всех было слушать, лежа на кроватях, как один из старших читал громко и внятно.

Библиотека Богдана Богдановича была одной из лучших частных библиотек. Шкафы имели свои номера, и каждый из нас имел свое отделение. Наша обязанность заключалась в том, чтобы обметать с книг пыль каждую субботу после обеда. За это мы имели право пользоваться книгами, когда хотим. Из чужого шкафа мы не могли иначе брать, как с согласия того, кто им заведовал.

В церковь нас никогда не водили. Профессор не занимался практически нашей нравственностью и довольствовался тем, что преподавал ее во время обеда. Главными предметами его разговоров были правосудие, бескорыстие, любовь к отечеству, трудолюбие.

У профессора мне было точно так, будто мать моя позволила мне погостить у детей какого-нибудь почтенного соседа. Мы не знали никакой подчиненности, любили старика, как отца родного, а друг друга — как братьев. Все мы были равны, разница существовала только в летах. У нас не было никаких наград, но зато нас иногда ласкали, приголубливали, а наказание заключалось в хорошем нагоняе, в холодном отношении. Мы не знали никаких упреков, продолжительного гнева, интриг и сплетен, и потому все действия наши были свободны и открыты».

Шаден сразу обратил на Карамзина особое внимание. «Я имел счастье, — писал Карамзин, — снискать его благорасположение; он полюбил меня, и я тоже полюбил его».

Программа обучения в пансионе заключала в себе начатки всех дисциплин, входивших в гимназический курс, с некоторым уклоном в гуманитарные предметы, на которых, собственно, и базировалось

воспитание. Ряд предметов преподавал сам Шаден, другие читали приглашаемые университетские профессора и преподаватели. Особенное внимание обращалось на изучение языков.

К сожалению, Карамзин не написал воспоминаний о годах своего пребывания в пансионе Шадена, как написал о раннем детстве, в его сочинениях об этом периоде лишь несколько кратких заметок. В первой более или менее полной биографии Карамзина (1849) раздел, посвященный пансионским годам, написан автором, филологом А. В. Старчевским на основании рассказов А. И. Тургенева, сообщившего сведения, которые он получил от самого Николая Михайловича. Если бы Карамзин рассказывал Тургеневу, сыну своего друга, какие-либо истории о пансионском быте, происшествиях и приключениях, которые обязательно сопровождают воспоминания о школьных годах, то тот наверняка их запомнил бы и пересказал его биографу. Но Старчевский пишет только о Шаде, о его преподавании и предметах, изучавшихся Карамзиным. Видимо, именно это считал Карамзин очень важным и достойным памяти из пансионских лет.

Систематическое образование, которое получил Карамзин, — лишь пансион, более он нигде не учился. Поэтому, зная последующую деятельность Карамзина, его сочинения и общепризнанную славу одного из образованнейших и умнейших людей своего времени, можно только удивляться, сколько разнообразных знаний должен был он усвоить за три-четыре года пребывания в пансионе. Конечно, это были основы, начатки наук, философских систем, нравственных убеждений, эстетических вкусов и пристрастий, которые потом углублялись, расширялись, шлифовались самообразованием, дополнялись и развивались, но именно тогда закладывалось мировоззрение и нравственные принципы Карамзина.

Мы не знаем исчерпывающего перечня наук и дисциплин, которыми Карамзин занимался в пансионе; кажется, каждый воспитанник учился по индивидуальной программе, в соответствии с его способностями и интересами. Каждый воспринимал от учителя то, что способен был воспринять. Но Карамзин воспринял от Шадена не только знания, Шаден — Профессор, Учитель (так называет его Карамзин в одном из писем и в «Письмах русского путешественника» и пишет эти слова с заглавной буквы) — стал для него в этот период его жизни образцом во всем. Представив себе Шадена, можно вообразить, каким был Карамзин, конечно, учитывая, насколько Учитель может отразиться в Ученике.

Иоганн Матиас Шаден родился в 1731 году в Пресбурге, окончил Тюбингенский университет по факультетам филологии и философии, в двадцать с небольшим лет был удостоен ученого звания доктора

философии, проявил себя как хороший педагог, в 1756 году получил приглашение от Московского университета на должность ректора университетских гимназий (дворянской и разночинной). В июне 1756 года он приехал в Москву.

Шаден приступал к исполнению своих служебных обязанностей в России с большой ответственностью, он начал готовиться к должности еще в Тюбингене и при вступлении в ректорскую должность 26 июня 1756 года произнес речь «О заведении гимназий в России» (на латинском языке). С этого дня началась работа Шадена в Московском университете и продолжалась 41 год, до его кончины в 1797 году.

Шаден был широко и разносторонне образованный ученый. В печатной программе лекций на 1757 год объявлялось, что он «в дворянской гимназии Риторику, также Пиитику, Мифологию, руководство к чтению писателей классических, состояние военное, политическое и житие академическое, весь курс Философии кратко прочтет. При том и тех по возможности удовольствует, которые высших и лучших желают наук, как то: Греческого языка, древностей Римских и Греческих. А есть ли найдутся, которые восточным языкам Еврейскому и Халдейскому учиться, и оных древности рассмотреть пожелают, то он им не только в Филологию руководство тех восточных языков, но и особенное наставление в языках Еврейском и Халдейском преподает». Кроме того, в различные годы он читал в университете нумизматику и геральдику, логику и метафизику, практическую философию и этику, нравственную философию, или науку образования нравственности и совести, народное право, политику, или науку государственного правления, правила приватного благоразумия, или экономию, историю нравственных наук, естественное и государственное право. Как вспоминает один его слушатель, Шаден благодаря своей «широкой учености» обычно для объяснения предмета привлекал акты и данные разных дисциплин, отчего его лекции не бывали «тягостными для слушателей».

За долгие годы преподавания Шадена его слушателями и учениками были несколько поколений студентов; иные вспоминали о нем многие годы спустя после окончания университета. Д. И. Фонвизин, учившийся в университетской гимназии в начале 1760-х годов, пишет в своих воспоминаниях «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях»: «...слушал логику у профессора Шадена, бывшего тогда ректором. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны». В начале 1770-х годов у него учился Иван Петрович Тургенев — будущий директор

Московского университета и Михаил Николаевич Муравьев — поэт, педагог, впоследствии сенатор, товарищ (заместитель) министра народного просвещения и попечитель Московского университета. Муравьев в «Послании к И. П. Тургеневу», написанном в 1780-е годы, вспоминал:

С тобою почерпать мы прежде тщились знанья,
Счастливы отроки, в возлюбленных местах,
Где, виючись, Москва в кичливых берегах
Изображает Кремль в серебре своих кристаллов,
Где музам храм воздвиг любимец их Шувалов,
Где, Ломоносова преемля лирный звон,
Поповский новый путь открыл на Геликон,
Где Барсов стал по нем ревнитель росска слова,
И Шаден истину являет без покрова, —
Там дружбы сладостной услышали мы глас;
Пускай и в седирах обрадует он нас.

Выученик немецкой педагогики, Шаден понимал, что нельзя просто перенести немецкую школу в Россию, что образование, особенно первоначальное, должно быть национальным. Он принадлежал к числу тех иностранцев, которые, поступая на русскую службу, приезжали в Россию без предубеждения, с открытой душой и искренним желанием добра ее народу. Наша история знает таких людей, о которых нельзя сказать, что они обрусели, они просто становились русскими.

Шаден в совершенстве владел русским языком. Один из его учеников вспоминает, что, читая лекции, как положено, на латинском языке, Шаден «для прикрасы» вставлял русские выражения, вроде такой сентенции: «Хочешь, батюшка, иметь жену, выбирай год, выбирай два».

Будучи лютеранином, он более чем с уважением относился к православию. Решение вопроса о связи души и тела (духа и материи) как главного вопроса философии он обуславливал религиозным сознанием, причем «православная вера, — говорил он, обращаясь к студентам Московского университета, — да отверзет вам завесу, скрывающую эту тайну: власть ее всемогуща, премудра и недостатки все отъять готова». Он находил много хорошего в русских обычаях и особенно хвалил обычай начинать всякое дело молитвою.

Шаден видел в России страну огромных возможностей, имеющую ряд преимуществ перед западными странами. «Россия есть именно такая

страна, — писал он, — которую никакие семена предрассуждений, художествам и наукам враждебных, ядом еще своим не заразили и не повредили: в ней ни единого нет закона, который бы запинал распространение мудрости и добродетели... в ней потребен единственно вертоградарь, доброту семян и земли сведущий!»

В своих лекциях Шаден обращал особое внимание на государственный строй, существующий в России. Он считал, что взаимоотношения правителей и народа должны основываться на требованиях морали и все действия правления должны подчиняться законам.

Шаден не был кабинетным ученым, он не оставил научных трудов, его областью была педагогика, преподавание, он не писал, он выговаривался, в этом его можно сравнить с Т. Н. Грановским. Шаден развивал свои идеи в обязательных торжественных публичных речах, с которыми изредка выступал на университетских актах. За 40 лет службы в университете он прочел около десяти речей, это были серьезные научные работы. М. Н. Муравьев назвал их «настоящими трактатами философии». Некоторые из них тогда же были изданы.

Свои политические идеи Шаден развивал в следующих публичных речах, названия которых, по старой традиции, раскрывают их тему, а часто и содержание: «О душе законов», «О монархиях, способных возбуждать и питать любовь к отечеству, и о том, что любовь сия есть главная душа законов в монархиях», «Похвальное слово о Екатерине Великой, первой из законодателей, премудро основавшей законодательство свое на Совестьном Суде, ею учрежденном», «О воспитании благородного юношества, яко основании продолжительной народной славы в монархическом наипаче правлении», «Спрашивается: вредна ли или полезна роскошь частным людям, городам, и паче монархиям, и ежели вредна, то до какой степени и как прекратить и ослабить вредное ее действие».

Современник передает содержание одной из речей Шадена: «Рассматривая происхождение обществ из первоначального побуждения человека обезопасить свое существование и проистекшие отсюда разные образы правления, ученый отдает преимущество монархическому и указывает на несчастья республик... Самое высшее право самодержца заключается, по его слову, в распространении между подданными наук и художеств... Одно из сильнейших средств в руках самодержавия есть чувство чести, устремляющее нас к познанию. Закон монархии есть благоденствие обладателя, а в нем целость и счастье подданных...»

Шаден считал, что университеты и гимназии должны выпускать своих

воспитанников, кроме всех прочих наук «существенность и свойство монархии сведущих». Если бы Карамзин в отрочестве не услышал лекций Шадена, то, возможно, ему никогда потом, во взрослой жизни, не привелось бы серьезно и объективно подумать о монархии как форме государственного правления, поскольку осуждение монархии уже становилось модой и условным рефлексом. Позже Карамзин познакомится с республиканскими, революционными, социалистическими теориями, но в отличие от многих своих современников он будет в состоянии объективно сравнить между собою разные формы государственного правления, а не быть односторонним знатоком-невеждой, способным лишь на слепое восхваление какой-то одной и такое же слепое отрицание другой.

Основу педагогики Шадена составляло религиозное и нравственное воспитание. В этом он был верным и самозабвенным последователем Христиана Геллерта — известного немецкого поэта и философа-моралиста. Произведения Геллерта он давал читать своим воспитанникам, по его лекциям преподавал.

Во время своего путешествия по Европе, будучи в Лейпциге, Карамзин перед памятником Геллерта, установленным в парке Вендлер, вспоминал годы обучения в пансионе. «Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, — рассказывает он в „Записках русского путешественника“, — вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку; когда, читая его „Инкле и Ярико“, обливался я горькими слезами, читая „Зеленого осла“, смеялся от всего сердца; когда Профессор, преподавая нам, маленьким своим ученикам, мораль по Геллертовым лекциям (*Moralische Vorlesungen*), с жаром говаривал: „Друзья мои! будьте таковы, какими учит быть вас Геллерт, и вы будете счастливы!“ Воспоминания растрогали мое сердце!» Названные Карамзиным произведения Геллерта характерны для его творчества, имеющего сентиментально-нравоучительный характер.

В рассказе «Инкле и Ярико» рассказывается история, которая когда-то произошла в действительности: одного англичанина полюбила индианка и спасла ему жизнь, а он, оказавшись в безопасности, продал ее в рабство.

«Зеленый осел» — одна из многочисленных басен Геллерта, которые у современников пользовались большой популярностью, их моральные сентенции становились афоризмами. В 1770-е годы ряд басен Геллерта перевел на русский язык И. И. Хемницер, в том числе им переведен и «Зеленый осел».

Какой-то с умысла дурак,

Взяв одного осла, его раскрасил так,
Что стан зеленый дал, а ноги голубые.
Повел осла казать по улицам дурак;
И старики, и молодые,
И малый, и большой,
Где ни взялись, кричат: «Ахти! осел какой!
Сам зелен весь, как чиж, а ноги голубые!»
О чем слыхом доселе не слыхать.
Нет (город весь кричит), нет, чудеса такие
Достойно вечности предать,
Чтоб даже внуки наши знали,
Какие редкости в наш славный век бывали.

Далее рассказывается о том, как два дня весь город бегал за ослом, только и разговоров было, что про зеленого осла, а на третий день — «осла по улицам ведут», но на него уже никто и не смотрит, и говорить о нем перестали. Заключается басня такой моралью:

Какую глупость ни затей,
Как скоро лишь нова, чернь без ума от ней.
Напрасно стал бы кто стараться
Глупцов на разум наводить:
Ему же будут насмехаться,
А лучше времени глупцов препоручить,
Чтобы на путь прямой попали,
Хоть сколько бы они противиться ни стали,
Оно умеет их учить.

Геллерт оказал очень большое влияние на соотечественников. Гёте говорит, что его сочинения стали «основанием нравственной культуры Германии», и, вспоминая студенческие годы, свидетельствует: «Геллерт был на редкость любим и уважаем молодежью».

Основой системы воспитания Геллерта, которой придерживался Шаден, было «воспитание сердца», так как он считал, что в нравственной жизни человека голос сердца значит более голоса рассудка, поэтому на воспитание чувств нужно обращать особое внимание. Он призывал воспитывать в себе вкус к нравственности, любовь к добру, отвращение

к злему, так, чтобы эти чувства стали потребностью души. Средством достижения успеха в этом служат доверие к Творцу и управление своими страстями. Образцовыми добродетелями человека являются: почтение и любовь к Богу, умеренность желаний, власть над страстями, справедливость и любовь к людям, нашим братьям, прилежание и трудолюбие в избранной работе, терпеливость в несчастий, кротость, доверие к Божественному Промыслу, покорность своей судьбе. Следование этим принципам, как утверждает Геллерт, дает человеку счастье, которое заключается в спокойствии души, порождаемом сознанием, что ты добр и справедлив.

Большую роль в «воспитании сердца» Геллерт отводил литературе, и его произведения эту роль с успехом исполняли не только в Германии, но и в других странах.

Круг чтения и интересов Карамзина в то время был достаточно широк. Кроме учебной и художественной литературы он читал современные журналы и газеты. (Шаден, в отличие от Руссо, считал, что дитя должно воспитываться в обществе, а не исключительно на природе, в удалении от общества.)

Из воспоминаний Карамзина известно, что он следил за событиями войны Северной Америки за независимость. Конечно, он прочитывал и другие газетные сообщения, но эти переживал наиболее эмоционально, сочувствуя англичанам. Об этом он вспоминает в «Письмах русского путешественника»: «Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею. С каким восторгом, будучи пансионером профессора Шадена, читал я во время Американской войны донесения торжествующих британских адмиралов! Родней, Гоу не сходили у меня с языка; я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином, великодушным — тоже, чувствительным — тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения».

Видимо, эти переживания были очень памяты, потому что десять лет спустя Карамзин в примечании к одной из своих статей снова пишет об этом: «Я в ребячестве своем читал в газетах описание бедственной смерти английского майора Андре и плакал. Это горестное впечатление возобновилось в моем сердце, когда я увидел монумент его в Вестминстерском аббатстве, сооруженный благодарным королем и народом. Немногие англичане тужили более меня о несчастном Андре. Я помню еще одно обстоятельство из тогдашних ведомостей: меньшой брат

майора Андре, узнав в Ллойдовом кофейном доме о его несчастной смерти, упал без памяти и в ту же минуту умер».

Шаден отличал Карамзина среди своих учеников. (После окончания пансиона Карамзин, по выражению современника, был принят в его доме «как свой».) Видя его старательность и успехи в немецком и французском языках, Шаден, чтобы поощрить Карамзина и дать ему возможность упражняться в разговоре, брал мальчика с собой, когда шел в гости к знакомым иностранцам. Кроме немецкого и французского Карамзин учил, видимо по собственному желанию, греческий, латинский и итальянский языки.

Тургенев говорил, что к пансионским годам относятся и первые литературные опыты Карамзина, что он «с детства отличался необыкновенным даром слова» и Шаден «уже предвидел в Карамзине литератора».

Живя в Немецкой слободе, бродя по ее улочкам и переулкам, слушая рассказы друзей Шадена — немцев, французов, швейцарцев, Карамзин вспоминал беседы отцовских друзей, симбирские разговоры и встречи. Только здесь, в Москве, на берегах Яузы, все слышанные предания российской старины становились и ближе, и достовернее, и интереснее. Иные обитатели Немецкой слободы жили в Москве долгие десятилетия и сами были свидетелями исторических событий, своими глазами видели людей, чьи имена стали достоянием истории. Всё вокруг наполнилось воспоминаниями о Петре Великом: Лефортовский дворец, где пировали на знаменитых ассамблеях; могила Франца Лефорта — любимца Петрова — в старой кирхе; в Головинском саду показывали дерево, посаженное великим преобразователем России, а в Кирочном переулке дом, в который он хаживал к Анне Монс, возлюбленной своей; слышал Карамзин и рассказы о том, какая суeta была, как скакали повсюду курьеры, когда в Головинском царском дворце умирал мальчик-император Петр II и Долгорукие старались доставить российский престол его обрученной невесте Екатерине Долгорукой, а не удалось; вспоминали и о том, что государыня Анна Иоанновна была большой любительницей лягушачьего пения и потребовала, чтобы в дворцовые пруды навезли самых отменных певцов, и как зритель садовый с ног сбился, разыскивая крупные и голосистые экземпляры. А уж маскарад и шествие ряженных по улицам, устроенные по случаю восшествия на престол государыни императрицы Екатерины II, помнили все и рассказывали наперебой, уточняя и дополняя друг друга, и каждый приводил в подтверждение своих слов точные указания, где он в то время стоял, у какого дома, на каком углу или в какое окно смотрел.

И потом, когда Карамзин бродил по Немецкой слободе и примыкавшему к ней Лефортову, по улицам и переулкам, которые одними названиями своими — Лефортовская, Лопухинская, Посланников, Лестоковский, Голландский и т. п. — напоминали о давней и недавней истории, то уносился воображением в те времена. Он представлял картины тех времен, людей, которые проходили по тому же тротуару, возле тех же домов, где теперь шел он, то ли слыша, то ли придумывая их разговоры... Обостренное чувство связи места и события он ощущал всегда. Уже начав работу над «Историей государства Российского», изучая документы и исторические памятники, он представлял себе картины прошлого, призывая на помощь воображение. Оказавшись в полуразрушенном царском дворце в селе Алексеевской, он видел в своем воображении царя Алексея Михайловича среди бояр, «брался рукою за дверь, думая, что некогда отворял ее родитель Петра Великого»; на горе возле Троице-Сергиевой лавры, через которую двигалось ополчение Минина и Пожарского к Москве, как пишет сам Карамзин, «воображение представило глазам моим ряды многочисленного войска под сению распущенных знамен... Мне казалось, что я вижу сановитого Пожарского среди мужественных воевод его и слышу гром оружия, которому через несколько дней надлежало грянуть во имя отечества»; говоря о могилах великих князей и царей московских в кремлевском Архангельском соборе, он пишет: «Сии безмолвные гробы красноречивы для того, кто, смотря на них, вспоминает предания московских летописей от XIV до XVIII столетия. Там искал я вдохновения, чтобы живо изобразить Донского и двух Иоаннов Васильевичей».

В 1781 году окончилось обучение Карамзина в пансионе.

Шаден считал, что Карамзину для завершения образования необходимо послушать лекции в каком-либо немецком университете, и рекомендовал, сообразуясь со склонностями юноши, Лейпцигский, где особенно хорошо было поставлено преподавание филологии и философии, где жил и преподавал Геллерт. Совет Шадена отвечал и собственному желанию Карамзина.

Восемь лет спустя, попав в Лейпциг, но не в качестве студента, а любопытствующим путешественником, он вспоминал свои юношеские мечты: «Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность; сюда стремились мысли мои за несколько лет пред сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! — Но Судьба не хотела исполнить моего желания. — Воображая, как бы я мог провести те лета, в которые, так сказать,

образуется душа наша, и как я провел их, чувствую горесть в сердце и слезы в глазах. — Нельзя возвратить потерянного!»

Поездка в Лейпциг сразу после окончания пансиона не могла состояться по двум причинам: во-первых, отец не мог дать средств на учение за границей, а во-вторых, здраво рассуждая, он полагал, что для обеспечения будущего сыну пора начинать служить. Видимо, в конце концов было достигнуто компромиссное решение: отец дал согласие, чтобы сын продолжил образование в университете, но не в заграничном, а в Московском.

В сентябре Карамзин ездил в Петербург за получением нового отпуска из полка.

Еще в 1774 году он, по обычаю, был записан на военную службу, «состоял в армейских полках» и находился «до окончания образования» в домашнем отпуске, который следовало время от времени продлевать.

Весной он был произведен в подпрапорщики и в полковой книге, куда записывали получающих отпуска, под писарской записью: «Подпрапорщик Николай Карамзин — на год» — расписался: «Синбирского уезда в село Знаменское пашпорт взял Подпрапорщик Николай Карамзин». (Да не смутят читателя орфографические ошибки в этой подписи: русская орфография только устанавливалась, и написание по произношению еще пользовалось законными правами наравне с написанием по правилам грамматики.)

Наверное, Карамзин съездил в родную Карамзинку и вскоре вернулся в Москву.

В 1781/82 учебном году он посещал лекции в Московском университете вольнослушателем. А. И. Тургенев, сын Ивана Петровича, рассказывал со слов самого Карамзина, что за этот год посещения университетских лекций тот «приобрел довольно основательные сведения в истории отечественной и всеобщей; порядочно изучил историю иностранных литератур, теорию изящной словесности и читал образцовых писателей Германии, Франции и Англии в подлинниках. Познания... в философии ограничивались логикой и психологией». Характеризуя образование и познания Карамзина, Тургенев говорит: «Карамзин был очень хорошо образован для своего времени, тем более что он довольно основательно знал все, чему учился».

Из прослушанных Карамзиным в этом году университетских лекций наибольшее впечатление на него должен был произвести курс профессора немецкого языка Ивана Григорьевича Шварца, читавшийся под названием «Курс изящного немецкого слога».

«Основания немецкого слога, равно как и во всех других языках, — утверждал Шварц, — суть троякие. Мы почерпаем оные из грамматики, риторики и философии. *Грамматика* учит нас, как слова соразмерно употреблению языка надлежащим образом ставить и оные между собою сопрягать. *Риторика* показывает способ слог располагать так, чтоб он был красив, согласен с предметами и удобен к убеждению. *Философия*, наконец, подает нам средства, как порядком, так и точно определенными и истинными мыслями, слогу придать силу и убедительную основательность. Ибо *Логика* (Умословие) учит нас мыслить, исследовать, заключать и убеждать. *Психология* (Душесловие) показывает нам свойство человеческих чувствований, а нравоучение доставляет нам сведения о различных человека отношениях».

Шварц разбирал произведения знаменитых немецких поэтов и прозаиков в сравнении со всей мировой литературой, как древней, так и современной, включая русскую. Более того, литературу он считал лишь одним из проявлений человеческого художественного творчества и поэтому «сравниваемы будут, — писал Шварц в проспекте своих лекций, — художнические произведения и работы, как то: статуи, живопись и древние здания с произведениями ума, с показанием их взаимной между собой связи».

«Правил без упражнений недовольно», — говорил Шварц и требовал от слушателей упражняться практически в переводах.

Чтобы содействовать переводческому делу в Москве, профессор Шварц в 1781 году организовал Собрание университетских питомцев из студентов, желающих заниматься переводами. На его заседаниях молодые люди читали и обсуждали свои литературные опыты. Наиболее способные из них делали переводы для изданий Н. И. Новикова.

На лекциях Шварца Карамзин познакомился с одним из опекаемых профессором студентов — Александром Андреевичем Петровым, которому суждено было через несколько лет сыграть в жизни Карамзина большую роль.

Но минул год, кончился срок отпуска Карамзина из полка. На этот раз Михаил Егорович, наверное, как старший Гринев, твердо сказал: «Пора его в службу» — и велел сыну ехать в Петербург и начинать служить. Карамзину пришлось повиноваться.

В Книгу полковых приказов Преображенского полка 10 сентября 1782 года писарь внес регистрационную запись: «Явившегося из отпуска подпрапорщика Николая Карамзина переписать в Бомбардирскую роту, а из 14-ой выключить». Началась служба.

Так как в это время в Петербурге служили братья Дмитриевы, Александр и Иван, то Карамзин был снабжен письмом к ним от их отца.

«Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаясь с прогулки, — вспоминает И. И. Дмитриев, — слуга мой, встретив меня на крыльце, рассказывает мне, что кто-то ждет меня приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу, вижу миловидного, румяного юношу, который с приятно улыбкою вручает мне письмо от моего родителя. Стоило только услышать имя Карамзина, как мы уже были в объятиях друг друга. Стоило нам сойтись три раза, как мы уже стали короткими знакомцами».

Карамзин прослужил в военной службе недолго, всего с полгода. Он обязан был являться на учение — ротное и батальонное, ходить в караулы, то есть пройти до получения первого офицерского чина обычную унтер-офицерскую службу, как сказал один современник, «между строев и караулов». Позже Карамзин вспоминал из своей военной службы лишь один эпизод: неудачную попытку получить назначение в действующую армию. В это время боевые действия продолжались в Крыму и на Кавказе; Карамзин, как вспоминал Дмитриев, «пленился славою воина, мечтал быть завоевателем чернойбровой, пылкой черкешенки».

Назначение офицеров в действующую армию зависело от полкового секретаря, и поскольку служба в ней означала некоторые выгоды, в том числе и быстрее продвижение в чинах, то он за внесение в список брал взятки. У Карамзина, имевшего «всего сто рублей в кармане», на взятку просто не хватило денег, мечты о воинской славе пришлось оставить.

Двенадцать лет спустя в стихотворении «Послание к женщинам» он писал об этом эпизоде своей жизни уже с иронией, но, правда, снабдил эти строки поясняющим примечанием: «Автор, будучи семнадцати лет, думал ехать в армию»:

О вы, для коих я хотел врагов разить,
Не сделавших мне зла! хотел воинской славой
Почтение людей, отличность заслужить,
Чтоб с лавром на главе пред вашими очами
Явиться и сказать: «Для вас, для вас и вами!
Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй!»

Эта строфа имеет знаменательное продолжение: хотя, как пишет Карамзин, цель его устремлений остается прежней, путь для ее достижения он избирает иной:

Для коих после я, в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны («Россия, торжествуй,
Сказал я, без меня!»)... и вместо острой шпаги
Взял в руки лист бумаги,
Чернильницу с пером,
Чтоб быть писателем, творцом,
Для вас, красавицы, приятным...

Действительно, с этого времени литература заняла все его мысли и желания.

«Едва ли не с год мы были почти неразлучными, — продолжает свои воспоминания И. И. Дмитриев, — склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день ото дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем чтении: между тем я показывал ему иногда и мелкие свои переводы, которые были печатаемы особо и в тогдашних журналах».

Иван Иванович Дмитриев стал руководителем Карамзина при первых его шагах в литературной работе, так как сам уже имел некоторый опыт. Уже три года он сочинял стихи. Начав с того, что принимал за стихи две прозаические строки, оканчивающиеся рифмующимися словами, он понемногу — по «Риторике» Ломоносова и другим книгам — освоил технику стихосложения и, увлекаясь легкой французской поэзией, писал в подражание ей эпиграммы, надписи, мадригалы. Его старший брат Александр, живший с ним вместе, читал более серьезные книги и время от времени журил его за то, что он предпочитает древней истории пустые песенки, и называл невеждою и жалким рифмокропателем. В то же время Дмитриев познакомился с несколькими молодыми офицерами, которые, как и он, интересовались литературой и сочиняли сами: подпоручиками Измайловского полка Михаилом Никитичем Муравьевым и Семеновского Федором Ильичом Козлятевым, имена которых впоследствии стали достаточно известны в истории русской литературы и просвещения. Некоторые свои стихотворения Дмитриев печатал в журналах, но, боясь критики брата и знакомых, не подписывал их. За печатаемые стихи не платили, «единственным возмездием, — вспоминал он, — было для меня писать и видеть их в печати». Одновременно он переводил с французского языка небольшие прозаические произведения. «Этот труд был для меня прибылен, — рассказывает Дмитриев, — я отдавал переводы мои

книгопродавцам; печатали их своим иждивением, а мне платили за них по условию книгами. Таким образом, я завел порядочную русскую библиотеку».

Дмитриев предложил Карамзину также заняться переводами для книгопродавцев. Настойчивость друга и, видимо, еще в большей степени собственная внутренняя склонность, уроки Шадена, лекции Шварца и упражнения, выполнявшиеся по его заданию, — все это склонило Карамзина приступить к переводам.

Для первого перевода Карамзин выбрал немецкое сочинение «Разговор Австрийской Марии Терезии с Российской Императрицею Елисаветою в Елисейских Полях». Наверное, на выбор именно такого сочинения повлиял старший брат И. И. Дмитриева, Александр, с которым Карамзин сошелся в то время гораздо ближе, чем с младшим, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Наверное, интерес Александра Дмитриева к истории, вообще к серьезной литературе более отвечал тогдашнему умонастроению Карамзина, чем легкая французская поэзия.

Примечательны персонажи «Разговора...». Мария Терезия (1717–1780) — эрцгерцогиня австрийская, королева Венгрии и Чехии, великая герцогиня тосканская и римско-германская императрица — выдающаяся государственная деятельница, выведшая Австрию на одно из первых мест в Европе, покровительствовавшая наукам и искусствам. Современники отмечали ее такт, обаяние, умение выбирать сотрудников. Одним словом, Мария Терезия представлялась современникам личностью, олицетворявшей просвещенный XVIII век. Елизавета Петровна (1709–1761) — почти ровесница Марии Терезии, ее царствование воспринималось как возрождение России после страшной бироновщины. Можно полагать, что героини сочинения, избранного Карамзиным для перевода, вызывали у него и интерес, и симпатию. О Елизавете Петровне в 1803 году он писал: «Имя Елисаветы напоминает — если не чрезвычайные, великие дела, то, по крайней мере, веселый двор и счастливое царствование, которое после бывших строгостей казалось весьма человеколюбивым. Россия на первых местах государственных увидела опять русских, снова услышала вокруг трона любезный язык свой, отдохнула и оживилась. При Елисавете родилась и торжествовала наша поэзия. Счастливая песня делала счастье стихотворца, и какая-то нежность была общим характером двора государыни мягкосердечной, не хотевшей наказывать смертию и самых злых преступников. Довольно для приятной картины!» Во время перевода «Разговора...» оценка Карамзиным веселой императрицы наверняка была еще более восторженной.

К сожалению, ничего нельзя сказать о содержании «Разговора...» и качестве перевода: до сих пор историками литературы не обнаружены ни оригинал, ни перевод.

Жанр «разговора в царстве мертвых» имел большое распространение в европейских литературах XVII–XVIII веков, в том числе и в России. Порожденный одной из самых читаемых тогда книг — «Сравнительными жизнеописаниями» Плутарха, этот жанр давал возможность автору изобразить избранных им исторических персонажей в том облике, как он их воспринимает, и высказать их устами свое отношение к различным социальным и моральным проблемам. Не обладая художественными и литературными достоинствами, «разговоры» тем не менее интересны тем, что в них ярко отражаются как воззрения эпохи вообще, так и личные взгляды автора.

Чтобы дать представление современному читателю об этом жанре, приводим небольшой отрывок из «Разговора в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом», написанного в 1755 году А. В. Суворовым, в то время 25-летним поручиком, и тогда же напечатанного в журнале А. П. Сумарокова «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»:

«Александр. Я отечество свое, Македонию, возвысил.

Герострат. По смерти твоей Македония осталась равною другим греческой монархии провинциям, а во время твое, жертвуя ненасытному твоему тщеславию, всех более стран беспокойства претерпевала, для того только, чтоб македоняне могли сказать: „Александр, разоритель вселенныя, рожден от нашего народа“. И если сим тебя история возвышает, — возвышает и меня, когда потомки наши читают: „Герострат сжег великолепный ефесский храм“.

Александр. Я пролитием крови своей приобрел себе великое имя.

Герострат. Скажи лучше: пролитием крови множества народа. А я единым своим животом вечную себе сделал славу».

Перевод «Разговора Австрийской Марии Терезии с Российской Императрицею Елисаветой...» — начало профессионального пути Карамзина-литератора.

«Я советовал ему, — рассказывает Дмитриев, — показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за

них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса-Ионеса“, в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его».

Следующим произведением, которое взял Карамзин для перевода, была идиллия «Деревянная нога» Соломона Геснера — швейцарского поэта-сентименталиста, книги которого наряду с сочинениями Геллерта рекомендовал своим ученикам Шаден. В программном стихотворении Карамзина «Поэзия», в примечании к которому сказано: «Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу», Геснеру посвящены следующие строки:

Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец ...
В восторге пел ты нам
Невинность, простоту, пастушеские нравы
И нежные сердца свирелью восхищал.
Сию слезу мою, текущую столь быстро,
Я в жертву приношу тебе, Астреин друг!
Сердечную слезу, и вздох, и песнь поэта,
Любившего тебя, прими...

Идиллию Геснера, написанную стихами, Карамзин перевел в прозе.

Этот его перевод, маленькая книжечка в 18 страничек — «Деревянная нога, швейцарская идиллия, гос. Геснера, перев. с нем.» — вышла в 1783 году и стала первым напечатанным литературным трудом Карамзина.

Вот несколько строк из идиллии Геснера в переводе Карамзина. Зная последующие сочинения писателя, читатель отметит и тяжелую архаичность языка, и искусственное построение фраз, но, надо сказать, для своего времени этот перевод можно считать в числе лучших.

«На горе, с коей текущий источник своими струями орошал близлежащую долину, пас молодой пастух своих коз. Эхо его свирели распространялось по всей лощине и производило приятный шум. Тут увидел он старого и сединами украшенного человека, всходящего на поверхность горы, который, опираясь о свой посох, ибо одна его нога была деревянная, тихими шагами к

нему приближался и сел возле него на одном камне. Молодой пастух смотрел на него с удивлением и устремил свой взор на его поддельную ногу. „Юноша, — сказал ему с усмешкой старик, — ты, конечно, думаешь, что я безразсудно поступлю, всходя на сию гору? Сие путешествие из долины делаю я каждый год один раз. Нога, которую ты у меня видишь, приносит мне более чести, нежели иному две целые; а почему? ты должен оное узнать“. — „Пусть оно почтительно, старичок, — сказал пастух, — но я об заклад бьюсь, что одно другого лучше. Но ты, думаю, устал. Если хочешь, то я пойду и принесу тебе свежей воды из сей стремнины текущего ручья“».

В начале 1783 года умер отец Карамзина Михаил Егорович. Николай Михайлович 6 февраля получил отпуск на 11 месяцев и уехал в Симбирск.

Только моральное обязательство перед отцом заставило Карамзина пойти на военную службу. Теперь его не существовало. Из Симбирска он отослал в Петербург прошение об отставке, несмотря на то, что вся родня была против. Официальное сообщение, «Список нижних чинов, уведенных из Преображенского полка 1 января 1784 года с награждением офицерскими чинами», подвело итог его военной службе: «Подпрапорщик Николай Карамзин, в службе в армейских полках с 1774 года; в 1781 году переведен в Преображенский полк; 28 апреля того же года произведен в Подпрапорщики и до выхода в отставку в Бомбардирской роте; в отставку выпущен с чином Поручика».

Карамзин выходил в отставку с намерением продолжить образование, поэтому причину ее он объяснял так: «Увидев, что эта служба вынуждает меня отказаться от всех прежних моих занятий (ведь военное дело не имеет ничего общего с ученостью), я скоро покинул военную службу».

Но, выйдя в отставку и обосновавшись в Симбирске, Карамзин не смог вернуться к «прежним занятиям». Впрочем, это и неудивительно: он был уже не школяром, не пансионером Шадена, а взрослым, самостоятельным человеком и — после раздела отцовского имения — помещиком. Соблазны и удовольствия светской жизни, которые стали ему доступны, увлекли молодого человека.

Полтора года спустя, в августе 1786 года, в письме Лафатеру он рассказывал об этом периоде своей жизни: «Итак, уже на восемнадцатом году я был в отставке и мечтал заниматься только книгами. В то же время позволял я себе наслаждаться удовольствиями большого света, причем, однако, я думал, что они не в состоянии произвести на меня сильное

впечатление или отвратить меня от моих книг. Но вскоре я увидел, что сердце мое меня обмануло: я сделался большим любителем светских развлечений, страстным картежником».

«Играющим ролю надежного на себя в обществе» или, попросту говоря, самоуверенным человеком нашел его приехавший на короткое время в Симбирск И. И. Дмитриев — «опытным за вистовым столом; любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали».

Несмотря на несомненные и чрезвычайно лестные для молодого человека успехи в свете и увлечение светской суетой, Карамзин все же не чувствовал полного удовлетворения жизнью. Дмитриев рассказывает, что при первом же их свидании Карамзин спросил, продолжает ли он заниматься переводами, и сообщил, что сам думает переводить сказку Вольтера «Белый бык». По мнению Дмитриева, это объяснялось тем, что светская жизнь «не охладила, однако, в нем прежней любви его к словесности». И сам Карамзин в цитированном уже письме Лафатеру рассказ об увлечении светской жизнью заканчивает так: «Однако же благое Провидение не захотело допустить меня до конечной гибели; один достойный муж открыл мне глаза, и я сознал свое несчастное положение».

Человеком, открывшим глаза Карамзину, был Иван Петрович Тургенев — симбирский помещик, служивший в Москве адъютантом московского главнокомандующего, то есть военного губернатора. Он был старше Карамзина на 14 лет — разница огромная, и по возрасту, конечно, принадлежал к поколению тех самых «отцов семейств», которые, по словам Дмитриева, «не охотники слушать молодежь». Тургенев не очень вписывался в круг людей своего положения и возраста. В 15 лет отправленный в Москву на военную службу, он удивил родителей тем, что поступил в Московский университет и четыре года ходил на лекции, упустив эти годы для карьеры, и поэтому, когда вернулся в полк, оказался всего лишь сержантом. В службе особого усердия он не оказывал, чинов не добивался, сверстники давно обогнали его.

А. С. Пушкин в двадцатые годы XIX века как поразительное явление отмечал «обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению». Можно представить, как озадачивал в восьмидесятые годы XVIII века современников и сослуживцев Тургенев, который, не служа «по ученой части», словно студент, посвящает большую часть времени чтению научных книг и то и дело сводит разговор на необходимость познания и

просвещения.

Жажда познания привела Тургенева к масонам. Членом масонской ложи он стал в 1776 году, затем, живя в Петербурге, сблизился с Н. И. Новиковым, стал его другом и помощником в просветительской и масонской деятельности. Тургенев перевел несколько масонских трудов: «О истинном христианстве» Иоанна Арндта, «О познании самого себя» Иоанна Масона, «Апология, или Защищение вольных каменщиков» и др. В то время, когда Тургенев познакомился с Карамзиным, он готовил новое издание «О познании самого себя» И. Масона. Много позже, рекомендуя своим детям прочесть книгу Масона, он писал: «Я уверен, что она может вам принести истинную пользу. Я нравственностью своею много должен сей книге». Христианские этические принципы, проповедуемые в книге и отвечающие от природы вложенным в человека чувствам справедливости и добра, сопровождались практическими советами, как воспитать и развить в себе эти добродетели; например, такими: «беречься всех родов невоздержания в удовлетворении похотений и страстей своих», «завести записную книжку, в которой все вкратце изображено быть должно, и прочитывать ее каждый год».

Беседы с Тургеневым возродили в Карамзине желание посвятить себя научным занятиям и литературе. Тургенев ввел его в основанную им в Симбирске масонскую ложу «Златого венца». Недолгое время Карамзин посещал ее в звании «ученика», а затем получил следующую степень — «товарища».

Николай Карамзин неминуемо должен был пройти через масонство.

Масонство — явление сложное и многогранное. О том, в каком облике оно предстает перед неопитом, имеющим о нем самые общие представления и обладающим реалистическим и логическим умом (а именно таким был тогда Карамзин), очень хорошо рассказал в своих мемуарах «История моей жизни» знаменитый авантюрист XVIII века Джакомо Джироламо Казанова, ставший масоном двадцатилетним юношей.

«Нет в мире человека, — пишет Казанова, — который сумел бы все познать, но всякий человек должен стремиться к тому, чтобы познать все. Всякий молодой путешественник, если желает он узнать высший свет, не хочет оказаться хуже других и исключением из общества себе равных, должен в нынешние времена быть посвящен в то, что называется масонством, и хотя бы поверхностно понять, что это такое. Однако ж он должен быть внимателен, выбирая ложу, в какую желает вступить: дурные люди не могут действовать в ложе, но могут оказаться в числе ее членов, и кандидату надобно остерегаться опасных связей. Те, кто решается вступить

в масонскую ложу для того лишь, чтобы узнать ее тайну, могут обмануться: может статься, они полвека проживут мастерами-каменщиками, так и не постигнув тайны сего братства.

Тайна масонства нерушима по самой природе своей, ибо каменщик, владеющий ею, не узнал ее от другого, но разгадал сам... В тайне должно держаться и все то, что происходит в ложе; однако те, кто по бесчестию своему и нескромности не постеснялись разгласить происходящее в ней, все ж не разгласили главного. Да и как могли они разгласить то, что им самим неведомо? Знай они тайну, не разгласили бы и обрядов.

Во многих непосвященных братство каменщиков производит ныне те же чувства, что в древние времена великие таинства, какие праздновались в Элевсине во славу Цереры. Они занимали воображение всей Греции, и первейшие люди на этой земле мечтали быть в них посвящены».

В «Златом венце» — ложе немногочисленной — Карамзин встретил несколько заметных в симбирском обществе лиц, в том числе вице-губернатора Голубцова. Он надеялся, что масонство откроет ему цель и смысл жизни, знанием которых оно, как утверждали его руководители и теоретики, обладало, укажет направление деятельности, в чем он сейчас очень нуждался, чувствуя разлад в душе. Предание о масонской тайне, открывающейся по мере прохождения масона со ступени на ступень масонской иерархии, давало ему надежду познать ее. Первые шаги на этом пути, первые собрания ложи, первые прочитанные масонские сочинения захватили его.

«И я сознал свое несчастное положение, — писал Карамзин о результате знакомства с Тургеневым. — Сцена переменилась. Внезапно все обновилось во мне. Я вновь принялся за чтение и почувствовал в душе своей сладостную тишину».

О том, что представляла собой симбирская ложа «Златого венца», рассказывает И. А. Гончаров. Ее членом был его крестный, которого писатель много лет спустя, в 1830-х годах, когда ложи давно уже не существовало, расспрашивал о масонстве.

«— Что же вы делали, когда собирались в своей тайной масонской зале: дела какие-нибудь? — допрашивал я крестного.

— Да, были дела, читали письма, протоколы... мало ли дел... — нехотя отвечал он.

— Что же еще? — приставал я.

— Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское — вот что! чуть не ведрами, так что многих к утру развозили по домам».

Немногим больше удалось узнать И. А. Гончарову и от других стариков симбирцев, бывших масонов. Однако их рассказы дают, видимо, полную картину деятельности «Златого венца».

«В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа... — пишет И. А. Гончаров, резюмируя сведения, которые ему удалось получить. — Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием „каменщиков“, и прочими атрибутами масонства.

Не все члены, однако, были посвящены в таинственную суть масонства. Общая всем известная цель была — защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство нуждающимся и т. п. дела благотворительности. Многие из членов занимали низшие должности в иерархии ордена, например, что-то вроде каких-то звонарей и т. п., и повышались в степенях после разных испытаний, смотря по способностям и значению».

Конечно, Карамзин не мог тогда воспринимать масонскую «работу» в таком ироническом плане, но неудовлетворенность должен был чувствовать. Тем более что Тургенев настойчиво уговаривал его ехать в Москву, убеждая, что там он найдет лучшие условия для развития и применения своих знаний и литературного таланта.

Вместе с Тургеневым в начале 1785 года Карамзин приехал в Москву. У него оставались какие-то дела в Симбирске, поэтому на этот раз он пробыл в Москве недолго, несколько недель. Тургенев ввел его в круг московских масонов. Оказалось, что знакомый Карамзину по университету Александр Андреевич Петров тоже масон и входит в масонскую ложу, которой руководит Н. И. Новиков, что членами этой же ложи являются и другие члены Дружеского ученого общества, которые принимают самое близкое участие в издательской работе: пишут, переводят, их труды печатаются в периодических изданиях и выходят отдельными книгами.

Петров редактировал журнал «Детское чтение», который выходил как приложение к «Московским ведомостям». Он выбирал подходящие для детского чтения небольшие статьи и рассказы из иностранных изданий, кое-что сочинял сам; в это время он писал статью о кофе, его произрастании, обработке, истории распространения. Петров предложил Карамзину попробовать перевести или написать что-нибудь для «Детского чтения».

Хотя Петров занимал в ложе одну из низших степеней, или, как они

назывались в масонской иерархии, градусов, его познания в масонской философии и символике были несравнимо большими, чем у Карамзина, поэтому, пользуясь его советами, Николай Михайлович приобрел несколько масонских изданий для изучения. Поддержал Петров и литературные замыслы Карамзина, который, разочаровавшись в Вольтере, с восторгом читал Шекспира и хотел переводить его.

В Симбирск Карамзин возвратился с твердым намерением вскоре вернуться в Москву, но оказалось, что ему придется задержаться в Симбирске еще на некоторое время. Между ним и Петровым начинается интенсивная, интересная для того и другого переписка.

Возвращение к прежним — научным — занятиям шло у Карамзина нелегко, отвычка от серьезной умственной работы давала о себе знать, и тогда им овладела скука. («Скука — тягостное чувство, от косного, праздного, недеятельного состояния души; томление бездействия». — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка.) «Когда скука овладеет мною, то я не могу приняться за работу, — жаловался Карамзин Петрову, — ученье нейдет в голову, и самой Шекспир меня не прельщает, собственная фантазия заводит меня только в пустые степи или дремучие леса, а доброго приятеля взять негде». Петров на это отвечает ему: «Между тем должен я тебе сказать, что совсем не понимаю, как можешь ты почитать свое состояние столь мрачным, каким ты его описываешь. Не погневайся; я думаю, что ты сам отчасти виноват в тех неприятностях, которые терпишь, и *хочешь беспрестанно* скучать. Терпеть иногда скуку есть жребий всякого от жены рожденного. Но также всякий человек имеет способность разгонять скуку и на трудном каменистом пути своим выискивать маленькие тропинки, по которым хотя три или четыре шага может ступить спокойно. Я не знаю, чья бы доля сей способности была менее моей; однако и я по большей части терплю скуку по своей воле. Работа, ученье, плоды праздных и веселых часов какого-нибудь Немца, собственная фантазия, добрый приятель — вот сколько *противоскучий* или *противоядий* скуки мне одному известных. И все эти противоскучия можно найти, не выходя за ворота. Сколько ж можно еще их найти, захотевши искать!»

Но Карамзин, кажется, более всего надеялся, что из этого состояния депрессии, в котором он находится, его выведут труды в масонской ложе и помощь старших «братьев». Большинство писем Карамзина к Петрову не сохранилось, их после смерти Александра Андреевича сжег его брат, но из ответных писем Петрова видно, что масонская тема занимала значительное место в переписке. Свое нравоучение о средствах противоскучия Петров

заключает: «Если же ничто уже тебе пособить не может, то мне остается только сожалеть о том и желать, чтоб как можно скорее пришла та *помощь*, о *коей ты вздыхаешь*. Уповаю, что мы увидимся еще прежде Иоаннова дня, если Богу то будет угодно». Иоаннов день — 24 июня, праздник Рождества честного и славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна — считался главным масонским праздником и в новиковском кружке отмечался с особенной торжественностью. В других письмах Петров также пишет о своем желании увидеть Карамзина до Иоаннова дня, сообщает о новых масонских книгах, о здоровье *братьев*, которых тот знает.

Лишь через полтора месяца Карамзин преодолел депрессию. «„Слава просвещению нынешнего столетия, и края Симбирские озарившему!“ — пишет Петров Карамзину 11 июня 1785 года. — Так воскликнул я при чтении твоих Епистол (не смею назвать Русским именем столь ученые писания), о которых всякий подумал бы, что они получены из Англии или Германии. Чего нет в них касающегося до Литературы? Все есть. Ты пишешь о переводах, о собственных сочинениях, о Шекспире, о трагических Характерах, о несправедливой Вольтеровой критике, равно как о кофе и табаке» (Карамзин собирался писать историю кофе и табака). Радуюсь обретению Карамзиным спокойствия, Петров пишет: «Желаю, чтоб спокойствие твое никогда ничем не нарушилось, но также, чтоб не превратилось в привычку жить в Симбирске к великому неудовольствию тех, которые здесь ожидают нетерпеливо увидеться с тобою поскорее».

Глава III

ЛОРД РАМЗЕЙ. 1785–1789

Карамзин приехал в Москву в конце июля — начале августа. Лето уже сменялось осенью и уходило, поселяя в душе настроение меланхолии.

Когда, освободясь от ига тяжких дум,
Несчастный отдохнет в душе своей унылой,
С любовью ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных немилой,
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь
С печальной кротостью и с видом умиления.
О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья,
Отчаянье прошло... Но, слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь...

Так в стихотворении «Меланхолия» описывает Карамзин свое состояние. Отчаяние прошло, ум и душа требовали работы. Карамзин не очень ясно представлял, чем он будет заниматься в Москве. Среди прочих соображений была и мысль о службе, но очень неопределенная, поскольку на военную идти он не хотел, а статской не знал; кроме того, чтобы куда-нибудь устроиться, нужна протекция, которой не было, да и в мечтах он никогда не представлял себя ни финансистом, ни судейским, ни каким другим чиновником.

И в то же время его точил червь сомнения: Карамзин, твердо убежденный в том, что *служба отечеству* является долгом каждого гражданина, находился под сильным влиянием укоренившегося в обществе представления, что служить можно только на царской, то есть государственной службе. В 1792 году, когда арестованный Н. И. Новиков, отвечая на вопрос о службе, в допросном листе написал, что служил в Измайловском полку шесть лет и вышел в отставку поручиком, Екатерина II, прекрасно осведомленная о его журналистской и книгоиздательской деятельности, замечает: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку

пошел молодой человек... следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству».

Но арест Новикова, расправа над ним, ошельмование его имени — впереди, а сейчас — известность, всеобщее уважение, широкая молва о пользе его деятельности, и Карамзин это знал, видел, и это заставляло по-иному взглянуть на возможности службы отечеству — не только на поле боя и за канцелярским столом.

В 1894 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Н. И. Новикова, В. О. Ключевский в статье «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени» поставил перед собой задачу объяснить, почему «не писатель, не ученый», а всего лишь издатель и книгопродавец «своею деятельностью привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества» и почему постигшая его катастрофа «произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных „случайных“ звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века».

Ключевский пишет, что у Новикова «было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству». В первом, отмечает историк, нашло проявление одно из лучших качеств старого русского дворянства, во втором же — во взгляде на книгу — «надобно видеть личную доблесть Новикова»: в его лице «неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом».

О Новикове, его кружке и деятельности писали многие и много, но Ключевский в своей статье сконцентрировал и выразил главные идеи, которые русская просвещенная публика видела в новиковской деятельности и судьбе. Новиков в какой-то мере стал святым символом русской интеллигенции, поэтому и Ключевский изображает его, по законам агиографии, четко и однозначно. Но в этой однозначности заключаются освобожденные временем от случайного и постороннего истинное содержание и смысл трудов и жизни просветителя XVIII века.

«Московский кружок Новикова, — пишет Ключевский, — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве... Среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства

о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания... Издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779–1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета».

Карамзин, приехав в Москву, попал в сферу многообразного культурного и нравственного влияния новиковского кружка как раз в середине *новиковского десятилетия*.

В это время происходило преобразование «Московских ведомостей» — газеты, издание которой вместе с арендой университетской типографии принял на себя Новиков, и становление журнала «Детское чтение». Карамзин был внимательным и, надобно добавить, памятливым наблюдателем совершавшегося. Впоследствии в практической журналистской деятельности Карамзина будут явственно видны хорошо усвоенные уроки Новикова.

Новиков, с одной стороны, угадывал и удовлетворял потребности читающей публики, с другой — развивал и воспитывал читателей. Карамзин рассказывает в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России», что когда Новиков принял на себя издание «Московских ведомостей», то подписчиков у газеты было не более шестисот; год от году прибавляясь, за десять лет их количество возросло до четырех тысяч, а за следующее десятилетие — до десяти тысяч. Причем среди подписчиков были не только москвичи, но и жители самых разных мест России. Число читателей увеличивалось в основном за счет простого народа, «третьего сословия». «Едва ли в какой-нибудь земле число любопытных так скоро возрастало, как в России, — пишет Карамзин в той же статье. — Правда, что еще многие дворяне, и даже в хорошем состоянии, не берут газет; но зато купцы, мещане любят уже читать их. Самые бедные люди

подписываются; и самые безграмотные желают знать, *что пишут из чужих земель!* Одному моему знакомцу случилось видеть несколько пирожников, которые, окружив чтеца, с великим вниманием слушали описание сражения между австрийцами и французами. Он спросил и узнал, что пятеро из них складываются и берут „Московские ведомости“, хотя четверо не знают грамоте, но пятый разбирает буквы, а другие слушают».

До Новикова «Московские ведомости» были сугубо официальной газетой, редакторами ее назначались профессора Московского университета, которые к тому же исполняли должность цензора, в ней помещались указы правительства, придворные новости, донесения с театра военных действий во время войны, случайные иностранные политические известия, объявления и распоряжения московских властей. Новиков чрезвычайно расширил содержание газеты, из издания для справок она превратилась в издание для чтения.

Вот объявление о подписке на «Московские ведомости», в котором подробно излагается программа газеты:

«Почтенная публика чрез сие извещается, что в университетской книжной лавке начнется со дня публикации сего известия прием пренумерации на „Московские ведомости“ на будущий, 1785 год. Издание оных происходить будет совсем на таком же основании, как и в нынешнем году, так что в листы сии вносимы будут: 1) Манифесты и указы ее Императорского Величества самодержицы всероссийской, издаваемые во всенародное известие. 2) Знатнейшие происшествия при дворе и в обеих столицах. 3) Приключения, касающиеся особливо до любезного нашего отечества. — Под сим последним разумеются новые открытия в науках, художествах и ремеслах, кратко сказать, все то, что может послужить к распространению общественного просвещения, пользе и выгодам или заслуживает любопытство читающих, как то: известия о чрезвычайных бурях, морозах, дождях, наводнениях, засухах, землетрясениях, об уродах и других редкостях. Благотворительные и человеколюбивые деяния, предприятия частных людей, относящиеся к общественной пользе, анекдоты и другие, подобные сим, предметы, достойные к сведению публики, предпочтительно пред прочими известиями вносимы будут в сии листы; но как такое предприятие без содействия любезных наших соотчичей не может произведено быть в действо, то мы и просим

публично всех любителей учености и человечества во всех краях пространного Российского государства, а особливо господ начальствующих в городах, дабы они приняли на себя труд сообщать нам все таковые из своих пределов новости, надписывая их прямо в университетскую типографию и утверждая справедливость оных собственноручным имен своих подписанием. Все сии известия принимаемы будут в типографии безденежно и со удовольствием сообщаемы будут публике. 4) Известия о родившихся, браком сочетавшихся и умерших в разных епархиях, доставляемые нам от преосвященных архипастырей и кои всегда с признательностию принимаемы будут в типографию. 5) Европейские и всего света политические новости, кои выбираемы будут нами из лучших и достовернейших немецких и французских „Ведомостей“, так же как и другие, заслуживающие любопытство читателей, известия и анекдоты, которые извлекаемы нами будут из славнейших иностранных журналов и в рассуждении которых мы соблюдать будем строжайший выбор, так, чтобы не поместить в листы наши ничего такого, что бы читателям могло показаться маловажным; пустым. 6) Известия о новых книгах, выходящих здесь, к которым всегда присовокупляемо будет главнейшее и показание содержащихся в них материй, дабы по тому читатели могли сами судить о достоинстве оных. 7) Известия о приезжающих и отъезжающих знатных особах из сей столицы, с показанием числа прибывших в каждый день разного звания людей и привезенных сюда съестных и прочих припасов. 8) Верный вексельный амстердамский, лондонский и других знатнейших в Европе торговых мест курс. — Таковой обширный и объемлющий многие предметы план не может не заслужить одобрения от истинных любителей просвещения, и хотя произведение оно в действо и сопряжено с некоторыми трудностями, однако ж почтенная публика могла уже с нескольких лет приметить, коликая точность с нашей стороны наблюдается в исполнении тех обязательств, в кои мы вступаем с нею и пред лицом ее. Усердие к отечеству и желание доставить ему по силам нашим пользу есть и будет всегда нашим главнейшим предметом, а благосклонное принятие наших трудов наградою, которую мы ожидаем и ласкаемся приобрести».

Новиков обещал и выполнял свои обещания, что, конечно, также способствовало успеху газеты. Кроме собственно газеты он выпускал «Прибавления» к «Ведомостям», еще более расширявшие их содержание, и в их числе журнал для детей «Детское чтение» — первый русский детский журнал.

В том же объявлении о подписке Новиков объясняет, почему он предпринял это издание, и что оно собой будет представлять: «Благоразумные родители и все, старающиеся о воспитании детей, признаются, что между некоторыми неудобствами в воспитании одно из главных в нашем отечестве есть то, что детям читать нечего. Они должны бывают такие читать книги, которые либо совсем для них непонятны, либо доставляют им такие сведения, которые им иметь еще рано; того ради намерены мы определить „Прибавления“ к „Ведомостям“ для детского чтения и помещать в них исторические, до натуральной истории касающиеся, моральные и разные другие пиесы, которые, писаны будучи соразмерным детскому понятию слогом, доставляли бы малолетним читателям полезное и купно приятное упражнение».

Новиков считал, что материалы, помещаемые в «Детском чтении», должны быть прежде всего познавательными и воспитательными. Он сам написал несколько произведений для первых номеров.

Это были небольшие простые нравоучительные рассказы с прямо высказанным моральным выводом. Рассказы Новикова по построению и литературному стилю очень близки к аналогичным рассказам Л. Н. Толстого.

Вот, например, рассказ «Начало только трудно»: «Маленький Федор весьма не любил рано вставать. Хотя он и усматривал, сколько теряет он времени, просыпая долго, и хотя часто принимал намерение отстать от худой своей привычки, однако ему никогда не удавалось исполнить сие намерение для того, что он не имел довольно бодрости, чтобы одолеть отвращение от раннего вставания». Далее рассказывается, как однажды маленький Федор, преодолев себя, встал рано, поэтому успел выучить урок, учитель был им доволен, а мальчик чувствовал себя спокойно и весело. После этого он решил всегда принуждать себя вставать рано, исполнил свой замысел, и потом раннее вставание сделалось у него привычкой. Рассказ заканчивается моралью: «Надобно только сначала принудить себя раза два; потом уже будет оно гораздо легче, а напоследок и приятным делается».

Несмотря на откровенную дидактичность, рассказы Новикова были художественными произведениями, в них, особенно в повести «Переписка

отца с сыном о деревенской жизни», есть и сюжет, и образы, и пейзажи, и столкновение характеров, и психологические портреты, наконец, они просто занимательны. К сожалению, Новиков-писатель уже тогда в сознании современников, не говоря о последующих поколениях, был оттеснен Новиковым-издателем (Ключевский даже сказал о нем: «не писатель»), но Карамзин увидел и оценил в нем прежде всего писателя. «Мы еще бедны писателями...» — замечает он тогда в одном из писем Лафатеру и среди немногих русских писателей и поэтов называет Новикова. Он сожалеет, что «теперь он более ничего не хочет писать; может быть, потому, что нашел другой и более верный способ быть полезным своему отечеству».

Карамзин учится у Новикова не только журналистскому делу, но и писательскому. В. Г. Белинский очень высоко ставил «Детское чтение» и, сетуя на низкий уровень литературы для детей 1840-х годов, писал: «Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели „Детское чтение Новикова...“».

«В России писать для детей первый начал Карамзин, как и много прекрасного начал он писать первый, — утверждает Белинский в статье „О детских книгах“. — К „Московским ведомостям“ прилагались листки его „Детского чтения“, в котором замечательна „Переписка отца с сыном о деревенской жизни“». Много читателей впоследствии доставил Карамзин и себе и другим, подготовив этим «Детским чтением». Ошибочно приписав авторство «Переписки...» Карамзину, Белинский тем самым устанавливает объективное литературное родство карамзинской прозы с новиковской и заставляет по-новому взглянуть на истоки Карамзина-писателя.

«Детское чтение» стало первой профессиональной литературной школой Карамзина. Это приложение было поручено Новиковым Петрову, который должен был подыскивать материалы, переводить, писать и неукоснительно выпускать в свет каждую неделю по листу, то есть тетрадку в 16 страничек. Петров, что видно по его письмам Карамзину в Симбирск, собирался привлечь друга к сотрудничеству в журнале, и когда тот приехал в Москву, то, с одобрения Новикова, предложил ему разделить и редакторскую работу.

По приезду в Москву Карамзин поселился в принадлежавшем новиковскому Дружескому ученому обществу и Типографической компании доме возле Чистых прудов, в переулке, называвшемся по находившемуся в нем храму Архангела Гавриила Архангельским, известном также и под названием Кривое колено, потому что, идучи от Мясницкой до Чистых прудов и огибая церковь, этот переулок делал целых

три поворота-колена. (В настоящее время ближайшая к Чистым прудам часть переулка называется Архангельским переулком, а дальняя — Кривоколенным.) Дом был трехэтажный, старой постройки, без всяких украшений и вместительный. Он был куплен Дружеским обществом еще при Шварце и предназначался для осуществления просветительских и масонских предприятий. В нем были устроены комнаты для заседаний масонских лож, заведена типография в два стана, в которой печатались только масонские книги из тех, что не поступали в продажу, а раздавались с условием не показывать их непосвященным и тем более не давать читать. Эту типографию между собой масоны называли тайною. Остальные помещения занимало жилье. Здесь находили приют те из членов новиковского кружка, кто в нем нуждался. Тут жили Гамалея, князь Енгальчев (член Типографической компании «без капитала»), студенты, молодые переводчики. В доме жил до своей кончины в 1784 году и сам Шварц.

Архангельский переулок был тихий, по-слободскому зеленый, над домами и садами возвышался храм Архангела Гавриила, выстроенный во времена и на средства любимца Петра великого светлейшего князя Меншикова, а потому называемый также Меншиковой башней. Он отличался от обычных московских церквей с куполами, так как был увенчан шпилем и украшен лепниной. Меншикова башня — классический образец стиля барокко, но в конце XVIII века, не особенно вдаваясь в тонкости различий архитектурных стилей, в России называли все постройки, отличавшиеся от традиционных русских, *готическими*. Так и Карамзин в своих описаниях называл храм готическим.

Карамзин прожил в этом доме, «благословенном жилище на Чистых прудах», как он называл его впоследствии, три с лишним года. Это были годы трудов, учебы, первых творческих успехов. И. И. Дмитриев, видимо со слов самого Карамзина, утверждал, что «в этом-то „Дружеском обществе“ началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением... Между тем знакомился и с молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг с разных языков».

Сам Карамзин в то время свое положение в новиковском кружке характеризовал в письме Лафатеру: «Я... живу в Москве в кругу моих истинных друзей и руководителей».

И. И. Дмитриев бывал у Карамзина в доме Дружеского общества. «Я как теперь вижу, — рассказывает он в воспоминаниях о комнатах, которые

занимали Карамзин и Петров, — скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго пред приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа».

Карамзин одновременно находился под двумя влияниями: старших «братьев», масонов, и молодых литераторов — руководителей и друзей; впрочем, вернее было бы сказать, что каждый из них совмещал в себе руководителя и друга или друга и руководителя.

Со всеми старшими и наиболее заметными членами новиковского масонского кружка Карамзин был знаком достаточно близко. Их отношения к нему были более руководительными, чем дружескими, да и Карамзин хотел видеть в них руководителей в духовном познании и примером в жизни. Ключевский в своей статье о Новикове и его времени дает емкие характеристики главнейших деятелей московского масонства.

«Из них рядом с Новиковым, — пишет Ключевский, — мне бы хотелось поставить прежде всех других И. В. Лопухина. Чтение его „Записок“ доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII веке, когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его „Записки“, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню — не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он привык любоваться удовольствием, такое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в Уголовной палате, Совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, — не добродетель, а случайность, каприз

природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты, как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего.

...А для изображения С. И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства... Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 рублей и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с Богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 рублей на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Другие члены кружка были проникнуты тем же новиновским или лопухинским духом: это были лучшие, образованнейшие люди московского общества, князя Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров».

К названным Ключевским лицам надо еще добавить Федора Петровича Ключарева — почтового чиновника (с 1801 года московского почт-директора, впоследствии сенатора), поэта, с конца 1770-х годов масона, имевшего степень мастера стула, близкого друга Новикова,

который по выходе из Шлиссельбургской крепости сначала заехал в деревню к Ключареву, а уж потом поехал домой.

Херасков и Ключарев вызывали у Карамзина особый интерес и симпатию, потому что были литераторами. Их в письме Лафатеру он называет как поэтов, «заслуживающих быть читанными».

Своей издательской и просветительской деятельности Новиков стремился придать общественное звучание, сделать ее не лично своим делом, а общественным, образовав в 1784 году упомянутую Типографическую компанию, в которую вошли, внося свой капитал, многие члены его кружка: князья Ю. Н. и М. Н. Трубецкие, И. П. Тургенев, А. М. Кутузов, П. В. и И. В. Лопухины, С. И. Гамалея и др. Одновременно созданное Дружеское ученое общество, которым руководили также члены новиковского кружка, ставило своей задачей подготовку молодых людей для просветительской и научной деятельности, в него привлекали студентов университета и семинаристов, проявивших способности преимущественно в филологии и медицине. Наиболее способных студентов Дружеское ученое общество отправляло за свой счет для завершения образования за границу. Была организована специальная переводческая семинария, действовало литературное общество, на заседаниях которого молодые люди читали свои сочинения, переводы и обсуждали их. Все они сотрудничали в новиковских изданиях. Некоторые вступили со временем в руководимую Новиковым масонскую ложу. Несколько человек семинаристов и переводчиков жили в доме на Чистых прудах.

С некоторыми обитателями дома Карамзин был особенно близок. Кроме Петрова сердечная дружба связала его еще с одним обитателем дома — Алексеем Михайловичем Кутузовым. Он был на 17 лет старше Карамзина и по возрасту принадлежал к числу руководителей, но, по характеру неспособный чем-либо или кем-либо руководить, предпочитал быть не руководителем, а товарищем. Среди членов Типографической компании Кутузов был самым образованным и знающим человеком. Семнадцатилетним юношей, будучи придворным пажом, он с несколькими своими товарищами, обнаружившими склонность к научным занятиям, среди которых был и А. Н. Радищев, был отправлен учиться в Лейпцигский университет, курс которого и окончил. Возвратившись в Россию, Кутузов служил в Сенате, затем перешел в военную службу и в 1783 году в чине премьер-майора вышел в отставку. Официальной причиной отставки была выставлена болезнь — «стеснение в грудях», в действительности же причиной стало убеждение в бессмысленности своей службы, к которой он не имел ни интереса, ни способностей, о чем знали и его начальники,

выдумывая для него какие-нибудь пустые поручения.

Преобладающим его настроением была меланхолия, а занятием — чтение. Еще служа в полку, Кутузов увлекся переводами, в частности, тогда он впервые перевел «Ночные думы» Юнга под названием «Плач, или Нощные мысли». В Дружеском обществе он занимался переводами, сам переводил (в его переводе изданы «Химическая псалтирь, или Философические правила о камне мудрых» Парацельса, «Страшный суд и торжество веры» Юнга, «Мессиада» Клопштока) и редактировал работы студентов переводческой семинарии. Кутузов хорошо знал европейскую литературу, отдавая предпочтение немецким и английским авторам — сентименталистам и предромантикам, чем оказал сильное влияние на литературные вкусы Карамзина. Под руководством Новикова в Москве работало несколько масонских лож, в которых начальниками были его ближайшие сподвижники, одной из них — «Пламенеющим треугольником» — руководил Кутузов. По всей видимости, именно в эту ложу входил Карамзин, а его масонским наставником был Кутузов.

Неуверенный, сомневающийся в себе Кутузов в одном был непоколебимо тверд — в неуклонной верности взятым на себя обязательствам. Он оставался холостым, потому что всю жизнь был верен юношеской платонической любви к женщине, которая была замужем и с которой он переписывался. Связанный юношеской дружбой с Радищевым, прожив с ним в одной комнате 14 лет, Кутузов в своих убеждениях кардинально разошелся с другом: тот считал, что социальное зло коренится в устройстве общества и исправить его можно борьбой и разрушением государственного строя; Кутузов же видел причину бедствий и ненормальности человеческих отношений в самом человеке, и выход представлялся ему в самосовершенствовании каждого и воспитании в себе добрых качеств. Однако, несмотря на это, Радищев, уверенный в дружеской верности Кутузова, через 15 лет после того, как они расстались, посвящает ему «Путешествие из Петербурга в Москву»: «А. М. К. Любезнейшему другу. Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет; хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно, — и ты мой друг». Радищев оказался прав: Кутузов не согласился с идеями посвященной ему книги, но один из немногих не отказался от Радищева и писал ему в ссылку. «Я разлучен от моего друга, — говорил Кутузов, — может быть, навсегда; но его дружба пребывает со мною».

В доме Дружеского общества жил также полусумасшедший немецкий поэт и драматург Якоб Ленц, который, как говорил о нем Карамзин,

потерял рассудок от «глубокой чувствительности» и «великих несчастий». Он лишь временами пребывал в помрачении ума; когда же болезнь отступала, вспоминает Карамзин, «он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями».

Якоб Ленц — яркая и, пожалуй, самая последовательная личность той славной эпохи немецкой литературы, которая получила название «Буря и натиск». Гёте, в юности его друг, а потом недоброжелатель, сказал о нем, что он «пролетел метеором по горизонту немецкой литературы». В молодые годы в кружке Гёте, Гердера, в ряду «бурных гениев» Ленц занимал одно из первых мест: он пишет поэму «Язвы страны», создает драмы, разрушающие каноны драматургии классицизма, проповедует Шекспира, его любовная лирика ставится на один уровень с поэзией Гёте... Затем он переживает несчастную любовь к девушке, которая была влюблена в Гёте, потом пришла такая же безответная страсть к женщине из высшего общества. С течением времени окружающие начинают замечать странности в его поведении, раздражительность, рассеянность, иногда он впадает в тяжелую депрессию. Припадки душевной болезни обозначались все сильнее, ему казалось, что он окружен завистью и недоброжелательностью, и он покушается на самоубийство. Его товарищи по «Буре и натиску», развиваясь, изменялись, выходили из юношеского возраста, отходили от юношеских чувств и поведения, он же оставался прежним — «бурным гением». Таким появился Ленц и в Москве.

Ленц родился в Лифляндии. Отец его был пастором, в 1780-е годы служил в Риге, занимая должность генерал-суперинтенданта. После разрыва с друзьями Ленц решил уехать из Германии. Пожив немного у отца в Риге, поссорившись с родными, он уезжает в Петербург и в конце концов оказывается в Москве. Это случилось в 1781 году. По словам Ленца, в древнюю русскую столицу его привело желание «изучать историю своего отечества, то есть России», причем он повторял, что недостаточное знание русской истории не позволяет ему занять место домашнего учителя, которое ему предлагали, хотя он почти нищенствовал. Известный историк и путешественник Герард Фридрих Миллер отнесся к Ленцу с сочувствием, принял в свой дом, где тот и жил до смерти Миллера, случившейся в 1783 году.

В Москву Ленц приехал, уже будучи масоном. Видимо, через посредство Шварца он познакомился с Новиковым и таким образом оказался жильцом дома Дружеского общества.

Для Карамзина Ленц был человеком того мира, к которому он испытывал уважение и интерес. В дом на Чистых прудах с Ленцем пришел

мятущийся творческий дух лучших лет «Бури и натиска», дух смелых мечтаний, планов и самоотверженного труда. Ленц полон литературных планов: он пишет оду Екатерине II, в которой прославляет ее как продолжательницу Петра I, начинает трагедию «Борис Годунов», пишет статьи по эстетике, педагогике, в большинстве оставшиеся в черновиках и набросках, задумывает создание Московского литературного общества, членами которого были бы вельможи и дамы высшего общества, разрабатывает его устав, порядок заседаний в залах, украшенных «славными картинами», оговаривая, что это общество ни в коем случае не должно заниматься политическими проблемами, а его члены, забыв разногласия, объединяются «в любви к Божеству». Цели общества Ленц формулирует в трех пунктах: «1) обновлять и украшать храмы столицы; 2) внушать добрую нравственность всем согражданам этого громадного города; 3) изыскивать значительные средства для училищ всякого рода». Кроме того, он строил планы издания в Москве газеты на французском языке, основания публичных библиотек, была у него идея перевести Библию «на все языки» и отпечатать в типографии Новикова.

Ленц рассказывал о своей жизни в Германии, в Швейцарии, о людях, с которыми был знаком, — о Гердере, Гёте, Виланде, Лафатере и др. Карамзин был внимательным и заинтересованным его слушателем. Влияние Ленца на ранние литературные занятия и замыслы Карамзина несомненно.

Не могли не производить на Карамзина впечатления и сам облик, и нравственный характер Ленца. В некрологе (Ленц умер в 1792 году скоропостижно на улице от удара) современник рассказывает о Ленце последних лет: «Никем не признанный, в борьбе с бедностью и нуждой, отдаленный от всего, что ему было дорого, он не терял, однако, никогда чувства собственного достоинства: его гордость от бесчисленных унижений раздражалась еще больше и выродилась наконец в то упорство, которое обыкновенно бывает спутником благородной бедности. Он жил подаями, но не принимал благодеяний от всякого и оскорблялся, если, без его просьбы, предлагали ему деньги или помощь, хотя его вид и вся его внешность являлись настоятельнейшим побуждением к благотворительности».

Безусловно, круг общения Карамзина не ограничивался обитателями дома на Чистых прудах. Он поддерживал знакомство с Шадемом и некоторыми иностранцами (например, с немцем доктором Френкелем), у которых бывал в годы учебы в пансионе. В случайно сохранившемся письме И. И. Дмитриева, относящемся к его пребыванию в Москве в 1787

году, называется несколько имен светских знакомых Карамзина, с которыми они обедали: Спиридов, князь Хованский, Раевский, Ляпунов. В эти годы Карамзин хотя и не увлекался светской жизнью, но и не чуждался общества. Бывая у М. М. Хераскова, он должен был встречаться со многими московскими литераторами, которые по вечерам собирались в доме старого поэта на Новой Басманной. «Тогдашние московские поэты, — по словам И. И. Дмитриева, — редко что выпускали в печать, не прочитавши предварительно ему».

Особое место среди московских знакомств Карамзина занимал дом Плещеевых, в который его ввел Кутузов, приятель и сослуживец хозяина — начальника Казначейской палаты Алексея Александровича Плещеева. Плещеев, простой, добрый и веселый человек, много старше обитателей дома на Чистых прудах, занятый службой, имением — и тем и другим без особого успеха, — любил и уважал Кутузова, но не разделял его масонских увлечений и, будучи знаком с главными московскими масонами, сам масоном не стал. Жена Плещеева Анастасия Ивановна, которую в семье и друзья обычно называли на русский лад Настасьей, имела склонность к изящной литературе и к меланхолии, была чувствительна, причем ее отношение к тому или иному человеку, особенно симпатичному ей, приобретало обычно аффектированный, с оттенком истеричности, характер, ее дружба, которую она обычно называла *любовью*, сопровождалась ревностью, обидами и деспотизмом. «Мне очень досадно, что я так много люблю, — писала она Кутузову, упрекая, что он редко пишет ей. — Знав свое сердце, мне должно себя от всякой любви отучать». Естественно, такая опека, несмотря на добрые намерения, утомляла опекаемого. Но Карамзину любовь и забота Настасьи Ивановны в какой-то мере возмещали отсутствие семьи, и он охотно подчинился ее деспотизму.

Кутузов, видимо, знакомил всех своих друзей с Плещеевыми, и они были сердечно приняты у Плещеевых в их доме на Тверской улице в приходе Василия Кессарийского.

У них бывал Ленц, сохранилось его стихотворение на французском языке «К мадемуазель Плещеевой, ребенку девяти лет, и ее семилетней сестре». Между прочим, к старшей, Александрин, обращено и поздравительное двустишие Карамзина:

Ты в мрачном октябре родилась — не весною, —
Чтоб сетующий мир утешен был тобою.

Однако лишь один Карамзин, как говорится, вошел в семью, зимой много времени проводил в их московском доме, летом жил в их орловском имении Знаменском. Настасья Ивановна называла Карамзина «сыном и другом». И. И. Дмитриев в своих воспоминаниях, рассказывая, что Карамзин, живя в Москве, «с удовольствием проводил вечера у Настасьи Ивановны», говорит: «В ее-то сельском уединении развивались авторские способности юного Карамзина. Она питала к нему чувства нежнейшей матери». Сама же Плещеева впоследствии вспоминала: «Лучшее его удовольствие было, как вы сами знаете, быть со мною, он читал у меня в комнате, рассуждал со мною, хотя часто мы с ним спорили, писал у меня; одним словом, я была или думала быть его лучшим другом».

Наверное, в отношениях с Плещеевой была легкая влюбленность или игра во влюбленность. Скорее всего, все-таки игра, не переступавшая строгих границ и не мешавшая Карамзину иметь романы, не вызывавшие у Настасьи Ивановны ни малейшего возмущения.

В 1795 году Карамзин написал уже упоминавшееся большое стихотворение «Послание к женщинам», в котором он говорит о том, какое огромное место в его жизни занимают женщины. Он пишет о матери, давшей ему жизнь, о красавицах, ради благосклонности которых он готов был жертвовать жизнью на поле брани и стал поэтом и которые дарили его любовью; в женщине, говорит Карамзин, он обрел истинного друга. Заключительная часть «Послания...» посвящена Настасье Ивановне Плещеевой:

Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек. Что был я? сиротою
В пространным мире сем: скучал самим собою,
Печальным бытием. Никто меня не знал,
Никто участия в судьбе моей не брал.
Чувствительность в груди питая,
В сердцах у всех людей я камень находил;
Среди цветущих дней душою увядая,
Не в свете, но в пустыне жил.
Ты дружбой, искренностью милой
Утешила мой дух унылый;
Святой любовью своей
Во мне цвет жизни обновила

И в горестной душе моей
Источник радостей открыла.
Теперь, когда я заслужил
Улыбку граций, муз прелестных,
И гордый свет меня улыбкою почтил,
Немало слышу я приветствий, сердцу лестных,
От добрых, нежных душ. Славнейшие творцы
И Фебовы друзья, бессмертные певцы,
Меня в любви своей, в приязни уверяют
И слабый мой талант к успехам ободряют.
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золотым и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? Он любил:
Он нежной женщины нежнейшим другом был!

Петров в одном письме Карамзину из деревни в Москву писал: «Ты в Москве. А. А. (Плещеев. — В. М.) уже уехал, и потому ты почти всегда дома бываешь; несколько скучаешь; но еще более работаешь; десятую долю старых планов производишь в действо, делаешь новые планы: изредка едешь под Симонов монастырь с котомкою книг и прочее обычное творишь. Не правда ли? — Поэзия, музыка, живопись воспеты ли тобою? Удивленные Чистые пруды внемлют ли Гимну Томсонову, улучшенному на языке российском? Ликует ли русская проза и любит ли каким-либо новым светильником в ее мире, тобою возженном? Отправлено ли уже письмо к Лафатеру с луидором? — Прочитай сии вопросы и пересмотри свои композиции с отеческою улыбкою, если они существуют уже в телах; если же только души их носятся в голове твоей, то встань с кресел, посдвинь колпак немножко со лбу, приложи палец ко лбу или к носу и, устремивши взор на столик, располагай, что когда сделать; потом вели сварить кофе, подать трубку, сядь и делай — что тебе угодно».

Это описание замечательно не только своими бытовыми подробностями, что само по себе ценно, но еще тем, что оно раскрывает главное содержание тех лет жизни Карамзина, передает ее творческую наполненность. Позже, вспоминая это время, Карамзин в «Послании к И.

И. Дмитриеву» (1793) напишет о нем как о времени надежд и творчества:

И я, о друг мой! Наслаждался
Своею красною весной,
И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей.
Как нежных братий и друзей;
Желал добра им всей душою;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их.
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Не бесполезно жить для них —
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных душах,
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотою,
Орудием небесным быть,
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял.
Любуясь прелестью награды —
И тихий свет моей лампы
С звездою утра угасал.

Самозабвенная радостная работа всю ночь — не поэтическая фигура: Карамзин рассказывал, как однажды за переводом оды Аддисона он просидел целую зимнюю ночь, «и в самую ту минуту, когда написал последние два стиха:

И в самой вечности не можно
Воспеть всей славы Твоея! —

восходящее солнце осветило меня первыми лучами своими. Сие утро было одно из лучших в моей жизни!».

Масонство, имевшее для Карамзина в первые годы пребывания в новиковском кружке большую притягательность и вселявшее большие надежды на духовные тайные знания, а также литературные занятия требовали времени и напряжения всех сил. Петров был для него образцом и примером, но знающий изящную литературу, как отечественную, так и европейскую, тонко чувствующий и понимающий красоту стиля, он тем не менее отказавшись от оригинального творчества, занимался только переводами, выбирая лишь сочинения, входящие в круг масонского чтения и изучения.

Видимо, по совету кого-то из масонских руководителей Карамзин приступил к переводу обширного труда немецкого богослова Х. Штурма «Беседы с Богом, или Размышления в утренние часы, на каждый день года», который ввиду большого объема решено было издавать как периодическое издание — выпусками. Карамзин брал на себя расходы по изданию книги, которые, как уверяли его, он вернет после ее продажи через типографскую лавку.

Карамзин не довел перевода Штурма до конца, но, поскольку, видимо, на книгу находились покупатели, работу довершили другие переводчики Дружеского общества — А. А. Петров, Д. И. Дмитриевский, И. Г. Харламов. По свидетельству И. И. Дмитриева, Карамзиным переведены первые два или три выпуска. Наверное, Карамзин оставил перевод Штурма из-за того, что это сочинение по стилю и по сути принадлежало как раз к тому роду «теологических, мистических, слишком ученых, педантических, сухих пьес», против издания которых он выскажется публично спустя четыре-пять лет.

Затем Карамзин берется за перевод поэмы швейцарского поэта Галлера «О происхождении зла» — «поэмы великого Галлера», как по выходе перевода было написано на обложке. Карамзин перевел поэму не стихами, а прозой, и это было оправданно, потому что Галлер — ученый, натуралист, философ — даже в стихотворной форме прежде всего преследовал не поэтические, а просветительские задачи (так, его описательную поэму «Альпы» позднейшая критика находила «слишком обстоятельной и научной»). Проза давала больше возможности точнее передать мысль автора.

Поэма Галлера была напечатана в типографии Новикова. Свой перевод Карамзин посвятил старшему брату — Василию Михайловичу: «Родство и дружба соединяют сердца наши союзом неразрывным. Всегда почитаю я то время счастливейшим временем жизни моей, когда имею случай излить пред Вами ощущения сердца моего; когда имею случай сказать Вам, что я

Вас люблю и почитаю. Да внушит же Вам приношение сие оную истину и да послужит новым для Вас уверением, что я во всю жизнь свою буду Вашим покорнейшим братом и слугою». Брат служил в армии в Петербурге, виделись они редко, но Карамзин дорожил семейными связями.

Карамзин считал перевод удачным, посвящение брату — лишнее тому подтверждение. По сравнению с тогдашними средними переводами он, конечно, не из худших, но будущая проза Карамзина в нем почти не угадывается. Вот несколько строк из этого перевода — описывается лес, пронизанный солнечными лучами: «...зеленая ночь разнообразно совокупляется тут со светозарным днем. Коль приятна тишина древес! Коль приятно между древами сими раздающееся эхо, когда собор счастливых тварей, исполненных спокойствия, в беззаботном наслаждении воспевают радостные песни».

В карамзинское время работа переводчика несколько отличалась от того, чем она стала впоследствии: в ней было меньше ремесла, но более творчества. Переводчик (конечно, кроме тех, которые переводили лишь для заработка, надо сказать, весьма скудного) обычно брал для перевода произведение не просто близкое ему по духу или мыслям, но такое, которое он написал бы сам, если бы мог, то есть переводимый автор становился как бы выразителем идей переводчика, причем переводчик считал себя вправе сокращать, поправлять текст, дополнять и уточнять в соответствии с собственными воззрениями. Обычным способом полемики с автором и высказывания своих мыслей были примечания переводчика. Хрестоматийно известно примечание А. Н. Радищева к слову «самодержавство» в переведенной им с французского книги Мабли «Размышления о греческой истории, или О причинах благоденствия и несчастья греков» и изданной в 1773 году Н. И. Новиковым. Это примечание в половину книжной страницы представляет собой собственно не примечание, а краткое, но полное и четкое изложение взгляда переводчика на одну из основных политико-правовых проблем: взаимоотношения народа и власти и прав того и другой.

Карамзин также снабжает перевод Галлера своими примечаниями, из которых читатель узнает его взгляды на различные предметы.

Последнюю фразу приведенного выше описания он комментирует так: «Под сими счастливыми тварями разумеет Галлер альпийских пастухов. Все слышанное мною от путешествующих по Швейцарии о роде жизни их в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливых часто понуждало меня восклицать: „О смертные, почто уклонились вы от

начальной невинности своей! почто гордитесь мнимым просвещением своим?“». Он поддерживает мысль Галлера: «Бог не любит никакого принуждения; мир со всеми своими недостатками превосходнее царства ангелов, воли лишенных» — следующим примечанием: «Мысль, полное внимание заслуживающая, — свободная воля токмо может и паки восстановить падшего; она есть драгоценнейший дар Творца, сообщенный им тварям избранным». К замечанию Галлера: «Извне не втекает никакое утешение, когда мы во внутренности мучимся. Наслаждение бывает для нас отвратительно, коль скоро лишается истинных потребностей» — Карамзин делает примечание: «Истина неопровергаемая и каждым человеком ощущаемая! Будешь окружен возлюбленными, будешь знатен, будешь богат, но все еще не будешь спокоен. Для чего? Для того, что ты лишен истинных потребностей: все сии блага суть для тебя блага чуждые». Галлер описывает состояние духа по смерти: «Дух, удаленный уже от всего того, чем он доселе омрачался, зрит себя в таком мире, в котором нет ничего ему принадлежащего... Истина, коей силе полагает препоны мятеж мира, не обретает уже ничего, что бы ощущение ее в сей пустыне умалить могло; пожирающий огонь ее проникает внутренность натуры и в глубочайшем мозге ищет самонаименьших следов зла». Карамзин на это замечает: «Сочинитель, некоторым образом темно, предлагает здесь священную истину, такую истину, которую мы не найдем иногда и во множестве томов сочинений нынешних модных теологов».

В примечаниях видно стремление Карамзина к критическому усвоению текста; можно отметить, что его рассуждения вращаются в круге масонских идей.

Юношеские стремления, поиски, обретения, мысли, сомнения и верования Карамзина неразрывно связаны с его дружбой с Петровым. Среди друзей и знакомых Карамзина, которых И. И. Дмитриев узнал во время своего недолгого пребывания в Москве, он особенно отмечает Петрова. «Между ними (то есть переводчиками Дружеского ученого общества, жившими в доме на Чистых прудах. — В. М.), — пишет он в воспоминаниях, — по всей справедливости почитался отличнейшим Александр Андреевич Петров. Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностью к здоровой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики, а упражнялся только в переводах... Карамзин любил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба они питали равную страсть к

познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меншиковой башни...»

Сам Карамзин неоднократно впоследствии вспоминал Петрова, и всегда с неизменной любовью и благодарностью. В статье «Цветок на гроб моего Агатона», посвященной памяти Петрова (он умер в 1793 году), Карамзин создает его литературный портрет, облеченный в форму воспоминаний.

«...Он был ни богат, ни знатен, — начинает свой рассказ Карамзин, — он был человек, благородный по душе своей, украшенный одними достоинствами, не чинами, не блеском роскоши, — и сии достоинства таились под завесою скромности».

Далее Карамзин говорит о том сильном и благодетельном влиянии, которое оказал на него Петров: «Верный вкус друга моего, отличавший с великою тонкостию посредственное от изящного, изящное от превосходного, выученное от природного, ложные дарования от истинных, был для меня светильником в Искусстве и Поэзии. Восхищенный красотою цветов, растущих на сем поле, дерзал я иногда младенческими руками образовать нечто подобное оным и незрелые свои мысли изливать на бумагу; он был первым моим судьей, и хотя замечал недостатки, однако же, по снисхождению и нежности своей, ободрял меня в сих упражнениях. Ах! я жалею о том человеке, который занимается Литературою и не имеет знающего друга!

Но никогда не хотел Агатон испытывать дарований своих в собственных сочинениях. Тихий круг читателей нравился ему лучше, нежели заботливое состояние Автора, которого спокойствие нередко зависит от людского суждения. Великие образцы были у него пред глазами. „Надлежит или сравняться с ними, — думал он, — или не выходить на сцену“; первое казалось ему трудным, и для того он молчал. Но разные переводы, им изданные, доказывают, что слог его был превосходен».

Карамзин вспоминает романтические обстоятельства их бесед:

«Свет был тогда чужд и мне, и ему: ему еще более, нежели мне; но мы любили книги и не думали о свете; имели немного, немногим были довольны и не чувствовали недостатка. Прелести разума, прелести душевные казались нам всего любезнее, ими пленялись мы, ими в творениях великих умов наслаждались и нередко за Оссианом, Шекспиром, Боннетом просиживали половину зимних ночей. Часто дух наш на крыльях воображения

облетал небесные пространства, где Орион и Сириус в золотых венцах сияют; там искали мы нежных друзей своему сердцу, и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я расставался с Агатом и возвращался домой с покойною душою с новыми знаниями или с новыми идеями.

Если когда-нибудь осмелюсь я слабым пером своим начертать историю моих мыслей, тогда опишу, может быть, и некоторые из тех ночных бесед, в которых развивались первые мои метафизические понятия; печать молчания хранит их теперь в груди моей».

В 1791 году Петров уезжал на службу в Петербург, Карамзин оставался в Москве. В стихотворении «На разлуку с Петровым» Карамзин писал, что желает ему успехов на том пути, на который он вступает, что его на нем ждут «знатность и слава». Но и тогда, пишет Карамзин:

Со вздохом вспомнишь то приятнейшее время,
Когда со мной жила под кровом тишины;
Когда нам жизнь была не тягостное бремя,
Но радостный восторг; когда удалены
От шума, от забот, с весельем мы встречали
Аврору на лугах и в знойные часы
В прохладных гротах отдыхали;
Когда вечерние красы
И песни соловья вливали в дух наш сладость...
Ах! часто мрак темнил над нами синий свод;
Но мы, вкушая радость,
Внимали шуму горных вод
И сон с тобою забывали!
Нередко огонь блистал, гремел над нами гром;
Но мы сердечно ликовали
И улыбались пред Отцом,
Который простирал к нам с неба длань благую;
В восторге пели мы гимн славы, песнь святую,
На крыльях молнии к Нему летел наш дух!..
Ты вспомнишь все сие, и слезы покатятся
По бледному лицу...

Несмотря на влияние, которым Петров пользовался у Карамзина, он не подавлял его своим авторитетом. Безусловно, получив систематическое образование, Петров обладал более основательными, чем Карамзин, познаниями, но он, видимо, понимал, как талантлив Карамзин, и видел, что тот и в знаниях догоняет его. Их отношения становятся отношениями равных, при которых возможны и полемика, и различие мнений, но в главном они всегда были согласны.

Некоторые исследователи считают, что в этюде «Чувствительный и холодный. Два характера» Карамзин под «холодным Леонидом» имел в виду Петрова, а под «чувствительным Эрастом» — себя. Соответствие литературного героя его жизненному прототипу обычно бывает весьма условным, верность в одних деталях сочетается с полной фантастичностью в других, так как писатель создает определенный цельный образ, какого в действительности не встречается. Однако ряд мест этого сравнительного очерка несомненно имеет отношение к обстоятельствам жизни и характеров Петрова и самого автора.

«Их взаимная дружба казалась чудною, — пишет Карамзин, — столь были они несходны характерами! Но сия дружба основывалась на самом различии свойств. Эраст имел нужду в благоразумии, Леонид — в живости мыслей, которая для его души имела *прелесть удивительного*. Чувствительность одного требовала сообщения; равнодушие и холодность другого искали занятия. Когда сердце и воображение пылают в человеке, он любит говорить; когда душа без действия, он слушает с удовольствием. Эраст еще в детстве пленялся романами, поэзией, а в истории более всего любил чрезвычайности, примеры геройства и великодушия. Леонид не понимал, как можно заниматься небылицами, то есть романами! Стихотворство казалось ему трудною и бесполезною игрою ума, а стихотворцы — людьми, которые хотят прытко бегать в кандалах».

Вряд ли Петрова можно полностью отождествить с Леонидом, но это сравнение, кажется, имеет к нему отношение.

После года совместного с Карамзиным редактирования «Детского чтения» Петров совершенно отстраняется от работы. Страницы журнала заполняют материалы, подготовленные одним Карамзиным, теперь он становится и составителем, и переводчиком, и редактором журнала. «Детское чтение» меняет свой облик: из суховатого назидательного педагогического издания оно превращается в литературное. Если прежде на первое место явно ставилось «полезное чтение», то теперь вперед выходило другое качество печатаемого материала (также объявленное Новиковым в программе) — «приятное» чтение.

Масоны к художественной литературе относились прохладно, считая более нужными серьезные духовные сочинения. Петров целиком отдался переводу огромного масонского труда «Учитель, или Всеобщая система воспитания», а Карамзин занялся «Детским чтением». Именно к той поре издания журнала относится свидетельство М. А. Дмитриева: «„Детское чтение“ было едва ли не лучшею книгою из всех, выданных для детей в России. Я помню, с каким наслаждением его читали даже и взрослые дети».

Карамзин для «Детского чтения» переводит сентиментальные повести популярнейшей французской писательницы госпожи Жанлис, рассказы немецкого писателя Вейсе, рассуждения Бонне, кроме прозаических статей он стал включать в журнал маленькие пьесы и стихи. На страницах журнала появляются произведения тех писателей и поэтов, которыми увлекается сам Карамзин: Клопштока, Геснера, Попа, Томсона, чьему гимну, переведенному на русский язык, как писал Петров, внимали Чистые пруды, и др. Наконец, Карамзин помещает в «Детском чтении» свои произведения — стихи и прозу. Именно в «Детском чтении» появилась первая оригинальная повесть Карамзина «Евгений и Юлия».

Сюжет этой повести несложен, да и не в сюжете дело, автор ставил перед собой задачу не изложить занимательную историю, а передать читателям настроения и чувства героев, те чувства, которые уже воплотили во многих произведениях европейские авторы и которые уже знало русское общество, но еще не видело их изображения в отечественной литературе. Короче говоря, «Евгений и Юлия» были первой русской сентиментальной повестью.

Содержание этой «русской старинной повести» (так определялся в подзаголовке ее жанр) можно пересказать в нескольких фразах. Некая госпожа Л., оставив Москву, жила в деревне, воспитывая Юлию — дочь своей умершей приятельницы. Сын госпожи Л. Евгений в это время учился в чужих краях. Евгений и Юлия были друзьями детства. Госпожа Л. мечтала, чтобы они поженились.

Весной и летом госпожа Л. и Юлия наслаждались красотой природы. «Когда же наступала пасмурная осень и густым мраком все творение покрывала, или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала грудь ее, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины наполнялись слезами,

приятными любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. „Ах, когда он к нам приедет? — часто говаривала г-жа Л. — Как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу, и тебя с ним вместе, Юлия“».

Наконец Евгений вернулся из чужих краев, детская дружба его к Юлии «обратилась в пламенную любовь», которую он таил в себе, каждый день проводя в обществе девушки. «Юлия прекрасно играла на клавесине и пела. Особенно нравилась ей песнь Клопштока, к которой музыку сочинил Глюк. Евгений и Юлия часто гуляли при свете луны, рассматривая звездное небо, и дивились величеству Божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких, нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживлены духом природы».

Когда же Евгению исполнилось двадцать два года, а Юлии — двадцать один, они открылись друг другу в любви. Госпожа Л. была счастлива. Назначили срок свадьбы, но — «увы! прочное счастье редко существует в свете», — Евгений «от великой радости» «заболел горячкою и в девятый день умер. Госпожа Л. и Юлия лишились в сей жизни всех удовольствий и живут во всегдашнем меланхолическом уединении».

Заканчивается повесть сентиментально-романтической картиной: «Один молодой чувствительный человек, проезжавший чрез деревню г-жи Л. и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне»:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься —
Увял, иссох, опал — и в рай был пронесен.

Исследователь творчества Карамзина академик В. В. Сиповский заметил, что многие из напечатанных в «Детском чтении» рассказов не очень подходили для детского чтения, так как в них говорилось о любви и они «скорее могли интересовать сентиментальных юношей возраста Карамзина, чем детей». Но тем не менее, как свидетельствуют факты, «Детское чтение» было так читаемо, может быть, именно потому, что Карамзин, наверное, помня свои детские впечатления от прочитанного, не разделял так жестко пуритански жизнь на разрешаемую знать детям и на запрещенную.

Как ни свободен был Карамзин в редактировании журнала, но все же в

издании, предназначенном для детей, не мог ни ставить, ни решать многие проблемы современной литературы, ни осуществить свои широкие литературные планы.

Не сохранилось ни одного письма Карамзина Петрову, осталось лишь около десяти писем Петрова Карамзину, но даже по ним можно судить о той глубине и интенсивности, с которой они обсуждали различные мировоззренческие и литературные вопросы. Отдавая должное знаниям и вкусу Петрова, Карамзин все же был самостоятелен в своих теоретических взглядах и литературной практике. Друзья расходились во взглядах на главный вопрос современной литературы. «Говорят, что Шекспир был величайший *Genie*^[1], но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как „Эмилия Галотти“, — писал Петров Карамзину. — Но полно! пора мне оставить критические свои замечания. Может быть, я уже наскучил тебе худым выражением незрелых мыслей. Я хотел только сказать, что *правила кажутся мне нужными*». В этих словах Петрова отразился отнюдь не его личный вкус, а процесс, охвативший всю мировую литературу: рождение и утверждение новых литературных направлений — сентиментализма и романтизма — в полемике и борьбе с главенствующим в культуре направлением — классицизмом. Природа этого процесса была одна и в Париже, и в Веймаре, и в Лондоне, и на Чистых прудах. Петров с его утверждением необходимости правил был классицистом; Карамзин, считавший Шекспира гением, хотя тот и «не держался правил театральных», был сентименталистом и романтиком.

Но, будучи целиком сторонником нарождающихся литературных направлений, Карамзин не отрицал достижений и эстетики классицизма. Может быть, именно эта широта взглядов и вкуса была главной чертой карамзинского таланта и именно она составляет самую сильную сторону его творчества.

Разделяя восхищение Петрова Лессингом, Карамзин переводит его трагедию «Эмилия Галотти». Издание он предварил коротким обращением к читателю, в котором называет Лессинга «философом, проникшим взором своим в глубины сердца человеческого».

Одновременно Карамзин переводит трагедию Шекспира «Юлий Цезарь», которая была издана также Типографической компанией Новикова. Трагедии Шекспира Карамзин предпосылает более обстоятельное, чем книге Лессинга, предисловие.

«При издании сего Шекспирова творения, — пишет Карамзин, — почитаю почти за необходимость писать предисловие. До сего времени еще ни одно из сочинений знаменитого сего автора не было переведено на язык

наш; следственно, и ни один из соотчичей моих, не читавший Шекспира на других языках, не мог иметь достаточного о нем понятия. Вообще сказать можно, что мы весьма незнакомы с английскою литературою. Говорить о причине сего почитаю здесь некстати. Доволен буду, если внимание читателей моих не отяготится и тем, что стану говорить собственно о Шекспире и его творениях».

Далее, сообщив краткие сведения об авторе, он пишет, что все замечательные английские писатели, творившие после Шекспира, изучали его и следовали ему, ибо «немногие из писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человеческие пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец. Все великолепные картины его непосредственно натуре подражают; все оттенки картин сих в изумление приводят внимательного рассматривателя. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Для каждой мысли находит он образ, для каждого ощущения — выражение, для каждого движения души — наилучший оборот. Живописание его сильно, и краски его блистательны, когда хочет он явить сияние добродетели; кисть его весьма льстива, когда изображает он кроткое волнение нежнейших страстей; но самая же сия кисть гигантскою представляется, когда описывает жестокое волновение души».

Карамзин говорит о том, что, несмотря на все свои неоспоримые достоинства, драмы Шекспира подвергались критике за то, что автор писал их «без правил», «без связи в сценах», без требуемых классицизмом для драматических сочинений «единств» — места, времени и действия, и вступает в спор с критическим взглядом на Шекспира: «Что Шекспир не держался правил театральных, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям. Дух его парил, яко орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, которою измеряют полет свой воробьи. Не хотел он соблюдать так называемых единств, которых нынешние наши драматические авторы так крепко придерживаются; не хотел он полагать тесных пределов воображению своему; он смотрел только на натуру, не заботясь, впрочем, ни о чем. Известно было ему, что мысль человеческая мгновенно может перелетать от запада к востоку, от конца области Моголовой к пределам Англии. Гений его, подобно гению натуры, обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством изображал он и героя и шута, умного и безумца, Брута и башмашника. Драмы его, подобно неизмеримому театру

натуры, исполнены многообразия: все же вместе составляет совершенное целое, не требующее исправления от нынешних театральных писателей».

Шекспир занимал особое, заветное место в мыслях Карамзина, в стихотворении Карамзина «Поэзия», написанном в 1787 году, Шекспиру посвящена следующая строфа:

Шекспир, Натуры друг! кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока.
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные жизни!

Поэтические произведения Карамзина, особенно ранние, сохранились далеко не все.

Немногочисленность стихотворений вовсе не значит, что поэзия занимала в творческих планах Карамзина второстепенное место. Отнюдь нет, и не случайно Петров в перечне занятий Карамзина ставит поэзию на первое место.

В 1790 году в одном из стихотворений Карамзин дает как бы исторический обзор своего предыдущего поэтического пути:

В моих весенних летах
Я пел забавы детства,
Невинность и беспечность.
Потом, в зрелейших летах,
Я пел блаженство дружбы,
С любезным Агатоном
В восторге обнимаясь.
Я пел хвалу Никандру,
Когда он беззащитным
Был верною защитой
И добрыми делами
Нимало не хвалился.
Я пел хвалу Наукам,
Которые нам в душу
Свет правды проливают;
Которые нам служат

В час горестный отрадой...

Только из этого стихотворения мы узнаем, что он писал стихи в детстве — в «весенних летах»; ни одно из них до нас не дошло. Если можно точно сказать, какие именно стихи Карамзин имел в виду, говоря, что он пел «блаженство дружбы» и «хвалу Наукам», то стихи, в которых он «пел хвалу Никандру», неизвестны; очень вероятно, что они были посвящены Н. И. Новикову.

Темами и содержанием поэтических произведений Карамзина становится вся переживаемая им жизнь, от скромного житейского эпизода, как, например, день рождения малолетней дочки друзей, до серьезнейших мировоззренческих вопросов.

В стихах Карамзин излагает масонские идеи, как, например, основную мысль христианской мистики о том, что земная жизнь является лишь слабым отражением истинной жизни.

Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Всё оставить должен ты.
Будь уверен, что здесь счастье
Не живет между людей;
Что здесь счастьем называют,
То едина счастья тень.

Стихи о дружбе посвящены Петрову:

Буди ты благословенна,
Дружба, дар святой небес!

«Анакреонтические стихи А. А. П.» — Александру Андреевичу Петрову — предвосхищают жанр дружеских поэтических посланий поэтов начала XIX века и пушкинской поры.

Видимо, это стихотворение вызвано тем письмом Петрова, в котором он описывает, как представляет себе день Карамзина. С легкой иронией Карамзин описывает свои занятия. Он рассказывает, как вздумал повторить

оптический опыт Ньютона, но вынужден признаться, что не имеет «Ньютонова дара». Затем

Читая философ^{ов},
Я вздумал философ^{ом}
Прослыть в ученом свете;
Схватив перо, бумагу,
Хотел писать я много
О том, как человеку
Себя счастливым сделать
И мудрым быть в сей жизни.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться.
Что дух сих философ^{ов}
Во мне не обитает;
Что я того не знаю,
О чем писать намерен. —
Вздыхнув, перо я бросил.

Шатаясь по рощам,
Внимая Филомеле,
Я Томсоном быть вздумал
И петь златое лето;
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Томсонова гласа
Совсем я не имею,
Что песнь моя несносна. —
Вздыхнув, молчать я должен.

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,
Почувствуя, как мало
Талантов я имею...

Карамзин пишет лирические стихи, шуточные, дружеские обращения к И. И. Дмитриеву: «на день рождения», «на болезнь его», «на отъезд в армию» и т. п. Самое же значительное стихотворное произведение

Карамзина того времени — ода «Поэзия», в которой он излагает свои взгляды на божественное происхождение поэзии и утверждает, что ее роль в истории человечества была и есть напоминание человеку о Боге.

В оде есть строфа, посвященная русской поэзии:
О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла ночи мгла — уже Авроры свет
В Москве блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать,
Как в баснях Прометей тек к огненному Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и осветить.

В контексте оды строфа выглядит неожиданной и странной, предыдущие строфы (а она находится в конце стихотворения) никак ее не подготавливают, и мысль, высказанная в ней, не подкреплена никакими именами. Но это только в контексте. А приняв во внимание практическую литературную деятельность Карамзина — то, что он выступал и как прозаик, и как поэт, и как критик, и как историк литературы, и как переводчик, и как редактор и издатель, и что за три года он настолько овладел литературным языком, что выработал свой стиль, который положил основу преобразования языка, становится ясно, что Карамзин имел основание и право говорить так.

Карамзин обладал гениальной интуицией. В. Г. Белинский, подводя итоги деятельности Карамзина, сказал о нем: «Везде и во всем Карамзин является не только преобразователем, но и начинателем, творцом». Интуиция, талант у Карамзина соединялись с огромной работоспособностью. Ф. Н. Глинка вспоминает, что однажды он спросил Карамзина: «Откуда взяли вы такой чудесный слог?» — «Из камина», — отвечал он. «Как из камина?» — «Вот как: я переводил одно и то же раза по три и по прочтении бросал в камин, пока, наконец, доходил до того, что оставался довольным и пускал в свет».

А поэту Г. П. Каменеву Карамзин сказал: «До издания „Московского журнала“ много бумаги мною перемарано, и не иначе можно хорошо писать, как писавши прежде худо и посредственно». Рассказал он Каменеву, тогда молодому человеку, и о том, как, учась, он вышел на самостоятельный путь. Начал свой рассказ Карамзин со своего знакомства с Петровым: «Он имел вкус моего свежее и чище; поправлял мои маранья,

показывал красоты авторов, и я начал чувствовать силу и нежность выражений. Вознамерясь выйти на сцену, я не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания, и, отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его... вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее. Я имел в голове некоторых иностранных авторов; сначала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом. И это советую всем подражающим мне сочинителям, чтоб не всегда и не везде держаться оборотов моих, но выражать свои мысли так, как им кажется живее».

Ощущая внутренние силы русской словесности и предчувствуя ее близкое развитие (в чем он не ошибся, так как 10–20 лет спустя русская поэзия уже имела Жуковского, Батюшкова, Дениса Давыдова, юного Пушкина), Карамзин, конечно, сознавал, что берет на себя огромную ответственность; совершенно ясно, что именно себя он видел одним из главных деятелей грядущей новой русской словесности.

И. И. Дмитриев встретился с Карамзиным после свидания в Симбирске, где тот предстал другу в роли уверенного в себе завсегдатая светского общества, карточного игрока, дамского любезника и присяжного оратора в компании; всего лишь три года спустя он рисует иной, поразивший его портрет: «После свидания нашего в Симбирске какую перемену я нашел в милом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой черкешенки: но благочестивый ученик мудрости с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека. Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели». О «веселом нраве» и «любезности» Карамзина будут писать и более поздние мемуаристы, но в эти годы для него более существенны внутренняя жизнь, поиск себя.

В 1786 году Карамзин вступает в переписку с Иоганном Каспаром Лафатером, чьи «Физиогномические фрагменты» — труд, исследующий связи внутренней сущности человека, его характера, склонностей, талантов, достоинств и пороков со строением черепа, чертами лица и другими внешними, телесными признаками, пользовался всемирной известностью и был чрезвычайно популярен. Выводы Лафатера были убедительны, его имя стало синонимом проницательного знатока людей; так, Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» восклицает: «Если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою проницательностью!» Но не только то, что Лафатер был физиогномистом,

заставило Карамзина обратиться к нему: не менее он был знаменит своими богословскими трудами и проповедями (Лафатер был пастором в Цюрихе), хорошо известными и почитаемыми в кругу московских масонов. О доброте Лафатера и внимании ко всем, обращающимся к нему, Карамзину рассказывали Ленц и И. П. Тургенев, лично знавшие его.

Карамзин написал Лафатеру наивное и восторженное письмо: «К кому намереваюсь я писать? К Лафатеру? Да! я намерен писать к тому, кто наполнил сердце мое пламенной любовью и высоким уважением». Он рассказал о себе, просил «великого человека и истинного христианина» Лафатера ответить ему. Отправив письмо, Карамзин признавался, что сам не знал, зачем он писал Лафатеру; он стыдился своего поступка. Но Лафатер ответил, поняв, что творится в душе молодого человека, и понимая также, что тот ждет от него какого-то откровения. «Я бы мог пожелать, — писал Лафатер, — чтобы Ваше милое, сердечное, наивное письмо содержало хоть один или два особенных вопроса, что послужило бы мне материалом для ответа, которого Вы так настоятельно требуете. Мне бы хотелось сказать Вам что-нибудь такое, что сделало бы мое письмецо полезным для Вас и заслуживающим чтения. Но что же я могу сказать? Если бы Вы меня увидели, то я представился бы Вам совсем другим человеком, нежели каким Вы меня воображаете. Я ни более, ни менее как бедный слабый смертный...» Карамзин был счастлив, получив это письмо. В обстоятельном, написанном на следующий день ответе он опять писал о себе, о выполненном поручении (Лафатер просил передать записку Ленцу и привет жившим в Москве землякам — доктору Френкелю, кстати сказать, масону одной из лож новиковского круга, и пастору Бруммеру) и задавал вопросы: «Что такое человек?» и «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий? Не служило ли связующим между ними звеном еще третье, отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое. Вопросу этому можно дать еще такую формулу: „Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно?“».

Вопросы Карамзина — вечные вопросы философии о духе и материи — относились к числу наиболее дискутируемых среди московских любителей философии. Лафатер отозвался мягкой шуткой: «Нам придется еще несколько времени подождать этого просвещенного существа», которое будет знать ответ. «Не смейтесь над моим неведением, мой милый! — писал Лафатер. — Мы не знаем, что мы такое и как существуем; знаем только, что существуем, верим, что существовали, надеемся, что будем

существовать! Чтобы увереннее, радостнее и живее сознавать свое бытие, да помогут нам истина, добродетель и религия!»

Письма Лафатера, полные доверия и расположения, ободряли Карамзина, заставляли думать и самому искать ответы на поставленные вопросы.

Самопознание и самосовершенствование — темы не только масонские, хотя они и составляют одно из первых и фундаментальных условий масонской работы, это темы, волнующие каждого человека, задумывающегося серьезно о себе, о своей жизни и деятельности, то есть о смысле жизни.

В письмах Лафатеру Карамзин постоянно возвращается к самоанализу. «Я хочу знать, что я такое, ибо знание, по моему мнению, может сделать меня живее чувствующим бытие... — пишет он в одном письме. — Я все еще думаю, что познание своей души, тела и их взаимодействия были бы ему (человеку. — В. М.) очень полезны, ибо если б я мог все это узнать, то еще более благоговел бы к своему Творцу, и религия моя была бы совершеннее. Апостол Павел говорит; кто хочет постигнуть премудрость Господню, тот должен созерцать Его творения. И где мог бы я найти лучшее подтверждение этой премудрости, как не в человеке, который так удивительно создан?» Описывая свои занятия, перечисляя авторов, которых он читает, Карамзин заключает рассказ прямой автохарактеристикой: «Я престранный меланхолик, о котором Вы так сердечно жалеете. Я горазд на выдумки, чтоб мучить самого себя. Часто я твердо намереваюсь быть веселее, но намерение всегда так и остается намерением без исполнения... Не боясь прослыть за хвастуна, я могу назвать себя любознательным... Я родился с жаждой знания; я вижу и тотчас хочу знать, что произвело сотрясение в моих глазных нервах; из этого я заключаю, что знание для души моей необходимо, почти так же необходимо, как для тела пища, которой я искал с той минуты, как появился на свет. Как только пища моя переварена, я ищу новой пищи; как только душа моя основательно узнает какой-нибудь предмет, то я ищу опять нового предмета для познания». Занимаясь самоанализом, Карамзин спрашивает Лафатера: «До какой степени могу и обязан знать себя?»

Ответа на этот вопрос Карамзин не получил, да и не мог получить, потому что самопознание не определяется никакими мерками, кроме единственной — степени способности каждого конкретного человека к наблюдению себя и самооценке.

Позже, когда для Карамзина наступил новый этап жизни, он снова возвращается к этому времени, понимая его значение для своего духовного

становления. В статье «Цветок на гроб моего Агатона», написанной в 1793 году, он столько же рассказывает об умершем друге, сколько о себе самом.

«В самых цветущих летах жизни нашей, — пишет Карамзин, — мы увидели и полюбили друг друга. Я полюбил в Агатоне мудрого юношу, которого разум украшался лучшими знаниями человечества, которого сердце образовано было нежною рукою муз и граций. Что он полюбил во мне — не знаю, может быть, пламенное усердие к добру, непритворную любовь ко всему изящному, простое сердце, не совсем испорченное воспитанием, искренность, некоторую живость, некоторый жар чувства. Я нашел в нем то, что с самого ребячества было приятнейшею мечтою моего воображения, — человека, которому мог я открывать все милые свои надежды, все тайные сомнения, который мог рассуждать и чувствовать со мною, показывать мне мои заблуждения и научать меня не повелительным голосом учителя, но с любезною кротостию снисходительного друга; одним словом, я нашел в нем сокровище, особый дар неба, который не всякому смертному в удел достается, — и время нашего знакомства, нашего дружества будет всегда важнейшим периодом жизни моей...

...Одинакие вкусы могут быть при различных свойствах души: Агатон и я любили *одно*, но любили *различным образом*. Где он одобрял с покойною улыбкою, там я *восхищался*; огненной пылкости моей противопоставлял он холодную свою рассудительность; я был мечтатель, он деятельный философ. Часто, в меланхолических припадках, свет казался мне уныл и противен, и часто слезы лились из глаз моих; но он никогда не жаловался, никогда не вздыхал и не плакал; всегда утешал меня, но сам никогда не требовал утешения; я был чувствителен, как младенец; он был тверд, как муж, но он любил мое младенчество так же, как я любил его мужество. Разные тоны составляют гармонию, всегда приятную для слуха: монотония бывает утомительна — и два человека, совершенно одинаких свойств, всего скорее наскучат друг другу».

Может быть, главным основанием их дружбы было общее желание самопознания. Петров писал Карамзину: «Вопросы: *что я есмь!* и *что я буду?* всего меня занимают, и бедную мою голову, праздностию расслабленную, кружат и в вяшее неустройство

приводят». Эти вопросы задавали друзья себе и друг другу, они искали ответа на них во взаимном общении. Кутузов, бывший их масонским руководителем, также принимал участие в общих беседах. Оказавшись за границей один, Кутузов пишет в Москву: «Я еще больше узнал о себе со времени нашей разлуки и нахожу себя изрядным каменщиком, не имеющим, однако же, ни малейшей способности быть архитектором. Умею говорить о порядке, но не умею наблюдать оный. Кратко сказать, я не умею думать сам собою, мысли мои рождаются не прежде как при дружеской беседе. Но таковое свойство означает великий недостаток, ибо таковые мысли редко бывают беспристрастны, но всего чаще суть они плод какой ни есть кроющейся во мне страсти и отдаленное действие того расположения, в котором нахожусь с беседующей со мною особою... Ах, мой друг, нередко вздыхаю я, видя мое странное состояние, голова моя бывает почти всегда пуста; мысли рождаются и исчезают мгновенно...»

Если свой литературный путь Карамзин определил достаточно четко, то пребывание в масонской ложе порождало тревогу и внутреннее неудовлетворение. Надежды на то, что в масонстве он найдет объяснение противоречий окружающего мира, избавление от духовных страданий, станет обладателем некой тайны, полагающей основание истинной и блаженной жизни, оставались такими же надеждами, как в первый день посвящения. Карамзин переживал ситуацию, типичную для русского масона, искавшего в масонстве не выгоды, не полезных для карьеры знакомств, не удовлетворения собственного тщеславия, а истины.

Нельзя говорить о масонстве вообще. Под этим названием существовали и действовали очень разные объединения и кружки разных людей, сходная форма, проявлявшаяся в организационном устройстве — разделении на ложи, иерархии степеней, подчинении низших высшим, обрядах, — наполнялась различным содержанием, как одинаковые сосуды могут быть наполняемы разными жидкостями.

Облик и занятия той или другой масонской ложи в очень большой степени зависели от ее руководителей. Московское масонство конца XVIII века, руководителем которого был Н. И. Новиков, имело свои четкие черты и особенности.

Новиков стал масоном в 1775 году в Петербурге. Руководителем петербургских лож был Иван Перфильевич Елагин — один из ближайших к Екатерине II вельмож. Новиков не предпринимал никаких усилий, чтобы

войти в круг масонов, хотя и знал, что масонами являются многие знатнейшие особы государства. Но друзья, уже бывшие членами различных лож, тянули его в масонство, и он вступил, оговорив, что не будет давать никакой присяги и обязательств и если найдет что-либо в их обществе противное его совести, то имеет право свободно выйти из него.

Нет ничего на свете так сильно и постоянно приковывающего к себе внимание человека, как тайна. Скрытность, зашифрованность — великая сила, заставляющая человеческий разум заниматься именно такими предметами, которые овеяны дымкой или скрыты туманом тайны, и предпочитать их даже более важным, но ясным проблемам. Масонство в полной мере обладало качеством первых: оно объявляло себя обладателем высшей тайны — тайны Божества, путь к постижению которой лежит через ряд степеней: в некоторых масонских системах количество степеней, или градусов, доходило до ста. Причем от масонов низшей степени держались в тайне те знания, которые сообщались следующей за ней, таким образом, обладание высшим знанием отодвигалось в почти недостижимые дали.

Становившихся масонами ради карьеры или в политических целях, а также вступивших в орден от скуки вполне устраивали многостепенность и скрытность работ лож. Но находились и люди, которые действительно искали тайного знания, ответа на вечные философские вопросы, правда, надобно признать, что таких было сравнительно немного. Новиков, по характеру склонный к углубленному изучению того дела или предмета, которым начинал заниматься, так же серьезно занялся и масонством, испытывая, по его словам, «любопытство к изучению масонства и изъяснению гиероглифов и аллегорий».

Довольно скоро масонские заседания, на которых «делались изъяснения по градусам на нравственность и самопознание», перестали удовлетворять Новикова. Видимо, он также понял, что многие его сочлены по ложе вовсе не обеспокоены поисками истины. Позже, вспоминая свое пребывание в петербургском масонстве, он писал, что члены лож «почти играли им (масонством. — В. М.), как игрушкой: собирались, принимали, ужинали и веселились, принимали всякого без разбору, говорили много, а знали мало... Носили ленты со знаками; ибо в том масонстве, начиная с 4-го градуса, во всяком была особая лента. В 4-м градусе (его имел Новиков. — В. М.) была лента красная с зелеными каемками, на которой привешен был знак, изображающий прямоугольный треугольник и циркуль».

С несколькими товарищами Новиков создает для изучения «истинного» масонства новую ложу, в которой его избрали руководителем — мастером стула. К этому периоду относится его знакомство с масонами,

имевшими высокие орденские степени, — князем Николаем Никитичем Трубецким и известным поэтом и вельможей Михаилом Матвеевичем Херасковым, с которыми судьба и обстоятельства крепко свяжут его в ближайшие годы.

В это время в Петербурге жил барон Рейхель, о котором было известно, что он является посвященным в высшие градусы истинного масонства шведской системы. Новиков обратился к нему за разъяснением своих сомнений. «Всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное, — сказал ему Рейхель, — и ежели ты заметишь хотя тень политических видов, связей и растворивания слов равенства и вольности, то почитай его ложным. Но ежели увидишь, что чрез самопознание, строгое исправление самого себя, по стезям христианского нравоучения в строгом смысле нераздельно ведущее, чужду всяких политических видов и союзов, пьянственных пиршеств, развратности нравов членов его; где говорят о вольности такой между масонами, чтобы не быть покорену страстям и порокам, но владеть оными, такое масонство или уже есть истинное, или ведет к сысканию и получению истинного...»

В 1779 году Новиков по приглашению Хераскова, назначенного куратором Московского университета, переехал в Москву и взял в аренду университетскую типографию. В 1780 году в Москве появился профессор Шварц, убежденный масон. Благодаря ему активизировались работы московских лож. Кроме руководимой Новиковым ложи, в которую входили князья Трубецкие, Херасков, князь Черкасский, князь Енгальчев, Шварц, И. П. Тургенев, А. М. Кутузов, были созданы дочерние ложи под руководством Кутузова, Гамалеи, И. В. Лопухина и Ключарева.

Их членами становились молодые люди, получившие низшие масонские степени. В одну из них, видимо ложу Кутузова, а потом Гамалеи, входили Карамзин и Петров. Поскольку масонство было движением общемировым, то формально оно подчинялось единому руководителю, которым был тогда герцог Брауншвейгский. Фактически же масонство распадалось на ряд направлений — систем, национальных объединений, мало зависимых от Великого мастера. В 1782 году состоялся общемасонский конвент в Вильгельмсбадене, на котором Россия была признана самостоятельной провинцией. В Москве учреждались Провинциальный капитул и Директория для управления масонскими ложами; под управлением Москвы находилось около двух десятков лож, которые работали в Москве и других городах. Должность Великого провинциального мастера оставалась свободной: ее предполагали предложить наследнику Павлу Петровичу; приором был назначен П. А.

Татищев, канцлером И. Г. Шварц, казначеем Н. И. Новиков, который одновременно был президентом Директории. Новиков и другие руководители московского масонства обменялись с герцогом Брауншвейгским церемониальными «комплиментарными» письмами, получили высшие иерархические градусы и право самостоятельной работы.

Возведение в высшие степени, грамоты о самостоятельности усилили в московских масонах стремление к поиску «истинного» масонства. Из двух ветвей масонской деятельности: теоретической (нравственной) и практической (оккультной): магии, алхимии, каббалы — московские масоны занимались лишь первой, поскольку для второй не имели ни знаний, ни руководителей. А может быть, в какой-то степени их останавливал присущий им здравый смысл, поскольку книги и рукописи алхимические имелись.

Исчерпывающее представление о московском масонстве дает написанный И. В. Лопухиным «Нравоучительный катехизис истинных Франк-Масонов», который в форме вопросов и ответов формулировал идейные основы масонства и область практической деятельности.

«В<опрос>. Какая цель истинных Франк-Масонов? О<ответ>. Главная цель его та же, что и цель истинного Христианства. — В. Какой главный долг истинного Ф. М.? О. Любить Бога паче всего и ближнего, как самого себя... — В. Какое должно быть главное упражнение истинных Ф. М.? О. Последование Иисусу Христу. — В. Какие суть действительнейшие к тому средства? О. Молитва, упражнение воли своей в исполнении заповедей Евангельских и умерщвление чувств лишением того, что их наслаждает: ибо истинный Ф. М. не в ином, чем должен находить свое удовольствие, как токмо в исполнении воли Небесного Отца. — ...В. Какая должность истинного Ф. М. в рассуждении своего Государя? О. Он должен Царя чтить и во всяком страхе повиноваться ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому. — В. Какие его обязанности в рассуждении властей Управляющих? О. Он должен быть покорен высшим властям, не токмо из страха наказания, но и по долгу совести».

Несмотря на подчеркнутую лояльность к правительству и императрице, заявляемую во многих документах, выступлениях, частных

письмах (переписка перлюстрировалась и была известна властям и царице), деятельность масонов вообще и московских в особенности вызывала у Екатерины II большие опасения. Сначала она смеялась над «обетами, чудачествами, странными одежаниями» масонов, написала несколько антимасонских комедий, в которых представила целую вереницу масонов, изобразив одних глупцами, других — шарлатанами.

Но после того как в середине 1770-х годов масонством заинтересовался цесаревич Павел Петрович, Екатерина стала видеть в масонах потенциальных заговорщиков, что ставят своей целью свергнуть ее и возвести на российский престол Павла, который по закону имел на него более прав, чем она.

Посвящение Павла в масоны происходило тайно, у него в апартаментах. Свидетелями были лишь Елагин и Панин. Имя цесаревича не заносили в списки масонов, поэтому никто не мог подтвердить достоверность слухов о его масонстве, но и Екатерина, и московские масоны, по разным, конечно, причинам, были уверены в их правдивости.

Московские масоны, в общем-то далекие от двора, идеализировали Павла. Они наделяли его чертами просветителя и конституционалиста Панина, его воспитателя. В одном анонимном стихотворении тех лет, ходившем по рукам, говорилось:

О старец, братьям всем почтенный,
Коль славно, Панин, ты успел:
Своим премудрым ты советом
В храм дружбы сердце царско ввел.

В среде московских масонов исполнялась посвященная Павлу песня; автором ее был И. В. Лопухин:

Залог любви небесной
В тебе мы, Павел, зрим,
В чете твоей прелестной
Зрак ангела мы чтим.
Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

Через архитектора В. И. Баженова, бывшего масоном, Новиков дважды

посылал книги цесаревичу. Видимо, Екатерина узнала об этом. Известен ее разговор с московским генерал-губернатором князем Прозоровским, человеком необразованным, недалеким, но усердным службистом. «Для чего ты не арестуешь Новикова?» — вроде бы шутя спросила Екатерина. «Только прикажите, государыня!» — отвечал Прозоровский. «Нет, надобно найти причину», — недовольно сказала императрица. Но Новиков, к великому сожалению Екатерины, не давал повода для преследований. Не потому, что был осторожен и предусмотрителен, просто он не делал ничего противозаконного.

В сентябре 1784 года повод появился: императрице доложили, что иезуиты недовольны напечатанной Новиковым в прибавлениях к «Московским ведомостям» статьей «История ордена иезуитов». Екатерина отправляет указ московскому обер-полицмейстеру Архарову: «Уведомившись, что будто бы в Москве печатают ругательную историю ордена иезуитского, повелеваем запретить таковое напечатание; а ежели бы она издана была, то экземпляры отобрать; ибо, дав покровительство наше сему ордену, не можем дозволить, чтоб от кого-либо малейшее предосуждение оному учинено было». Но поскольку статья прошла цензуру, дело кончилось тем, что запретили печатать ее продолжение.

Следующий демарш против Новикова происходил уже на глазах Карамзина. В октябре 1785 года на Новикова поступило несколько доносов протоиерея кремлевского Архангельского собора Петра Алексеева. Видя неприязнь Екатерины к масонам, он стал доносить о московских масонах, что они проповедуют «расколы, колобродства и всякие нелепые толкования», послал ей изданную Новиковым книгу «Братские увещания к некоторым братьям свободным каменщикам», заметив при этом, что по ней «можете рассуждать и о прочих сего рода сомнениях, здесь печатаемых к соблазну немощных совестей, и тем самым кому бы запрещать надлежало, одобряемых». Екатерина повелела московскому генерал-губернатору: «В рассуждении, что из типографии Новикова выходят многие странные книги, прикажите губернскому прокурору, сочиня роспись оным, отослать оную с книгами вместе к Преосвященному архиепископу московскому, а Его Преосвященство имеет особое от нас повеление как самого Новикова приказать испытать в законе нашем, так и книги его типографии освидетельствовать, что окажется, нам донести и Синод наш уведомить».

Архиепископ Платон дал отзыв, не удовлетворивший Екатерину: собственно литературные издания он похвалил, ибо они содействуют образованию, о масонских мистических изданиях сказал, что не понимает их, а посему и судить о них не может, о Новикове же написал: «Как пред

престолом Божиим, так и пред престолом твоим, всемилостивейшая Государыня императрица, я одолжаюсь по совести и сану моему донести тебе, что молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и тобою, всемилостивейшая Государыня, мне вверенной, но и во всем мире были христиане таковые, как Новиков».

Тогда Екатерина поручила вести дело не духовной, а светской власти. Она предписывает губернатору вызвать «содержателя типографии в Москве Николая Новикова» и «изъяснить ему, что учреждение типографии обыкновенно предполагается для издания книг, обществу прямо полезных и нужных, а отнюдь не для того, чтобы способствовать изданию сочинений, наполненных новым расколом», книжные лавки его запечатать и запретить продажу масонских книг, выяснив, кто их сочинял, переводил и цензуровал. При этом расследовании впервые в орбиту внимания Екатерины II попало имя Карамзина: на вопрос о книге Штурма Новиков отвечал, что она «переведена была на российский язык господином Карамзиным и печатается на коште переводчика оной». На книги издания Новикова, признанные вредными, был наложен арест. Екатерина направила московскому генерал-губернатору указ, которым запрещала продление договора с Новиковым об аренде университетской типографии.

Московские масоны, понимая, что императрица преследует именно масонство, наложили временный запрет на всю масонскую деятельность, на заседания лож, переписку. Однако Новиков, прекратив заседания лож, продолжал благотворительную деятельность.

1786 год выдался неурожайным. К зиме в центральных губерниях России, в том числе и в Московской, начался голод. «Толпы нищих наполняют перекрестки, жалобным своим воплем останавливают проезжающие кареты, содрогшие младенцы, среди холода и вьюги единое чувство глады имея, безвинные руки протягивают, исчисляют число времени их пощения и милостыни просят, которой еще и не получают довольно» — такую картину рисует современник.

Н. И. Новиков еще в начале зимы, когда староста его подмосковного имения Авдотьино прислал письмо, что крестьяне претерпевают великий недостаток в хлебе, поехал туда. Он впервые в жизни видел картину голода, и она произвела на него ужасающее впечатление. В деревне обнаружилось, что у крестьян нет ни хлеба, ни корма для скота. Он роздал хлеб из господских запасов своим крестьянам и приходившим из соседних деревень, на все имевшиеся у него деньги купил ржи, велел половину оставить на семена, а половину помалу раздавать нуждающимся. С тяжелой душой возвращался Новиков в Москву.

Ожидали, что последует правительственная помощь голодающим, но правительство молчало. В Петербурге все были заняты путешествием императрицы в Малороссию и Крым. Императрица проезжала теми же голодными губерниями, но веселые путешественники не видели тех картин, которые видел Новиков и описал Щербатов: на всем пути пела и плясала благоденствующая под правлением великой императрицы Россия. Послы были в восторге и изумлении. Будущий губернатор Новороссии граф Ланжерон, участник путешествия, описав все это, рассказал и об истинной цене происходивших чудес: «Надо сознаться, что они созданы благодаря тирании и грозе и повлекли за собой разорение нескольких областей. Из населенных губерний Малороссии (Ланжерон описывает заключительный этап путешествия, но так же было и на всем пути. — В. М.) и тех местностей, где императрица не должна была проезжать, выгнали все население, чтобы заполнить эти пустыни: тысячи селений опустели на некоторое время, и все их жители со своими стадами перекочевали на различные назначенные пункты. Их заставили выстроить на скорую руку искусственные деревни по более близким берегам Днепра и фасады деревень в более отдаленных пунктах. По проезде императрицы всех этих несчастных погнали обратно домой; много народу перемерло, не выдержав таких переселений...»

В Москве Новиков начал сбор пожертвований в помощь голодающим. Он повсюду рассказывал о виденном, взывал к милосердию. На очередном собрании Типографической компании Новиков также говорил о голоде. Собрание произвело в московском обществе впечатление, с него началась большая благотворительная акция. Карамзин присутствовал на нем. Много лет спустя он рассказывал об этом собрании Д. Н. Блудову, в свою очередь блудовский рассказ записал П. И. Бартенев: «Карамзин признавался Блудову, что Новиков был человек необыкновенной энергии, восторженный и увлекающийся. Карамзин помнил, как в заседаниях общества Новиков всходил на кафедру и одушевлял членов собрания, несмотря на разность сословий и образования. В филантропическом слове своем об этом бедствии, в одном из заседаний, Новиков был так красноречив и убедителен, что один слушатель, богатый человек Походяшин, тут же, в заседании, подошел к нему и что-то сказал на ухо. После открылось, что он отдавал в пользу бедных все свое имущество. На его деньги Новиков открыл даровую раздачу хлеба неимущим и тем обратил на себя взоры Правительства».

Императрица широкую благотворительность Новикова расценила по-своему: она сделала вывод, что московские масоны, задумавшие возвести

на престол Павла, имеют для осуществления своего замысла много денег и потому еще более опасны.

Тогда же произошел эпизод, не имевший отношения к московским масонам, но давший Карамзину повод для размышлений о политике Екатерины в отношении литературы. В январе 1787 года в лавке петербургского книготорговца Клостермана появилось объявление о подписке на новый журнал «Друг честных людей, или Стародум»: «Вот заглавие, под которым издаваться будет на сей год новое периодическое сочинение под надзиранием сочинителя комедии „Недоросль“. Напрасно было бы предвирать публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны... Все сочинения будут совсем новые, а разве знакомые потому, что некоторые из них в публике ходят рукописные». Карамзин просил Дмитриева прислать новый журнал Фонвизина, но получил ответ, что его издание запрещено цензурой.

Пребывание Карамзина в новиковском кружке сыграло решающую роль в его жизни. Здесь в полной мере он смог осуществить свое литературное призвание и фактически стал профессиональным литератором.

По-иному складывалась его масонская судьба. Он посещал одну из лож, которая состояла из таких же неофитов, каким был и он, и имел такую же низшую степень «брата». Много лет спустя, уже после возвращения Новикова из заключения, Карамзин был у него, и тот спросил, до какой степени в масонстве он дошел. Карамзин ответил. «Ну, тут еще ничего не было важного», — заметил Новиков. Такая масонская работа, в которой не было «ничего важного», конечно, не могла удовлетворить Карамзина, малоинтересной оказалась и работа по переводу богословского труда Штурма, поэтому он практически отошел от масонских дел, перестал интересоваться масонскими идеями, целиком посвятив ум и время литературной деятельности.

Но надобно сказать, что московское масонство новиковского круга в это время переживало внутренний кризис. Имевшие высокие степени посвящения члены лож ощущали неудовлетворенность от того, что, как они честно признавались себе, от них также была скрыта великая тайна масонства, и в 1787 году А. М. Кутузов был послан за границу с поручением узнать ее от высших руководителей ордена.

Между тем даже в среде масонов появляется ироническое отношение к своим сочленам.

Петров в письме Карамзину описывает одного из братьев, в среде которых они и должны были работать: «Расскажу тебе небольшое

приключение, недавно бывшее. Я уже писал к тебе, что за Москвою-рекою был большой пожар. В этом пожаре неучтивый огонь не пощадил между прочими домами и жилища одного из бывших дражайших наших братьев, не рассудив о том, что вместе с домом может разрушить и философию хозяина. (Ты должен знать этого брата: пузатый купец, с величавою поступью, принадлежал к стаду Ф. П. Ключарева, почитался Философом.) Лишившись дому, господин Философ целый день неутешно плакал, как то бы, может быть, и я в таких обстоятельствах сделал. Простодушные знакомцы его дивились, видя русского Сенеку плачущего, и изъявили ему удивление. Он отвечал им: „Не о доме моем плачу, ибо знаю, что дома и всякое другое имение суeta суть. Но под кровлею моего дома птичка свила себе гнездо; оно теперь разорено, и о ней-то я плачу“. Простодушные знакомцы его дивились великодушию, славили философию, могущую возвысить человека до такой степени, и восклицали: „О великий муж! Забывая о своем несчастье, плачет о малой птичке!“ И я восклицаю вместе с ними: „О проклятые лягушки! Зачем выгнали вы абдеритов из их гнезда и заставили рассеяться по всему свету!“ Что ты скажешь о сем философе? Пожалей об нем, если можешь; я не могу: ведь ему не приключилось никакого несчастья! Достойны сожаления только бедная птичка и все те бедные люди, которых дома вместе с его домом сгорели».

Упоминаемые в письме абдериты — персонажи сатирической «Истории абдеритов» Виланда, написанной по мотивам народных сказок о стране дураков. Петров и Карамзин увлекались тогда сатирой Виланда.

Неудовлетворенность, сомнения, личные отношения — все это способствовало отходу Карамзина от масонства. Испытывает разочарование в масонстве и Петров.

Весной 1789 года произошел разрыв Карамзина с масонами. 15 марта Карамзин сообщает Лафатеру о том, что в мае он выезжает в путешествие и в августе будет в Цюрихе. Разрыв предшествовал решению о путешествии, так что, когда Карамзин писал Лафатеру, объяснения с братьями-масонами были уже позади.

Впоследствии разные лица слышали рассказы Карамзина о принадлежности его к масонству и разрыве с ним.

М. А. Дмитриев пишет в «Мелочах из запаса моей памяти»: «Я знаю, что некоторые люди из стариков, и люди, впрочем, почтенные, находят некоторую выгоду повторять, что Карамзин принадлежал к их Обществу: что будто оно дало ему первый ход; что Карамзин был многим ему обязан и потом его оставил, что ставили ему в вину. Карамзин не скрывал, что принадлежал к их Обществу в первых годах своей молодости, то есть к

масонской ложе Новикова, Шварца и других; он при мне один раз рассказывал об этом, также и о том, что оставил его, не найдя той цели, которой ожидал».

Более подробно сообщение Н. И. Греча. Он записал рассказ Карамзина, слышанный им в Петербурге в начале 1820-х годов. «Я, — рассказывал Карамзин, — был обстоятельствами вовлечен в это общество в молодости моей и не мог не уважать в нем людей, искренно и бескорыстно искавших истины и преданных общепользному труду. Но я никак не мог разделить с ними убеждения, будто для этого нужна какая-либо таинственность, и не могли мне нравиться их обряды, которые всегда казались мне нелепыми. Перед моею поездкою за границу я откровенно заявил в этом обществе, что, не переставая питать уважение к почтенным членам его и признательность за их постоянное доброе ко мне расположение, я, однако ж, по собственному убеждению принимать далее участие в их собраниях не буду и должен проститься. Ответ их был благосклонный: сожалели, но не удерживали и на прощанье дали мне обед. Мы расстались дружелюбно. Вскоре затем я отправился в путешествие».

Оба эти рассказа относятся к позднему времени и смягчают действительные события. Правда, с Н. И. Новиковым Карамзин сохранил добрые отношения до его кончины, так же как с Тургеневым, но все же расставание происходило не так легко и дружелюбно.

А. И. Плещеева по-иному изображает обстоятельства этих событий. В письме Кутузову в июле 1790 года (современном происходившему) она говорит о каких-то других причинах, кроме собственного желания Карамзина, заставивших его отправиться в путешествие. «К счастью, — писала А. И. Плещеева, — что не все, например, вы знаете причины, которые побудили его ехать. Поверите ль, что я из первых, плавав пред ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович — второй; знать, что сие было, нужно и надобно. Я, которая была вечно против одного вояжа, и дорого, дорого мне стоила она разлука. Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно было должно сделать. После этого, скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина? Каково расставаться с сыном и другом, и тогда, когда я не думала уже увидеться в здешнем мире? У меня тогда так сильно шла горлом кровь, что я почитала себя очень близкою к чахотке. После сего скажите, что он из упрямства поехал... А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю! О, Тартюф!»

Последняя фраза письма А. И. Плещеевой о человеке с говорящим

прозвищем Тартюф, который является причиной, в общем, по утверждению Анастасии Ивановны, почти вынужденного отъезда — бегства в заграничное путешествие, была для исследователей в течение более века и остается до сих пор нерешенной загадкой. Ю. М. Лотман, замечательный и глубокий знаток этой эпохи и биографии Н. М. Карамзина, подводит в своей книге «Сотворение Карамзина» (1987) категорический итог и закрывает вопрос. «Мы не знаем, — пишет он, — и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева называла „злодеем“ и „Тартюфом“, но мы вряд ли ошибемся, если предположим связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг единомышленников Н. И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин». От себя добавим, не только принадлежал, а был по этому делу допрошен полицией.

Остающийся без ответа вопрос уже одним своим существованием толкает на его поиск, тем более если поиск уже производился и оказался безуспешным. Великое дело — азарт соревнования и надежда авось мне-то и повезет. С такими чувствами приступаем к изложению наших предположений.

В том литературном кругу, к которому принадлежала А. И. Плещеева, был обычай давать его членам прозвища литературного происхождения.

Так, Карамзин имел знаковое прозвище «лорд Рамзей», А. А. Петров — «Агатон», такого же знакового характера и упоминаемое Плещеевой прозвище «злодея» — Тартюф. Каждое из них поддается смысловой расшифровке, за ним стоят определенный тип и образ человека.

Образ Тартюфа общеизвестен, поэтому задача состоит в том, чтобы среди окружения Карамзина найти человека, по своим нравственным качествам и характеру сопоставимого с героем комедии Мольера.

Но при самом пристрастном отношении ни среди московских масонов, ни в литературном, ни в деловом, ни в светском обществе, одним словом, в самом широком новиковском окружении такой фигуры не обнаруживается. Что, между прочим, делает честь этому кругу.

Поэтому круг поисков Тартюфа приходится весьма и весьма расширить и подойти к проблеме совсем с другой стороны.

А. С. Пушкин обладал замечательной памятью, так что сведения, слова, парадоксы, услышанные им в юности от Карамзина он хорошо помнил. К сожалению, от пушкинских воспоминаний о Карамзине сохранились две-три странички без начала и конца, но зато его слова, мысли, выражения попадают и в других мемуарных и исторических записях Пушкина.

В 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин

писал: «... От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила свое государство. Екатерина уничтожила звание (справедливее название) рабства (специальным указом в 1786 году запретила употреблять в обращении к ней слова „ваш раб“. — В. М.), а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. вольных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию... Любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти...

Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России...»

Карамзин в «Записке о древней и новой России», написанной в 1811 году, пишет о Екатерине II: «Блестящее царствование Екатерины представляет взору и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах — там от примеров двора любострастного, здесь от выгодного для казны умножения питейных домов... Заметим, что правосудие не цвело в сие время... В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности... Торговали правдою и чинами...» Пишет Карамзин и о сменявшихся один за другим ее фаворитах, которые, попав в случай, первым делом становились обладателями миллионного состояния, и он спрашивает: «Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое?»

Пушкин не мог читать «Записку...», она существовала в единственном экземпляре и хранилась в кабинете Александра I, но картина и оценка царствования Екатерины Великой совпадают с карамзинской и даже звучат еще резче, поэтому здесь явно присутствует воспроизведение живой беседы. Но еще более подтверждает живая деталь — прозвище персонажа из новиковско-карамзинского круга и времени.

«Простительно было, — завершает Пушкин характеристику Екатерины II, — фернейскому философу превозносить добродетели *Тартюфа* в юбке и в короне, он не знал, не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

Так что теперь к письму А. И. Плещеевой можно сделать объяснительное примечание: *Тартюф* — это российская императрица

Екатерина II (1729–1796).

Зачем и каким ехал Карамзин в заграничное путешествие, может быть, лучше всего объяснит прозвище, данное ему его ближайшими друзьями, которое пристало к нему, будто так его и звали с рождения. Это прозвище — Рамзей. Все называли его просто «Рамзей», а Настасья Ивановна прибавила к нему уважительно романтический титул: «лорд Рамзей».

В исследовательской литературе встречается объяснение, что Рамзей — это тайное масонское имя Карамзина. Однако это не так. Подобные тайные имена давались масонам только высших степеней, Карамзин же имел низшую, и масонского имени ему не полагалось.

Прозвище Карамзина «Рамзей» чисто литературного происхождения, по имени имевшего в роду шотландские корни французского писателя начала XVIII века — Адриена Мишеля Рамзее, автора популярного политико-дидактического романа «Путешествие Кира», издававшегося и на русском языке в 1760–1780-х годах под названием «Новое Киринаставление, или Путешествие Кира, с изложенными разговорами о богословии и баснетворчестве древних».

Сюжет романа — образовательное путешествие юноши-царевича по имени Кир, сына царя некоего древнегреческого царства, цель путешествия — подготовиться к будущей своей деятельности, когда он займет отцовский престол.

В путешествии царевича сопровождал воспитатель Гистасп. Путешественники посещают разные страны и государства, встречаются с мудрецами, философами, наблюдают обычаи и нравы. Так, они побывали в Египте, Спарте, Афинах, Финикии, Палестине и других землях и везде особое внимание обращали на государственное устройство, на различные учреждения, на справедливость законов, на меры, благодаря которым растёт благосостояние народа и соблюдается мир в обществе. В «Путешествии Кира» мудрецы, философы, правители, рассуждая об идеальном обществе, рисовали утопические картины. Это были утопии, рожденные в кругу известных деятелей просвещения, так как ближайшими друзьями А. М. Рамзее были Фенелон, Руссо, Луи Расин. Карамзин был увлечен этими утопиями человеческого братства и сам, как в детстве, самозабвенно предавался мечтам о мировом счастье и братстве.

Одну из таких утопий-мечтаний Карамзина мы можем прочесть, он напечатал ее в «Московском журнале», который стал издавать после возвращения из путешествия. Впоследствии Карамзин эту страничку нигде и никогда не перепечатывал. Конечно, она очень наивна, но дает

представление о душе, мыслях и желаниях юного Карамзина.

«Если бы я был старшим братом всех братьев-сочеловеков моих и если бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех в одно место, на какой-нибудь большой равнине, которая найдется, может быть, в *новейшем свете*, — стал бы сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обнять взором своим все миллионы, биллионы, триллионы моих разнородных и разноцветных родственников, — стал бы и сказал им — таким голосом, который бы глубоко отозвался в сердцах их, — сказал бы им: *братья!..* Тут слезы рекою быстрою полились бы из глаз моих, прервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердца и Гуронов и Лапландцев... *Братья!* — повторил бы я с сильнейшим движением души моей, — *братья! обнимите друг друга с пламенной, чистейшею любовью, которую небесный Отец наш творческим перстом своим сложил в чувствительную грудь сынов своих; обнимите и нежнейшим лобзанием заключите священный союз всемирного дружества, и когда бы обнялись они, когда бы клики дружелюбия загремели в неизмеримых пространствах воздуха, когда бы житель Отагити прижался к сердцу обитателя Галлии, и дикий Американец, забыв все прошедшее, назвал бы Гишпанца милым своим родственником, когда бы все народы земные погрузились в сладостное, глубокое чувство любви, тогда бы упал я на колена, воздел к небу руки свои и воскликнул: Господи! ныне отпускаеши сына Твоего с миром! Сия минута возжеленнее столетий — я не могу перенести восторга своего, — прими дух мой — я умираю! — и смерть моя была счастливее жизни ангелов. — Мечта!»*

По-видимому, Рамзей с Чистых прудов и получил свое прозвище из-за склонности к утопиям.

Александр Андреевич Петров также имел прозвище литературного происхождения — Агатон, так звали героя романа «История Агатона» немецкого писателя-романтика Кристофа Мартина Виланда, очень читаемого и почитаемого в их кругу.

Вынужденность обстоятельствами не была единственной и даже главной причиной заграничного путешествия Карамзина. Возможно, эти обстоятельства ускорили принятие решения о нем, потому что Карамзин

давно мечтал о таком путешествии и готовился к нему.

Общий маршрут уже намечен в мартовском письме Лафатеру: «Думаю ехать в Петербург, а из Петербурга проеду через Германию и Швейцарию... после чего поеду дальше во Францию и Англию».

Все друзья участвовали в той или иной степени в формировании программы путешествия, в выборе мест и предметов изучения, знакомств и посещений. Первый биограф Карамзина А. В. Старчевский знал о существовании письменной программы путешествия. «Отправляясь за границу, — пишет он, — Карамзин получил от С. И. Гамалеи „инструкцию“, которою должен был руководствоваться в выборе предметов изучения. Копии с этой „инструкции“ находятся у многих любителей русской старины в Москве. Не имея под рукою этого интересного для нас документа, мы не знаем, на что именно ментор старался направить внимание Карамзина». Более поздним исследователям не удалось обнаружить эту «инструкцию», но можно сказать почти с полной уверенностью, что она была осуществлена в путешествии.

Видимо, «инструкция» С. И. Гамалеи породила в обществе слухи, что Карамзин едет за границу на средства и по заданию Новикова, то есть по масонским делам. В действительности же он ехал на собственные деньги, продав братьям свою часть отцовского наследства.

Готовясь к путешествию, Карамзин читает книги по истории и географии, сочинения тех деятелей, которых предполагает посетить, газеты и журналы, чтобы ориентироваться в современных событиях и отношениях. Он запасается рекомендательными письмами. В воображении он рисует себе эпизоды будущего путешествия и даже начинает писать о нем роман. «Некогда начал было я писать роман, — рассказывал он, — и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительности то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа: боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи в благословенном своем жилище на Чистых прудах».

15 апреля 1789 года «Московские ведомости» объявили: «Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин». Такие объявления публиковались обычно за две недели до отъезда; в середине мая кибитка Карамзина выехала через Тверскую заставу на Петербургский тракт.

С первой большой станции, из Твери, Карамзин пишет письмо московским друзьям.

«Тверь, 18 мая 1789.

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! кто знает, чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения! Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался каждое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь. Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии, и где так часто заставляло меня восходящее солнце, готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всего любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Петров провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; — там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось так много любезного, и сказал: прости! Колокольчик зазвенел, лошади

помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые?: — Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Простите! Дай Бог вам утешений! — помните друга, но без всякого горестного чувства!»

Обычно едущие за границу из Москвы ехали другим маршрутом: через Смоленск или Киев, что было гораздо ближе, но не через Петербург. Заезд Карамзина в Петербург имел особую цель. Карамзин предполагал значительное время своего путешествия посвятить основательному изучению Англии и, чтобы облегчить себе задачу, должен был запастись рекомендательными письмами к людям, могущим ему помочь.

Пробыв в Петербурге пять дней и получив рекомендательные письма, Карамзин взял подорожную и выехал в Ригу.

Чем далее ехал Карамзин, чем более было новых впечатлений, тем веселее становилось у него на душе, и одно из очередных писем московским друзьям он закончил так: «Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа*».

Глава IV

РЫЦАРЬ ВЕСЕЛОГО ОБРАЗА, ИЛИ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК. 1789– 1790

Вечером 1 июня 1789 года в курляндской корчме при свете сальной свечи, то вспыхивающей коптящим пламенем, то угасающей до точечного уголька, Карамзин записывал события прошедшего дня. А день для русского путешественника был знаменателен: он пересек российскую границу и начал путешествие по чужим краям.

«Восходящее солнце разбудило меня лучами своими, — писал Карамзин, — мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию, — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! „Вот первый иностранный город“, — думал я, — и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового».

В Митаве ничего достопримечательного не нашлось; после прогулки по городу Карамзин записал, что видел молодого офицера, учившего старых солдат, и слышал, как пожилая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем-сапожником.

Ночевать остановились в корчме. Карамзин (не забыв записную книжку) пошел прогуляться по берегу реки. Вид заката над рекою напомнил ему, как они с Петровым любовались заходящим солнцем в Москве у Андроньева монастыря. Он лег под деревом, достал из кармана записную книжку, чернильницу, перо, написал несколько строк о вспомнившемся московском вечере, о начатом на Чистых прудах и брошенном романе о путешественнике...

В это время на берег вышли два немца, которые также ехали в Кёнигсберг, легли около Карамзина на траве и «от скуки, — как записал Карамзин, — начали бранить русский народ». Карамзин, перестав писать,

хладнокровно спросил у них, бывали ли они в России далее Риги. «Нет», — отвечали они. «А когда так, государи мои, — сказал Карамзин, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе». Немцы не стали спорить, но долго не хотели признать Карамзина русским, полагая, что русские не умеют говорить на иностранных языках.

Таков оказался первый заграничный день Карамзина.

До Кёнигсберга, путь до которого занял две с половиной недели, записная книжка пополнилась мало: ночевки в корчмах, вопросы на заставах при въезде в городки, разговоры случайных попутчиков и соседей по обеденному столу...

Карамзин приехал в Кёнигсберг рано утром. Остановившись в трактире, пошел осматривать город. Он представлял себе столицу Пруссии по историческим сведениям о ней как о крупнейшем ганзейском торговом городе, славном во времена Средневековья. Торговля и сейчас, заметил он, процветала в Кёнигсберге; правда, позже он узнал, что торговое оживление объяснялось приездом торговцев на завтрашнюю традиционную ярмарку.

Прежде всего бросилось в глаза огромное количество военных на улицах: повсюду взгляд встречал синие, голубые, зеленые мундиры с красными, белыми и оранжевыми отворотами, странные на первый взгляд форменные шляпы с полями, поднятыми спереди и сзади. «Как же многочислен здесь гарнизон», — думал Карамзин. За обедом в трактире за общим стол село человек тридцать офицеров. Их громкий разговор, прерываемый общим смехом, не отличался остроумием и разнообразием: шутили по поводу молодого ротмистра, который поутру долго не открывал окон, высказывали соображения, что за закрытыми окнами он «не письмом же занимался».

В Кёнигсберге по плану путешествия Карамзин должен был начать знакомство с ученой Европой с посещения знаменитого философа Иммануила Канта. У Карамзина не было к нему рекомендательных писем, и, отправляясь по указанному адресу, он надеялся только на убедительность собственных слов.

«Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: „Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить почтение Канту“. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: „Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости“. С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае,

об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений: „Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это *всё* не есть *всё*. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей: ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия: не представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*, — назовем его совестью, чувством добра и зла, — но он есть. Я солгал: никто не знает лжи моей, но мне стыдно. — Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни, но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были бы в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе о горестях здешней жизни: *авось, там будет лучше!* — Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь и все благотворящего. Что? как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное“».

В записной книжке Карамзина появилась первая запись из тех, ради которых он и отправился в путешествие. Он не излагал философии —

метафизики Канта, о которой любой интересующийся может узнать из его сочинений. (Кстати, Кант сообщил Карамзину названия двух своих сочинений, тому неизвестных, следовательно, другие Карамзин читал.) Разговор касался философских проблем, но Карамзин записал лишь то, что относилось к теме нравственности и было понятно тем, кто не искушен в философии, не в последнюю очередь и потому, что путевые записки предназначались именно для такого читателя. К тому же запись показывает, что в рассуждениях Канта особенно обратило внимание Карамзина, что было ему близко.

«Вот вам, друзья мои, — заключает Карамзин, — краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. Кант говорил скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов не много. Все просто — кроме его метафизики».

Составленный заранее план путешествия, изучение литературы о тех местах, которые он намеревался посетить, чтение сочинений авторов, с которыми должен был встретиться, собранные сведения о них — по книгам, газетам и журналам, по рассказам людей, которые встречались с ними или слышали что-либо о них, — все это помогало Карамзину при первой же личной встрече быстро сориентироваться и обратить внимание на главное. Но предварительное изучение таит опасность превратиться в некоего рода контролера, отмечающего наличие того, что имеется в списке, и часто удовлетворяющегося сознанием, что он посетил и увидел известные, прославленные отмеченные в путеводителях достопримечательности. Карамзин счастливо избежал подобной опасности, потому что он, прочтя горы книг, понял и принял разумом и сердцем древнюю мудрость: «Я знаю, что ничего не знаю». Он взирал на все с доброжелательной любознательностью, заранее готов был восхищаться увиденным и услышанным, от всего и всех ожидал узнать то, чего сам не знал; он был открыт для живых впечатлений и чаще всего встречал такой же доброжелательный прием и желание удовлетворить его любознательность.

Кроме того, в творческом освоении нового Карамзин невольно ставил себя на место собеседника, старался проникнуться его чувствами и понятиями. В Германии он хотел ощутить себя немцем, во Франции — французом, в Англии — англичанином. Прекрасно понимая, как это понимают актеры (а актерская жилка в нем была весьма сильна), сколько значит для вхождения в образ костюм, Карамзин всюду старался быть одет,

как местные жители. По Германии он ехал в сшитом в России дорожном кафтане (собственно говоря, по покрою это был почти фрак, и лишь назывался не фрак, а более привычно — кафтаном; Пушкин в 1820-е годы считал слово *фрак* чуждым русскому языку: «Но *панталоны, фрак, жилет*, всех этих *слов* на русском нет»). Экономных немцев его кафтан не удивлял, в Берлине он видел знатного и известного человека, на котором был кафтан, «сшитый, конечно, в первой половине текущего столетия». Зато в Париже, отметившем революцию и в моде, он сшил короткий жилет и фрак а-ля революсьон с полосатыми отворотами, в Англии — одноцветный синий фрак.

Намереваясь излагать свои впечатления в письмах, Карамзин вскоре отказался от этой мысли: путешествие не оставляло времени для литературной работы, — он записывал в книжку отдельные эпизоды, разговоры, примечательные детали, оставив литературную обработку до возвращения домой.

До Берлина записи Карамзина касаются обычных дорожных впечатлений: описание случайных спутников, неудобств прусской почтовой коляски без рессор и ремней, всем известной грубости немецких почтальонов — такой, что король был вынужден издать специальный указ о том, что почтмейстеры должны иметь более уважения к проезжим.

В Берлине Карамзин надеялся увидеться с Алексеем Кутузовым, но, к великому своему разочарованию, от которого почувствовал себя *жалким сиротою, бедным, несчастным*, узнал, что Кутузов уехал во Франкфурт-на-Майне.

В Берлинском театре Карамзин смотрел мелодраму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», которая растрогала его до слез и вызвала мысли о связи актерского мастерства с высотой развития драматургии. «Я думаю, — пишет он, — что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гёте, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу.

Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть доказывают мне, что

изящные искусства не имеют влияния на счастье наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей — пока будет оно чувствительно!»

После Берлина был Дрезден с его знаменитой картинной галереей; 14 июля Карамзин приехал в Лейпциг — город несбывшихся мечтаний его юности. Теперь он мог осуществить свое желание: слушал лекции в университете, беседовал с учеными, присутствовал на профессорской вечеринке и — увы! — испытал некоторое разочарование: «Я вижу людей, достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных, — но все они далеки от моего сердца». Все хорошо в свое время.

В последний день пребывания в Лейпциге Карамзин получил сразу два письма от Кутузова, который писал, что едет в Париж на несколько недель, поэтому Карамзин не найдет его во Франкфурте, и предлагал встретиться в Мангейме или в Страсбурге. Это известие очень огорчило Карамзина. В «Письмах русского путешественника» он объясняет, что никак не мог исполнить желание друга, и «таким образом во всем своем путешествии, — пишет он, — не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу! Эта мысль сделала меня печальным, и я пошел без цели бродить по городу и его окрестностям...». На следующий день Карамзин выехал в Веймар.

«Местоположение Веймара изрядно. Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень невелик, и кроме Герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома. — У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно: „Здесь ли Виланд? здесь ли Гердер? здесь ли Гёте?“ Здесь, здесь, здесь, отвечал он, и я велел постиллиону везти себя в трактир „Слона“.

Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гердер? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гёте? *Нет, он во дворце.*

— Во дворце! во дворце! — повторил я, передражнивая слугу, взял трость и пошел в сад».

С Гёте Карамзину так и не удалось побеседовать, но у Гердера и Виланда он побывал.

Разговор с Виландом касался в основном поэзии. В заключение Виланд спросил, каковы планы Карамзина на будущее. «Тихая жизнь, — отвечал Карамзин. — Окончив свое путешествие, которое предпринял

единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им». — «Кто любит муз и любим ими, — сказал Виланд, — тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».

Среди веймарских впечатлений любопытными для Карамзина были рассказы о Ленце. В Веймаре хорошо помнили его, рассказывали о его странностях, о вольном поведении при дворе, о том, как он объявил себя влюбленным во всех хорошеньких женщин и сочинял им любовные стихи, как возмнил себя реформатором и подавал герцогу сочинения о преобразовании войска. Но в конце концов его друг Гёте, ради которого он и приехал в Веймар, поссорился с ним и вынудил уехать из города.

Во Франкфурте-на-Майне, куда Карамзин приехал 29 июля, он узнал о восстании народа в Париже, о взятии Бастилии, о расправах над правительственными чиновниками. Несколько дней спустя карета Карамзина пересекла границу Франции. «Вы уже во Франции, господа, и я вас с этим поздравляю!» — объявил досмотрщик на границе, получил чаевые и пропустил карету.

С первых же минут на французской земле Карамзин почувствовал, как все вокруг изменилось: дух, настроение, сам воздух, словно насыщенный электричеством. «Везде в Эльзасе заметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции».

5 августа Карамзин приехал в Страсбург, а 6-го вечером, полный впечатлений, описывал, что за этот день ему пришлось наблюдать.

«А в Страсбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и пр. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: *mes amis, mes amis!* — *Oui nous sommes vos amis!*^[2] — кричали солдаты, — *пей же с нами!* Крик на улицах продолжается почти непрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окнами и смеются, смотря на неистовых. — Я был ныне в театре и, кроме веселости, ничего не заметил в

зрителях. Молодые офицеры перебегали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.

Между тем в самых окрестностях Страсбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа — что до сего времени всякий может делать, что хочет. Сей слух заставил здешнего начальника обнародовать, что *одна адская злоба, достойная неслыханного наказания*, могла распустить такой слух».

Видя все это, Карамзин не мог не вспоминать времена Пугачевского бунта, когда семьям помещиков пришлось бежать из своих поместий и деревень, спасая жизнь. Как ни мал он тогда был, но состояние общего страха, атмосферу опасности и злобы должен был чувствовать. Слышал он и рассказы о пугачевщине, которая так или иначе задела каждую дворянскую семью.

Вечером, за ужином, Карамзин стал свидетелем разговора, который пока его не касался, но в будущем, — кто знает, — может быть, и ему придется решать этот же вопрос. «За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? „Положить руку на эфес, — говорили одни, — и быть в готовности защищать правую сторону“. — „Взять абшид“, — говорили другие. „Пить вино и над всем смеяться“, — сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку».

В Страсбурге Карамзин надеялся найти письмо от Кутузова, но письма не было.

Исследователи жизни и творчества Карамзина уже более века полемизируют на тему, можно ли использовать «Письма русского путешественника» как документальный материал для его биографии; одни категорически отрицают их фактическую достоверность, другие склонны верить каждой дате, каждому факту. Время показывает, что и те и другие в своей односторонности не правы. Существует множество причин, которые заставляют писателя, если персонажами его произведения становятся современники, а особенно близкие ему люди, что-то недоговаривать, изменять, вуалировать. Так это бывает сейчас, так это было и во времена Карамзина.

Далее в «Письмах русского путешественника» нет сведений о встрече Карамзина с Кутузовым, но факты говорят, что она состоялась. О важности этой встречи для Карамзина знали его ближайшие московские друзья, знали, что он планировал ее еще в Москве. «Сердце его так хорошо, что он не может притворяться, — писала А. И. Плещеева Кутузову. — Он ехал с горестию оттого, что расстанется с нами. Лучшие разговоры при отъезде были те, как он вас увидит; одним словом, все составляло его удовольствие — мы, а потом — вы». Петров в письме Карамзину от сентября 1789 года спрашивает: «Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М.?»

Из Страсбурга Карамзин поехал не в Базель, а в Париж. Там и состоялась встреча. О содержании разговора Кутузова и Карамзина нет письменных сведений, о нем можно только предполагать с достаточной долей вероятности по косвенным материалам. Конечно, Карамзин рассказал об изменившихся обстоятельствах, в которых находились московские масоны, поскольку был уверен, что из Москвы Кутузову о многом не писали; а также объяснил свой разрыв с ними. Видимо, был спор, может быть, даже ссора. Во всяком случае, после этого свидания наступило охлаждение, хотя внешне, в письмах (их известно очень мало) они по-прежнему называли друг друга «верным братом» и «милым другом». Кутузов не хотел, чтобы содержание их разговора стало известно публике.

Узнав, что Карамзин начинает печатать описание своего путешествия в «Московском журнале», Кутузов пишет ему в Москву в декабре 1790 года: «Опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет (карточный термин, означающий проигрыш. — В. М.). Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки: что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистию». Но вряд ли эта боязнь касалась его лично; видимо, речь идет о каких-то масонских делах, каких-то фактах, которые Карамзин мог истолковать (или уже истолковывал при встрече) иначе, чем Кутузов. Свое письмо Кутузов заканчивает следующей сентенцией на английском языке: «Четыре хорошие матери производят на свет часто четырех несчастных дочерей; истина нарождает ненависть, счастье — спесь, беспечность — опасность и вольность обхождения — презрение».

Поскольку Карамзин знал, что письма, посылаемые Кутузову и получаемые от него, перлюстрируются, то ответил фразой, из которой следовало, что он не только не будет предлагать публике их разговор, но вообще скроет от всех сам факт их встречи. «О себе могу сказать только то, что мне скоро минет уже двадцать пять лет, — писал он Кутузову, — и что в

то время как мы с Вами расстались, не было мне и двадцати двух», то есть относит последнюю встречу с ним к 1787 году, до отъезда Кутузова за границу. Кутузов не понял намека. «Признаюсь, что восемь начертанных тобою строк суть для меня истинная загадка», — пишет он Карамзину. А не получая от него писем, обращается к И. В. Лопухину: «Скажи, где Багрянский и Карамзин? Сии путешественники по возвращении их умолкли», прямо подтверждая, что за границей он общался и с тем, и с другим.

Позиция и мысли Карамзина известны. Необходимо сказать немного о Кутузове.

В 1787 году, в кризисное для московских масонов время, Кутузов был послан в Берлин. «Послан он был, — объясняет Н. И. Новиков, — по дозволению из Берлина, о котором объявил барон Шредер, для ближайшего и точного наставления в орденском учении и в химических упражнениях, с тем чтобы впредь не было нужды быть при нас иностранному и чтобы тамошние узнали хотя одного из русских сами лично, а не по словам других, и когда сие молчание, или бездействие, окончится и воспоследует опять дозволение о начатии по-прежнему орденских упражнений, то чтобы он возвратился обученным для наставления и других, и какие дозволено будет сообщить тогда вновь акты, оные с ним доставлены будут. С того времени, как поехал, живет он там и обучается, ожидая вышепоказанного дозволения; другой или иной какой причины поездки Кутузова в Берлин и столь долгой его бытности там я совершенно не знаю...»

Кутузов никак не подходил для исполнения возложенных на него поручений: «ни по своему характеру — мягкому, доверчивому, по склонности видеть людей не в истинном свете, а сквозь призму собственных представлений, ни по умению разобраться в хитросплетениях интриг, политических и финансовых махинаций. Это было ясно еще в Москве его ближайшим друзьям — Плещеевым, Карамзину. „Вот что я думаю, — писала А. И. Плещеева Кутузову в Берлин, — цель Вашего вояжу была, есть и будет — пустые Ваши воображения, которые только могут мысленно существовать, а реализоваться никогда не могут“. Кутузова послали только потому, что остальные члены ложи по разным причинам не могли или не хотели ехать; впоследствии, осознав свое положение, он говорил, что его „принесли в жертву“».

В Париж Кутузов поехал для свидания и переговоров с руководителями масонских лож, находившихся в оппозиции к берлинским розенкрейцерам, надеясь при их помощи найти для московских масонов выход из-под тягостной опеки берлинцев. Видимо, об этом писал Кутузов в

письмах, полученных Карамзиным в Лейпциге.

За сообщением о письмах Карамзин пишет: «Я вспомнил, что известный обманщик Шрепфер кончил тут жизнь свою пистолетным выстрелом» и далее рассказывает историю этого авантюриста (называя его вторым Калиостро), занимавшего одно из первых мест в руководстве розенкрейцеров.

Владелец кафе в Лейпциге, человек без всякого образования, но обладающий практической сметкой, Шрепфер присвоил себе титул барона, распространил слух, что посвящен в высшие степени масонства и обладает тайными знаниями. Он устраивал спиритические сеансы, общался с загробным миром. Шрепфер терроризировал членов Лейпцигской масонской ложи, угрожал им на заседаниях пистолетом и шпагой. Масоны пожаловались на него руководителю саксонских масонов курляндскому герцогу Карлу, и по его приказу Шрепфер был высечен розгами. Однако он не угомонился; к вызыванию духов в своей масонской деятельности он присоединил также производство эликсира молодости и жизненной силы. Он так обставил свои сеансы, что многие поверили ему, и к нему потекли деньги, которые он собирал с доверчивых братьев-масонов, даже сам герцог Карл, поверив ему, призвал к себе, чтобы от него узнать высшие орденские тайны.

В конце концов Шрепфер запутался в денежных делах, обнаружилось его самозванство, и он, не видя выхода, застрелился. Розенкрейцеры объявили, что он — жертва клеветы. Именно с ними, друзьями и последователями Шрепфера, должен был иметь дело Кутузов.

Маршрут поездки Кутузова пролегал через Франкфурт, где работала ложа «Единение», ставившая своей задачей распространение просвещения и нравственности и ограничивающая в своей деятельности роль обрядности и мистики, через Страсбург, где жил Сен-Мартен, видный теоретик масонства, порвавший с традиционными системами и создающий новую систему, и завершился в Париже, где многие масонские ложи были откровенно просветительскими и прореволюционными.

Кутузова в этой поездке сопровождал Михаил Иванович Багрянский — студент-медик, окончивший образование за границей на средства Дружеского общества, доверенный человек Н. И. Новикова, искренне преданный ему, любивший его и почитавший. Когда Новиков был приговорен к заключению, то Багрянский добровольно последовал за ним в крепость.

Переговоры Кутузова с масонами оказались безуспешными. Тяжелым оказался и разговор с Карамзиным. Карамзин, видимо, советовал ему

отойти от масонов, как отошел он. Но Кутузов считал нравственным долгом продолжать исполнять обязательства. Карамзин говорил о своих планах: о писательской деятельности, об издании своего журнала — это было в духе новиковского кружка, но он намеревался продолжать лишь светское просветительское направление и отказаться от мистических исканий. Кутузов жил в мире своих мистических фантазий и представлений о «теоретическом христианстве», все остальное казалось ему неважным и ненужным, поэтому Карамзина в его модном фраке, восторженно обсуждающего злободневные парижские новости, он отождествлял с персонажами новиковских журнальных сатир — французящимися российскими петиметрами. Таким сохранил он его образ и в памяти, и позднее, когда московские масоны обсуждали и осуждали решение Карамзина издавать свой журнал, он вывел его в памфлете под именем Попугая Обезьянина.

Встреча Карамзина с Кутузовым в Париже происходила в десятых числах августа. Революция переживала эпоху национального согласия и надежд на мирное решение проблем, депутаты предлагали поднести Людовику XVI титул «восстановителя свободы»; все говорило за то, что нация изберет как форму государственного правления конституционную монархию. Английский посол при французском дворе в своем отчете правительству писал: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации».

Кутузов возвратился в Берлин, Багрянский поехал домой, в Россию, а путь Карамзина лежал в Швейцарию.

«Французская почта гораздо скорее немецкой», — замечает Карамзин, когда дилижанс, в котором он ехал, пересек французскую границу и подъезжал к Базелю.

«Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о всем человечестве».

Карамзин смотрел вокруг и видел ту Швейцарию, образ которой сложился в его воображении, — образ мечты, возвращенный литературой, причем литературой одного направления.

Как бы ни была искусственна литература сентиментализма, романтизма, аркадских идиллий — она существует и убеждает кого-то только потому, что в ее произведениях есть черты и образы, отражающие

какие-то стороны и черты действительности. При желании можно видеть лишь их, закрывая на иное глаза. Особенно когда вы подготовлены к тому, что увидите именно их. Вот с какими чувствами, с каким представлением о Швейцарии въезжал Карамзин в эту страну, и какой он увидел ее в первые дни своего пребывания в ней:

«Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы Небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной Натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение». Нетрудно представить, в каком грустном состоянии духа уехал Карамзин из Парижа, каким неожиданным и оттого еще более сильным ударом было для него крушение его мечты о встрече с Кутузовым, которую он в воображении рисовал не раз и которая должна была бы стать радостным торжеством дружбы. Крушение дружбы для Карамзина, ощущавшего ее как одно из главнейших оснований своей жизни и мировоззрения, было большим горем. Немного сгладило горечь от разлада с Кутузовым новое знакомство — с попутчиком, соседом по дилижансу из Страсбурга в Базель.

«С молодым человеком в красном камзоле, — записал Карамзин по приезде в Базель, — успел я коротко познакомиться. Он сын придворного копенгагенского аптекаря Беккера, учился в Германии медицине и химии (последней у славного берлинского профессора Клапрота) и прошел большую часть Германии пешком, один с своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая чрез почту чемодан свой из города в город. В Страсбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть всё примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию». Беккер был ровесником Карамзина. Одно, незначительное, по мнению всех здравомыслящих людей, но чрезвычайное, на взгляд молодых людей, происшествие с молодым датчанином очень сблизило их.

В «Аисте», где они остановились, среди постояльцев была пара — молодая женщина с мужчиной. Потом узнали, что это брат с сестрой и направляются они в Ивердон. Беккер влюбился с первого взгляда. За общим столом он старался сесть рядом с прекрасной ивердонкой, краснел, смущался, не ел, не пил, старался услужить ей, потом попросил ее написать что-нибудь в его записную книжку. Красавица написала по-французски: «Сердце, подобное Вашему, не имеет нужды в наставлениях; следуя своим

побуждениям, оно следует предписаниям добродетели». Беккер сообщил Карамзину, что умирает от любви и не может ехать с ним в Цюрих. Однако наутро дама с братом уехали, и молодые люди продолжили свое путешествие настоящими друзьями.

Приехав в Цюрих, Карамзин заказал в трактире обед и решил, что сразу после обеда пойдет к... В соответствующем месте письма с описанием этого дня он задает читателю риторический вопрос: «Нужно ли сказывать к кому?» — уверенный, что каждый догадается об этом.

Первый визит к Лафатеру Карамзина разочаровал. «Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет и, услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, поцеловался со мною — поздравил меня с приездом в Цюрих, — сделал мне два или три вопроса о моем путешествии — и сказал: „Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь, как дома“. — Тут он показал мне в своем шкапе несколько фолиантов с надписью „Физиогномический Кабинет“ и ушел. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятные впечатления. Ужели я надеялся, что со мной обойдутся дружелюбнее и, услышав мое имя, окажут более ласкового удивления? Но на чем же основалась такая надежда? Друзья мои! не требуйте от меня ответа, или вы приведете меня в краску. Улыбнитесь про себя на счет ветреного, безрассудного самолюбия человеческого и предайте забвению слабость вашего друга».

Взятый Карамзиным в его письмах Лафатеру уничижительно-восторженный тон: «Обладаю ли я теми великими талантами, которыми мне надлежало бы обладать для того, чтобы осмелиться писать к великому Лафатеру?..» — и так далее — при личном свидании неминуемо должен был ощущаться еще более фальшивым. Это чувствовал и Карамзин, и, конечно, Лафатер, который считал своей обязанностью занимать гостя.

Видимо, Карамзин надеялся на беседу, как с Кантом и Виландом, но Лафатер, составивший о Карамзине представление по его письмам, вместо этого повел его в гости к профессору Брейтингеру. В обществе немецких ученых, занятых разговорами о своих заботах, не понимая доброй половины их сути, Карамзин просидел вечер, затем Лафатер проводил его до трактира и простился до завтрашнего дня.

«Пришедши в свою комнату, почувствовал я великую грусть», —

записал в этот вечер Карамзин, но тем не менее счел себя обязанным описать первую встречу с Лафатером:

«Вы, конечно, не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог *свободно* говорить с ним, первое, потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее; а второе, потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкши к цюрихскому выговору».

Карамзин продолжал играть взятую на себя роль, Лафатер, похоже, чувствовал себя неловко. Дома у него (а Карамзин каждый день обедал у Лафатера) они беседовали прилюдно. Лафатер водил Карамзина по своим друзьям. Записывая события одного из дней, Карамзин отметил, что за весь этот день он услышал от Лафатера лишь одну фразу, обращенную к нему: «Лафатер, сидевший рядом со мною, сказал, потрепав меня по плечу: „Думал ли я дня за три перед этим, что буду ныне обедать с моим московским приятелем?“».

Карамзин сопровождал Лафатера в его посещениях больных и бедных, в вечерних прогулках, присутствовал на воскресной проповеди.

Разрешив Карамзину в своем кабинете «читать и рассматривать», что ему будет угодно, Лафатер должен был показать ему безусловно интересную для него запись своей беседы с великим князем Павлом Петровичем, который в 1782 году путешествовал с супругой по Европе под именем графа и графини Норд, то есть Северных. Физиогномическая характеристика Павла при том отношении и тех надеждах, которые возлагали в новиковском кружке на наследника престола, была действительно для Карамзина не только интересна, но и важна.

Тот образ Павла I, который создаст Карамзин в 1796 году в оде на восшествие его на российский престол, сложился под большим влиянием лафатеровского анализа.

Лафатер, по своему обыкновению, всю беседу с наследником русского

престола записал весьма подробно. После того как Лафатер, отвечая на вопрос Павла Петровича, кратко объяснил основания физиогномики и значение формы лба, наследник, показав на свой лоб, спросил:

— Ну, как же обстоит дело здесь? Надеюсь, что достаточно плохо?

— У вас нет никаких причин быть недовольным ни своим лбом, ни своим лицом, — ответил Лафатер.

— Я ожидал от вас не комплиментов.

— Я не стану, разумеется, делать вам комплименты. Это совсем не мое дело. Прямоту — мой характер. Я говорю сейчас, поверьте мне, не с великим князем, а с человеком, которого вижу перед собой... Каждый человек может быть доволен своим лицом. Природа не пристрастна ни к кому в отдельности. Пусть лишь каждый будет тем, что он есть; пусть лишь каждый не выступает из предназначенной ему сферы — все зло в мире оттого, что человек хочет быть чем-то иным, чем тем, для чего создала его Природа. Каждый, кто имеет большие достоинства, имеет одновременно и противостоящие им, почти неразделимо связанные с этими достоинствами слабости, и наоборот. Никому не положено больше, чем он может нести, — и каждый, в силу своей физиономии, имеет присущие ему наследия и собственные, присущие ему страдания. Вы, монсеньор, созданы Природой лучше, чем тысячи других. Оставайтесь всегда так же хороши, как того хотела Природа. Природа умеет удержать нас без ущерба от всего, к чему мы не способны. Пусть лишь каждый стремится познать, оценить и использовать то, что ему дано, и более обращать внимание на то, что он имеет.

В конце разговора Павел Петрович отвел Лафатера в сторону (в помещении, где происходил разговор, присутствовали еще Мария Федоровна, супруга великого князя, и несколько человек свиты) и тихо, серьезно, «с выражением доверительности» спросил:

— И все-таки скажите мне серьезно, не правда ли, у меня отталкивающая, гнусная физиономия?

На это Лафатер так же тихо ему ответил. Видимо, разговор происходил в виде диалога, но в записи Лафатера он представлен как монолог:

— Будьте покойны, монсеньор, прямоту может жить в любых формах лица. Искренность и сердечная доброта, которыми, несомненно, наделила вас Природа, и наделила щедрой рукой, и которые каждый человек, обладающий здоровыми глазами, прочтет на вашем лице, должны сохранить вас от страха и озабоченности. — Ваша доброта скроет и поглотит в вашем лице все, что может казаться несовершенным. Тот, кто добр, должен быть вам хорош. Если бы у вас было то, что собственно

называют гнусной физиономией, я не смог бы, как я уже сказал, быть таким веселым в вашем присутствии и, конечно, не сказал бы вам то, что было сказано. Ваше лицо для меня — новое доказательство одной старой истины, которую физиогномика, чтобы не стать врагом человека и убийцей, как можно громче должна высказывать и подтверждать примерами; я понимаю истину, о которой я только что говорил: честь, доброта, справедливость и любезность могут жить во всех, даже несовершенных формах лица. Все рисовавшие вас хотели вас приукрасить. Однако простосердечия, главной черты вашего лица, нет ни в одном портрете из всех когда-либо попадавших мне на глаза. Стало быть, никогда не испытывайте недоверия, не верьте в какую-то гнусность вашего лица. Ваша доброта, честность сможет пересилить все, что называют «гнусностью». Оставайтесь, я прошу вас, всегда верным вашему лицу! Природа не обошла вас стороной. Будьте лишь всегда тем, кем вы должны и можете быть по вашему облику. Вы никогда не сделаете зла, никогда не станете злым человеком! Вы сотворите много добра, и тысячи возрадуются, если только вы не станете действовать хуже, чем честность и доброта вашего лица позволяют мне надеяться с уверенностью ожидать того. У вас черты лица, в которых, я хотел бы сказать, покоится счастье миллионов!

«Он был очень возбужден, — продолжает свой рассказ Лафатер, — и, казалось, крайне растроган, почти до слез... „О, вы добры! — или что-то подобное сказал он. — Так вы полагаете, вы верите, что я, как я того желаю, еще смогу стать добрым, полезным человеком?“».

Из Цюриха Карамзин, как полагается, совершил двухдневное путешествие в Альпы.

В Цюрихе Беккер встретил двух своих соотечественников — графа Адама Мольтке и Иенса Баггесена — молодых литераторов и познакомил с ними Карамзина, который оставил великолепную зарисовку своих новых знакомых, пути которых не раз пересекутся с его путями. По этому описанию чувствуется, что вся компания обнаружила друг в друге много общего и похожего, а заключительная фраза едва ли не автошарж.

Господин Баггесен, рассказывает Карамзин, «сочинил на датском языке две большие оперы, которые отменно полюбились копенгагенской публике и, наконец, были причиной того, что автор лишился спокойствия и здоровья. Вы удивитесь; но тут нет ничего чудного. Зависть вооружила против него многих писателей; они вздумали уверять публику, что оперы господина Баг. ни к чему не годятся. Молодой автор защищался с жаром; но он был один в толпе неприятелей. В газетах, в журналах, в комедиях — одним словом, везде его бранили. Несколько месяцев он отбранивался;

наконец почувствовал истощение сил своих, с больною грудью оставил место боя и уехал в Пирмонт к водам, откуда доктор прислал его в Швейцарию лечиться горным воздухом. Молодой граф М., учившийся в Геттингене, согласился вместе с ним путешествовать. Оба они познакомились с Лафатером и полюбились ему своею живостию. И тот и другой любят аханье и восклицания. Граф бьет себя по лбу и стучит ногами, а поэт Баг. складывает руки крестом и смотрит в небо, когда Лафатер говорит о чем-нибудь с жаром».

Наверное, Карамзин, говоря о Баггесене, думал и о своей писательской судьбе; в нем уже созрела мысль, что по возвращении домой он посвятит себя литературе, и ничему другому.

Из Цюриха датчане поехали в Люцерн, договорившись с Карамзиным встретиться в Женеве.

Пробыв в Цюрихе десять дней, Карамзин отправился дальше. В Лозанне, «с весельем в сердце и с Руссовою „Элоизою“ в руках» (роман Ж. Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»), он посетил те места в окрестностях, в которых происходит действие романа.

В Лозанне с Карамзиным произошел случай, который вполне мог бы стать сюжетом сентиментального рассказа или повести, но описание которого он не включил в «Письма русского путешественника» и который стал известен лишь 60 лет спустя из рассказа некоего анонимного путешественника, напечатанного в одном из русских журналов в 1850 году. Автор этого рассказа, путешествуя по Швейцарии, застигнутый на пути дождем, зашел переждать непогоду на ближайшую ферму. После ужина хозяев, к которому был приглашен и путник, бабушка попросила внука, как велось у них, прочесть ей несколько страниц из Библии. Из книги выпал листок, хозяева обратили внимание путешественника, что надпись на нем сделана русским. На листке было написано имя: «Николай Карамзин» и стояла дата: «Сентябрь, 1789». Бабушка рассказала его происхождение.

В то время она, молодая девушка, и ее нынешний муж Жозеф, трудолюбивый, но бедный крестьянин, любя друг друга, собирались пожениться. Но ее отец поставил условие: свадьба будет тогда, когда парень обзаведется собственным хозяйством. Как раз в это время Жозеф сговорился о покупке по соседству фермы, но объявился более богатый покупатель, и хозяин фермы, хотя уже был заключен договор и внесена часть денег, отказал Жозефу. Молодые люди были в отчаянии. Они сидели под деревом, «то утешали друг друга, то прощались навсегда». «Вдруг из-за дерева вышел молодой человек, не старше моего Жозефа, одетый очень просто, с дорожной тростью в руке, и сказал: „Извините, что мне пришлось

подслушать ваш разговор. Я устал от прогулки, отдыхал здесь под деревом — и невольно узнал ваши тайны“. Молодой человек отрекомендовался русским путешественником и сказал, что постарается помочь их горю.

Через два дня к дому рассказчицы подъехала коляска, в которой сидели Жозеф, тот молодой человек и адвокат Ренье. Они вошли в дом, адвокат сказал ее отцу, что они приехали сватать его дочь за Жозефа. Отец стал отговариваться, что, мол, они бедны, у жениха ничего нет, таким образом, молодых людей, если они поженятся, ожидает нищета. Но адвокат показал ему бумаги, из которых следовало, что ферма и виноградник по закону остаются за Жозефом, а девушке сказал: „Вы всем обязаны господину Карамзину. Он нашел средство обеспечить состояние вашего жениха посредством богатого русского вельможи, графа Н.“».

В Женеве Карамзин намеревался остановиться на продолжительное время.

«Вы, конечно, удивитесь, — пишет Карамзин, — когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму...

Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей в месяц я нанял себе большую, светлую, изрядно прибранную комнату в доме; завел свой чай и кофе; а обедаю в пансионе, платя за то рубля четыре в неделю. Вы не можете вообразить себе, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство!»

И. И. Дмитриев объяснял столь долгое пребывание Карамзина в Женеве тем, что тот хотел усовершенствоваться во французском языке, которым владел хуже, чем немецким. Образ жизни, который Карамзин ведет в Женеве, как будто подтверждает слова Дмитриева: «Здесьняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов, и старых, и новых, чтобы иметь полное понятие о французской литературе; бываю на женевских вечеринках и в Опере».

2 октября Карамзин получил сразу три письма из России. «Если б вы видели, как я обрадовался! По крайней мере, вы живы и здоровы. Благодарю судьбу», — писал он в ответ. Письма пришли действительно в очень нужное время и поддержали его; он еще раз убедился, что в Москве его любят и думают о нем по-прежнему.

Петров писал:

«Воспоминание о тебе есть одно из лучших моих удовольствий. Часто я путешествую за тобою по ландкарте; расчисляю, когда куда мог ты приехать, сколько где пробыть; вскарабкиваюсь с тобою на высоты гор, воображаю тебя

бродящего по прекрасным местам или делающего визит какому-нибудь важновидному ученому. Я думаю, что теперь ты давно уже в Швейцарии. Усердно желаю, чтобы во всех местах находил ты таких людей, которых знакомство и воспоминание возвышало бы удовольствие, какое ты находил в наслаждении прекрасною природою и в новости предметов, и утешало бы тебя в твоём опыте, что везде есть злые люди. Могу себе представить, что сей опыт часто тебя огорчает при твоей чувствительности и приводит в такое грустное расположение, в каком я видел тебя, живши с тобою. Но, не правда ли, что он и даёт тебе живее чувствовать цену людей, достойных почтения, многих ли или немногих?..

Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с Алексеем Михайловичем, виделся ли уже с Лафатером и как он тебя принял; как располагаешь ты свой вояж? Я опасаюсь твоего проезда через Францию, где ныне такие неурядицы.

Что касается до меня, я живу по-прежнему; перевожу (что, мимоходом сказать, довольно уже мне наскучило). Осиротевшее без тебя „Детское чтение“ намерен я наполнить по большей части из Кампева „Теофрона“.

Беккер, как договаривались, приехал в Женеву, но приехал один, Мольтке и Баггесен остались в Берне. После дружеских объятий Беккер рассказал Карамзину о романтической причине нынешнего своего одиночества: Баггесен влюбился и собирается жениться.

Рассказ Беккера вызвал у Карамзина приступ меланхолии. Пересказав в очередном письме эту историю, он заключает повествование пейзажем. Был ноябрь, осень уже полностью вступила в свои права.

«Осень делает меня меланхоликом. Вершина Юры покрылась снегом; деревья желтеют, и трава сохнет. Брожу между виноградных шпалер, с унынием смотрю на развалины лета; слушаю, как шумит ветер — и горесть мешается в сердце моём с каким-то сладким удовольствием. Ах! никогда ещё не чувствовал я столь живо, что течение Натуры есть образ нашего жизненного течения!.. Где ты, весна жизни моей? Скоро, скоро проходит лето — и в сию минуту сердце моё чувствует холод осенний...»

Тосковал и Беккер. Он вспоминал ивердонскую красавицу и чувствовал себя ещё более влюбленным.

Влюбленность, наряду с культом дружбы, была необходимой частью психологического образа молодого человека Карамзинского времени; его воплощала литература в стихах и в прозе, он действительно существовал и в жизни, и в романах, то и дело переступая границу между ними. Молодые люди воображали себя героями романов — Вольмаром, Вертером... Конечно, ни в коем случае нельзя назвать чувства молодых немецких, французских, российских Вертеров книжными и искусственными, это их действительная жизнь, действительные переживания — литература лишь дает им имя и помогает выразить их в слове.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин много говорит о своих дружеских переживаниях и не рассказывает ни одной своей любовной истории, хотя постоянно обращает внимание на спутниц по дилижансу, соседок по гостинице, женщин и девушек на улицах, сравнивает их, пишет об их красоте, изяществе, обращает внимание на наряды — одним словом, совершенно очевидно, что он, как и его друзья-датчане, жил в той же атмосфере влюбленности — чуть литературной, но такой естественной для молодого человека, полного сил, творческих замыслов, поэтических мечтаний. Несомненно, какие-то романтические эпизоды были; в последнем письме из Парижа Карамзин упоминает о своих «ночных прогулках» и «рыцарских приключениях», но не описывает их. Надо отметить, что Карамзин всегда был чрезвычайно скрытен в этом отношении.

Беккер, не выдержав любовной тоски по красавице из Ивердона, пробыв в Женеве полтора или два месяца, помчался ее искать. Вскоре Карамзин получил от него письмо. Оно приведено в «Письмах русского путешественника». Стиль письма Беккера совершенно карамзинский, и не только стиль, но и ход мыслей. Фраза: «Так или почти так пишет мой Б.» как бы предупреждает читателя, что это не документ, а литературное произведение. Наверное, не будет ошибкой предположить, что Карамзин внес в него элемент автобиографичности или, как он говорил, «писал портрет свой».

Вот фрагмент письма Беккера Карамзину:

«Ах, мой друг! жалею о несчастном! Простуда, кашель, боль в груди едва ли позволяют мне за перо взяться; но я непременно должен известить тебя о моем меланхолическом приключении.

Ты помнишь молодую ивердонскую красавицу, с которой мы ужинали в Базеле, в трактире *Ауста*, помнишь, может быть, и то, что я сидел рядом с нею; что она говорила со мною ласково и

смотрела на меня с нежностью, — ах! какая гранитная гора могла защитить мое сердце от ее пронзительных взоров? Какие снежные громады могли погасить огонь, воспаленный сими взорами в источнике жизни моей? Так, мой друг!., скажу тебе откровенно, что ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых — теперь описать не умею. Не знаю, что бы я сделал, если бы она — о жестокий удар! — не уехала из трактира в самую ту ночь, в которую душа моя занималась ею с величайшим жаром и в которую утешительный сон не смыкал глаз моих. Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятные места... новые знакомства, водопады, горы, девица Г. — все сие не могло совершенно затереть образ прекрасной Ивердонки в сердце моем. Долго старался я преодолевать себя, но тщетно! Быстрая река рано или поздно разрывает все оплоты: так и любовь! Наняв в Лозанне лошадь, поехал я верхом в Ивердон: скакал, летел и в десять часов утра был уже на месте — остановился, напудрился, снял с себя кортик, шпоры и пошел, куда стремилось мое сердце».

Увы! Влюбленного ожидало жестокое разочарование: красавица Юлия на вопрос старика отца, знает ли она этого господина, ответила, что не имеет сей чести. Только собственноручная ее запись в записной книжке Беккера заставила ее смущенно признаться: «Я имела честь вместе с ним ужинать в Базеле». Старик отец, узнав, что Беккер — доктор медицины, завел с ним разговор о своих болезнях. «Увы! — думал влюбленный Беккер. — Затем ли судьба привела меня в Ивердон, чтобы рассуждать о геморроидальных припадках дряхлого старика?» Между тем взоры Юлии были холодны, как Северный полюс.

«Наконец самолюбие мое, — писал Беккер, — жестоко уязвленное, заставило меня встать со стула и откланяться. „Долго ли вы пробудете в Ивердоне?“ — спросила Юлия приятным своим голосом (и с такою усмешкою, которая весьма ясно говорила: надеюсь, что ты уже не придешь к нам в другой раз). — „Несколько часов“, — отвечал я. — „В таком случае желаю вам счастливого пути“.

...Когда я вышел излома, наемный слуга, провожатый мой, сказал мне, что девица Юлия скоро выйдет замуж за господина Н. Н.».

Письмо заканчивалось классической фразой с классической латынью: «Вот конец моего романа! Vale!^[3]» А вскоре вернулся в Женеву и сам Беккер.

В середине февраля туда же приехали Мольтке и Баггесен, они ездили в Париж и возвращались через Женеву в Берн. Баггесен еще не женился и спешил к невесте. Те несколько дней, которые они пробыли в Женеве, Карамзин и Беккер показывали им наиболее красивые виды в окрестностях. Побывали они и в Фернее; как говорит Карамзин, «кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?». Хотя дом Вольтера, давно уже проданный его наследниками, был закрыт для посетителей, Карамзину и его спутникам удалось осмотреть его.

Также Карамзин побывал в имении маркиза де Жирардена — последнем пристанище Жан Жака Руссо и на острове Сен-Пьер посреди Бьенского озера, на котором тот завещал себя похоронить, что и было исполнено.

«День был очень хорош, — рассказывает Карамзин о посещении места последнего упокоения Руссо. — В несколько часов исходил я весь остров, и везде искал следов Женевского гражданина и философа: под ветвями древних буков и каштановых деревьев, в прекрасных аллеях мрачного леса, на лугах поблекших и на кремнистых свесах берега. „Здесь, — думал я, — здесь, забыв жестоких и неблагодарных людей... неблагодарных и жестоких! Боже мой! как горестно это чувствовать и писать!.. здесь, забыв все бури мирские, наслаждался он уединением и тихим вечером жизни; здесь отдыхала душа его после великих трудов своих; здесь в тихой, сладостной дремоте покоились его чувства! Где он? Все осталось, как при нем было; но его нет — нет!“ Тут слышалось мне, что и лес и луга вздохнули, или повторили глубокий вздох моего сердца. Я смотрел вокруг себя — и весь остров показался мне в трауре».

В Женеве Карамзин отметил свой день рождения.

«Женева. Декабря 1, 1789 г. Ныне минуло мне двадцать четыре года! (В это время он еще полагал, что родился в 1765 году.) В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой. Друзья мои! дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет! — Доверенность к Провидению — доверенность к той невидимой Руке, которая движет и миры и атомы, которая бережет и червя, и человека, — должна быть основанием нашего

спокойствия!»

Этот день рождения был для него вдвойне праздничным: он выздоравливал от напугавшей его болезни. Две недели Карамзина мучила головная боль, не давала заснуть, никакие лекарства не помогали, дни и ночи он просиживал, опершись на стол и закрыв глаза. Только через две недели ушла из головы свинцовая тяжесть, он смог раскрыть глаза, вышел из дому и увидел небо.

В начале декабря Карамзин написал стихотворение «Выздоровление», воспевающее радость жизни:

Нежная мать Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!

Шарль Бонне — «великий, славный философ и натуралист», как называет его Карамзин, стоял в списке тех, кого он намеревался посетить одним из первых. И вот Карамзин у Бонне.

Беседа продолжалась три часа. «Боннет очаровал меня своим добродушием и ласковым обхождением. Нет в нем ничего гордого, ничего надменного. Он говорил со мною как с равным себе и всякий комплимент мой принимал с чувствительностью. Душа его столь хороша, столь чиста и неподозрительна, что все учтивые слова кажутся ему языком сердца: он не сомневается в их искренности. Ах! какая разница между немецким ученым и Боннетом! Первый с гордой улыбкой принимает всякую похвалу как должную дань и мало думает о том человеке, который хвалит его; но Боннет за всякую учтивость старается платить учтивостью».

Карамзин еще несколько раз побывал у Бонне. После того как он перечитал его сочинение «Созерцание Природы», в котором Бонне в наиболее полном и популярном виде излагал свои воззрения на природу, он решил переводить его на русский язык. Об этом он написал письмо Бонне. Это письмо интересно еще и тем, что в нем Карамзин пишет о своих принципах перевода и о современном русском языке.

«Я осмеливаюсь писать к Вам, думая, что письмо мое обеспокоит Вас менее, нежели посещение, которое могло бы на несколько минут прервать Ваши упражнения.

С величайшим вниманием читал я снова Ваше „Созерцание Природы“ и могу сказать без тщеславия, что надеюсь перевести его с довольною точностию; надеюсь, что не совсем ослаблю слог Ваш. Но для того, чтобы сохранить всю свежесть красот, находящихся в подлиннике, мне надлежало бы *иметь Боннетов дух*. Сверх того, язык наш, хотя и богат, однако же, не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма немногие философические и физические книги переведены на русский. Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем; но, отдавая всю справедливость сему последнему, которого богатство и сила мне известны, скажу, что наш язык сам по себе гораздо приятнее. Перевод мой может быть полезен — и сия мысль послужит мне ободрением к преодолению всех трудностей».

Бонне одобрил намерение Карамзина и обещал дать дополнения — новые, «самой французской публике неизвестные примечания».

Из Женевы Карамзин с Беккером собирались ехать в Южную Францию — в Лангедок и Прованс. Они часами рассматривали ландкарту и составляли план путешествия.

Зная, что Карамзин едет в Париж, цюрихские и женевские знакомые снабдили его рекомендательными письмами. А поскольку среди них были люди различных положений и взглядов, то эти рекомендации должны были ввести Карамзина в самые разные общества — от великосветских салонов до якобинских клубов.

В конце марта Карамзин и Беккер выехали из Женевы. В Женеве Карамзину выдали паспорт, текст которого он приводит в «Записках русского путешественника»:

«Мы, Синдики и Совет Города и Республики Женевы, сим свидетельствуем всем, до кого сие имеет касательство, что, поелику господин Карамзин, двадцати четырех лет от роду, русский дворянин, намерен путешествовать во Франции, то, чтобы в его путешествии ему не было учинено никакого неудовольствия, ниже досаждения, мы всепокорнейше просим всех, до кого сие касается, и тех, к кому он станет обращаться, давать ему свободный и охранный проезд по местам, находящимся в их подчинении, не чиня ему и не допуская

причинить ему никаких тревог, ниже помех, но оказывать ему всяческую помощь и споспешествование, каковые бы он ни желал получить от нас в отношении тех, за кого бы они, со своей стороны, перед нами поручительствовали бы. Мы обещаем делать то же самое всякий раз, как нас будут о том просить. В каковой надежде выдано нами настоящее за нашей печатью и за подписью нашего Секретаря сего 1 марта 1790 г.

От имени вышеназванных господ Синдигов и Совета — *Пюэрари*».

Вписав в книгу текст женевского паспорта, Карамзин снабдил его собственным пояснением: «Итак, если кто-нибудь оскорбит меня во Франции, то я имею право принести жалобу Женевской республике, и она должна за меня вступиться. Но не думайте, чтобы великолепные Синдики из отменной благосклонности дали мне эту грамоту: всякий может получить такой паспорт».

Первый французский город, в который приехали Карамзин с Беккером и в котором остановились на несколько дней, был Лион.

В Лионе самыми яркими оказались театральные впечатления. В городе гастролировал тогдашний кумир французской публики, «король танца», знаменитый парижский танцовщик Мари Опост Вестрис. Карамзин с некоторой долей иронии отнесся к тому восторгу, с которым публика встретила Вестриса. «Энтузиазм был так велик, — заметил он, — что в сию минуту легкие французы могли бы, думаю, провозгласить Вестриса Диктатором». Однако он отдает должное его мастерству и артистичности: «Правду сказать, искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах. Какая фигура! какая гибкость! какое равновесие! Никогда не думал я, чтобы танцовщик мог доставить мне столько удовольствия! Таким образом, всякое искусство, подходящее к совершенству, приятно душе нашей!»

В следующий вечер Карамзин смотрел новую драму Мари Жозефа Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь», воскрешавшую ту памятную в истории Франции страницу, когда религиозный фанатизм, интриги монархических и церковных политиков обернулись для народа кровавой трагедией. Драма была запрещена королевской цензурой, потребовалось постановление Национального собрания, чтобы «Карл IX...» был разрешен к представлению на сцене.

В Лионе Беккер не получил ожидаемого денежного перевода, и у него

оставалось лишь шесть луидоров, на которые можно было кое-как добраться до Парижа. Денег, имеющихся у Карамзина, также было недостаточно для двоих. Уезжая из Женевы, они поделили поклажу пополам, и поскольку у Беккера был полупустой чемодан, то в него попало много вещей Карамзина, и теперь Беккер доставал из своего чемодана вещи друга: книги, письма, платки — и говорил: «Возьми их, может быть, мы уже не увидимся». Карамзин колебался несколько минут, затем твердо сказал: «Нет, мы едем вместе!»

Жертва, приносимая дружбе, была велика, но, конечно, несоизмерима с ней, и Карамзин, распрощавшись этими строками с неосуществленной частью своего путешествия, больше не вспоминал о нем. Его вытеснили новые впечатления.

Плывя в почтовой лодке по Соне, Карамзин смотрит на берега — на аккуратные деревеньки, возделанные и, видно, приносящие богатые плоды поля, на сады, на дворянские замки, и сменяющиеся картины настраивают его на мысли о течении и смене исторических эпох:

«Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов... здесь журчала Сона в дичи и мраке; темные леса шумели над ее водами; люди жили, как звери, укрываясь в глубоких пещерах или под ветвями столетних дубов — какое превращение!.. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с натуры все знаки первобытной дикости!

Но, может быть, друзья мои, может быть, в течение времени сии места опять запустеют и одичают, может быть, через несколько веков вместо сих прекрасных девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут гребнями белых коз своих, явятся здесь хищные звери и заревут, как в пустыне африканской!.. Горестная мысль!

Наблюдайте движения природы; читайте историю народов; поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию — и скажите, чего ожидать невозможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним, они увядают в свое время — придет странник, который удивлялся некогда красоте их; придет на то место, где цвели они... и печальный мох представится глазам его!.. — Оссиан!

Одно утешает меня — то, что с падением народов не упадает весь род человеческий; одни уступают свое место другим — и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде

процветут новые политические общества...»

Чем более приближались к Парижу, тем большее волнение испытывал Карамзин. Стало традицией подчеркивать главенствующее и чуть ли не вытесняющее все остальное влияние на него немецкой литературы, немецкой культуры. Описание того, какие чувства он испытывал, въезжая в Париж, опровергает это мнение:

«Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее — Париж!.. Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. „Вот он (думал я) — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. я его вижу и буду в нем! — Ах, друзья мои! сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия! Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением!“».

В описании Парижа, вошедшем в «Письма русского путешественника», пожалуй, самом обширном из описаний городов, которые посетил Карамзин во время своего путешествия, наряду с историческими, статистическими сведениями, а также справками о различного рода достопримечательностях, почерпнутыми из путеводителей и описаний, на которые Карамзин часто ссылается, более всего собственных наблюдений автора.

«Я в Париже! эта мысль производит в душе моей какое-то особенное, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... я в Париже, говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Елисейские; вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством: на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными

глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений.

Пять дней прошли для меня, как пять часов: в шуме, во многолюдстве, в спектаклях, в волшебном замке Пале-Рояль. Душа моя наполнена живыми впечатлениями; но я не могу самому себе дать в них отчета и не в состоянии сказать вам ничего связного о Париже. Пусть любопытство мое насыщается; а после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. — Теперь замечу одно то, что кажется мне главною чертою в характере Парижа: отменную живость народных движений, удивительную скорость в словах и делах. Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешат куда-то, все, кажется, перегоняют друг друга; ловят, хватают мысли; угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас отправить. Какая страшная противоположность, например, с важными швейцарами, которые ходят всегда размеренными шагами, слушают вас с величайшим вниманием, приводящим в краску стыдливого, скромного человека; слушают и тогда, когда вы уже говорить перестали; соображают ваши слова и отвечают так медленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают! А парижский житель хочет всегда отгадывать: вы еще не кончили вопроса, он сказал ответ свой, поклонился и ушел».

Карамзина более занимает не Париж путеводителей и описаний, по которым он полюбил его, а современный. «Оставляя почтенную старину, — говорит он в третьем парижском письме, — оставляя все прошедшее, буду говорить об одном настоящем».

Он рассказывает о *Елисейских Полях* — о бархатном луге, леске, лужайке — месте народного гулянья, где по воскресеньям «бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют *водевили*», то есть песенки из популярных комедийных пьес.

Елисейским Полям Карамзин противопоставляет «густые аллеи славного сада *Тюльери*, примыкающие к великолепному дворцу — вид прекрасный! Вошедши в сад, не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей, или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотою бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй... Здесь гуляет уже не народ так, как в *Полях*

Елисейских, а так называемые лучшие люди, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю».

Карамзин предлагает посмотреть на город с одной из террас сада Тюильри: «Взойдите на большую террасу; посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы — красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет, — взгляните на все и скажите, каков Париж? Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Оставайтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения...»

Сам же он идет далее, на улицы не парадного и аристократического Парижа, а туда, где обитает большинство парижан: «Пошедши далее, увидите тесные улицы — оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира — кучу гнилых яблок и сельдей, везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, — зажмите нос и закройте глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг — и вдруг повеет на вас благоуханием щастливой Аравии, или, по крайней мере, цветущих лугов Прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом».

В одном из писем Карамзин описывает свое обычное времяпрепровождение в Париже:

«Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материй для философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяний и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество, и пение их так сладостно, усыпительно... Как легко забыться, заснуть! Но пробуждение едва ли не всегда горестно — и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек. Однако ж не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень

дорога для всякого: напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных* и в строгом смысле *позволенных* удовольствиях: иметь хорошую комнату в лучшей *отели*; поутру читать разные журналы, газеты... *бродить* по городу... осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную... явиться, с первым движением смычка, в опере, в комедии, в трагедии и пленяться гармониею балета, смеяться, плакать... за чашкою *баваруаза* взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие политики; наконец возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постель и (чем обыкновенно кончится и день, и жизнь) заснуть глубоким сном с приятною мыслию о будущем. — Так я провожу время — и доволен».

Итак, Карамзин в Париже. Из приведенных отрывков из его «Писем...» видно, каким был Париж и каково было обычное времяпрепровождение Карамзина. Он любил сравнение жизни с театром. Так вот, если воспользоваться им, то можно сказать, что Париж и мирные занятия с позволенными удовольствиями — это декорации, фон, на котором разыгрывалась драма жизни, в коей он хотел принять участие не в качестве стороннего наблюдателя, а хотя бы в роли статиста, как об этом свидетельствуют некоторые эпизоды и фразы в «Письмах русского путешественника», а в еще большей степени в них не вошедшие, но известные по другим источникам.

В Париже разыгрывался очередной акт драмы французской революции. Карамзин не пишет о политических событиях, подразумевая, что они известны: «Говорить ли о Французской революции? Вы читаете газеты: следственно, происшествия вам известны» — так начинает он одно из первых парижских писем.

Не повторяя газетных статей и сообщений, которые фиксировали шаг за шагом политические события, дискуссии в Национальном собрании, издание законодательных актов, определяющих будущие судьбы страны и нации, Карамзин в своих письмах приглашает взглянуть на революционный Париж с другой точки зрения — не политика, а простого человека, которому выпала судьба жить в это время. Он описывает, как отразились эти грандиозные, мировые (Карамзин понимал это) события в быту, он

рисует нравы эпохи. Особое его внимание привлекает народ, простые люди, поскольку в современных событиях они стали главной силой, а их действия и психологию было понять гораздо труднее, чем самого хитрого политика.

«Я думаю теперь: какое могло б быть самое любопытнейшее описание Парижа, — пишет Карамзин. — Исчисление здешних монументов Искусства (рассеянных, так сказать, по всем улицам), редких вещей в разных родах, предметов великолепия, вкуса, конечно, имеет свою цену; но десять таких описаний — и самых подробных — отдал бы я за одну краткую характеристику или за галерею примечания достойных людей в Париже, живущих не в огромных палатах, а по большей части на высоких чердаках, в тесном уголке, в неизвестности. Вот где обширное поле, на котором можно собрать тысячу любопытных анекдотов!»

Он не изобразил в «Письмах...» галерею подобных людей, хотя основным объектом его наблюдений была уличная жизнь Парижа. «Я худо пользуюсь здешними знакомством и обществом; я скуп на время, мне жаль тратить его в трех или четырех домах, где меня принимают», — пишет он.

Король и королева почти ежедневно посещали службу в придворной церкви, куда теперь был открыт свободный доступ народу. Карамзин не преминул воспользоваться возможностью увидеть Людовика XVI и Марию Антуанетту. «В церкви было множество народу, — рассказывает он в „Письмах...“. — Все люди смотрели на короля и королеву, еще более на последнюю; иные вздыхали, утирали глаза свои белыми платками; другие смотрели без всякого чувства и смеялись над бедными монахами, которые пели вечерню...» Наслышанный об аристократическом гулянье в Булонском лесу в четверг, пятницу и субботу Страстной недели, Карамзин пошел посмотреть на него. Привлекают его народные развлечения. «Я желал видеть, как веселится парижская чернь, и был нынешний день в *Генгетах*: так называются загородные трактиры, где по воскресеньям собирается народ обедать за 10 су и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль! Превеликие залы наполнены людьми обоего пола; кричат, пляшут, поют». По поводу пьяных французов он сделал вывод, что хотя они, как и русский народ, «обожают Бахуса», но ведут себя иначе: «разница та, что пьяный француз шумит, а не дерется».

Каждый вечер Карамзин посещал театр. «Целый месяц, — писал он, — быть всякий день в спектаклях! быть, и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!.. и всякий раз наслаждаться их приятностями с новым чувством!.. Сам дивлюсь; но это правда.

Правда и то, что я не имел прежде достаточного понятия о французских театрах. Теперь скажу, что они доведены, каждый в своем роде, до возможного совершенства, и что все части спектакля составляют здесь прекрасную гармонию, которая самым приятнейшим образом действует на сердце зрителя».

Карамзин посетил заседание Академии надписей и познакомился с историком Пьером Шарлем Левеком, которого Дидро рекомендовал Екатерине II как ученого, способного написать «Историю России». Левек, приглашенный в Петербург, жил в России несколько лет, преподавал в кадетском корпусе, выучил русский язык и собрал материал для своего труда, который был издан на французском языке в 1782–1783 годах, а в 1787 году переведен на русский. «Российская история» Лeveка, по мнению Карамзина, «хотя имеет много недостатков, однако ж лучше всех других». Упомянув «Российскую историю» Лeveка, Карамзин говорит о положении исторической науки в России и о принципах, на которых должна писаться русская история. Вряд ли можно утверждать, что в апреле 1790 года в Париже у него уже было намерение писать историю России, но нельзя не отметить того, что в будущем в работе над «Историей государства Российского» он придерживался некоторых своих мыслей того времени.

«Больно, но должно по справедливости сказать, — говорит Карамзин, — что у нас до сего времени нет хорошей Российской Истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны: соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в английской Истории; но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир, свой Лудовик XI: Царь Иоанн; свой Кромвель: Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет

важнейшие эпохи в нашей Истории и даже в Истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель Анджело. — Левек как писатель не без дарования, но без достоинств; соображает довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо; но кисть его слаба, краски не живы: слог правильный, логичный, но не быстрый. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах; может ли он говорить о русских с таким чувством, как русский?»

Интересы и любопытство Карамзина были очень широки, поэтому Париж представал перед ним во всей разности своих обликов. Еще сохранялись обломки и живые предания о Париже недавнего прошлого. Знакомый аббат водил Карамзина по улице Сент-Оноре, указывая тростью на дома, рассказывал о великосветских салонах, собиравшихся там. В одном по воскресеньям съезжались самые модные парижские дамы, знатные люди, славнейшие остроумцы — играли в карты, «судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе». В другом по четвергам «собирались глубокомысленные политики обоего пола», сравнивали Мабли с Жан Жаком Руссо и «сочиняли планы для новой Утопии». Общество третьего салона интересовалось религией и мистикой (его во время своего путешествия по Европе в 1782 году посетил Павел Петрович — граф Северный), католический проповедник рисовал такие ужасные картины древнего хаоса, что «слушательницы падали в обморок от великого страха».

В заключение аббат сказал Карамзину:

— Вы опоздали приехать в Париж; счастливые времена исчезли; приятные ужины кончились; хорошее общество рассеялось по всем концам земли... Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать и как провести вечер...

Но Карамзин и сам видел происходящие изменения. Ему легко было представить вчерашний Париж:

«Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем как в своей любезной столице, — златая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч ее сияния, который едва

сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы Революции выгнали из Парижа самых богатых жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли; а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников».

Карамзин собирал живые черты революции, ее проявления в жизни общества, влияния на народную жизнь. Конечно, далеко не все его наблюдения вошли в «Письма русского путешественника», но то, что вошло, с большой долей уверенности можно сказать, было типичным, во всяком случае, с точки зрения Карамзина.

Он неоднократно перечисляет темы разговоров — одни и те же и в Париже, и в провинции: о декретах Национального собрания, об аристократах и демократах, о партиях, интригах, о нации, Неккере, графе Мирабо, о проектах переустройства общества. Обо всем этом Карамзин слышал за обеденным столом в гостиницах, салонах, кофейнях, под аркадами Пале-Рояля.

Революция вызвала целый поток прогнозов на будущее — и утопий, и антиутопий (хотя такого термина тогда еще не существовало), люди искали в прошлом пророчеств о настоящем. Карамзин не упоминает пророчеств Нострадамуса, хотя имя и сочинения его он знал, но приводит стихи Франсуа Рабле, в которых, как считал аббат, водивший Карамзина по улице Сент-Оноре, содержится предсказание о революции: «Объявляю всем, кто хочет знать, что не далее, как в следующую зиму увидим во Франции злодеев, которые явно будут развращать людей всякого состояния и поссорят друзей с друзьями, родных с родными. Дерзкий сын не побоится восстать против отца своего, и раб против господина, так, что в самой чудесной Истории не найдем примеров подобного раздора, волнения и мятежа. Тогда нечестивые, вероломные сравняются властью с добрыми; тогда глупая чернь будет давать законы и бессмысленные сядут на месте судей. О страшный, гибельный потоп! *потоп*, говорю: ибо земля освободится от сего бедствия не иначе как *упившись кровию*».

Видимо, не раз Карамзин бывал свидетелем бессмысленных стычек и драк. В Лионе толпа схватила старика, доставшего из кармана пистолет, и с криками: «На фонарь!» — пыталась его повесить. В одной деревне Карамзин застал стечение взволнованного народа. Он спросил у молодой женщины, что здесь происходит. Она объяснила: «Сосед наш Андрей, содержатель трактира под вывескою *Креста*, сказал вчера в пьянстве *перед целым светом*, что плюет на нацию. Все патриоты взволновались и хотели

его повесить: однако ж наконец умилились, дали ему проспать и принудили его нынче публично в церкви, на коленях, просить прощения у милосердного Господа».

«Народ, — замечает Карамзин, — сделался во Франции страшнейшим деспотом».

В Женеве Карамзин запасся рекомендательными письмами в Париж не только у Лафатера. В «Письмах русского путешественника» он говорит, что у него было рекомендательное письмо от некоего эмигранта графа к его брату, парижскому аббату; в архиве Жильбера Ромма, известного деятеля французской революции, обнаружено письмо женева Кунклера, рекомендующего ему «г. Карамзина, москвитянина»; письма и деньги Карамзин получал на адрес известного часового мастера, швейцарца Бреге, который был близким другом Марата. Бреге (или, как пишет Карамзин и как привычнее для русского читателя, — Брегет) жил «недалеко от Нового мосту», сам Карамзин остановился, может быть даже по его рекомендации, поблизости. «Новый мост, близ которого я жил», — говорит он о своем парижском адресе. Видимо, имелись и другие рекомендательные письма; одни открывали ему двери в аристократические салоны, другие вводили в круг революционных политиков.

Описывая уличную жизнь, Карамзин почти ничего не говорит о руководителях и крупных деятелях революции, но это вовсе не значит, что он не наблюдал их и не встречался с ними. Он не мог писать о них: когда издавались «Письма русского путешественника», их следовало изображать только исчадиями ада.

У Бреге он наверняка встречался с Маратом. С другими деятелями революции его мог познакомить Жильбер Ромм.

Большую часть времени Ромм проводил в Якобинском клубе — главном месте неофициального общения политиков; тут бывали Мирабо, Робеспьер и др. Безусловно, там бывал и Карамзин, и, видимо, оттуда идет его личное знакомство с Робеспьером. Блестящий оратор, Мирабо далеко не всегда был в силах соревноваться с Робеспьером, который на трибуне выглядел робким провинциалом, говорил тихо, поднося исписанные листочки чуть ли не вплотную к близоруким глазам. Мирабо видел силу его речей в том, что «он верит в то, что говорит». Французский историк А. Оляр в книге «Ораторы революции» объясняет, в чем заключалась сила ораторских выступлений Робеспьера: «Его красноречие — это быть честным со всеми и против всех... Быть верным морали — в этом для него заключалась вся политика». Видимо, эти черты вызывали у Карамзина глубокую симпатию. «Робеспьер внушал ему благоговение, — пишет Н. И.

Тургенев. — Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи».

В статье «Письмо в „Зритель“ о русской литературе», напечатанной анонимно в 1797 году в гамбургском журнале «Северный зритель», Карамзин дает довольно подробный автореферат «Писем русского путешественника», приводит несколько цитат из еще не вышедших томов, в том числе и цитату, при издании исключенную.

«Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее *вижу*, но Руссо ее *предвидел*. Прочтите примечание в „Эмиле“, и книга выпадет из ваших рук (Карамзин имеет в виду следующее примечание: „Мы приближаемся к эпохе кризиса, к веку революции“. — В. М.). Я слышу декламации и „за“, и „против“, но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Я признаюсь, что мысли мои об этом достаточно зрелы. События следуют друг за другом, как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием. Опускаю занавес».

В книге та же мысль — о том, что революция (в напечатанном тексте сказано: «история») не окончена, — поставлена в связь с характеристикой действующих лиц, безусловно, основанной на живом наблюдении: «Не думайте, однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы: одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».

Мысль о закономерности трагического финала революции и

предпочтительности постепенных общественных изменений перед революционными была высказана Карамзиным уже в «Письмах русского путешественника»:

«Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. *Утопия*, или „Царство щастия“ сочинения Моруса (Томаса Мора. — В. М.) будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их щастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению: Оно, конечно, имеет Свой план; в Его руке сердца Государей — и довольно.

Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей: бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком. Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сделаем!*

Новые республиканцы с порочными сердцами! разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного республиканца, Катона, что *безначалие хуже всякой власти!*»

В начале июня 1790 года Карамзин выехал из Парижа, направляясь в Англию. На первой ночевке в 30 верстах от Парижа Карамзин записывает: «Душа моя так занята происшедшим, что воображение мое еще ни разу не заглянуло в будущее; еду в Англию, а об ней еще не думаю».

Он вспоминает тех, кто сделал его пребывание в Париже приятным: Беккера, русских земляков, барона Вильгельма Вольцогена, с которым он познакомился в Париже и сошелся на любви к Шиллеру, с которым бродил

по парижским окрестностям, совершал ночные прогулки и ходил на «рыцарские приключения». Все они провожали его с объятиями и поцелуями и долгими и крепкими рукопожатиями...

В то время, когда пакетбот швартовался к причалу в Дувре, Карамзин, стоя на палубе, вглядывался в берег и записывал в книжку первые английские впечатления.

«Берег! берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы».

Сойдя на берег и устроившись в трактире, Карамзин, верный своему обыкновению, тотчас пошел осматривать город. Дувр был не похож на все, что он видел раньше, Карамзину казалось, что он «переехал в другую часть света». Красные кирпичные дома, черепичные крыши, мощенные камнем чистые тротуары — все это придавало Дувру, как полагал Карамзин, истинно английский вид, и подобные — английские — черты он будет отмечать для себя на каждом шагу. Но что особенно и сразу поразило — это красота англичанок: «И на каждом шагу — в таком маленьком городке, как Дувр, — встречается вам красавица, в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке. Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты — и путешественник, который не пленился миловидными англичанками, который, — особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц, — может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: „Если ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!“ — Англичанок нельзя уподобить розам; нет, они почти все бледны, — но сия бледность показывает сердечную чувствительность и делается новою приятностию на их лицах. Поэт назовет их лилиями, на которых, от розовых облаков неба, мелькают алые оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорит она: *я умею любить нежно!* — Милые, милые англичанки! — Но вы опасны для слабого сердца, опаснее Нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров волшебства, очарования...»

Карамзин восхищался, поднявшись на гору, пейзажем суши и моря, великолепнейшим английским пейзажем. Охладила его восторг сцена, разыгравшаяся по возвращении в трактир. Его окружили несколько плохо одетых мужчин и грубыми голосами требовали денег за оказанные по прибытии услуги: один — за то, что подал ему руку, когда он сходил с

корабля, другой — за поднятый платок, третий — за донесенный от таможи до трактира чемодан, четвертый, пятый, шестой — еще за что-то... Карамзин в сердцах бросил им два шиллинга и ушел. Тут ему вспомнилось, что на таможне осмотрщик разворошил его чемодан, не нашел ничего запрещенного — и потребовал три шиллинга. Эти траты, хотя и не очень значительные, огорчили Карамзина: деньги у него были на исходе, и случалось поджиматься и экономить.

Впрочем, выгадывать приходилось с самого начала путешествия. Ф. Н. Глинка рассказывает, что однажды спросил у Карамзина, как он собирал библиотеку. «Это плод моих самоограничений», — ответил тот и пояснил, что во время путешествия деньги у него были строго рассчитаны на каждый день на завтрак, обед и ужин. «Я лишил себя ужина, — сказал Карамзин, — и на эти деньги (за границей книги дешевы) закупил много книг, таким образом, я возвратился с лучшим здоровьем и с библиотекою!»

В пути от Дувра до Лондона, в четырехместной карете, запряженной прекрасными лошадьми, по ровной и гладкой дороге, Карамзин всюду видел подтверждение своему представлению об Англии как о самом благополучном и благоустроенном государстве.

«Какие места! какая земля! — пишет о первом своем впечатлении Карамзин. — Везде богатые, темно-зеленые и тучные луга, где пасутся многочисленные стада, блестящие своею перловою и серебряною волною; везде прекрасные деревеньки с кирпичными домиками, покрытыми светлою черепицею... везде замки богатых лордов, окруженные рощами и зеркальными прудами; везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон или из деревень и сельских домиков выезжают прогуливаться на большую дорогу; везде трактиры, и у всякого трактира стоят оседланные лошади и кабриолеты, — одним словом, дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города.

Какое многолюдство! какая деятельность! и притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой».

В столь восторженном настроении Карамзин приехал в Лондон и совершил первую прогулку по нему: «Все фонари на улицах были уже

засвечены; их здесь тысячи, один подле другого, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся нам огненной непрерывною нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал и не дивлюсь ошибке одного немецкого принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминирован для его приезда. Английская нация любит свет и дает правительству миллион, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства!»

Прогулка по ночному Лондону настроила Карамзина на философский лад. Потом он записал свои мысли:

«Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которые, подобно китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в нервах легкие, едва приметные впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе — думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственный, подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его; первую живее чувствую в уединении, другую между людей, — но не всякий обязан иметь мои чувства. Я умствую: извините. Таково действие английского климата. Здесь родился Невтон, Локк и Гоббес!»

Первый день в Лондоне, несмотря на обилие впечатлений, все же был еще полон воспоминаний о Франции и мыслей о возвращении домой. Карамзин написал короткое письмо братьям Дмитриевым (кажется, первое за все путешествие), в котором — «на скорую руку» — рассказывал о своем путешествии: «Я проехал через Германию; побродил и пожил в Швейцарии; видел знатную часть Франции, видел Париж, видел *вольных* французов». В одном (выделенном и подчеркнутом) слове найдено точное определение впечатления от народа революционной Франции.

На следующий день, узнав, что сегодня в Вестминстерском аббатстве

состоится традиционное ежегодное исполнение оратории Генделя «Мессия», пошел на концерт. «Я плакал от восхищения... — передает Карамзин свое впечатление от услышанного. — Я слышал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым „Мессиею“. И печально, и радостно, и великолепно, и чувствительно».

На концерте присутствовала «лучшая лондонская публика». С любопытством Карамзин рассматривал королевскую семью; «у всех добродушные лица и более немецкие, нежели английские», отметил он, «дочери похожи на мать: совсем не красавицы, но довольно милостивы», принц Уэльский, сын короля и будущий король Георг IV — «хороший мужчина, только слишком толст». Кроме королевской семьи с таким же, а может быть, с еще большим любопытством Карамзин рассматривал Вильяма Питта — премьер-министра, которого он считал почти идеалом государственного политика: «Всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолубием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами... У него самое английское, покойное и даже немного флегматическое лицо, на котором, однако ж, изображается благородная важность и глубокомыслие... В наружности его нет ничего особенно приятного». Сообщив, что «за вход отдал последнюю гинею», Карамзин заключает свое описание такой сентенцией: «Слышав Генделя и видевав Питта, не жалею своей гинеей».

В русском посольстве Карамзина встретил теплый прием. Конечно, рекомендательные письма сыграли роль, но они, видимо, лишь помогли первому сближению, а затем уже действовали личная приязнь, симпатия и интерес друг к другу. Посол, или, как тогда говорили, полномочный министр, граф Семен Романович Воронцов пригласил Карамзина обедать у него. Доверительные отношения установились с Василием Федоровичем Малиновским — секретарем посольства, ровесником Карамзина, со священником Смирновым и другими молодыми посольскими чиновниками.

«Париж и Лондон, два первые города в Европе, были двумя Фаросами моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец, вижу и Лондон». Этой фразой началась серия «Писем...», посвященная описанию английской части путешествия.

«В каждом городе, — говорил Карамзин, — самая примечательная вещь есть для меня... самый город». Несколько дней он, как и по Парижу, просто бродил по городу и, по его словам, исходил Лондон вдоль и

поперек.

Недостаточное знание английского языка не позволяло ему так часто и много вступать в разговоры на улицах, как это делал он во Франции, и это вызвало у него некоторые соображения о национальной гордости англичан в отношении своего языка и отсутствии таковой у русского светского общества. «Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю английский. Какая разница с нами! У нас всякий, кто умеет только сказать: *comment vous portez-vous* (как поживаете? — В. М.), без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши остроумцы, которые хотят быть французскими авторами. Бедные! они счастливы тем, что француз скажет об них: *poor etranger, monsieur n'ecrit pas mal!* (для иностранца месье пишет неплохо! — В. М.)».

Не имея возможности много расспрашивать и выслушивать подробные объяснения, полностью и точно понимать их, Карамзин старался как можно больше увидеть. Его описание Лондона более внешне, картинно, но эта картина достаточно выразительна.

«Он (Лондон) ужасно длинен, но в иных местах очень узок; в окружности же составляет верст пятьдесят. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестные деревни, которые исчезнут в нем, как реки в океане. Вестминстер и Сити составляют главные части его; в первом живут по большей части свободные и достаточные люди, а в последнем купцы, работники, матросы: тут река с великолепными своими мостами, тут Биржа; улицы тесные, и везде множество народу. Тут не видите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной (как, например, Нева в Петербурге или Рона в Лионе) и будучи с обеих сторон застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Только в одном месте сделана на берегу терраса (называемая Адельфи), и, к несчастью, в таком, где

совсем не видно реки под множеством лодок, нагруженных земляными угольями. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатые лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами...»

Исполняя взятое на себя обязательство смотреть и описывать, Карамзин посетил все главные достопримечательности Лондона.

Он осматривал с группой туристов городскую тюрьму, по которой их водил надзиратель и представлял заключенных: «Здесь сидит господин убийца, здесь господин вор, здесь госпожа фальшивая монетчица»; посетил дом умалишенных, знаменитый «Бедлам», в котором ему пришла на ум мысль, что в настоящее время гораздо более сумасшедших, нежели когда-либо бывало прежде. Он побывал на Бирже и в Королевском ученом обществе, поднимался на колокольню Святого Павла, откуда был виден весь Лондон: «Прекрасный вид! весь город, все окрестности перед глазами! Лондон кажется грудой блестящей черепицы; бесчисленные мачты на Темзе — частым камышом на маленьком ручейке; рощи и парки — густою крапивою».

Знаменитая крепость Тауэр, построенная в XI веке Вильгельмом Завоевателем, бывшая сначала королевским дворцом, затем государственной темницей, в которой теперь помещались монетный двор, арсенал, Королевская кладовая — музей государственных сокровищ и зверинец с дикими зверями, вызвала у Карамзина прежде всего исторические воспоминания, которые так перекликались с современными событиями. «Я недавно читал Юма (Давид Юм — философ, историк, экономист, автор книги „История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 года“, издана в 1754–1778 годах; эта книга была у Карамзина в его путешествии, и многие исторические сведения, касающиеся Англии и встречающиеся в „Письмах русского путешественника“, взяты из нее. — В. М.), и память моя тотчас представила мне ряд несчастных принцев, которые в этой крепости были заключены и убиты. Английская история богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более, нежели во всех других землях, погибло людей от внутренних мятежей. Здесь католики умерщвляли реформаторов, реформаторы католиков, роялисты республиканцев, республиканцы роялистов; здесь была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! какое исступление умов! Книга выпадает из рук.

Кто полюбит англичан, читая их историю? Какие парламенты! Римский сенат во время Калигулы был не хуже их. Прочитав жизнь Кромвеля, вижу, что он возвышением своим обязан был не великой душе, а коварству своему и фанатизму тогдашнего времени. Речи, говоренные им в парламенте, наполнены удивительным безумием. Он нарочно путается в словах, чтобы не сказать ничего: какая ничтожная хитрость! Великий человек не прибегает к таким малым средствам; он говорит дело или молчит. Сколь бессмысленно все говоренное и писанное Кромвелем...»

Побывав в королевском дворце, Карамзин обратил внимание на его скромность: «Сент-Джемский дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотря на него, пышный человек не захочет быть английским монархом. Внутри также нет ничего царского».

Затем посетил он Адмиралтейство, Гринвический госпиталь для престарелых моряков, Британский музей и другие лондонские замечательные места и учреждения и рассказал о них в письмах. Почти во всех его рассказах говорится: «мы пришли», «мы попросили», «нас провели». Иногда его сопровождали новые друзья из русского посольства, но чаще он присоединялся к группе английских экскурсантов. «Описания свои, — пишет он, — заключу я примечанием насчет английского любопытства. Что ни пойдете вы здесь осматривать: церковь ли Св. Павла, Шекспирову ли галерею, или дом какой, везде находите множество людей, особливо женщин».

По мере более близкого знакомства с английской жизнью его взгляд на Англию становится менее восторженным. Он знакомится с лондонским дном.

«Но если вы хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то загляните ввечеру в подземельные таверны или в питейные дома, где веселится подлая лондонская чернь! — пишет Карамзин. — Такова судьба гражданских обществ: хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай. Дрожжи и в самом лучшем вине бывают столь же противны вкусу, как и в самом худом».

Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, что на лондонских улицах, ввечеру, видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже. Оставляя другое (о чем можно только говорить, а не писать), вообразите, что между несчастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! вообразите, что есть мегеры, к которым изверги-матери приводят дочерей на смотр и торгуются!»

На Ковенгарденской площади Карамзин наблюдал предвыборное собрание. На обратном пути с одним из его спутников случилось

происшествие: у него из кармана вытащили кошелек — случай досадный, но обычный для Лондона. Воровство было одной из гримас английской свободы и гражданских прав. «Нигде так явно не терпимы вору, как в Лондоне, — рассказывает Карамзин, — здесь имеют они свои клубы, свои таверны и разделяются на разные классы: на пехоту и конницу, на домовых и карманных. Англичане боятся строгой полиции и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты и жить в городе, как в лагере. Зато они берут предосторожность: не возят и не носят с собою много денег и редко ходят по ночам, особливо же за городом... В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймать его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств».

Обокраденному Карамзин с товарищами попеняли: «Советовали же вам не брать с собой денег, а вы не послушались».

Путешествие по Англии обернулось для Карамзина, в общем-то, лишь знакомством с Лондоном и его ближайшими окрестностями. В этих экскурсиях он осматривал достопримечательности, упомянутые в путеводителях, и убеждался, что все описано точно и правдиво.

Много времени Карамзин проводил в посольстве.

Общение с графом Семеном Романовичем Воронцовым было интересным, давало возможность познакомиться с доселе неизвестным кругом русского общества: судьба предоставила случай, и Карамзин им воспользовался.

Описывая свой обычный день: утренний чай дома, завтрак в пирожной лавке («где прекрасная ветчина, свежее масло, славные пироги и конфеты; где все так чисто, так прибрано, что любо взглянуть; правда, что такие завтраки не дешевы, и меньше двух рублей не заплатишь, если аппетит хорош...»), иногда обед в кофейне («где за кусок говядины, пудинга и сыру берут также рубля два, зато велика учтивость: слуга отворяет вам дверь, и милостивая хозяйка спрашивает ласково, что прикажете?»), Карамзин говорит: «Но чаще всего обедаю у нашего посла графа С. Р. В., человека умного, достойного, приветливого, который живет совершенно по-английски, любит англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большей части иностранных министров. Обхождение графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо Русскую Историю, литературу и читал мне наизусть лучшие места из од Ломоносова. Такой посол не уронит своего Двора; за то Питт и Гренвиль очень уважают его... Наш граф носит всегда синий фрак и маленький кошелек (имеется в виду часть старинного головного убора —

мешочек, в который убирается косичка парика. — В. М.), который отличает его от всех лондонских жителей, потому что здесь никто кошелеков не носит. На лето нанимает он прекрасный сельский дом в Ричмонде (верстах в 10 от Лондона), где я также у него был и ночевал».

В России Карамзин не мог рассчитывать на более или менее близкие отношения с вельможей такого ранга, за граница сглаживала различие общественных положений. К тому же граф Семен Романович покровительствовал молодежи или, как пишет язвительный Ф. Ф. Вигель, «был известен угодливостью молодым людям». Служившие под его начальством в посольстве молодые люди бывали его постоянными собеседниками, разделявшими его идеи, тогда как среди ровесников он встречал немного людей, сочувствующих его англomanии.

Воронцовы — древний русский дворянский род. Воеводы, бояре при Иване III и Грозном, в XVIII веке — царедворцы: Михаил Илларионович участвовал в возведении на престол Елизаветы, был награжден графским титулом, назначен государственным канцлером; его брат Роман — генерал-аншеф, сенатор, наместник Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний — был известен корыстолюбием и лихоимством, за что получил прозвище Роман Большой Карман. Дети же Романа Илларионовича Александр, Семен и Екатерина (в замужестве княгиня Дашкова), играя если не первые, то, во всяком случае, очень заметные роли в политической и государственной жизни России последней трети XVIII века, отличались самостоятельностью мнений и линии поведения. Все они получили хорошее образование. Братья начинали свою карьеру в дипломатических миссиях в Вене и Англии, занимали высшие государственные должности. Александр Романович при Екатерине II был сенатором, президентом коммерц-коллегии, при Александре I — государственным канцлером; Семен Романович оставался дипломатом высшего ранга, влияющим на мировую политику; Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, подруга Екатерины II, имела склонность к политике, участвовала в возведении Екатерины II на престол, занимала пост президента Российской академии. Александр Романович, как известно, покровительствовал А. Н. Радищеву и не отрекся от него, когда тот оказался арестован и осужден.

В событиях 1762 года — дворцовом перевороте, приведшем на русский престол Екатерину II, княгиня Екатерина Дашкова и Семен Романович Воронцов приняли участие в разных лагерях: княгиня — за императрицу, Воронцов — за Петра III.

1762 год в нравственной истории русского дворянства имел особое значение: он был означен предательством и клятвопреступлением, он

рушил нравственную основу взаимоотношений подданных и государя. Отдавая должное успехам и прогрессивности правления Екатерины, общественное мнение России все же не забывало незаконную основу его, столкнувшись впервые так откровенно с необходимостью принять или отвергнуть принцип, который в следующие века приобрел первенствующее значение для политиков и общественных преобразователей: «цель оправдывает средства».

Дворцовый переворот затронул все дворянство; если прежде, даже несмотря на петровскую Табель о рангах, родовитость сохраняла былое значение, и тем самым в целом сохранялись стабильность и предсказуемость власти разных уровней, а фавориты являлись исключением (как правило, поднимала на высшие ступени служба), то с переворотом начался бурный процесс смены действующих, начальствующих и правящих лиц: в гору пошли пройдохи, приспособленцы, не обремененные нравственными переживаниями, родственники и приятели, фавориты, любимцы.

Пушкин в «Моей родословной» пишет:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин...

Образ честного и благородного дворянина, вынужденного покинуть службу, появляется и в других произведениях Пушкина: это отец Дубровского, отец Петра Гринёва. Это и круг отца Карамзина, также вышедшего в отставку в 1762 году, его приятелей — членов Братского общества, сподвижников Миниха.

Рассказ Воронцова об этих событиях, очень живой, был интересен сам по себе. Тогда ему было 18 лет, он был поручиком Преображенского полка. Узнав о том, что Екатерина объявила себя царицей и что Измайловский и Семеновский полки присягают ей, он вместе с несколькими офицерами призывал солдат-преображенцев умереть или остаться верными законному государю Петру Федоровичу, но премьер-майор полка князь Меншиков крикнул: «Виват императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» — и полк пошел за ним. «Передо мною раскрылась вся безмерность

предательства», — рассказывал Воронцов. Солдаты смешались в толпу. Воронцов стал выбираться из нее, имея намерение ехать в Ораниенбаум, где находился император, но его схватили и под караулом отвели во дворец.

В 1797 году в гамбургском журнале «Северный зритель» была напечатана статья «Письмо из России», подписанная псевдонимом *Путешественник* и рассказывающая о дворцовом перевороте 1762 года, который автор считал попранием законности и преступлением. Многие обстоятельства говорят за то, что статья принадлежит Карамзину. О разрушительной роли клятвопреступления для существования государства он будет писать и в «Истории государства Российского».

Степень доверия Воронцова к Карамзину, если и неполная (англофильство предполагало общую холодность и отстраненность), но все же достаточно большая, позволяла им вести разговоры откровенные и интересные. Этому не мог помешать отход Карамзина от масонства: Воронцов также переживал период сомнений и на этой почве сблизился с Сен-Мартеном.

Семен Романович с вниманием следил за развитием французской революции и в отличие от многих понимал, что она не закончится в пределах Франции, а получит распространение во всем мире. «Франция не успокоится, — утверждает он в письме брату, — пока ее гнусные принципы не укоренятся и здесь; и, несмотря на превосходную конституцию здешней страны, зараза возьмет верх. Это, как я Вам сказал уже, война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и теми, которые обладают собственностью. И так как эти последние немногочисленнее, то, в конце концов, они должны будут пасть. Зараза станет всеобщей. Наша отдаленность охранит нас на некоторое время; мы будем последними, но и мы станем жертвами этой всемирной чумы. Мы ее не увидим, ни Вы, ни я; но мой сын увидит ее. Поэтому я решился обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда его вассалы ему скажут, что они его больше не хотят знать и что хотят разделить между собой его земли, он смог бы зарабатывать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членов будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета. Эти ремесла будут ему более нужны, чем греческий или латинский языки и математические науки».

С вниманием и сочувствием отнесся Карамзин к сочинению В. Ф. Малиновского «Рассуждение о мире и войне». Описав бедствия, причиняемые войной, Малиновский подводит читателя к выводу, что зло, в котором виновно само человечество, им же может быть устранено: «Люди думают, что без войны не могут жить оттого, что войны всегда издавна

были; но продолжительность зла не доказывает необходимость оного... Время нам оставить сие заблуждение и истребить зло, подкрепляемое наиболее всего невежеством. Европа уже приготовлена к миру».

Карамзин разделял надежды Малиновского. Будучи в гостях в английском обществе, рассказывает он, все предлагали тосты. «...Я сказал: *вечный мир и цветущая торговля!* Англичане мои сильно хлопнули рукою по столу и выпили до дна».

Верный страсти к физиогномическим наблюдениям и описаниям, Карамзин составил политико-психологический портрет англичанина. Холодность, угрюмость считает Карамзин главными чертами англичан. «Холодный характер англичан мне совсем не нравится. Это вулкан, *покрытый льдом*, сказал мне, рассмеявшись, один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Русское мое сердце любит изливаться в искренних живых разговорах; любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему».

Карамзин пишет об англичанах, ставя их национальные психологические черты в прямую связь с политическим устройством страны. Залогом благополучия англичан он считает существующее в Англии главенство закона над произволом правительства. Он отдает должное английской конституции. По его мнению, англичане прекрасно понимают ее смысл и пользу: «Они горды — и всего более гордятся своею конституцией», «спросите у англичанина, в чем состоят ее главные выгоды? Он скажет: *я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов*». Карамзин отмечает просвещенность и рассудительность англичан: «Здесь ремесленники читают Юмову Историю, служанка — Иориковы проповеди и Кларису; здесь лавошник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества и земледелец говорит вам о Шеридановом красноречии; здесь газеты и журналы у всех в руках не только в городе, но и в маленьких деревеньках».

Просвещенность, образованность англичан Карамзин считает главной гарантией их конституционных прав. Замечая, что «законы хороши, но их надобно еще исполнять, чтобы люди были счастливы», он связывает их исполнение именно с просвещением народа. «Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды, и если бы какой-нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в парламенте, как волшебник своего

талисмана. Итак, не конституция, а просвещение англичан есть истинный их палладиум».

Интересно рассуждение Карамзина о главной причине, определяющей характер их поведения:

«Англичане честны; у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего духа *торговли*, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ее оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все продумано, все разочтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего бедного, безрассудного сердца».

Расчетливость и эгоизм англичан в соединении с гордостью принимают уродливые, но характерные для английской жизни черты: «Англичане любят благотворить, любят удивлять своим великодушием и всегда помогут несчастному, как скоро уверены, что он не притворяется несчастным. В противном случае скорее дадут ему умереть с голода, нежели помогут, боясь обмана, оскорбительного для их самолюбия».

«Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, думая, что в Англии, где всякого роду трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете, из чего вышло у них правило: *кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли* — правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит и должна таиться! Ах! если хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь, среди предметов богатства, цветущего изобилия и кучами рассыпанных гиней, узнает он муку Тантала!.. И какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? Например, болезнь...»

«Англичанин человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва ли не зверь; по крайней мере, с людьми обходится

там, как с зверями; накопит денег, возвратится домой и кричит: *не тронь меня, я человек!*» Карамзин пишет об английском юморе: «Филдинг утверждает, что ни на каком языке нельзя выразить английского слова *humour*, означающего и *веселость*, и *шутливость*, и *замысловатость*; из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии свойства. Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость в народных глупых театральных *фарсах*, а веселости ни в чем не вижу — даже на самые смешные карикатуры смотрят они с преважным видом! а когда смеются, то смех их походит на истерический. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся над стихиею славы вашей! ...Вы рассудительны — и скучны!..»

Не согласен Карамзин с мнением об особенной глубокомысленности, философичности англичан: «Говорят, что он (англичанин. — В. М.) глубокомысленнее других: не для того ли, что *кажется* глубокомысленным? не потому ли, что густая кровь движется в нем медленнее и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Пример Бэкона, Невтона, Локка, Гоббеса ничего не доказывает. Гении рождаются во всех землях; вселенная отечество их — и можно ли по справедливости сказать, чтобы (например) Локк был глубокомысленнее Декарта или Лейбница?»

В первом же письме из Лондона Карамзин упомянул о *сплине* — явлении, которое традиция относит к сугубо английским, известным по литературе. Причиной сплина он полагает пищу англичан, в основном мясную: «...оттого густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами». В одном из последних писем Карамзин пишет о сплине подробнее, уже не считая его обязательной принадлежностью англичанина: «Вот английский *сплин*! Эту нравственную болезнь можно назвать и русским именем: *скукою*, известною во всех землях, но здесь более, нежели где-нибудь, от климата, тяжелой пищи, излишнего покоя, близкого к усыплению. Человек странное существо! в заботах и беспокойстве жалуется; все имеет, беспечен и — зевает. Богатый англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают несчастливы от счастья! Я говорю о здешних праздных богачах, которых деды нажились в Индии; а деятельные, управляя всемирною торговлею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами людей,

не знают сплина».

Заключает Карамзин свою характеристику англичан утверждением о бесконечном разнообразии типов и характеров, обусловленном опять же политическим строем Англии. «Но эта неограниченная свобода жить как хочешь, делать что хочешь, во всех случаях, не противных благу других людей, производит в Англии множество особенных характеров и богатую жатву для романистов. Другие Европейские земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровные деревья, прямые дорожки и все единообразное; англичане же, в нравственном смысле, растут, как дикие дубы, по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны; и Филдингу оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только примечать и описывать».

Между тем у Карамзина кончались деньги, и, когда в кошельке, как пишет он, рука ощупала только две гинеи, он побежал на Биржу и договорился с молодым капитаном Вильямсом, что тот возьмет его на свой корабль, отплывающий в Россию.

Отъезд подтвердил мнение Карамзина о холодности англичан. В отличие от Парижа здесь его провожал всего один человек — русский парикмахер Федор Ушаков; в России он был экономическим крестьянином, в Англии жил уже семь или восемь лет, женился на англичанке и считал долгом служить всем приезжим русским. Карамзин отдал ему одну из двух своих гиней.

За несколько дней до отъезда Карамзин написал в записной книжке: «Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления». Однако на корабле, когда английский берег пропал вдали, его охватила грусть: «Я не сдержал слова, любезнейшие друзья мои! оставляю Англию — и жалею! Таково мое сердце: ему трудно расставаться со всем, что его хотя несколько занимало».

Корабль капитана Вильямса шел в Россию. Путь до Кронштадта, куда он направлялся, занимал восемь дней. Попутный ветер сменялся штилем, несколько дней бушевала буря. И вот, наконец, Кронштадт.

«Берег! отечество! благословляю вас! — записал Карамзин вечером первого дня на родине. — Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштадта; но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих; но мне в нем весело!» В кронштадтском трактире Карамзин подводил итоги путешествия:

«С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счета, книги, камешки, сухие травки и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, la Perte du Rhone (узкое ущелье, протекая по которому река становится не видна. — В. М.), или могилу отца Лоренца, или густую иву, под которою англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете Крезы бедны передо мною.

Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через двадцать лет (если только проживу на свете) будет для меня еще приятно — пусть для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?.. Почему знать? может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... но это их, а не мое дело».

Два года спустя Карамзин скажет об итогах своего путешествия: «Я возвратился тот же, каков поехал; только с некоторыми новыми опытами, с некоторыми новыми знаниями, с живейшею способностью чувствовать красоты физического и нравственного мира». Он вернулся, укрепившись в уже давно зародившемся желании посвятить себя литературе. Позднее Н. И. Тургенев, человек, близкий Карамзину, написал: «Карамзин был литератором в полном и лучшем смысле этого слова и никогда не желал быть ничем иным». Поэтому-то частные письма русского путешественника, адресованные друзьям, закономерно становятся литературным произведением для публики.

Путешествие прояснило многое. Среди главнейших «опытов» и «знаний» Карамзина было более глубокое осмысление и понимание природы патриотизма и исторического развития России.

В статье «О любви к отечеству и народной гордости», написанной в 1802 году, Карамзин рассказывает о голландском патриоте, «который из ненависти к штатгальтеру и оранистам» эмигрировал в Швейцарию. «У него был прекрасный домик, физический кабинет, библиотека; сидя под окном, он видел перед собою великолепнейшую картину природы. Ходя мимо домика, я завидовал ему...» Познакомившись с ним, Карамзин высказал ему это и в ответ услышал: «Никто не может быть счастлив вне своего отечества, где сердце... выучилось разуметь людей и образовало свои любимые привычки. Никаким народом нельзя заменить сограждан».

В швейцарской части «Писем русского путешественника» Карамзин

описывает небольшой эпизод: он слушает песню, которая доносится из окон соседнего дома, и она «потрясает нервы». Вот что пел швейцарский юноша: «Отечество мое! любовь к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном. Отечество мое! ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид Природы; в тебе целителен и ясен воздух...»

Важным для Карамзина было и то, что он узнал представления Европы о России и о русских. Увы, оно не очень разнилось с представлением самых невежественных соотечественников о европейских народах, россиян, создавших свой образ француза, немца, итальянца, англичанина, весьма мало схожий с действительностью.

Читатель, наверное, вспомнит, что в первый же день пребывания своего за границей Карамзин услышал случайный разговор немцев о России, которые, как он пишет, «от скуки начали бранить русский народ», причем позже оказалось, что они в России не бывали, русских не видели. Впоследствии Карамзин заносил в записную книжку некоторые разговоры иностранцев о России и русских.

В Лионском театре его соседи по ложе, узнав, что он русский, завели разговор на русскую тему. «У вас в России живут весело. Не правда ли?» — сказал один. «Очень весело», — ответил Карамзин. Затем его собеседник выложил все свои сведения о России: «Русские все богаты, как Крезы: они без денег в Париж не ездят... Жаль только, что у вас холодно. Кучера отмораживают там бороды с усами».

А вот разговор в Парижской опере:

«Кавалер. У вас в России говорят немецким языком?»

Я. Русским.

Кавалер. Да, русским; все одно».

В парижском великосветском салоне, известном ученостью своих бесед, Карамзин отвечал на вопросы: «Как сильны бывают морозы в Петербурге? Сколько месяцев катаются у вас в санях? Ездите ли вы на оленях зимою?» Там же он получил такую записку: «Сестра моя, графиня Д., которую вы у меня видели, желает иметь подробные сведения о вашем отечестве. Нынешние обстоятельства Франции таковы, что всякий из нас должен готовить себе убежище где-нибудь в другой земле. Прошу отвечать на прилагаемые вопросы, чем меня обяжете». Карамзин приводит некоторые: «Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата? Какое время в году бывает у вас приятно? Какие

приятности имеет ваша общественная жизнь? Любят ли иностранцев в России, хорошо ли их принимают? Уважаете ли вы женщин?»

Единственное имя из русской истории, которое более или менее знали за границей, это Петр Великий. В Париже в Итальянском театре (в котором, как пишет Карамзин, «одни французские мелодрамы») Карамзин несколько раз смотрел полюбившуюся ему мелодраму Жана Буйи «Петр Великий» с музыкой. А. Э. М. Гретри. Содержание ее вполне фантастическое, но трогательное. Действие происходит в маленькой деревеньке на берегу моря (за пределами России), где живут Петр и друг его Лефорт. Они учатся корабельному искусству. Местные поселяне любят работающего Петра, он же влюбляется в прелестную крестьянку, вдову Катерину, и предлагает ей руку и сердце.

Стрелецкий мятеж заставляет Петра уехать в Россию. Катерина в тоске восклицает: «Петр оставил, обманул меня!» Но он возвращается и уже в пышной царской одежде встает перед ней на колени. Все кричат: «Да здравствуют Петр и Екатерина!»

Зрители также ликуют. «Я отираю слезы свои, — заключает Карамзин рассказ о посещении спектакля „Петр Великий“, — и радуюсь, что я русский».

Представление Карамзина о деятельности Петра было традиционно официальным, считавшим его царствование целиком и, безусловно, благотворительным. Среди всех благодеяний главным представлялось «окно в Европу», просвещение России Европою. Эту мысль Карамзин проводит в «Письмах русского путешественника». Из Лиона после обозрения статуи Людовика XIV, которая «такой же величины, как монумент нашего Российского Петра», он пишет: «Первого уважаю как сильного Царя; второго почитаю как великого мужа, как Героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля. — При сем случае скажу, что мысль поставить статую *Петра* Великого на диком камне есть для меня прекрасная, несравненная мысль, — ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором была она до времени своего преобразователя».

Во время заграничного путешествия Петр Великий был для Карамзина Героем и Идеалом государя. Он не упускает малейшей возможности упомянуть его имя, даже и не очень кстати: так, осматривая парижский Инвалидный дом — прибежище раненых и престарелых солдат, он замечает, что Петр, будучи здесь, «в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина и, сказав „*ваши здоровье, товарищи!*“, выпил до капли». В Виндзорской галерее Карамзин долго стоял перед

портретом Петра работы Кнеллера (писан с натуры во время пребывания русского царя в Англии). «Император был тогда еще молод, — передает свое впечатление от портрета Карамзин, — это Марс в Преображенском мундире» (кстати, Карамзин также, хотя и недолгое время, носил мундир этого славного в русских военных летописях полка).

В «Письмах русского путешественника» почти на каждой странице ощущаешь, что автор думает о России (может быть, в какой-то степени это происходит оттого, что он пишет для россиян). Иногда это бывает сказано прямо: «Я вспомнил Россию, любезное отечество», «я вслушивался в мелодии и находил в них нечто сходное с нашими народными песнями, столь для меня трогательными», иногда имя России не называется, но ясно, что речь идет о ней. Так, в имени известного путешественника Тавернье Карамзин размышляет о путешествиях и путешественниках вообще:

«В человеческой натуре есть две противные склонности: одна влечет сердце наше всегда к новым предметам, а другая привязывает нас к *старым*; одну называют *непостоянством*, *любовию к новостям*, а другую — *привычкою*. Мы скучаем единообразием и желаем перемен; однако ж, расставаясь с тем, к чему душа наша привыкла, чувствуем горесть и сожаление. Счастлив тот, в ком сии две склонности равносильны! но в ком одна другую перевесит, тот будет или вечным бродягою, ветреным, беспокойным, мелким в духе, или холодным, ленивым, нечувствительным. Один, перебегая беспрестанно от предмета к предмету, не может ни во что углубиться, делается рассеянным и слабеет сердцем; другой, видя и слыша всегда *то же да то же*, грубеет в чувствах и, наконец, засыпает душою. Таким образом, сии две крайности сближаются, потому что и та и другая ослабляет в нас душевные действия. Читайте Тавернье, Павла Люкаса, Шарденя и прочих славных путешественников, которые почти всю жизнь свою провели в странствиях: найдете ли в них нежное, чувствительное сердце? Тронут ли они душу вашу? — Ах, друзья мои! человек, который десять, двадцать лет может пробыть в чужих землях, между чужими людьми, не тоскуя о тех, с которыми он родился под одним небом, питался одним воздухом, учился произносить первые звуки, играл в младенчестве на одном поле, вместе плакал и улыбался, — сей человек никогда не будет мне другом!»

Глядя на европейские гражданские учреждения, на государственное устройство Англии, анализируя, сравнивая их с российскими, отдавая должное их положительным качествам, Карамзин тем не менее не делает вывода о том, что России надо скорее перенять все это. Всего через какие-нибудь три четверти года после вдохновенной речи в защиту быстрых преобразований Петра Великого, но также — и это очень важно — после не книжных, а собственных наблюдений над жизнью в Германии, Швейцарии, Франции и Англии он приходит к выводу, которому останется верен всю жизнь: «Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Недаром сказал Солон: *мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин*».

В те годы, когда Карамзин в благословенном жилище на Чистых прудах мечтал о новой славе русской литературы и когда путешествовал по Европе, Гёте писал роман «Годы учения Вильгельма Майстера». Роман этот принадлежал к жанру так называемых воспитательных романов и рассказывал о становлении молодого человека, о самовоспитании. «Достичь полного развития самого себя, такого, каков я есть, — вот что с юных лет было моей смутной мечтой, моей целью», — говорит герой этого романа. То же мог сказать о себе и Карамзин.

Век Просвещения выдвинул на передний план проблемы учения и воспитания. «Эмиль, или О воспитании» Руссо, «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» Бартеlemi, «Агатон» Виланда, «Антон Рейзер» Морица и другие известнейшие произведения европейской литературы XVIII века посвящены именно этой проблеме. В сознании деятелей Просвещения годы учения стоят очень высоко, и значение этих лет в жизни и судьбе человека представляется определяющим.

Карамзин, по его собственному выражению, шел «путем своего века». В полном соответствии с духом века Просвещения он в упорной учебе, в анализе каждого факта и события своей жизни накапливал знания и жизненный опыт — проходил свои годы учения, которые тогда (в том числе и у Гёте) понимались не как усвоение какой-то суммы школьных познаний, а именно как сочетание образования и жизненного — духовного и гражданского — опыта.

Такие годы учения, наверное, точнее нужно бы назвать: *познание мира*. «Человек знает самого себя, — пишет Гёте, — лишь поскольку он знает мир, каковой он осознает только в соприкосновении с собою, себя же — только в соприкосновении с миром».

Годы учения творческого человека — это растворение себя в мире,

впитывание всех впечатлений, которые формируют его, но которые затем он подчиняет себе и сам становится личностью.

Годы учения — это годы влияний. Такими они были и у Карамзина. Проявление воли в эти годы у него направлено на получение определенных знаний, на выбор учителей, на преодоление мешающих (к счастью, их было не так уж много) обстоятельств и соблазнов. В эти годы окружающий мир — люди, события, обстоятельства, культура прошлая и настоящая, впечатления, природа, собственные чувства и ощущения, душевные переживания составляют биографию, и прежде всего биографию души. В будущем, когда кончится учение, взаимоотношения с миром изменятся и биография обретет иное качество и ритм. Годы учения сменяются годами зрелой деятельности, творчества и труда.

Подводя итоги путешествия, Карамзин писал, что он возвратился в Россию «тот же, каков поехал, только с некоторыми новыми опытами, с некоторыми новыми знаниями, с живейшею способностью чувствовать красоты физического и нравственного мира». За два года с двумя месяцами путешествия его решение посвятить жизнь литературе также осталось неизменным.

Для молодого русского дворянина конца XVIII века решение стать профессиональным литератором и пренебречь государственной службой было неординарным. Хотя многие и очень уважаемые люди занимались писательством, оно в глазах общества и власти считалось делом несерьезным, забавой, любительством. Развлечением и отдыхом отдел были литературные занятия императрицы Екатерины II, ее сочинения — любительство чистой воды. Но даже действительно одаренный огромным литературным талантом и понимающий, что в истории его имя останется именно благодаря ему, «первый российский поэт» Г. Р. Державин посвящал поэзии лишь досуг, остававшийся от государственной службы. Совсем по-другому смотрел на литературу Карамзин, он называл авторство «святым делом».

Отказавшись от службы, Карамзин мог надеяться только на литературный заработок, иного источника дохода он не имел. Однако издатели тогда не платили авторам, считая, что те должны удовлетворяться той славой, которую доставляет им публикация их произведений, и очень мало платили за переводы. Но перед Карамзиным был издательский пример Новикова, и он пришел к единственно верной в его обстоятельствах мысли: ему следует выступать одновременно и писателем, и издателем.

Наверное, идея о своем журнале, издание которого благодаря подписчикам могло бы обеспечить верный и постоянный доход, возникла у

Карамзина еще в Москве, до отъезда, а во время путешествия он укрепился в ней, обдумал необходимые практические действия по изданию журнала и даже начал над ним работу.

Глава V

АВТОР «БЕДНОЙ ЛИЗЫ». 1790–1796

Карамзин приехал в Петербург 15 июля 1790 года. Отплыв из Лондона десять или одиннадцать дней назад, он прибыл в Россию в то же число, в какое выехал из английской столицы, таким образом, благодаря принятому в России юлианскому календарю вернул себе те 11 дней, которые были утрачены им при выезде за границу.

В Петербург, вспоминает историк и архивист Д. Н. Бантыш-Каменский, Карамзин явился франтом: «в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках».

Как раз в день приезда Карамзина палата Петербургского уголовного суда приняла по указу императрицы к судебному производству законченное следствием дело Радищева о сочинении им «возмутительной книги». 17 июля состоялся последний допрос Радищева Шешковским. Следователь спрашивал, с каким намерением посылал Радищев свою книгу в чужие края Кутузову и не намеревался ли ее там печатать. Радищев отвечал, что посылал лишь по дружбе, для прочтения, а печатать ее в чужих краях намерения не имел. Конечно, с возвращением Карамзина этот допрос никак не связан, но можно предположить (и Карамзину, наверное, приходила такая мысль), что следователи могли бы обратить внимание и на него. Опасение не лишено было оснований, что и показали дальнейшие события.

Сведения о Радищеве проникали в общество из нескольких источников. Время от времени сама императрица в разговоре роняла то одно, то другое замечание по поводу книги Радищева, и ее слова повторялись в гостиных. Кое-что проникало и из застенков Тайной канцелярии. Безусловно, Карамзин должен был по требованию правил этикета нанести визит А. Р. Воронцову, и, конечно, их разговор не мог не коснуться Радищева, а Воронцов по своему положению и связям был осведомлен о происходящем в Тайной канцелярии более чем кто-либо в Петербурге.

Дело Радищева, как все понимали, призвано было показать обществу новый поворот политики и новое направление, которое угодно было императрице указать умам и мыслям подданных. А кое-кого и припугнуть.

Екатерине шел шестьдесят второй год, и она, по ее собственному заявлению, «возвратилась к жизни, как муха после зимней спячки», снова

была «весела и здорова», поскольку у нее появился новый фаворит — молоденький гвардейский поручик Платон Зубов, красивый, но неумный и тщеславный. Ростопчин писал С. Р. Воронцову: «Граф Зубов здесь все. Нет другой воли, кроме его воли. Его власть обширнее, чем та, которой пользовался князь Потемкин. Он столь же небрежен и неспособен, как прежде, хотя императрица повторяет всем и каждому, что он величайший гений, когда-либо существовавший в России».

В Петербурге говорили, что Зубов внушает императрице, что Радищева следует наказать как можно более жестоко. Впоследствии он также принимал самое деятельное участие в преследовании Н. И. Новикова.

Хотя императрица и бодрилась, но годы брали свое: она часто чувствовала слабость, испытывала постоянное чувство тревоги и страха. Прежде, бывало, она даже любила, когда над нею вдруг нависала опасность; вера в свой ум, в свою счастливую звезду и удачу, никогда не изменявшую ей, прежде всегда давала уверенность, что она победит; сейчас же такой уверенности уже не было. Читая известия из Франции, она боялась, что ей уготована судьба французского короля; во время придворных приемов, глядя на вельмож, она пыталась угадать, кто из них состоит в заговоре против нее в пользу цесаревича...

Со страхом читала императрица и книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Неизвестно, как она попала к Екатерине, откуда узнала она имя автора анонимно изданного сочинения, но 20 июня 1780 года коротенькой запиской императрицы: «По городу слух, будто Радищев и Челищев писали и печатали в домовой типографии ту книгу; исследовав, лучше узнаем» начался полицейский сыск о крамольном сочинителе.

26 июня Храповицкий записал в дневнике: «Говорено о книге „Путешествие от Петербурга до Москвы“: тут рассеивание французской заразы: отвращение от начальства; автор — мартинист; я прочла 30 стр.».

27 июня утром канцлер А. А. Безбородко по поручению Екатерины посылает непосредственному начальнику Радищева А. Р. Воронцову письмо: «Ее Императорское Величество, сведав о вышедшей недавно книге под заглавием „Путешествие из Петербурга в Москву“, оную читать изволила и, нашел ее наполненною разными дерзостными изречениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства, указала исследовать о сочинителе сей книги. Между тем достиг к Ее Величеству слух, что она сочинена г. коллежским советником Радищевым; почему прежде формального о том следствия, повелела мне сообщить вашему сиятельству, чтоб вы призвали пред себя помянутого г.

Радищева, и, сказав ему о дошедшем к Ее Величеству слухе насчет его, спросили его: он ли сочинитель...»

Уже когда письмо Воронцову было отослано, Безбородко получил дополнительное указание от Екатерины: «Напиши еще к нему, что кроме раскола и разврату ничего не усматриваю из сего сочинения».

В тот же день авторство Радищева было установлено полицией. Безбородко отправляет Воронцову записку: «Ее Величеству угодно, чтоб вы уже господина Радищева ни о чем не спрашивали для того, что дело уже пошло формальным следствием».

30 июня Радищев арестован и водворен в Петропавловскую крепость. «Что ж касается собственно до него (то есть до Радищева), — говорится в ордере на арест, то изволите во всем поступать по наставлениям господина статского советника и кавалера Шешковского».

7 июля Храповицкий записал: «Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина, как начинщика, и себя таким же представляет. Говорено с жаром и чувствительностью».

Ясно, что исход следствия и будущего суда был уже предрешен «Примечаниями» императрицы. «Примечания» довольно обширны, вот некоторые из них:

«... Намерение сей книги на каждом листе видно; сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выищевает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства. Он же едва ли не мартинист; или чево подобное, знание имеет довольно, и многих книг читал. Сложения унылого и все видит в темно-черном цвете...

... Учинены вопросы те, по которым теперь Франция разоряется...

... Сочинитель совершенный деист и несходственный православному восточному учению...

... На 137 (странице) изливается яд французский и продолжается на 138 и 139...

... Все сие клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск против начальства...

... Сии страницы суть криминального намерения...

... Французская революция его решила себя определить в

России первым подвизателем...»

В заключение «Примечаний» содержалась прямая угроза тем, кто посмеет иметь сходные мысли: «До прочих добаться нужно, из Франции еще пришлют вскоре парочку».

В России конца XVIII века и позже частные письма часто играли роль газетных публикаций для всеобщего сведения; такой — неофициальной — формой оповещения пользовались как власти, так и оппозиция. Екатерина II не раз высказывалась в том смысле, что она посылает письма через почту для того, чтобы их прочли, иногда поручала кому-либо из своих доверенных лиц писать то, что считала нужным довести до сведения общества. Именно таково письмо канцлера Безбородко его приятелю генералу Попову, написанное 16 июля 1790 года, в котором указывается, как следует оценивать дело Радищева: «Здесь по Уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него и так было дела много, которое он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования; заразившись, как видно, Франциею, выдал книгу „Путешествие из Петербурга в Москву“, наполненную защитой крестьян, зарезавших помещиков, проповедию равенства и почти бунта против начальников, неуважения к начальникам, внес много язвительного и, наконец, неистовым образом впутал оду, где озлился на царей и хвалил Кромвеля... Книга сия начала входить в моду у многих шали (от глагола *шалить*. — В. М.); но, по счастью, скоро ее узнали. Сочинитель взят под стражу, признался... Теперь его судят, и, конечно, выправиться ему нечем».

Приняв в рассуждение знакомства Карамзина, можно сказать, что он был достаточно информирован о деле Радищева. Кроме того, многое (и прежде всего некоторые почти текстуальные совпадения в произведениях Карамзина) позволяет предположить, что он читал и само «Путешествие из Петербурга в Москву»: в эти дни книгу в Петербурге еще можно было достать сравнительно легко.

Но Карамзин, кажется, еще недостаточно ясно представлял себе действительную ситуацию и опасность ее для себя лично. А. М. Кутузов уразумел положение дел, истинное лицо Тартюфа и деятельность российского правосудия более реалистично, так же как и их последующие практические действия. Своему постоянному московскому корреспонденту князю Н. Н. Трубецкому — одному из руководителей московских масонов, он пишет необычное для себя резкое письмо.

«Позвольте мне попенять вам, — пишет Кутузов. — Я слышу совершенно от посторонних людей, что книга моего друга сделала и меня подозрительным, яко бы участвовавшего в сочинении оныя. Сие простирается даже так далеко, что в Москве справлялись от полиции, скоро ли я возвращусь и не возвратился ли уже? Но вы ничего мне о сем не пишете. Сие некоторым образом непростительно. Легко бы статья могло, что я, не зная сих обстоятельств, приехал прямо в руки ищущих меня. Хотя совесть моя чиста, хотя собственные мои письма к несчастному моему другу, ежели токмо суть они в руках правления, суть неложные мои оправдатели; но при всем том неблагоприятно со стороны моей подвергаться опасности, ежели я могу избежать оныя. Пожалуйте, уведомьте меня обстоятельно. Ежели со мною захотят исполнить пословицу: „без вины виноват“, — да будет святая Божия воля. Ежели и мне запретят въезжать в столицы, право, буду доволен. Но ежели прострут мщение далее сего, то лучше жить на хлебе и воде в свободе, нежели сидеть в заточении. Люблю мое отечество, люблю до бесконечности, но не желаю быть бесполезною жертвою неправосудия».

О своем решении издавать журнал Карамзин рассказал Дмитриеву и попросил помочь ему своим участием в нем. Дмитриев пишет в своих воспоминаниях: «Уступая его желанию, я вверил ему рукописное собрание всех моих безделок, еще не напечатанных, для подкрепления на первый случай журнального его запаса».

Кроме того, Дмитриев познакомил Карамзина с Гаврилой Романовичем Державиным, в дом которого был вхож. Державин жил в Петербурге в ожидании решения своей судьбы после того, как был снят с должности тамбовского губернатора, отдан под суд, затем в результате более чем годового расследования оправдан Сенатом, но оставлен не у дел. Сам Державин и все окружающие предполагали, что в возмещение напрасно свалившихся на Державина гонений со стороны императрицы должна последовать значительная милость. Ожидание длилось уже почти год.

Карамзин, сообщает Д. Н. Бантыш-Каменский, обратил на себя внимание Державина «умными, любопытными рассказами», и тот «одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения».

Во время одного из обедов у Державина произошел случай, очень

запомнившийся Карамзину и Дмитриеву. Речь зашла о французской революции. О том, каковы были взгляды на нее Карамзина, известно. Во время разговора жена Державина Катерина Яковлевна, возле которой сидел Карамзин, несколько раз толкала его ногою. Он не мог понять, в чем дело. После обеда она подошла к Карамзину и сказала, что хотела предостеречь его, так как среди гостей был петербургский вице-губернатор П. И. Новосильцев, женатый на племяннице известной наперсницы Екатерины Марьи Перекусихиной: таким образом, неосторожные речи могут в тот же день стать известны императрице. Бантыш-Каменский отмечает и то, что среди обычных гостей Державина ни у кого, кроме самого хозяина, Карамзин поддержки и сочувствия не встретил: «Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь витиеватым, напыщенным слогом своим, показывали молчанием и язвительною улыбкою пренебрежение к молодому франту, не ожидая от него ничего доброго».

Карамзин пробыл в Петербурге три недели и затем выехал в Москву. Он ехал по Петербургскому тракту, и при названии очередной станции невольно возникали в памяти главы книги Радищева.

Путешественнику, возвращающемуся издали, обычно представляется, что он вернется к тому же, что покинул: в воспоминаниях все остается неизменным, память и воображение подчинены не столько разуму, сколько сердцу. Вряд ли Карамзин предполагал, что отношение Плещеевых к нему в чем-либо переменилось, так же как и дружба Петрова. Насчет Петрова он был прав, но Настасья Ивановна переживала глубокую обиду на него и была готова чуть ли не порвать с ним.

Об этом Карамзин мог бы узнать из ее письма, которого не получил, так как оно было написано и отправлено в Берлин Кутузову с просьбой переслать адресату, поскольку в Москве не знают, где он находится. Само письмо не сохранилось, однако в Московском почтамте следили за перепиской московских масонов и с их писем снимали копии; по перлюстрационной копии оно стало известно историкам. Датировано письмо 7 июля 1790 года.

«Хотя ты, любезный друг, — писала Настасья Ивановна, — и запретил нам писать к тебе, однако я никак не могу сама себя лишиться сего удовольствия. Согласно ли одно с другим? Сам же пишешь, что письма наши делают тебе удовольствие, и потом говоришь: „Не пишите ко мне!“ Я знаю сей резон, — ты пишешь, чтобы мы не писали, точно для того, чтоб мы не послали твои деньги к тебе. *La delicatessen très mal placée*^[4], или лучше сказать,

что ты никогда не бывал другом нашим. Ежели чьи одолжения нам в тягость, то уж верно тех людей мы не любим. Да теперь мы уже Вам и Вы нам деньгами не должны никак; а ежели за что-нибудь считаешь дружбу нашу, то за оную только дружбой плати. Но я уверена, и уверена совершенно, что проклятые чужие край сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в тягость, но и письма кидаешь, не читав! Я в том столько уверена, как в том, que j'existe^[5], потому что с тех пор, как ты в чужих краях, я не имела удовольствия получить ни единого ответа ни на какое мое письмо; то я самого тебя делаю судьею, что я должна из оного заключить: или ты писем не читаешь, или так уже презираешь их, что не видишь в них ничего, достойного для ответа. Бог с тобою, будешь раскаиваться, да поздно! Я только скажу, что письмо твое от 11 мая из Парижа столько для меня огорчительно, что я в жизни моей никаким так не огорчалась. Ежели это письмо прочтешь, то увидишь, что мне чрезмерно грустно. Прости, подписывать не хочу для того, что ты совершенно не стоишь того, чтоб я была другом твоим за все твои письма, а особливо за последнее от 11 мая; а иначе подписать не могу, потому что любовь моя все еще чрезвычайная к неблагодарному, как ни стараюсь истребить оную из сердца. Не я одна, но всяк то ж тебе скажет, каково последнее письмо. Прочти да рассмотри хорошенько себя не для нас, а для самого себя. Ежели ты с мыслями писал это письмо, то очень много надобно тебе назад оглянуться и подумать, что ты был в Москве, какое имел сердце и как мыслил; не то из тебя проклятые чужие край сделали. Ежели ж писал ты без мыслей, то видно, что ты очень мало нас любишь. Дай Бог, чтобы мои предвещения были пустые. Прости. Христос с тобою».

В этом письме есть приписка А. А. Плещеева, которой он постарался хоть сколько-нибудь сгладить резкий тон письма Настасьи Ивановны: «А я любезному и милому моему другу скажу, что его очень люблю. Пишу для того к тебе мало, что, думаю, уже сие письмо тебя в Лондоне не застанет; второе, что я тебя месяца чрез полтора дожидаясь в Знаменское; следовательно, словами тебе изъясню мою любовь и обниму любезного моего друга Николая Михайловича, которого дружба мне бесценна».

Письмо Карамзина Плещеевым из Парижа от 11 мая неизвестно, как и другие его письма им. Но о том, что ее особенно обеспокоило в этом

злополучном письме Карамзина, Настасья Ивановна рассказала Кутузову: «Получили мы письмо от Николая Михайловича, совсем на него не похожее; а как я люблю душу его, то меня чрезвычайно сие беспокоит... Его словами скажу, меня беспокоит одно только это слово: „Я вас вечно буду любить, ежели душа моя бессмертна“. Вообразите, каково, ежели он в том сомневается! Это *ежели* меня с ума сводит!»

Впоследствии мотив, что «проклятые чужие края» сделали Карамзина «не таким», «совсем другим», станет главным в обсуждениях братьями-масонами его литературной деятельности, в которых примут участие и Кутузов, и многие другие.

В Москве Карамзин встретился с Петровым. Встреча была грустная, у Петрова начиналась болезнь, которая три года спустя свела его в могилу. «Сердце мое замерло, когда я увидел Агатона. Долговременная болезнь напечатлела знаки изнеможения на бледном лице его; в тусклых взорах изображалось телесное и душевное расслабление; огонь жизни простыл в его сердце, томном и мрачном. Едва мог он обрадоваться моему приезду, едва мог пожать руку мою, едва слабая, невольная улыбка блеснула на лице его, подобно лучу осеннего солнца...»

Кроме Петрова Карамзин ни с кем в Москве больше не встречался: Новиков находился в деревне, с другими же членами новиковского масонского кружка он, видимо, просто не захотел увидеться и сразу же уехал к Плещеевым в Знаменское.

Еще до его приезда Настасья Ивановна получила ответ от Кутузова, где он писал и о Карамзине. Письмо Кутузова, видимо, шло не через Московский почтамт, потому что его нет среди перлюстрационных копий. Наверное, Кутузов в этом письме рассказывал, что Карамзин восхищался какими-то сторонами заграничного быта и делал сравнения не в пользу России. Настасья Ивановна, вообще склонная к преувеличениям («Я никогда щастья себе не воображаю, мучусь заранее и не знаю, что мучительнее: то ли воображение, или настоящие несчастья; так живо я себе все дурное представляю», — признавалась она), во всем искала и находила подтверждение своим собственным мыслям, сомнениям и опасениям. Именно так прочла она письмо Кутузова и отвечала ему: «А что Вы пишете про нашего общего друга — милорда Рамзея, то, к несчастью, я почти всего того же ожидаю. Вы так написали, как бы Вы читали в моем сердце... Вы пишете, что он будет навсегда презирать свое отечество, — и сама сего смертельно боюсь. А как я составляю часть того ж, то и меня, стало, будет ненавидеть. Горько мне сие думать. Вы говорите, чтобы я ему простила сию слабость. Это уже не слабость, а более; чувствую, к стыду моему, что я

на него буду сердиться и мучить себя стану... Полно мне о сем писать; а скажу Вам только то, что я, увидев Рамзея, не стану с ним говорить о его вояжах. Вот моя сатисфакция за его редкие письма; а ежели он начнет, то я слушать не стану. Ежели будет писать — читать не стану, и первое мое требование, дабы он не отдавал в печать своих описаний».

По-иному прочитал это же письмо Плещеев; отвечая на него, он говорит: «Наш Николай Михайлович уже, надеюсь, возвращается от англичан к русским. Нетерпение мое велико видеть этого любезного мне человека. Ты меня в письме твоём обрадовал, что надеешься на пользу его путешествия. Дай Боже, чтобы он, приехав сюда, сказал нам, что люди везде люди, а ученые его мужи ни на одну минуту не сделали его счастливее прежнего».

В Знаменском, куда он сразу поехал, не задерживаясь в Москве, Карамзину пришлось разбираться и оправдываться, но радость свидания сгладила на время обиду и подозрительность Настасьи Ивановны. Через несколько месяцев все начнется сначала, поскольку от созданного ее воображением образа Карамзина она избавиться не могла. Но это будет потом...

Карамзин привез с собой кипу иностранных журналов, читал, сравнивал, но в конце концов пришел к мысли, что ни один из них нельзя полностью принять за образец. Иностранные журналы, как, впрочем, и русские, все имели четкую специализацию, они были или ученые, или политические, или сатирические, или проводили какую-либо одну идею (как, например, масонские). Карамзин же хотел издавать журнал *литературный* — равно любопытный для ученых и политиков, военных и гражданских, для дворян и купцов, для мужчин и, — об этом особая речь, — для дам и девиц, ибо они-то наиболее восприимчивы к произведениям изящной словесности. Журнал должен быть интересным, увлекательным, давать пищу и уму и сердцу, поэтому в нем должны быть серьезные сочинения, но такие, которые заставляли бы задуматься, а не отталкивали читателей сухой, бесплодной ученостью.

Имея опыт издания «Детского чтения», Карамзин понимал, что особенно рассчитывать на сотрудников нельзя, что почти вся работа по журналу ляжет на него: придется быть и автором, и переводчиком, и редактором.

Ему удалось увлечь своим замыслом Плещеевых и убедить в правильности своего взгляда на журнал, они не только разделяли, но одобряли, поддерживали его и, что самое главное, поверили в успех журнала. Их маленькая дочка Саша, как пишет Кутузову Настасья

Ивановна в ноябре 1790 года, «пришла ко мне просить 5 рублей. Как я спросила „на что?“, то она мне отвечала, скажу вам точно ее слова: „Маменька, рассказывают, журнал Николая Михайловича очень хорош, то я его возьму... и пошлю в Берлин к Алексею Михайловичу“. Поверите ль, что сие меня чувствительно тронуло, и я не лишу ее этого удовольствия; и ежели эта не чрез меня дорога, то вы чрез нее будете иметь этот журнал».

Подготовка материалов для журнала и была главным делом, которым занимался Карамзин в Знаменском.

Он приводил в порядок и обрабатывал свои путевые заметки. Принятая форма писем была очень удобной для объединения разнообразных впечатлений, сведений, размышлений, она сохраняла форму живого рассказа, в котором мысль легко переходит от одной темы к другой, отвлекается в сторону и в то же время повествование сохраняет общую нить.

Ряд рассуждений — и очень важных, — записанных во время путешествия, не вошел в «Письма русского путешественника». Думается, они нарочно были выделены Карамзиным для того, чтобы читатель обратил на них особое внимание. Объединенные общим названием «Разные отрывки (*Из записок одного молодого россиянина*)», они были напечатаны в журнале год спустя и представляют собой вернейший духовный автопортрет Карамзина того времени: таким он вернулся из путешествия. В «Отрывках» Карамзин рассуждает о счастье, о вечной душе, о Руссо, о непознаваемой тайне смерти, о ложных мнениях поверхностных наблюдателей, об удовольствии и заключает их утопической картиной в духе столь дорогих его сердцу заветных идей Просвещения.

«Разные отрывки...» не включались автором в собрание сочинений и никогда после журнальной публикации не перепечатывались. Приводим несколько «Отрывков».

«Перестаньте, друзья мои, жаловаться на редкость и непостоянство счастья! Сколько людей живет на земном шаре! А оно у каждого должно побывать в гостях — Монтескью говорит, один раз, а я говорю, несколько: — как же вы хотите, чтобы оно от вас никогда не отходило? — Что принадлежит до меня, то я благодарю счастье за визиты его; стараюсь ими пользоваться и ожидаю их без нетерпения. Иногда оно посещает меня в уединении, в тихих кабинетах натуры; или в сообществе друга, или в беседе с лучшими из смертных, давно и недавно живших; или в то время, когда я, бедный, нахожу средство облегчить

бедность моего ближнего.

Как может существовать душа по разрушении тела, не знаем; следственно, не знаем и того, как она может мучиться и блаженствовать. Говорят — и сам Руссо говорит, — что блаженство или мучение души будет состоять в воспоминании прошедшей жизни, добродетельной или порочной; но то, что составляет добродетель и порок в здешнем мире, едва ли покажется важною добродетелью и важным пороком тому, кто выдет из связи с оным. Описывать нас светлыми, легкими, летающими из мира в мир (зачем *s'il vous plait?* скажите, пожалуйста?), одаренным шестью чувствами (для чего не миллионами чувств?), есть — говорить, не зная что.

Думают, что историю ужасных злодеяний надобно скрывать от людей; и потому в некоторых землях процессы злодеев сожигают при их казни; но кто так думает, тот не знает сердца человеческого. Злодей не сделался бы злодеем, если бы он знал начало и конец злого пути, все приметы сердечного развращения, все постепенности оногo, разрождение пороков и ужасную пропасть, в которую они влекут преступника. Содрогаются душа наша при виде злодейств или картины оных; тогда мы чувствуем живейшее отвращение от зла и бываем от него далее, нежели в другое время.

Если бы железные стены, отделяющие *засмертие* от *предсмертия*, хотя на минуту превратились для меня в прозрачный флер, и глаза мои могли бы увидеть, что с нами делается там, то я охотно бы согласился расстаться с Кантами, Гердерами, Боннетами. Все, что о будущей жизни сказали нам философы, есть чаяние; потому что они писали *до смерти* своей, следственно, еще *не зная* того, что ожидает нас за гробом. Все же известия, которые выдаются за газеты *того света* (например, шведенбурговы мнимые откровения), суть, к сожалению, газеты (то есть басни)!

Человеческая натура такова, что истинную приятность может вам доставить одно полезное, или то, что улучшает физическое или духовное бытие человека — что способствует к нашему сохранению. Все в нашей машине служит к чему-нибудь: таким образом, и все наслаждения наши должны служить к чему-

нибудь. Верх удовольствия есть предел пользы; далее нет уже цели — начинается *не для чего*, вред, порок.

На систему наших мыслей весьма сильно действует обед. Тотчас после стола человек мыслит не так, как перед обедом. Пусть поэт писанное им в восемь часов утра прочтет в три часа пополудни, если он *NB* в два часа утоляет свой голод! Я уверен, что многое, казавшееся ему прекрасным в утреннем восторге сочинения, покажется ему тогда — галиматьею. Вообще с наполненным желудком не жалуем мы высокого парения мыслей или не находим в оном вкуса, а философствуем по большей части как Скептики. Тогда не надобно говорить нам о смелых предприятиях, мы верно откажемся. — Каждое время года и всякая погода дает особый оборот нашим мыслям».

В Знаменском написан и этнографический очерк «Сельский праздник и свадьба». Карамзин и ему придал форму письма, снабдив подзаголовком «Письмо к...». Обозначены место и дата: «Село ...ское, 3 октября 1790».

«Я давно уже знал, что приятель мой, — начинает Карамзин очерк, — который обыкновенно проводит лето и начало осени в ...ской своей деревне, по уборке хлеба дает пир своим крестьянам и дворовым людям; а ныне удалось мне быть самому на сем празднике».

Далее Карамзин описывает благодарственный молебен в сельской церкви, на котором вместе с крестьянами присутствуют и господа. Пригласив крестьян в господский дом, хозяин беседует с ними, «увещевая их быть трудолюбивыми и жить между собою в братском мире».

А уж потом, собственно, и начинается праздник, называемый в народе спожинками, дожинками или осенинами.

День был ясный, по поводу чего один мужик заметил: «Бог любит наш праздник и дает нам всегда красный денек». Пировали на улице, ели, пили, после обеда началось веселье, игры, пляски. «Гудки загудели, дудки задудели, а молодые пошли трястись и вертеться, или плясать, не так приятно, как Вестрис, когда он будто бы пляшет по-русски, но зато оригинальнее его». Дворовым людям накрыли обед в комнатах, подавали им кушанья господа. «Я слышал от своей няньки, — пишет Карамзин, — что на том свете слуги будут господами, а господа слугами; но мне случилось и на сем свете видеть такое чудо».

Карамзин описывает свадьбу, красочные обычаи, приговоры, шутки, курсивом выделяя меткие и острые словечки крестьян.

Заканчивается праздник, и всё возвращается в свою обычную колею: «Слуги стали опять слугами и должны были накрывать для нас стол».

В конце октября — начале ноября Плещеевы и Карамзин возвратились в Москву, а 6 ноября 1790 года в «Московских ведомостях» было опубликовано объявление Карамзина об открывающейся в университетской книжной лавке на Тверской улице подписке на его журнал.

В 1790 году в Москве выходило всего два журнала: «Политический журнал», состоявшийся из статей, переводимых из издаваемого в Гамбурге ежемесячника, и юмористические листы Н. И. Стрхова, их автора и издателя, «Сатирический вестник, удобоспособствующий разглаживать наморщенное чело старичков, забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочего состояния людей. Писанный небывалого года, неизвестного месяца, неведомого числа, неизвестным сочинителем». Поэтому объявление об издании нового журнала должно было привлечь внимание москвичей. К тому же имя Карамзина, в отличие от «неизвестного сочинителя» Стрхова, читатели «Московских ведомостей» уже знали по «Детскому чтению».

Объявление Карамзина было, собственно, не просто объявлением, а литературным манифестом.

«С Января будущего 91 года намерен я издавать журнал, если почтенная публика одобрит мое намерение. Содержание сего журнала будут составлять:

1) *Русские сочинения в стихах и прозе*, такие, которые, по моему уверению, могут доставить удовольствие читателям. Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музыки. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, который внимание свое посвящал природе и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, — намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей.

2) *Разные небольшие иностранные сочинения*, в чистых переводах, по большей части из Немецких, Английских и

Французских журналов, с известиями о новых важных книгах, выходящих на сих языках. Сии известия могут быть приятны для тех, которые упражняются в чтении иностранных книг и в переводах.

3) *Критические рассматривания Русских книг*, вышедших и тех, которые вперед выходить будут, а особливо оригинальных; переводы, недостойные внимания публики, из сего исключаются. Хорошее и худое замечается будет беспристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма немногие книги были у нас надлежащим образом критикованы.

4) *Известия о театральных пиесах*, представляемых на здешнем театре, с замечаниями на игру актеров.

5) *Описания разных происшествий*, почему-нибудь достойных примечания, и разные анекдоты, а особливо из жизни славных новых писателей.

Вот мой план. Почтенной публике остается его одобрить или не одобрить; мне же в первом случае исполнить, а во втором молчать.

Материалов будет у меня довольно; но если кто благоволит присылать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностию все хорошее и согласное с моим планом, в который не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пиесы. Впрочем, все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указанного дозволения — все, что может нравиться людям, имеющим вкус, тем, для которых назначен сей журнал, — все то будет издателю благоприятно.

Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, и так имя готово: „*Московский журнал*“.

В начале каждого месяца будет выходить книжка в осьмушку, страниц до 100 и более, в синеньком бумажном переплете, напечатанная четкими литерами на белой бумаге, со всею типографическою точностию и правильностию, которая ныне в редких книгах наблюдается. Двенадцать таких книжек, или весь год, будет стоить в Москве 5 руб., а в других городах с пересылкою 7 руб. Подписка принимается в Университетской книжной лавке на Тверской улице г. Окорокова, у которого журнал печатается, и раздаваться будет и где по принятии денег даются билеты; а в других городах в почтамтах, через которые и

будет с точностию доставляема всякий месяц книжка. Кому же угодно будет из других городов послать деньги прямо в лавку, того прошу сообщить при том свой адрес, надписав: В Университетскую книжную лавку в Москве, и в таком случае ручаюсь за верное доставление журнала. Имена подписавшихся будут напечатаны.

Николай Карамзин».

Кутузов, получив объявление, писал Настасье Ивановне: «Удивляюсь перемене нашего друга и признаюсь, что скоропостижное его авторство, равно как план, так и его „Объявление“ поразили меня горестно, ибо я люблю его сердечно. Вы знаете, я давно уже ожидал сего явления, — я говорю о авторстве, но я ожидал сего в совершенно ином виде. Я наслушался от мужей, искусившихся в науках, да и нагладелся во время обращения моего в мире, что истинные знания бывают всегда сопровождаемы скромностью и недоверчивостью самому себе. Чем более человек знает, тем совершеннее видит свои недостатки, тем яснее видит малость своего знания и самым тем бывает воздержнее в словах своих и писаниях, ибо умеет отличить истинную пользу от блестящего и красноречивого пустословия.

Ежели в нашем отечестве будут издаваться тысячи журналов, подобных Берлинскому и Виландову, то ни один россиянин не сделается от них лучшим, напротив того — боюсь, чтоб тысяча таковых журналов не положила миллионов новых препятствий к достижению добродетели и к познанию самих себя и Бога. Между нами сказано, страшусь, во-первых, чтобы наш друг не сделал себя предметом смеха и ругательства, или, что и того опаснее, чтобы успех его трудов не напоил его самолюбием и тщеславием — клиппа^[6], о которую разбивались довольно великие мужи. Чем более сии страсти получают пищи, тем более ослепят его и сделают своим рабом. Дай Боже, чтобы не сбылась моя догадка; искренне, однако ж, скажу, что он стоит теперь на склизком пути».

Об этом же он пишет в очередном письме Трубецкому: «Я слышу, что любезный мой Карамзин произвел себя в авторы и издает журнал для просвещения нашего отечества. Признаюсь, что его „Объявление“ поразило мое сердце, но немало также удивился и тому, что М. Матв. (Херасков. — В. М.) будет участвовать в том. Пожалуйте, скажите мне, что все сие значит, что молодой человек, сняв узду, намерен рыскать на поле пустой славы? Сие больно мне, но не удивляет меня; но ежели муж важный

и степенный одобряет такого юношу, сие приводит меня в изумление».

В то же время Кутузову очень хочется вернуть Карамзина к проповеди масонской мистики. Он уверен, что это возвращение будет и для Карамзина, ступившего на «склизкий путь», благом, и принесет более пользы людям. Искерпав все убедительные логические доводы, на которые Карамзин приводил такие же убедительные возражения, Кутузов решил изменить тактику. От логических рассуждений он обращается к эмоциональному воздействию художественного образа и задумывает создать сатирический портрет Карамзина, чтобы тот мог увидеть себя со стороны. Кутузов придумал оригинальный ход: некий автор, прочитав объявление о «Московском журнале», пишет издателю письмо, предлагая свое сотрудничество.

Этот автор представляет собой зеркальное отражение издателя. Описывая факты его биографии, Кутузов следует фактам биографии Карамзина. Начинается письмо с того, что автор пишет: «Мне минет скоро двадцать пять лет», что точно соответствует возрасту Карамзина. Затем автор рассуждает об устарелости взгляда стариков, полагающих, что в этом возрасте надо учиться и повиноваться. «В нашем XVIII просвещенном столетии такие пустые бредни потеряли свою силу; мы пользуемся драгоценною свободою, нужно только уметь читать и писать — бумаги у нас довольно; нужно только, кажется, быть писателем, и будем, конечно, не из последних». Далее автор рассказывает о полученном им образовании: учителя-иностранцы научили болтать по-французски и по-немецки, затем — чтение романов, от учителей он узнал, что соотечественникам его «недостает просвещения», так как они «верят слепо всему, что сказано в Священном Писании», затем отправился в чужие края и, «окончив курьерскую поездку», решил записаться в «благородный цех сочинителей».

Заканчивается письмо радостной оценкой программы «Московского журнала»:

«Но вообразите ж несказанную мою радость при получении чрез одного приятеля того „Объявления“, чрез которое возвещаете вы скорое ваше разрешение от подобного моему бремени! Всего более порадовало меня то, что вы приглашаете нашу собратию присылать к вам плоды их невоздержанности, обещав стараться о них, как о собственных ваших детях. Теперь остается у меня одно сомнение: вы, наблюдая правила благоразумных благотворителей, предписываете пределы вашим благодеяниям, ограничивая оныя исключением некоторого рода

присылаемых к вам младенцов, как то: „теологических, мистических, слишком ученых, педантических и сухих“. Я совершенно с вами согласен, и как не повиноваться вашим мнениям, ибо видна птица по полету — что таковыя сочинения не должны быть терпимы в благоустроенном государстве; но, признаюсь откровенно, я не разумею истинного значения сих названий, и для того, чтоб не прогневать вас, моего государя, присылкою чего-либо противного вашим намерениям, прошу дать мне истое и ясное понятие о сих употребляемых вами заглавиях. Впрочем, получа от вас ответ, не умедлю отправлением моих произведений, которыми, без великого самолюбия сказать, я обилую. В ожидании же пребуду государя моего усердный сотрудник *Попугай Обезьянин*».

Это сочинение Кутузов отослал Н. Н. Трубецкому с такой припиской: «Я написал, было письмо от неизвестного человека к журналисту, но боюсь, не едко ли оно, и для того сообщаю вам оное. Поступите с ним, как вам угодно».

По правде говоря, «едким» в этой сатире является только подпись «Попугай Обезьянин». Напечатана эта сатира нигде не была, но в кругу московских масонов читалась. Безусловно, она была известна и Карамзину, однако о его реакции на нее ничего не известно.

«Тихая жизнь» в мире с натурою, тихое наслаждение изящным — та мечта, о которой Карамзин говорил Виланду, совсем не получалась. Он и дома — а жил он у Плещеевых на Тверской улице в приходе церкви Василия Кессарийского — не имел покоя. Письмо Настасьи Ивановны Кутузову, написанное втайне от Карамзина («Он не знает и того, что я к Вам пишу»), говорит об этом: «Вы спрашиваете меня о Рамзее, — он все грустит; живет он теперь у нас, говорит, что оттого невесел, что болен... Вы себе представить не можете, сколько мне больно видеть его в таком состоянии. Нечего Вам сказывать, сколько я его люблю; дружба моя чистосердечна к нему и ничем истребиться не может, ниже самой его холодностью, которую он мне показывает... Я всегда была против разлуки, а теперь, по возвращении милого моего Рамзея, более ее ненавижу. Лучшее его удовольствие было, как Вы сами знаете, быть со мною, он читал у меня в комнате, рассуждал со мною, хотя часто мы с ним спорили, писал у меня; одним словом, я была или думала быть его лучшим другом... Но горько мне сие думать; однако не могу Вам не сказать: я почти теперь ясно вижу,

что дружба моя ему в тягость. Вообразите себе: живши у нас, я его только вижу за обедом, за которым он морщится на кого ни есть. Когда я ему стану говорить, то он ссылается на болезнь свою, старается как можно скорее от меня уйти; мне столько это горестно, что я Вам описать не в силах. Желала бы перестать любить его, но кто же его любить будет?»

1 января 1791 года вышел, как было обещано, первый номер «Московского журнала». Московские подписчики могли с этого дня получать его в Университетской книжной лавке на Тверской, номера для иногородних были сданы на почту.

Первый номер «Московского журнала» — веха в жизни Карамзина, такая же важная, какой будет его решение писать «Историю государства Российского». Но «Московский журнал» — веха и в русской журналистике, и в истории русской литературы.

Четверть века спустя П. А. Вяземский, затеявая издание журнала, писал: «Мы можем считать у себя только двух журналистов: Новикова и Карамзина. Первый был бичом предрассудков, бичом немного жестоким и отзывающимся грубостью тогдашнего времени. Карамзин в „Московском журнале“ разрушил готические башни обветшалой литературы и на ее развалинах положил начало новому европейскому изданию, ожидающему для совершеннейшего окончания искусных трудолюбивых рук. Другие журналисты предприняли издание Журналов, не имея никакой твердой цели, разве кроме той, чтобы наложить на читателей крест терпения... Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов...»

А еще через четверть века В. Г. Белинский подтвердил ту огромную роль, которую сыграл в истории русской журналистики «Московский журнал»: «В своем „Московском журнале“, а потом в „Вестнике Европы“ Карамзин первый дал русской публике истинно журнальное чтение, где все соответствовало одно другому: выбор пьес — их слогу, оригинальные пьесы — переводным, современность и разнообразие интересов — умению передать их занимательно и живо и где были не только образцы легкого светского чтения, но и образцы литературной критики, и образцы умения следить за современными политическими событиями и передавать их увлекательно. Везде и во всем Карамзин является не только преобразователем, но и начинателем, творцом».

Итак, первый номер «Московского журнала». Аккуратная книжка в восьмушку, сто с небольшим страниц довольно толстой бумаги, вклеена в темно-синюю матовую обложку, очень скромно украшена: на титуле лишь небольшая изящная виньетка — цветочная гирлянда и кое-где виньетки в тексте. Был обещан фронтиспис, но его к сроку отпечатать не удалось...

Открывался журнал «Предупреждением» издателя:

«Вот начало. Издатель употребит все силы свои, чтоб продолжение было лучше и лучше.

Журнал выдавать не шутка, я знаю, однако ж, чего не делает охота и прилежность? Множество иностранных журналов лежит у меня перед глазами; ни одного из них не возьму я за точный образец, но всеми буду пользоваться.

Читатель увидит в сей первой книжке творения тех поэтов, о которых говорил я в объявлении; и впредь будет их видеть. Путешественник, приятель мой, сообщает свои записки в письмах к семейству друзей своих.

Кому угодно будет сообщать мне свои сочинения или переводы, того прошу присылать их в Университетскую книжную лавку, с подписью: „Издателю ‘Московского журнала’“.

Фронтиспис к первой части журнала гравирован; но почтенные субскрибенты могут получить его не прежде, как месяца через два.

Николай Карамзин».

Собственно литературная часть журнала начиналась стихотворением Михаила Матвеевича Хераскова «Время». Конечно, честь открыть новый журнал была предоставлена Хераскову как старейшему российскому литератору и признанному главе тогдашней литературы не только по старшинству лет, но и по литературным заслугам.

Затем шло ставшее впоследствии одним из самых известных стихотворений Державина «Видение мурзы» с потрясающим описанием эффекта лунного освещения:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

За стихотворениями Хераскова и Державина следует стихотворение самого Карамзина «Филлиде» — стихотворение программное, заявляющее о стилистике журнала. Стихотворением подчеркнуто бытовое, домашнее — поздравление с днем рождения «красавицы любезной». После державинской оды оно особенно обращало на себя внимание непринужденностью, простотой стиля.

Проснись, проснись, Филлида!
Взгляни на день прекрасный,
В который ты родилась!..
Взгляни же и на друга,
Который для прелестной
Принес цветов прелестных
И арфу златострунну,
Чтоб радостную песню
Сыграть на ней Филлиде,
В счастливый день рожденья
Красавицы любезной...

Далее Карамзин желал, чтобы красавица была «радостна, беспечна», блистала подобно розе, а также желает ей множество и разнообразие духовных наслаждений:

Да девять сестр небесных,
И важных и веселых,
Тебя в сей год утешат
Беседою своею!
Родившая Орфея
Читай тебе Гомера;
Всезнающая Клио —
Плутарха или Юма;
С кинжалом Мельпомена
Шекспира декламируй;
Полимния в восторге
Пой Пиндаровы оды;
Эрата с нежной краской
Читай тебе тихонько
Теосского Поэта;

А Талия с Мольером
На счет пороков смейся;
Урания поведай,
Что Гершель в небе видит;
Играй тебе Эвтерпа
На флейте сладкогласной
Божественные песни
Из Генделевых песней;
Прыгунья Терпсихора,
Как Вестрис, пред тобою
Пляши, скачи, вертись!

Переиздавая это стихотворение в собрании сочинений, Карамзин исключил из него всю часть, касающуюся муз, что указывает на то, что в журнальной публикации она имела более отношения к программе журнала, чем к «прелестной», так как «Московский журнал» действительно по замыслу издателя должен был быть храмом всех муз.

Заключался стихотворный раздел двумя баснями И. И. Дмитриева: «Истукан дружбы» и «Червонец и полушка».

В разделе прозы Карамзин начал печатать «Письма русского путешественника», которые сразу привлекли внимание читателей, как писал один тогдашний критик, «сделали уже впечатление в публике». И тогда, в девяностые годы XVIII века, читатели отмечали двойное достоинство «Писем...»: их просветительское содержание и новую литературную форму — «достоинство тем разительнейшее, что автору надлежало бороться с необработанным языком, смягчая его для нежных выражений и делая гибким для легких оборотов». Правда, некоторых литературных староверов возмущал слишком фрагментарный, непоследовательный рассказ; автора упрекали, что он говорит «о Гомере, потом о дровах, то о Юнге, то об одежде немцев», но недовольных было все-таки меньшинство.

Обещая «критические рассмотрения русских книг», Карамзин в первом номере журнала помещает рецензию на аллегорический роман Хераскова «Кадм и Гармония», а в разделе иностранной библиографии — переводную, из «Меркур де Франс», рецензию Шамфора на французское издание «Путешествий г. Вайана во внутренние области Африки через мыс Доброй Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 годах» (в Париже Карамзин встречался и с путешественником, и с рецензентом).

Карамзин был завзятым театралом, знатоком театра и драматургии. Кроме того, сам играл в любительских спектаклях. Он воспринимал театр широко, во всех его проявлениях и связях с общественной жизнью: от создания драматургом пьесы до зрительской реакции, поэтому его статья о постановке драмы Лессинга «Эмилия Галотти» (в его переводе) на сцене московского театра, также напечатанная в первом номере «Московского журнала», представляла собой не обычную театральную рецензию, а страстный, глубокий и вдохновенный рассказ и о пьесе, и об актерах, и о чувствах и мыслях, которые вызывает драма в душах и умах зрителей; он одновременно и рассказывает, и сопереживает и героям пьесы, и актерам.

Карамзин отмечает долговременный успех спектакля: «Сия трагедия есть одна из тех, которых почтенная московская публика удостоивает особенного своего благоволения. Уже несколько лет играется она на здешнем театре, и всегда при рукоплесканиях зрителей». Затем он говорит о трагедии Лессинга как о литературном произведении: «Не много найдется драм, которые составляли бы такое гармоническое целое, как сия трагедия, в которых бы все приключения так искусно изображены были, как в „Эмили Галотти“».

Далее Карамзин описывает игру актеров, особенно восхищаясь известным московским трагиком Померанцевым, исполнителем главной роли — дворянина Одоардо.

Выход в свет первого номера «Московского журнала» вызвал волну обвинений со стороны московских масонов. Багрянский, который присутствовал при встрече Карамзина с Кутузовым в Париже, в январе писал Кутузову о Карамзине и его журнале: «Лорд Рамзей возвратился до меня, вы его не узнаете, он совсем изменился и телом и духом. Все те, кого он удостоил своими посещениями, поссорились с ним с момента его прихода. Он говорил тысячу вещей о нас, вещей действительно смешных. Он публикует журнал, без сомнения, самый плохой, какой только можно представить просвещенному миру. Он думает, что объяснит нам вещи, о которых мы никогда не знали. Обо всем, что касается родины, он говорит с презрением и с поистине кричащей несправедливостью. Обо всем же, что касается чужих стран, говорит с восхищением. Между другими бедная Ливония обижена до последней степени. Нужно проезжать ее, говорит он, закрыв глаза. Милая Курляндия — не что иное, как земля обетованная, и он удивлен, как евреи ошиблись. Он называет себя первым русским писателем, он хочет нас учить нашему родному языку, которого мы почти не слышим, и это именно он откроет нам скрытые сокровища. Его журнал имеет форму писем. Есть уже сотня подписчиков. Алекс. Алекс. П-в — его

задушевный друг и самый ревностный последователь, мы же остальные, кто придерживается еще прежних предубеждений, мы — завистники, которые, будучи далеки от возможности подражать талантам и заслугам великих людей нашего века, пресмыкаются в грязи невежества вековых суеверий».

Свое мнение о журнале Карамзина сообщает Кутузову и Трубецкой: «Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие края, надув его гордостью, соделали, что он теперь никуда не годится. Он был у меня однажды с моего приезда, но, видно, разговоры мои касательно до безумного предприятия каждого неопытного молодого человека в том, чтобы исправлять писаниями своими род человеческий, ему не понравились, ибо он с тех пор, как ногу переломил, и у меня не был. Сочинение ж его никому не понравилось, да и, правду сказать, полюбить нечего, я пробежал оные и не в состоянии был оных дочитать. Словом, он своим журналом объявил себя в глазах публики дерзновенным и, между нами сказать, дураком; а касательно до экономического его положения, то он от своего журнала расстроил свое состояние, и се есть достойное награждение за его гордость; однако ж не прими слова „дерзновенного“ в том смысле, якобы он писал дерзко; нет, но я его дерзновенным называю потому, что, быв еще почти ребенок, он дерзнул на предприятие предложить свои сочинения публике и вздумал, что он уже автор и что он в числе великих писателей в нашем отечестве, и даже осмелился рецензию делать на „Кадма“, но что касается до самого его сочинения, то в оном никакой дерзости нет, а есть много глупости и скуки для читателя».

Объяснение, почему масоны так отрицательно отнеслись к журналу Карамзина, содержится в письме И. В. Лопухина Кутузову. Кроме того, письмо свидетельствует, что Карамзин попал в орбиту полицейского сыска по делу московских масонов, хотя сами масоны категорически отрицали принадлежность Карамзина к их обществу в настоящее время. «Ты спрашиваешь меня, любезный друг, о Карамзине, — писал Лопухин. — Еще скажу тебе при сем о ложных заключениях здешнего главнокомандующего. Он говорит, что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие края, мартинист и проч. Возможно ли так все неверно знать при такой охоте все разведывать и разыскивать, и можно ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращал от пустого и ему убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слынут мартинистами? Карамзину хочется непременно сделаться писателем так,

как князю Прозоровскому истребить мартинистов; но думаю, оба равный будут иметь успех: обоим, чаю, тужить о неудаче».

Под впечатлением этих писем Кутузов пишет А. А. Плещееву: «Может быть, занимаешься чтением лорда Рамзея? и к сему не прилепляйся слишком. Он не может описывать ничего иного, как внешнего внешним образом; но сие не есть упражнение человека, старающегося шествовать к цели человека. Признаюсь, я читал множество журналов, и весьма остроумных, но не сделали они меня лучшим». А Настасью Ивановну спрашивает: «Скажите мне, что делает наш Рамзей?.. Желал бы знать, в чем состоит его журнал и какой имеет успех в публике. Ежели догадки мои справедливы, то отечество наше изображается им не в весьма выгодном свете... Сие есть свойство наших молодых писателей: превозносить похвалами то, чего они не знают, и хулить то, чего познать не стараются. Признаюсь, я часто думаю о Рамзее и делаю множество догадок о его журнале, и сие возбуждает во мне желание прочесть оный, дабы поверить самого меня. Боюсь, чтобы он не наделал себе врагов своими писаниями, не принося никому ни малейшей пользы».

На Карамзина написали несколько эпиграмм. Наиболее злой была эпиграмма Н. П. Николева:

Был я в Женеве, был я в Париже,
Спесью стал выше, разумом ниже.

Карамзин в полемику не вступал. Кутузову в апреле 1791 года он писал:

«Если Вы думаете, что я перестал любить прежних друзей своих, то Вы думаете несправедливо, любезнейший брат мой! Но хотелось бы мне знать, почему Вы это и подумать могли. В журнале, который выдаю с января месяца, суть мои пиесы, есть и чужие, но вообще мало такого, что бы для Вас могло быть интересно. Все безделки, мелочи и проч., и проч. По сие время имею 210 пренумерантов, из которых иные, читая сие собрание безделок, смеются или улыбаются, иные (NB на некоторых страницах) pass the back of their hands across their eyes^[7], иные зевают, иные равнодушно говорят: что за дрянь! Иные с сердцем кричат: как можно так писать! Иные... но пусть их говорят и делают, что хотят!

Впрочем, любезнейший брат, не бойтесь, чтоб я осмеян был; а если бы и вздумалось кому посмеяться надо мною, то я сказал бы: пусть смеются! Если за глаза и бить меня станут, то я ни слова не скажу. Вы, конечно,

помните, кто это сказал за две тысячи лет пред сим. Простите, любезнейший милый брат, любите Вашего верного Карамзина».

Следующие номера «Московского журнала» не разочаровали читателей: на его страницах регулярно печатались Державин («Песнь дому, любящему науки и художества», «На смерть графини Румянцевой», «К Эвтерпе»), Дмитриев («Счет поцелуев», «Письмо к прелестной», эпиграммы), Нелединский-Мелецкий, Николев и другие известные литераторы, в основном поэты. В 1791 году Карамзин опубликовал в «Московском журнале» значительное число собственных произведений: стихотворения «К прекрасной», «Раиса», «Веселый час», «Песнь мира», «Эпитафия калифа»; в каждом номере помещались «Письма русского путешественника», печатались также небольшие прозаические картины, размышления: «Фрол Силин», «Деревня», «Ночь», «Новый год». Карамзину же принадлежит большинство статей и рецензий в разделах «Театр», «Парижские спектакли», «О русских книгах», «Об иностранных книгах», «Смесь» и переводов, среди которых наиболее любопытен большой очерк, начатый печатью в двух последних номерах 1791 года и оконченный в 1792 году, — «Жизнь и дела Иосифа Бальзама, так называемого графа Калиостро».

Письма Карамзина Дмитриеву за этот год полны журнальными заботами: «По праву дружбы требую от тебя, чтобы ты, любезный друг, писал для „Московского журнала“. Твои пиесы нравятся умным читателям»; «„Шмит“, „Попугай“ и „Ефрем“, конечно, не лучшие из твоих пиес, однако ж имеют свою цену, и я уверен, что многим из читателей они полюбились. В журнале хороши и безделки, — и самые великие поэты сочиняли иногда „Ефремов“ и не стыдились их. Впрочем, я из экономии не напечатал в августе ни одной из твоих пиес, кроме „Ефрема“; тут было довольно Державинских»; «Сердечно благодарю тебя за все стихи твои. Слава Богу, что Сызранский воздух имеет для тебя силу вдохновения! Пиши, мой друг, пиши, и непременно пришли мне ту сказку, которой начало читал ты мне в Москве»; «...Многие места в печальной твоей песне на смерть Потемкина мне очень полюбились. Все будет напечатано и, конечно, к удовольствию читателей...»; «Благодарю тебя, любезный друг Иван Иванович, за твое письмо, а особливо за сказку, которую читал я два раза с удовольствием, вместе с А. А. Петровым...»; «С позволения твоего, „Модная жена“ выедет в свет в генваре или феврале месяце. Между тем прошу тебя прислать мне и другую сказку, которой начало читал ты мне в Москве...»; «Надпись к портрету „И это человек“ и пр. очень полюбилась, и многие твердят ее наизусть»; «Скажу тебе приятную весть — приятную,

говоря, думая, что ты вместе со всеми Евиными чадами имеешь самолюбие, или честолубие, и любишь, когда тебя хвалят. „Модная жена“ очень понравилась нашей московской публике, и притом публике всякого разбора. „Это прекрасно“, — говорит молодой франт; „В иных местах очень вольно“, — говорит модная дама с стыдливой улыбкой».

Пишет он и о других авторах: «Я очень рад, что любезные наши Державины против нас не переменились. Уверь их, любезный друг, в моем почтении и в моей благодарности. При случае можешь сказать Гаврилу Романовичу, что я все еще надеюсь получить от него что-нибудь для моего журнала. Херасков все обещает. Теперь переделывает он своего „Владимира“ и прибавляет десять песней новых»; «К Гаврилу Романовичу писал; а тебя прошу поблагодарить от меня г. Львова за его стансы и попросить его, чтобы он и вперед сообщал мне свои сочинения. Скажи, какой это Львов? „Стансы“ будут напечатаны в июле месяце»; «Что сделалось с Туманским? Я получаю от него оду за одой, послание за посланием. К нещастью, я не могу ничего напечатать, и притом по таким причинам, которых нельзя объявить автору»; «Мужественно и храбро пробился я сквозь тысячу Николевских стихов; хотя тысячу раз колебался, однако ж, преодолев самого себя, добрался до конца. Конечно, есть несколько порядочных стишков; но сии малочисленные изрядные стишки не могут сделать сносною Эпистолы в 1000 стихов. Признаться тебе, милый друг, что если бы все стихи писались так, то я возненавидел бы стихотворство. Стихи Комарова, подобные прозе Семена Пирогова, заставляют меня, по крайней мере, смеяться; а это жесткое послание (и притом *лирическое!!!*) так натерло мой мозг, что он несколько часов был подобен болячке»; «Август (то есть августовский номер „Московского журнала“. — В. М.) дней через семь может отправиться в Петербург. Тут увидишь сочинение одной девицы, в котором есть гладкие стихи, но нет поэзии»; «Люди, мною уважаемые, иногда просят, чтобы я помещал в журнале вялые рифмосплетения или детей их, или племянниц, или племянников. Иногда бываю принужден исполнять их желания».

В июне Карамзина порадовало доброе слово Державина. Дмитриев прислал стихотворение «Прогулка в Сарском селе» якобы от неизвестного автора. Однако эту маленькую мистификацию отгадать было нетрудно. «„Прогулку в Сарском селе“ получил и тотчас узнал сочинителя, — в тот же день ответил другу Карамзин. — Я напечатаю ее в августе (разумеется, что имени моего тут не будет)».

В этом стихотворении Державин признавал высокие художественные достоинства карамзинской прозы:

Пой, Карамзин! — И в прозе
Глас слышен соловьи.

В сентябре — октябре Карамзин подумывал, не прекратить ли издание журнала, но в середине ноября он сообщает Дмитриеву: «Дело решено, и „Московский журнал“ пойдет на 1792 год». О своих сомнениях и колебаниях он говорит в опубликованном в ноябрьском номере обращении «От издателя к читателям»:

«Надеясь, что „Московский журнал“ не наскучил еще почтенным моим читателям, решился я продолжить его и на будущий 1792 год.

Я издал уже одиннадцать книжек — пересматриваю их и нахожу много такого, что мне хотелось бы теперь уничтожить или переменить. Такова участь наша! Скорее Москва-река вверх пойдет, нежели человек сделает что-нибудь беспорочное, — и горе тому, кто не чувствует своих ошибок и пороков!

Однако ж смело могу сказать, что издаваемый мною журнал имел бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня не столь мрачен; если бы дух мой... Но читателям, конечно, нет нужды до моего душевного расположения.

Надежда, кроткая подруга жизни нашей, обещает мне более спокойствия в будущем; если исполнится ее обещание, то и „Московский журнал“ может быть лучше. Между тем прошу читателей моих помнить, что его издает *один* человек.

Если бы у нас могло составиться общество из *молодых*, деятельных людей, одаренных *истинными* способностями; если бы сии люди — с чувством своего достоинства, но без всякой надменности, свойственной только низким душам, — совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при олтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять все изящное, не для собственной славы, но из благородной и бескорыстной любви к добру; если бы сия любезнейшая мечта моя когда-нибудь превратилась в существование, то я с радостью, сердечною радостью удалился бы во мрак неизвестности, оставя сему почтенному обществу издавать журнал, достойнейший благоволения российской публики. В ожидании сего будем делать, что можем...»

Издавая «Московский журнал» в 1792 году, Карамзин придерживался прежнего объявленного им плана, но материалы, опубликованные в нем, были интереснее и глубже. Своим журналом Карамзин подготовил себе не только читателей, но и авторов. В этом году полностью развернулся поэтический талант И. И. Дмитриева, на страницах журнала появились его сказка «Модная жена» и песня «Стонет сизый голубочек», ставшие сразу необычайно популярными. Новый этап в своем творчестве, связанный именно с этим годом, отмечает сам Дмитриев: «В первых трех частях его („Московского журнала“. — В. М.) напечатаны были и мои стихотворения, выбранные издателем без моего назначения, а по собственному его произволу, из взятого им моего бумажника. Все они были едва ли не ниже посредственных; но с четвертой части начался уже новый период в моей поэзии: песня моя „Голубок“ и сказка „Модная жена“ приобрели мне некоторую известность в обеих столицах. Любители музыки сделали на песню мою несколько голосов. Она полюбилась прекрасному полу, а сказка — поэтам и молодежи. С той поры и в обществе Державина уже я перестал быть авскультантом (вольный слушатель, не полноправный член какого-либо общества. — В. М.) и вступил, так сказать, в собратство с его членами; но ничье одобрение столько не льстило моему самолюбию, как один приветливый взгляд Карамзина...»

Но главным было то, что на страницах «Московского журнала» все больше места стала занимать оригинальная проза Карамзина. Кроме продолжающихся «Писем русского путешественника» в 1792 году были опубликованы «Прекрасная царевна и счастливый карла (*Старинная сказка*)», начата печатанием неоконченная повесть «Диодор», в июньской книжке появилась повесть «Бедная Лиза», в ноябрьской — «Наталья, боярская дочь». Две последние повести поставили их автора на первое место среди русских прозаиков. Именно их имеет в виду Пушкин, когда много позже в одной из заметок спрашивает: «Вопрос: чья проза лучшая в нашей литературе. — Ответ: *Карамзина*».

«Близ Симонова монастыря есть пруд, осененный деревьями, — вспоминал Карамзин в 1817 году. — За двадцать пять лет перед сим сочинил я там „Бедную Лизу“, сказку весьма незамысловатую, но столь счастливую для молодого автора...»

Летом 1792 года Карамзин часто гостил в Симонове на даче П. П. Бекетова, своего давнего, еще по пансиону Шадена, товарища. Внизу, под стенами монастыря, находился пруд, который местные жители называли Лисий пруд: в старые времена тут была лисья охота.

У «Бедной Лизы» действительно счастливая судьба. Повесть

принадлежит к числу произведений, которые знаменуют собой литературную эпоху, и в этом ее значение для истории литературы. Написанная почти 200 лет назад, она не знала за эти два века ни забвения, ни утраты читательской любви.

Одна из характернейших черт великих произведений русской литературы заключается в том, что при простоте внешнего сюжета они поднимают сложнейшие, глубинные вопросы жизни. Таковы «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого...

Сюжет «Бедной Лизы», как справедливо отметил сам автор, весьма незамысловат. Крестьянка Лиза и дворянин Эраст полюбили друг друга, но вскоре Эраст покинул свою возлюбленную, чтобы жениться на богатой вдове и тем поправить свое состояние. Брошенная девушка с горя утопилась в пруду.

Эта повесть имела больший успех, чем все написанное Карамзиным ранее. «„Бедная Лиза“ твоя для меня прекрасна!» — так отозвался о повести Петров, нелюбезный и суровый критик. А Елизавета Петровна Янькова, тогда молоденькая девушка, в старости рассказывала: «Карамзин-историк в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах, которые в свое время читались нарасхват, и очень хвалили их, потому что хорошо написаны; но я их не читывала, а с удовольствием прочитала его чувствительную историю о „Бедной Лизе“, и так как была тогда молода, и своих горестей у меня не было, то и поплакала, читая».

Прежде всего «Бедная Лиза» подкупала читателя тем, что она рассказывала о русской жизни, о современности. Обычно в повестях писали, что действие происходит в неопределенном «одном городе», «одной деревне», а тут хорошо знакомый каждому москвичу Симонов монастырь, все узнавали березовую рощу и луг, где стояла хижина, окруженный старыми ивами монастырский пруд — место гибели бедной Лизы... Точные описания придавали особую достоверность всей истории. К тому же автор подчеркивал правдивость своего рассказа: «Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль!» Даже то, что Лиза продавала лесные цветы, было новой чертой быта: в одной из статей Карамзин сообщает, что торговать букетами таких цветов начали в Москве лишь за год-два до создания повести.

За Лисьим прудом укрепилось название Лизин, он на долгое время стал местом паломничества чувствительных читателей. Путеводитель по Москве 1827 года наряду с Сухаревой башней, Красными воротами и другими московскими достопримечательностями рекомендует посетить

Лизин пруд: «Перейдем несколько шагов за заставу и посетим известный всем московским жителям и даже многим иногородним так называемый Лизин пруд. Он не велик, обсажен березами и особенно примечателен тем, что знаменитый историограф наш Николай Михайлович Карамзин, написав прекрасную сказочку свою, „Бедную Лизу“, заставил многих приходить сюда, мечтать о Лизе и искать следов ее... Полюбопытствуйте, рассмотрите растущие здесь деревья и подивитесь: нет ни одного, на котором не было бы написано каких-нибудь стишков, или таинственных букв, или прозы, выражающей чувства. Можно, кажется, поручиться, что это писали влюбленные и, может быть, столь же несчастные, как Лиза».

Тогда несколькими любопытными посетителями были списаны некоторые из надписей на деревьях:

В струях сих бедная скончала Лиза дни,
Коль ты чувствителен, прохожий! воздохни.

Приходили к пруду не только чувствительные девушки, но и мужчины: Погодин передает слова профессора Цветаева, «что и он хаживал на Лизин пруд, с белым платком в руках, отирать слезы».

П. А. Вяземский писал в стихотворении «Москва-река» (1858):

Когда на гладь реки наводит
Свой алый блеск сходящий день,
Там бедной Лизы грустно бродит
Москвой оплаканная тень.

Это сейчас, много лет спустя, «Бедная Лиза» кажется чуть ли не изящной игрушкой, но в свое время она воспринималась иначе: это было остросовременное и социально звучащее произведение. Тема и образы «Бедной Лизы» прямо перекликаются со страницами тогда только что преданной запрещению и изъятию даже у частных лиц книги Радищева.

В главе «Едрово» «Путешествия из Петербурга в Москву» рассказывается о том, как в этой деревне автор встретил крестьянскую девушку Анюту, которая не может выйти замуж за любимого человека, потому что ему надо заплатить 100 рублей за разрешение жениться, а ни у него, ни у Анюты таких денег нет. Автор предлагает Анюте и ее матери эти деньги, но они отказываются. Мать с достоинством говорит: «Приданого

бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то Бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают».

В этих словах — сюжет и содержание «Бедной Лизы». Образ матери Анюты перекликается с образом матери Лизы, которая решительно отказывается брать у Эраста настойчиво предлагаемую им «в десять раз дороже назначаемой ею цены» плату за вытканное Лизой полотно. Утверждение Радищева: «А более люблю сельских женщин и крестьянок для того, что они... когда любят, то любят от всего сердца и искренно» — находит соответствие в знаменитой фразе Карамзина: «Ибо и крестьянки любить умеют!» Кроме того, имеются мелкие совпадения в деталях, словах: например, у Анюты отец умер, оставив крепкое хозяйство, отец Лизы тоже был «зажиточный поселянин», и здесь и там в доме не осталось мужчины-работника; Лиза у Карамзина говорит: «Бог дал мне руки, чтобы работать», жених Анюты, также отказываясь принять деньги в подарок, заявляет: «У меня, барин, есть две руки, я ими и дом заведу». Связь между «Бедной Лизой» и «Путешествием из Петербурга в Москву» несомненна.

Принципиальное различие между произведениями Радищева и Карамзина заключается в том, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» тема раскрывается средствами публицистики, в «Бедной Лизе» — средствами художественными. Радищев называет явление и дает ему объяснение с точки зрения социальной и экономической, Карамзин его изображает. У того и другого способа есть свои достоинства, но для условий русской действительности художественная литература имела особое значение. Очень хорошо ее роль в общественной жизни определил Н. Г. Чернышевский. Он назвал ее «учебником жизни, которым с наслаждением пользуются все люди, даже и те, которые не знают и не любят других учебников».

«Бедная Лиза» очень отличается от других повестей Карамзина, напечатанных на страницах «Московского журнала» в том же году. «Бедная Лиза» — современная городская повесть; «Прекрасная царевна и счастливый карла» — повесть сказочная; «Наталья, боярская дочь» — повесть легендарная, повесть-предание; «Лиодор» — по всей видимости, попытка авантюрной повести.

Из трех последних наибольшее значение для творчества Карамзина имеет повесть «Наталья, боярская дочь». Она оказала большое влияние на дальнейшее развитие этого жанра в русской литературе. Карамзин описывает «приключения древности», изображает старую Русь. Но

исторической повесть можно назвать с большими оговорками. Карамзин не указывает точно, когда происходит действие повести, он изображает «старые времена» вообще. В повести можно обнаружить черты быта и исторические факты разных веков — и XVI, и XVII, и современного автору последнего десятилетия XVIII века. Вольное обращение с историей объясняется тем, что Карамзин не ставил задачей достоверное изображение определенного исторического времени и определенных исторических событий (эту задачу поставит перед собой позже), а желал изобразить идеальные человеческие характеры, идеальные отношения, дать современникам наглядный урок, показать, какими они, по его убеждению, должны быть. Поэтому и боярин Матвей, и Наталья, и Алексей — не столько исторические персонажи, сколько современники автора, надевшие одежды «древних времен».

Большая часть эпизодов происходит в Москве. «Возвратимся в Москву, — говорит Карамзин в конце повести, — там началась наша история, там должно ей и кончиться». На первых страницах он рисует пейзаж древней Москвы. Наталья, дочь боярина Матвея Андреева, пробудившись утром, «подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой Натуры, взглянуть на златоглавую Москву». Усадьба ее отца находилась на холме возле нынешних Красных Ворот, откуда открывался в те времена широкий вид на город и его окрестности, на Кремль, на посады, на Москву-реку и Яузу, на сады и поля. Понятны чувства Натальи, которая «смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить Натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: „Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окрестности!“».

В соответствии со своим убеждением, что литература должна быть учителем жизни, Карамзин рисует «доброе старое время» только положительными чертами и противопоставляет его отрицательным явлениям современности. Чванливым крепостникам-вельможам Карамзин противопоставляет боярина Матвея — «верного друга человечества», «покровителя и заступника своих бедных соседей», неподкупного и справедливого судью; светским красавицам с их пристрастием к нарядам, со слепым подражанием всему иностранному — дочь боярина Матвея Наталью.

Возможно, сам того не предполагая, Карамзин дал первый в русской литературе, пока еще только lightly намеченный, но тем не менее намеченный тонко и верно, привлекательный образ девушки, натуры глубокой и романтической, непосредственной и скрытной,

самоотверженной — истинно русской, народной. Он дал эскиз Татьяны Лариной. Некоторые черты этого образа потом отзовутся в «Евгении Онегине».

Весело и беззаботно жила Наталья, но «наступила семнадцатая весна ее жизни», и затосковало ее сердце. Она «не умела самой себе дать отчета в своих новых смешанных, темных чувствах», «воображение представляло ей... какой-то образ прелестный, милый призрак», — короче, «влетела в Натальино нежное сердце — потребность любить, любить, любить!!!». И, увидев Алексея, «Наталья в одну секунду вся покраснелась, и сердце, затрепетав сильно, сказала ей: „Вот он!..“».

Совершенно так же чувствует Татьяна:

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!

«Московский журнал» шел успешно, число подписчиков увеличивалось, свидетельствуя наглядным образом о росте интереса к нему в обществе; вокруг журнала сложилась группа постоянных авторов — и вдруг Карамзин в декабрьском номере объявляет о прекращении журнала:

«Сею книжкою (которая выходит довольно поздно, но зато состоит из одиннадцати листов) „Московский журнал“ заключается. Издатель, следуя похвальному обычаю старинных журналистов, должен выйти на сцену с эпилогом.

Вот мой эпилог: *благодарю всех тех, которые брали на себя труд читать „Московский журнал“.*

В прошедшем году я два раза отлучался из Москвы, и сии отлучки были причиною того, что некоторые месяцы журналы выходили не в свое время. Строгие люди обвиняли меня, снисходительные прощали. Теперь обязательство мое кончилось — я свободен.

Но сия свобода не будет и не должна быть праздностью. В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, которые (в чем признаюсь охотно) не так мне известны, как новые; буду учиться — буду пользоваться сокровищами

древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства (о чем и думать не смею и что было бы, конечно, самую смешною, ребяческою гордостью), то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей.

Между тем у меня будут свободные часы, часы отдохновения; может быть, вздумается мне написать какую-нибудь безделку; может быть, приятели мои также что-нибудь напишут, — сии отрывки или целые пиесы намерен я издавать в маленьких тетрадках, под именем... например, Аглаи, одной из любезных граций. Ни времени, ни числа листов не назначаю; не вхожу в обязательство и не хочу подписки; выйдет книжка, публикуется в газетах — и кому угодно, тот купит ее.

Таким образом, „Аглая“ заступит место „Московского журнала“. Впрочем, она должна отличаться от сего последнего строжайшим выбором пиес и вообще чистейшим, то есть более *выработанным*, слогом, ибо я не принужден буду издавать ее в срок.

Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку „Аглаи“ на алтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет — не знаю.

„Письма русского путешественника“, исправленные в слоге, могут быть напечатаны особливо, в двух частях: первая заключается отъездом из Женевы, а вторая — возвращением в Россию.

Драма кончилась, и занавес опускается».

Для читателей прекращение «Московского журнала» было огорчительной неожиданностью, оно казалось чуть ли не капризом издателя. Но решение Карамзина имело серьезные основания.

Уже в объявлении о подписке на «Московский журнал» на 1792 год внимательный читатель мог обнаружить тревожные ноты. «Издаваемый мною журнал, — писал издатель, — имел бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня не столь мрачен; если бы дух мой... Но читателям, конечно, нет нужды до моего душевного расположения». О душевном расположении Карамзина речь уже шла. Недоброжелательное отношение большинства членов новиковского кружка к его литературной деятельности, с которыми был он связан в течение четырех лет, которых уважал и был им многим обязан, выматывающая атмосфера в доме

Плещеевых, постоянная изнурительная работа, приведшая к болезни — видимо, нервному истощению с головными болями, — все это очень тяжело переживалось Карамзиным. Одновременно он чувствовал, что его втягивает, помимо его воли, могущественная политическая интрига.

«Конец ее царствования был отвратителен», — напишет Пушкин о Екатерине II в 1834 году. Карамзину пришлось жить как раз в «отвратительные» годы, на которых лежит печать отнюдь не «Великой Екатерины», а ее последнего фаворита; жадность, невежество, мелочность, животный страх за собственное благополучие и безопасность, мстительность, ненависть к уму, образованию, таланту, тщеславное презрение ко всему окружающему — эти черты Платона Зубова становились чертами государственной политики и общественной морали.

Московские масоны еще в середине 1780-х годов почувствовали, что вызывают какую-то особую, непонятную и необъяснимую неприязнь у императрицы. Московский главнокомандующий граф Брюс по ее именному распоряжению — и это было известно масонам — в 1785 и 1786 годах производил обыски в лавках Типографической компании, изъяс книги, которые духовная цензура нашла противоречащими истинному православию; по приказу Екатерины Новикова вызывали для допроса в Управу благочиния к архиепископу Платону для испытания в законах православной веры.

Иван Владимирович Лопухин, служивший при московском главнокомандующем, вынужден был уйти в отставку, так как понял, что любая, даже самая маленькая, его оплошность будет раздута и послужит поводом, чтобы с позором выгнать его со службы.

Особенно усилилась слежка с февраля 1790 года, когда московским главнокомандующим стал князь Прозоровский — боевой генерал и исполнительный служака. Письма, адресованные масонам, доставляли с почты с большой задержкой и распечатанными. Нетрудно было догадаться, что их прочитывали и снимали с них копии, видимо, для отсылки в Петербург.

Московские масоны не знали за собой вины и были уверены, что стали жертвой оговора. Лопухин придумал ловкий ход: написать письмо, в котором рассказать о настоящих делах и мыслях масонов. Письмо наверняка попадет к императрице, и разъяснится недоразумение. Лопухин написал письмо. Оно было адресовано Кутузову в Берлин: заграничные письма обязательно перлюстрировались. С письма Лопухин снял две копии, одну оставил дома — на всякий случай, другую давал читать знакомым.

Письмо действительно было написано хорошо: имело вид частного и в то же время естественно касалось самых важных пунктов обвинения масонов: безверия и приверженности революционным теориям.

«...Здравствуй, друг любезнейший! Я довольно здоров, слава Богу. Здесь настала зима, и Москва-река замерзла. Итак, теперь точно то время, в которое, ты знаешь, что друг твой гораздо охотнее и больше обыкновенного шагает по улицам. Ведь и это господа примечатели, не имеющие приметливости, кладут мне на счет мартинизма. Однако ж рассуждения их, право, не стоят того, чтобы я для них лишил себя лучшего средства к сохранению моего здоровья.

Очень обеспокоен тем, что давно не имею писем от Колокольникова и Невзорова. Они в Лейдене, окончив курс учения, получили докторство и намерены были для практики ехать в Париж, как делают обыкновенно все учащиеся медицине. Требовали на то моего совета и денег на путешествие. Я к ним писал, чтоб они в Париж не ездили, потому что я, в рассуждении царствующей там ныне мятежности, почитаю за полезное избегать там житья, а ехать, куда посоветуют профессора лейденские, но кроме Франции. Послал им денег уже тому более двух месяцев, но по сие время ответу не имею. Не знаю, что с ними приключилось.

Подумай, братец, нашлись такие злоязычники, которые утверждали, будто они во Францию посланы от нас воспитываться в духе анархическом. Можно ли говорить такие нелепости? Да и можно ли разумному человеку усмотреть в посылке бедных студентов иное намерение, кроме того, какое есть в самом деле, то есть помочь им приобрести ремесло честное и отечеству полезное.

Я не знаю, почему оные господа вздумали, что мы охотники до безначалия, которого мы, напротив, думаю, больше знаем вред, нежели они, и по тем причинам отвращение к нему имеем. Они воспевают власть тогда, когда, пользуясь частичкой ее, услаждаются и величаются над другими. А как скоро хотя немного им не по шерстке, то уши прожужжат жалобами на несправедливости и прочее. Кричат: „Верность! Любовь к общему благу!“ Полноте! Хуторишки свои, чины да жалованье только на уме. А кабы спросить этих молодцов хорошенько, что

такое верность, любовь, — так они бы стали пни пнями.

Я слышу мартинистом, хотя, по совести, не знаю, не ведаю, что такое мартиниство. От природы я не стяжатель и охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного, но притом молю и желаю, чтоб никогда в отечество наше не проник тот дух ложного свободолюбия, который в Европе сокрушает многие страны и который, по моему мнению, везде одинаково губителен...

Еще о нас говорят, что нас обманывает и грабит Новиков. Болтают только для того, чтоб что-нибудь сболтнуть, и не хотят взять труда узнать, как оно обстоит на самом деле. А кабы лучше узнали, то прежде всего увидели бы, что никто из нас, кого они называют обманутыми, не почитает Новикова за некоего оракула, следовательно, он и обманывать нас не может... Мы, говорят они, разоряемся на наши типографические заведения. Удивляюсь, почему они жалеют нас, а не заботятся о тех, которые разоряются тем, что проигрывают, желая обыграть, пропивают, проедают и издерживаются на разные проказы? Да еще, вдобавок, это говорят такие люди, которые сами в долгах, сами разорились. И на чем разорились! Я бы не хотел поменяться с ними...

Третье, в чем упрекают нас, это говорят, что упражнение в масонстве отводит от службы и мешает ей. На сие могу сказать, что хотя теперь я не бываю в ложах, которых ныне у нас и нету, но навсегда привязан к истинному масонству, которое не может мне ни в чем добром помешать, будучи наукою добра. Ибо что есть истинное масонство? Христианская нравственность и деятельность, руководимая ею. Может ли это помешать чему-нибудь, кроме как злему?..

Как не мешает масонство в службе всякого рода, можно видеть пример и здесь на тех, которых почитают мартинистами и которые служили или служат ни в чем не хуже других и никакой беспечностью по службе не опорочены...

А каково основательно представляют здесь мартинистов, это я на себе испытал. В прошлом году случилось мне в одной веселой беседе много пить и несколько подпить, и тогда один из собутыльников, человек знатный и известный, сказал с такой радостью, будто город взял: „Какой ты мартинист, ты — наш!“ Вот какое понятие имеют хулители наши о мартинизме!..

Вот тебе, мой друг, полная реляция, и не только реляция, но и диссертация. Может быть, она на несколько минут тебя

повеселит и полечит твою ипохондрию...

О Радищеве ничего не знаю, не будучи основательно знаком с его знакомыми или интересующимися о нем. После моего последнего письма к тебе ничего не слыхал. Отпишу к тебе, ежели узнаю, что он умер или жив. В последнем случае желаю, чтобы он воспользовался своим несчастьем для перемены своих мыслей.

Прости, сердечный друг и брат мой. Заочно обнимаю тебя. Когда же в самом деле будем иметь сие удовольствие?»

Наивная уловка Лопухина могла убедить кого угодно, только не Екатерину. Письмо в высшей степени откровенно и правдиво: действительно, московское масонство представляло собой именно то, о чем простосердечно рассказал Лопухин, для исследователя и историка его письмо является ценнейшим документом. Екатерина же искала доказательств заговора, ее подозрительность превратилась в манию, а измышления, которыми она пугала себя (не без помощи Платона Зубова), представлялись ей большей реальностью, чем действительность. Впрочем, не только боязнь за себя лично, за свое положение, но боязнь вообще за судьбу самодержавного правления руководила ее поступками. Принципы своей политики последних лет царствования Екатерина сформулировала в документе, который получил название «Завещание». Он был найден в бумагах императрицы после ее кончины. Как разительно «Завещание» отличается от «Наказа», которым она начинала свое правление! В «Завещании», в отличие от «Наказа», первенствовали не идеи, а практические советы по управлению государством.

«Завещание» обращено к Павлу — сыну, наследнику, будущему императору:

«Я обязана дать тебе совет как мать, как государыня, а всего более как современница великой революции, которая может достигнуть и до нас, если не положить пределов ее распространению. Наука царствовать становится час от часу труднее. Никогда царский венец не подвергался такой опасности, как теперь. От своего венца я умела устранять все опасности. Научись от меня науке заклинять народные бури. Предваряй их, производя войну далеко от пределов своих, и пока войска твои будут победоносны, все будут покорны тебе.

...Не допускай без своего ведома ни одной книги, ни газеты,

ни карикатур. Народ должен мыслить, как и государь его. Ты должен вводить в среду народа настолько просвещения, насколько это не будет вредить ни тебе, ни им. Вообще раннее просвещение отнимает покой у государя и у народа.

...Овладей общественным мнением, умеи управлять им, и, пока оно будет на твоей стороне, ты можешь делать чудеса. Кроме того, подчини его религии, пусть религия и мысль будут нераздельны, и пусть эта последняя будет всегда в зависимости от цензуры и духовенства.

...Есть события, о которых народу не следует и подозревать. Допускай в государстве только одни газеты и не питай слишком народное любопытство. Удаляй от народа все известия о переворотах, которые причинили бедствия процветающим странам.

...Заклучи науки для твоих подданных в пределах домашних нравоучений. Пускай в царстве твоём проповедаются общественные и семейные добродетели. Не давай народу времени для размышлений. Он не создан для этого. Он не должен умствовать. Ничего не может быть труднее, как управлять народом, который требует во всем отчета. Он должен трудиться и молчать.

...Перо ученого приносит больше зла правительству, нежели война. Сошли в Сибирь первого писателя, вздумавшего казаться государственным человеком. Покровительствуй поэтам, трагическим писателям, романистам, даже историографам времен давно минувших. Отличай геометров, естествоиспытателей, но гони всех тех мечтателей, всех созидателей платонических республик, кои святотатственною рукою прикасаются к государственной политике.

...Горе тебе, сын мой, если твои подданные узнают, что можно, не страшась наказания, нарушить почтение и повиновение государю. Если же подданные, несмотря на твою осторожность, узнают об этих соблазнительных и плачевных явлениях, то постарайся предоставить в самом гнусном виде честолобивых демагогов, которые тяготятся законами, всех политических преобразователей, которые из-за своего тщеславия причиняют столько бедствий народу. Читай сам в часы досуга те славные философские рассуждения, которые могут возмутить слабые умы и внушить горячим головам любовь к

независимости».

Этот документ написан, кажется, более для того, чтобы обдумать и сформулировать линию собственного поведения, чем дать наставление сыну и наследнику. К тому же трудно предположить, что Екатерина хоть сколько-нибудь надеялась, что Павел будет придерживаться ее советов.

Назначенный в феврале 1790 года московским главнокомандующим князь Александр Александрович Прозоровский — старый фронтовой генерал, человек ограниченный, надменный, необразованный, он с подозрением относился к образованным людям и ценил только дисциплину и исполнительность по службе. Вскоре по вступлении в должность он получил от императрицы указание наблюдать за московскими масонами: «Касательно известной шайки полезно будет без огласки узнать число людей, оной держащихся: пристают ли вновь или убывают ли из оной». Прозоровский смотрел на масонов глазами императрицы, и все в них вызывало его подозрение: и собрания, и печатание книг, и устройство больниц, и посылка студентов за границу, и широкая благотворительность. В. И. Лопухин в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды Прозоровский, разоткровенничавшись, сказал, что государыня несколько раз спрашивала его, почему он не арестует Новикова. Прозоровский отвечал: «Тотчас, если только приказать изволите». Но Екатерина не решалась отдать приказ, говоря: «Нет, надобно прежде найти причину». Из этого рассказа следует, что участь Новикова была решена задолго до его ареста и следствия.

Причиной, или, правильнее сказать, поводом для ареста послужил совершенно ничтожный случай. Императрице попалась на глаза староверческая книга «История о отцах и страдальцах Соловецких», напечатанная церковными литерам в необозначенной типографии. 13 апреля 1792 года Екатерина подписала указ Прозоровскому: так как книга эта наполнена писаниями, «благочестивой нашей церкви противными, так и государственному правлению поносительными», а в издании ее подозревается Новиков, то его арестовать, в доме и лавках произвести обыск — «не найдется ли у него таковая книга, либо другие ей подобные или же, по крайней мере, литеры церковные».

22 апреля Прозоровский приступил к исполнению императорского указа. «Все вдруг книжные лавки в Москве, — описывает события этого дня И. В. Лопухин, — запечатали, также типографию и книжные магазины Новикова, и дома его наполнили солдатами, а он из подмосковной взят был под тайную стражу, с крайними предосторожностями и с такими

воинскими снарядами, как будто на волоске тут висела целость всей Москвы».

Книги, названной в указе императрицы, у Новикова не обнаружили, как и церковных литер, зато нашли в лавках 20 книг, ранее запрещенных, и масонские издания, не проходившие цензуру.

Началось следствие. Екатерина присылала Прозоровскому инструкции, о чем «нужно спросить» Новикова, фактически сама вела дознание. Среди изъятых бумаг оказались и те, которые особенно интересовали императрицу, — бумаги о связях московских масонов с великим князем Павлом Петровичем: отчеты архитектора В. И. Баженова о его свиданиях с наследником. После этого следствие приняло четкое направление. Лопухин в своих «Записках», написанных около двадцати лет спустя после этих событий, когда все было уже спокойно обдумано, когда стали известны многие, ранее скрытые обстоятельства, пишет: «Вопросы сочинены были очень тщательно. Сама государыня изволила поправлять их и свои вмещать слова. Все метилось на подозрение связей с тою ближайшею к престолу особою, как я упоминал выше; прочее же было, так сказать, только для расширения завесы». Но во время допросов Лопухин не разделял, что было главным, а что завесой — всё казалось существенным, и никак нельзя было понять, в чем же заключается обвинение Новикова.

Связи московских масонов с цесаревичем через Баженова оказались малозначащими: в 1774 году Новиков, по предложению Баженова, передал Павлу несколько книг — дело обычное в издательской практике. Второй раз, в 1788 году, Баженов отвез еще несколько книг, которые были приняты благосклонно, но при этом Павел спросил, нет ли в их, то есть новиковского общества, деятельности чего худого; Баженов уверил, что ничего худого нет; на что цесаревич ответил: «Бог с вами, только живите смирно». Третья встреча состоялась в 1791 году; как только Баженов заговорил о масонах, Павел с гневом грубо оборвал его: «Я тебя люблю и принимаю как художника, а не как мартиниста; об них же и слышать не хочу, и ты рта не разевай об них говорить».

У Прозоровского сложилось впечатление, что Новиков хитрит и что-то скрывает, хотя тот рассказал о встречах Баженова с Павлом все, что знал. Видимо, именно эта откровенность и казалась генералу подозрительной. «Такого коварного и лукавого человека, — писал он, отчитываясь перед Екатериной, — я, всемилостивейшая государыня, мало видел. К тому же человек натуры острой, догадливый и характер смелый и дерзкий, хотя видно, что он робеет, но не замешивается. Весь предмет его только в том, чтобы закрыть его преступление».

Императрица распорядилась перевезти Новикова в Петербург, в Тайную канцелярию, к Шешковскому, и 17 мая под эскортом команды гусар Новиков был отправлен из Москвы для содержания в Шлиссельбургской крепости.

Отправляя вместе с Новиковым в Петербург бумаги, взятые при обысках, и протоколы допросов, Прозоровский обращал внимание Шешковского на оставшихся в Москве масонов:

«Заметить я вам должен злых его товарищей:
Иван Лопухин.
Брат его Петр, прост и не значит ничего, но фанатик.
Иван Тургенев.
Михаил Херасков.
Кутузов, в Берлине.
Кн. Николай Трубецкой, этот между ими велик; но сей испугался и плачет.
Профессор Чеботарев.
Брат Новикова и лих и фанатик.
Кн. Юрья Трубецкой, глуп и ничего не значит.
Поздеев.
Татищев, глуп и фанатик.
Из духовного чину:
Священник Малиновский, многих, а особливо женщин, духовник; надо сведать от Новикова, кто еще есть из духовного чина, их надо отделить от духовного звания. Прошу ваше превосходительство команду ко мне не замедля возвратить».

Несколько дней спустя в частном письме Шешковскому князь Прозоровский высказывал ему сочувствие: «Экова плута тонкова мало я видел. Не без труда вам будет с ним, лукав до бесконечности, бессовестен и смел и дерзок. Верю, что вы с ним замучились, я не много с ним имел дела, да по полету приметил, какова сия птичка, как о том и ее величеству донес».

Когда в Москве стало известно, что Новикова отправили к Шешковскому, то поняли, что дело действительно серьезное.

Никто не знал в точности, в чем обвиняется Новиков, и эта неизвестность еще более пугала.

Карамзин так же, как и все, мог только гадать о вине Новикова, но, хорошо его зная, был уверен, что ни в чем преступном тот замешан быть не

может.

Среди приятелей и поклонников Новикова были вельможи, занимавшие высокие посты, имевшие вес при дворе, но, поскольку делом Новикова занималась сама императрица, все от него отступились. Единственным, кто осмелился публично высказать свое возмущение арестом известного просветителя, был Карамзин.

Он написал оду «К Милости». Не зная конкретных обвинений, можно было единственно взывать к милосердию. Когда Карамзин решился писать оду, то в воображении представил Екатерину такой, какой изобразил ее Державин в своей знаменитой «Фелице». Явно имея в виду оду Державина, Карамзин писал свою ее размером и ритмом, лишь немного изменив строфу. Возможно, строки, написанные без соотношения с классическим образцом, могли бы почесться дерзостью, но как подражание и развитие «Фелицы» они звучали, может быть, наивно (особенно после осуждения Радищева), но главное — они публично напоминали об обещаниях, данных когда-то Екатериною подданным. И вот теперь подданный просил исполнить высочайшие обязательства.

Ода «К Милости» была напечатана в апрельской, запаздывающей выходом, книжке «Московского журнала». Судя по этому, она была написана сразу после ареста Новикова и вставлена в уже готовый номер.

Что может быть тебя святее,
О Милость, дочь благих небес? —

начинает оду Карамзин. В следующих строках он говорит, что там, где правит Милость, соблюдающая права подданных, — «блажен народ», и до тех пор, пока правление будет таково:

Там трон вовек не потрясется,
Где он любовью брежется
И где на троне — ты сидишь.

При опубликовании Карамзин смягчил какие-то строки, было известно, что первоначальный вариант был острее. «Пожалуйста, пришли стихи „К Милости“, как они сперва были написаны, — просил Петров друга в письме от 19 июля 1792 года. — Я не покажу их никому, если то нужно». (К сожалению, первоначальный вариант оды неизвестен.)

8 августа в Москве был получен приговор Новикову. Стало ясно, что именно ставится ему и его товарищам в вину: «Рассматривая произведенные отставному поручику Николаю Новикову допросы и взятые у него бумаги находим мы, с одной стороны, вредные замыслы сего преступника и его сообщников, духом любоначала и корыстолюбия зараженных, с другой же, крайнюю слепоту, невежество и развращение их последователей. На сем основании составлено их общество; плутовство и обольщение употребляемо было к распространению раскола не только в Москве, но и в прочих городах. Самые священные вещи служили орудием обмана.

И хотя поручик Новиков не признается в том, чтобы противу правительства он и сообщники его какое злое имели намерение, но следующие обстоятельства обнаруживают их явными и вредными государственными преступниками».

Далее шли обвинения по пунктам: «Они делали тайные сборища»; «Мимо законной, Богом учрежденной власти дерзнули они подчинить себя герцогу Брауншвейгскому, отдав себя в его покровительство и зависимость»; «Имели они тайную переписку с принцем Гессен-Кассельским и с прусским министром Вельнером изобретенными ими шифрами и в такое еще время, когда берлинский двор оказывал нам в полной мере свое недоброхотство»; «Они употребляли разные способы, хотя вотще, к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы; в сем уловлении, так как и в помянутой переписке, Новиков сам признал себя преступником»; «Издавали печатные у себя непозволительные, развращенные и противные закону православному книги».

Заклучался указ текстом собственно приговора: «Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако ж, и в сем случае следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость».

Даже малосведущий, но объективный человек легко мог бы разглядеть натяжки в обвинении, однако указание на то, что «поручик Новиков не признается в том, чтобы противу правительства он и сообщники его какое злое имели намерение», и что «Новиков не открыл еще сокровенных своих замыслов», значило, что этим указом следствие не прекращается. И действительно: Прозоровскому было дано указание допросить

«сообщников Новикова» — членов его ложи, товарищей по Типографической компании. Среди предложенных им вопросов был и такой, в котором упоминалось имя Карамзина: «Неоднократные посылки в чужие края Шварца, барона Шредера, Кутузова, Карамзина, так и отправление студентов из Вашего сборища без позволения правительства навлекли уже правительству подозрение: то и открыть Вам о причинах отправления тех людей, и какие от Вашего сборища даны наставления, кои Вам и объявить при сем, а равно и какие Вы получали уведомления от ваших посланников».

На этот вопрос Трубецкой отвечал: «Что касается до Карамзина, то он от нас послан не был, а ездил вояжиром на свои деньги». Таким же был и ответ Лопухина.

В своем донесении Екатерине Прозоровский сообщал, что отказался от дальнейшего расследования о Карамзине, но все же допросил его. Д. Н. Бантыш-Каменский, который при написании биографии Карамзина пользовался свидетельствами современников, сообщает, что в руках императрицы были «подлинные речи» Карамзина, то есть собственные письменные ответы на пункты допроса, которые «свидетельствовали благонамеренность сочинителя».

Распространившиеся после высылки Трубецкого и Тургенева (Лопухин был оставлен в Москве «ради престарелого отца») слухи, что Карамзин также выслан — а он в это время, как обычно, жил у Плещеевых в Знаменском, — может быть, являются косвенным свидетельством того, что готовилось какое-то распоряжение и насчет него.

Описанию царствования Екатерины II после разгрома новиковского кружка в воспоминаниях И. В. Лопухина посвящено три странички.

«Итак, я остался в Москве, — пишет Лопухин. — Князь Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев отправились на житье в деревни. Новиков заключен был на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость. Студенты Колокольников и Невзоров оставлены также под тайною стражею. Дома Новикова остались под арестом, также и магазины с книгами. Разбор им продолжался несколько лет. Множество сожжено, и все почти исчезло; многим участвовавшим в прежде бывшей между ними типографической компании нанесло оное крайние убытки — и мне особливо. Это главная причина долгов моих, — но я не жалею, потому что намерение к издержкам было самое доброе...

До конца 1796 года жил я в Москве очень спокойно,

занимаясь попечениями о престарелом отце моем, любимым своим чтением, знакомством с малым числом добрых друзей и прогулкою пешком, которая всегда очень мне полезна была к сохранению здоровья...»

С арестом Новикова фактически прекратилась издательская и масонская деятельность его кружка. В дальнейшем члены Типографической компании и масонских лож уже не образовывали какой-либо организации; каждый, включая и Новикова после освобождения его из заключения в 1796 году, храня верность просветительским идеям 1780-х годов, по мере сил и возможности участвовал в культурно-просветительской жизни. В ореоле памяти о славном «новиковском десятилетии» они пользовались всеобщим уважением.

В отличие от Ивана Владимировича Лопухина, который до конца 1796 года (то есть до смерти Екатерины II, которая скончалась 6 ноября 1796 года) жил «очень спокойно», Карамзин покоя не имел. С печалью подводил он итог 1793 года: «Нынешний год и для меня был не весьма счастлив; сердце мое с разных сторон было тронуто. Как мало истинных приятностей в жизни и как много неприятностей! Может быть, следующий год будет еще хуже».

А в преддверии 1796 года он пишет: «Больше и больше теряю охоту быть в свете и *ходить под черными облаками*, которых тень помрачает в глазах моих все цветы жизни». В августе 1796 года он задает Дмитриеву грустный риторический вопрос: «Долго ли жить нам под гнетом рока?»

Конечно, и в эти годы Карамзин не всегда пребывал в таком настроении: «Иногда забываюсь и отдыхаю: берусь за книгу, за перо или иду гулять — вот лучшие мои минуты! Жаль, что их немного!» Он ведет светскую жизнь, посещает балы, ухаживает за женщинами, играет в карты — как он замечает в одном из писем 1795 года Дмитриеву, «многим кажется мое состояние приятным и завидным».

Действительным спасением было творчество. В письмах Дмитриеву он не раз возвращается к этой теме. В том самом письме, в котором он сетует: «Долго ли жить нам под гнетом рока?» — он пишет: «Наскучь горестью и скукою, мой любезный друг, и будь весел, как ребенок, сидящий на деревянном коне своем. У тебя есть Пегас: садись на него и погоняй изо всей мочи; чем грустнее твоему сердцу, тем сильнее погоняй его: он размычет твою горе по красным долинам Фессалии. Поэт имеет две жизни, два мира: если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый

магометанин в раю со своими семьёю гуриями. Vive et scribe!»^[8]

Однако «черные облака» — постоянный фон, на котором разыгрывался спектакль жизни.

Апрель 1792 года — арест Новикова.

В ночь с 23 на 24 мая 1792 года умер Ленц. Как обычно весной, он отправился бродить по Москве, и 24 мая его нашли мертвым на улице. Похоронили на средства какого-то благотворителя. Карамзин о смерти Ленца сообщил Петрову, который жил в Петербурге, на что тот ответил элегической характеристикой покойного: «Итак, Иоганн Якоб Ленц отошел уже в землю отцов наших. Мир праху его на кладбище, а душе его в странах высших! Мутен здесь был поток его жизни, но добрался, наконец, до общей цели всего текущего».

Петров уехал в Петербург зимой 1791/92 года. Его пригласил служить секретарем Державин. С отъездом Петрова Карамзин терял друга, который понимал его и во всем поддерживал.

Карамзин написал стихотворение «На разлуку с Петровым».

Настал разлуки горький час!..
Прости, мой друг! В последний раз
Тебя я к сердцу прижимаю;
Хочу сказать: не плачь! — и слезы проливаю!
Но так назначено судьбой, —
Прости, — и ангел мира
В дыхании зефира
Да веет за тобой!

Предчувствие оказалось пророческим: они виделись в последний раз: в марте 1793 года в Петербурге Петров скончался.

Август 1792 года — приговор Новикову, допросы.

Затем — прекращение «Московского журнала».

12 декабря 1792 года Державин, наконец, получил столь долго ожидаемое им служебное назначение: императрица определила ему должность своего статс-секретаря по принятию прошений. В очередном письме Карамзину Державин сообщает об этом и приглашает его в Петербург, обещая устроить на службу и перечисляя выгоды, которые от этого последуют. Карамзин поблагодарил — и отказался, помня пословицу: «Близ царя — близ смерти». По тому, что Державин замолчал, Карамзин понял, что тот обиделся. «Часто ли бываешь у Гаврила Романовича? —

спрашивает Карамзин Дмитриева. — Не сердит ли он на меня за то, что я не принял его предложения? Засвидетельствуй ему мое почтение, также и Катерине Яковлевне». В другом письме о предложении Державина он пишет: «Я по разным причинам не могу им воспользоваться. Теперь, право, не в состоянии *писать* более». Причина отказа, как нужно понимать по подчеркиванию слова «писать», такова, что ее нельзя доверить почте.

Кажется, позже последовало объяснение, принятое Державиным. Во всяком случае, он больше не возвращался к своему предложению и с Карамзиным у него сохранились самые теплые отношения.

Не только для Карамзина, но и для многих литераторов наступили нелегкие дни. Один за другим прекращали существование журналы. Литераторы, кто мог и хотел, шли на чиновничью службу. И. А. Крылов, в 1793 году издававший сатирический журнал «Санкт-Петербургский Меркурий», прекратил издание и скрылся на несколько лет из столицы, скитаясь по провинции и гостя у друзей.

Карамзин старается меньше бывать на глазах у московского начальства. С весны до глубокой осени он живет в Знаменском: в 1793 году он пробыл там до конца ноября, в 1794-м выехал из Москвы в апреле, в 1795-м — в имении с начала мая до «зимнего пути», то есть до декабря, в 1796 году, задержавшись летом в городе, в августе, когда все возвращаются в Москву, он уезжает в деревню. «Не думай, чтобы я отменно любил деревню, — писал Карамзин Дмитриеву, — нет, я люблю только друзей своих и в Москве, и в Знаменском».

Постоянные разъезды (в эти годы он несколько раз ездил к брату в Симбирск) раздражают его. «Пищу редко, — жалуется он Дмитриеву, — причиною этому беспокойная жизнь моя, не другое что. Или еду, или собираюсь ехать...» Однако пребывание в деревне давало некоторое спокойствие.

Время от времени возникал слух, что Карамзин сослан. Об этом писал ему из Петербурга Дмитриев. Карамзин опровергает слух: «Ты зовешь меня в Петербург, может быть, я и приеду к вам в начале зимы, но только... может быть! Теперь живу без плана и ленюсь думать о том, что ожидает меня впереди. — *Итак, обо мне говорят, что я удален. За что же? И кому хочется выдумывать на мой счет такие печальные басни?*» В следующем письме он пишет о том же, так как слух о ссылке распространился и по Москве: «Не правда ли, что я зажил в деревне? Между тем московские мои приятели заклинаят меня скорее возвратиться в Москву, *чтобы уничтожать разные слухи, рассеянные обо мне злобою и глупостию*; одни говорят, что меня уже нет на свете; другие уверяют, что я в ссылке и проч.

Люди не хотят верить, чтобы человек, который вел в Москве довольно приятную жизнь, мог из доброй воли заключиться в деревне, и притом чужой, и притом осенью! Все такие слухи не заставят меня ни днем скорее выехать из Знаменского. Больно видеть, что *некоторые люди без всякой причины желают мне зла*; но приятно, очень приятно мне уверяться более и более в бескорыстной дружбе и приязни добрых, благородных душ».

Жизнь в Знаменском омрачало тяжелое финансовое положение Плещеевых. Не имевший таланта к ведению хозяйства, Алексей Александрович то и дело, не задумываясь, брал деньги в долг, перезанимал, перезакладывал и, наконец, очутился в почти безвыходном положении. «Состояние друзей моих очень горестно, — сообщает Карамзин Дмитриеву в июне 1794 года, — Алексей Александрович страдает в Москве, а мы здесь страдаем. Благополучен тот, кто живет хотя в хижине, но живет спокойно и никому не должен».

Ранней весной 1795 года Карамзин продал братьям свою часть симбирского имения за 16 тысяч и отдал деньги в долг Плещееву на условиях, что тот, как он объяснил брату, «заплатит мне тогда, как будут в хороших обстоятельствах». На уплату долга Карамзин не рассчитывал, никогда не напоминал о нем и, видимо, долга не получил.

Екатерина II была равнодушна к лести. Она настойчиво требовала от поэтов похвальных од. Зачастую нескладные, но приятно щекочущие самолюбие императрицы вирши становились причиной высочайшего благоволения. Друзья советовали Карамзину написать похвальную оду Екатерине. Он оставался глух к их советам, но затем, чтобы прекратить разговоры об этом, в 1793 году написал стихотворение «Ответ моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду Великой Екатерине», которое пустил в публику, а три года спустя напечатал в альманахе «Аониды».

Мне ли славить тихой лирой
Ту, которая порфирой
Скоро весь обнимет свет?
Лишь безумец зажигает
Свечку там, где Феб сияет.
Бедный чижик не дерзает
Петь гремющей Зевса славы:
Он любовь одну поет;
С нею в рощице живет.

Последние годы XVIII века стали большим испытанием мировоззрения Карамзина. В 1795 году в Знаменском он делает попытку привести в порядок свои взгляды на философию истории, четкость и ясность которых затемняли и путали исторические события последнего десятилетия века. Карамзин писал произведение, безусловно подсказанное «Диалогами» Платона, но по новой традиции он придал ему эпистолярную форму. Это переписка двух друзей — Мелодора (греч. «имеющий дар песен», то есть поэт) и Филалета (греч. «любитель истины»), которые представляли собой две стороны души и натуры Карамзина: романтического, эмоционального поэта и рассудочного аналитика. Переписка состоит из двух писем: «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору»; это разговор, в котором на вопрос одной стороны следует ответ другой. Кстати сказать, продолжение беседы Мелодора и Филалета в статье 1797 года «Разговор о счастии» дано как диалог, здесь важнейшие фрагменты переписки представлены именно внутренним диалогом смятенной и ищущей выхода души Карамзина.

Мелодор недавно прибыл из путешествия по чужим странам — черта явно автобиографическая; Филалет не покидал родины (впрочем, тут тоже автобиографическое: где бы ни бывал Карамзин, что бы ни видел, памятью и мыслями он постоянно в России).

*«Мелодор. Где ты, любезный Филалет? В каком уединении скрываешься? Какие предметы занимают душу твою? Чем питается твое сердце? Что делает жизнь приятною? И думаешь ли ныне о своем Мелодоре? Ах! где ты? Сердце мое тебя просит, требует. — Пять лет мы не видались: сколько времени! Сколько перемен в свете — и в сердцах наших!.. Тысячи мыслей волнуются в душе моей. Я хотел бы вдруг перелить их в твою душу, без помощи слов, которых искать надобно; хотел бы открыть тебе грудь мою, чтобы ты собственными глазами мог читать в ней сокровенную историю друга твоего и видеть, — прости мне смелое выражение, — видеть все *развалины надежд и замыслов*, над которыми в тихие часы ночи сетует ныне дух мой...*

Филалет. Мелодор! Слезы катились из глаз моих, когда я читал любезное письмо твое. Давно уже такие сладкие чувства не посещали моего сердца. Благодарю тебя! Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается в юности — неразрывная и приятнейшая... Ах, мой друг! можешь ли сомневаться в

постоянстве своего Филалета! Везде, где ни был я, — и в жарких, и в холодных зонах, — везде образ твой путешествовал со мною, освежал томного странника под огненным небом линии (имеется в виду *линия* экватора. — В. М.) и согревал его в пределах льдистого полюса.

Мелодор. Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в истории все благородные черты души человеческой, питая в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и, проливая сладкие слезы, восклицали: *человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце!* Помнишь, как мы, сличая разные времена, древние с новыми, искали и находили доказательство любезной нам мысли, что *род человеческий возвышается и, хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству.* Ах! с какою нежностью обнимали мы в душе своей всех земнородных, как милых детей Небесного Отца!.. Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений и пр., и пр.?

Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, наслаждаться истинными благами жизни.

О Филалет! Где теперь сия утешительная система? Она разрушилась в своем основании!

Осьмой-надесять век кончается; что же видишь ты на сцене мира? — Осьмой-надесять век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым и растерзанным сердцем и закрыть глаза навеки!

Кто мог думать, ожидать, предчувствовать?.. Мы надеялись скоро видеть человечество на горней степени величия, в венце славы, в лучезарном сиянии, подобно Ангелу Божию, когда он, по священным сказаниям, является очам добрых, — с небесною

улыбкою, с мирным благовестием! — Но вместо сего восхитительного явления видим... фурий с грозными пламенниками.

Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких, нравственных существ, сотворенных для счастья? Век просвещения! Я не узнаю тебя, — в крови и пламени не узнаю тебя, — среди буйств и разрушений не узнаю тебя!.. Небесная красота прельщала взор мой, воспаляла мое сердце нежнейшею любовью; в сладком упоении стремился к ней дух мой; но — небесная красота исчезла — змеи шипят на ее месте! — какое превращение!

Филалет. Соглашаюсь с тобою, что мы некогда излишно величали осьмой-надесять век и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен еще разум наших современников! Но я надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена; что природа человеческая более усовершенствуется, например, в девятом-надесять веке — нравственность более исправится, разум, оставив все химерические предприятия, обратится на устройство мирного блага жизни, и зло настоящее послужит к добру будущему.

Мелодор. Свирепая война опустошает Европу, столицу искусств и наук, хранилище всех драгоценностей ума человеческого; драгоценностей, собранных веками; драгоценностей, на которых основывались все планы мудрых и добрых! — И не только миллионы погибают, не только города и села исчезают в пламени, не только благословенные, цветущие страны (где щедрая Натура от начала мира изливала из полной чаши лучшие дары свои) в горестные пустыни превращаются, — сего не довольно; я вижу еще другое, ужаснейшее зло для бедного человечества.

Мизософы торжествуют. „Вот плоды вашего просвещения! — говорят они; — вот плоды ваших наук, вашей мудрости! Где воспылал огонь раздора, мятежа и злобы? Где первая кровь обагрила землю? И за что?.. И откуда взялись сии пагубные идеи?.. Да погибнет же ваша философия!“ — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, и бедный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяет: Да погибнет! И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: *Да погибнет!* А сии восклицания могут

составить, наконец, *общее мнение*, — вообрази же следствия!

Так, друг мой, падение наук кажется мне не только возможным, но и вероятным; не только вероятным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они... когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампы угаснут, — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце! Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие, уединенные свои хижины; но что же будет с миром, с целым человеческим родом?

Филалет. Что принадлежит до мизософов, мой друг, то они никогда, никогда торжествовать не будут. Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время; но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и к рассеянию заблуждений, пагубных для нашего спокойствия? Разве не истина, разве ложь есть существо наук? — Разогнем книгу Истории; за что не лилась кровь человеческая? Например, распри, суеверия вооружали сына против отца, брата против брата; но какой безумец вздумает обвинять тем самую религию? Напротив того, не она ли обезоружила, наконец, сих фанатиков, озарив светом своим, светом любви и кротости их пагубные заблуждения? Нет, мой друг, нет! Я имею доверенность к мудрости властителей, и спокоен; имею доверенность ко благодати Всевышнего, и спокоен. Нет! Светильник наук не угаснет на земном шаре. Ах! Разве не они служат нам отрадою в горестях? Разве не в их мирном святилище укрываемся от всех бурь житейских? Нет, Всемогущий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных.

Мелодор. Ах, друг мой! Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен действием какого-нибудь чудного и тайного закона ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи взнесен на верх горы, собственною своею тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? Горестная мысль! печальный образ!

Филалет. Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрепятственно идет своим путем и

беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в Истории никаких повторений. Всякий век имеет свой собственный характер, погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз.

Мой друг! Мы должны смотреть на мир как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань. Терпение и надежда! Все несправедливое, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет; одна истина не страшится времени, одна истина пребывает вовеки!

Мелодор. Сверх того, внимательный наблюдатель видит теперь повсюду отверстые гробы для *нежной нравственности*. Сердца ожесточаются ужасными происшествиями и, привыкая к феноменам злодеяний, теряют чувствительность. Я закрываю лицо свое!.. Вечное движение в одном кругу: вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем; вечное смешение истин с заблуждениями и добродетелей с пороками; капля радостных и море горестных слез... Мой друг! Начто жить мне, тебе и всем? Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?.. Теперь все существует для меня без цели.

Филалет. Не будем требовать от вечной Премудрости отчета в темных путях ее; не будем требовать того для собственного нашего спокойствия!.. Мелодор! Для чего к Провидению не иметь нам той доверенности, которую два человека могут иметь один к другому? Бог вложил чувство в наше сердце. Бог вселил в мою и твою душу ненависть ко злоте, любовь к добродетели, сей Бог, конечно, обратит все к цели общего блага.

Сия драгоценная вера может чудесным образом успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театре мира. Вкуси сладость ее, мой любезный друг, и луч утешения кротко озарит мрак души твоей! — Горе той философии, которая все решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния, и тем скорее, чем естественнее доброе сердце наше.

Мелодор. Дух мой уныл, слаб и печален; но я достоин еще дружбы твоей, ибо я люблю еще добродетель! — Вот черта, по которой ты всегда узнаешь Мелодора; узнаешь и в бурю, и в грозу, и на краю могилы!»

Глава VI

НАДЕЖДЫ, НАДЕЖДЫ... 1796–1802

Восшествие Павла на российский престол Карамзин встретил несколько настороженно. 12 ноября он пишет Дмитриеву, находившемуся тогда в своей сызранской деревне: «Екатерины II не стало 6 ноября, и Павел I наш император. Увидим, какие будут перемены». Далее он сообщает придворные известия: «Государь сделал тотчас своими адъютантами Ростопчина и Шувалова. Слышно, что бумаги Зубова запечатаны. Барятинский отставлен; на его место Шереметев. Александр Павлович будет править Вашим полком, а Константин — Измайловским; они гвардии полковники; а сам император остается полковником конной гвардии и Преображенского полку. Сейчас едем в собор. Прости, любезный друг! Еще вести: говорят, что Валериан Зубов разбит и убит в Персии; не знают точно, правда ли это. Обнимаю тебя...»

Несколько дней спустя стало известно о первых распоряжениях нового императора. Тон сообщений Карамзина меняется. Он пишет брату: «Вы мне пеняете, что не пишу к Вам об новостях; но, *читая русские газеты, знаете все*: новости наши состоят в пожалованных, о которых всегда пишут в „Ведомостях“; о других же, неверных, писать по слуху неловко; давно говорят в Петербурге о Москве, что она лжива. Верно то, что государь хочет царствовать с правдой и милосердием и обещает подданным своим благополучие; намерен удаляться от войны и соблюдать нейтралитет в рассуждении воюющих держав. — Трубецкие, И. В. Лопухин, Новиков награждены за претерпение: первые пожалованы сенаторами, Лопухин сделан секретарем при императоре, а Новиков, как слышно, будет университетским директором. Вероятно, И. П. Тургенев будет также предметом государевой милости, когда приедет в Петербург».

Возвращен был из ссылки также и Радищев.

Кажется, окружающие считали и самого Карамзина пострадавшим от Екатерины и советовали ехать в Петербург, но он не хотел принимать милости от царя и быть ему затем обязанным. «Я мог бы ехать в Петербург, — пишет он Дмитриеву, — но не скажут ли, что я еду искать, добиваться и пр.?»

Ожили давние масонские надежды на Павла. Безусловно, Карамзин припомнил читанную у Лафатера его беседу с Павлом и характеристику

цесаревича. В ноябре 1796 года Карамзин пишет большую «Оду на случай присяги Московских жителей Его Императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому».

Итак, на троне Павел Первый!
Венец российская Минервы
Давно назначен был ему...
...Мы все друг друга обнимаем,
Россию с Павлом поздравляем...
Друзья! Он будет наш отец;
Он добр и любит россов нежно!
То царство мирно, безмятежно,
В котором царь есть царь сердец...

Неправда, лесь! навек сокройся!
Святая искренность, не бойся
К царю приблизиться теперь!
Он хочет счастья миллионов,
Полезных обществу законов;
К нему отверста мудрым дверь.
Кто Павлу истину покажет,
О тайном зле монарху скажет,
Подаст ему благой совет,
Того он другом назовет.

Ода тогда же была издана отдельной брошюрой. Впоследствии, разочаровавшись в Павле, Карамзин никогда не перепечатывал ее при издании своих сочинений. Но она осталась памятником карамзинского (и не только его!) заблуждения насчет нового императора.

Первые месяцы царствования Павла, породив надежды, в то же время вызвали недоумение и смятение: действия и поступки императора казались необъяснимыми, противоречивыми, пожалования — незаслуженными, наказания — беспричинными. Правда, можно было легко проследить, что Павел жаловал того, кого не жаловала Екатерина, и гнал отмеченных ею. Принцип, порочный сам по себе, наглядно выявил, что у нового императора не было государственной идеи, и каждый новый день подтверждал это.

И. В. Лопухин именным повелением от 25 ноября был призван в Петербург и принят Павлом милостиво. Лопухин вспоминает: «Ни с кем во

всю мою жизнь не был я так свободен при первом свидании, как с сим грозным императором». Вольность поведения Лопухина была замечена придворными, ему посоветовали «обращаться с государем осторожнее». В день приема Лопухина Павлом император издал указ об освобождении «всех без изъятия заточенных по Тайной Экспедиции» и поручил за исполнением его следить Лопухину.

Во всех своих действиях Лопухин руководствовался стремлением поступать по справедливости, что не сочеталось с придворной атмосферой, о которой он пишет в воспоминаниях: «Что же сказать о жизни придворной? — Картина ее весьма известна — и всегда та же, только с некоторою переменою в тенях. — Корысть — идол и душа всех ее действий. Угодничество и притворство составляют в ней весь разум, а острое словцо — в толчок ближнему — верх его». Через полтора месяца царь пожаловал Лопухину чин тайного советника, назначил сенатором в московские департаменты и проводил из Петербурга, сказав загадочную фразу: «Я от тебя закашлялся», смысл которой Лопухин пытался узнать у людей, приближенных к Павлу, но так и не узнал.

Вскоре павловские гнев и милость испытал И. И. Дмитриев. Карамзин, как лучший друг, разумеется, был посвящен во все перипетии этой истории.

Во время кончины Екатерины II и восшествия на престол Павла Дмитриев жил в деревне, находясь в годовом отпуске. Получив известие о смерти императрицы, он поскакал в Петербург. В Москве он узнал о переменах в столице. Всю дорогу до Петербурга ему встречались курьеры с императорскими эстафетами. Он встретил нескольких гвардейских офицеров, успевших выйти в отставку, они рассказывали, какой тревожной стала служба: никто не знает, где он будет завтра и как распорядится насчет него император. Эти рассказы напугали Дмитриева. По приезде в Петербург он объявился больным и послал прошение на высочайшее имя об увольнении от службы. Отставка была дана. Он собирался в ближайшие дни представиться, как положено, Павлу на вахтпараде и возвратиться домой.

На Рождество, когда Дмитриев еще лежал в кровати и читал книгу, явился полицмейстер и сказал, что его велено доставить к императору. При входе во дворец к Дмитриеву присоединили его сослуживца штабс-капитана Лихачева. В кабинете Павел указал им встать против себя и, повернувшись к генералам свиты, объявил, что получено письмо от неизвестного, в котором говорится, что полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев умышляют на жизнь императора. «Мне было бы приятно думать, что это клевета, — сказал Павел, — но я не могу оставить такого

случая без уважения».

Дмитриев и Лихачев два дня сидели под арестом; пока не был обнаружен доносчик. Им оказался крепостной слуга брата Лихачева, который надеялся таким образом получить вольную.

С этого эпизода началась поистине головокружительная карьера Дмитриева: он был приглашен ко двору, получил чин статского советника, был назначен сенатором, затем товарищем министра и, наконец, обер-прокурором. С сожалением расставшись с мечтой о спокойной жизни в отставке, Дмитриев был вынужден стать вельможей, к чему внутренне был не готов и не способен. Однако милостью императора пренебрегать было опасно.

Из ссылки по новиковскому делу были возвращены Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев; первый получил звание сенатора, второй — должность директора Московского университета.

В списке узников Тайной канцелярии, подлежащих освобождению, первым значился Н. И. Новиков. Освобожденному из крепости Новикову комендант Шлиссельбургской крепости посоветовал, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, ехать в деревню. Новиков так и поступил.

С. И. Гамалея, живший тогда в Авдотьино, вспоминает: «Он прибыл к нам 19 ноября поутру, дряхл, стар, согбен, в разодранном тулупе. Доктор и слуга крепче его... Некоторое отсвечивание лучей небесной радости видел я на здешних поселенцах, как они обнимали с радостными слезами Николая Ивановича, вспоминая при том, что они в голодный год великую через него помощь получили, и не только здешние жители, но и отдаленных чужих селений... Сын в беспамятстве побежал, старшая дочь в слезах подошла, а меньшая... не помнила его, и ей надобно было сказать, что он ее отец».

Не успел Новиков оглядеться дома, как в тот же день в Авдотьино из Петербурга прискакал фельдъегерь с императорским повелением прибыть во дворец. Новиков простился с родными и домочадцами и пустился в обратный путь.

Его доставили во дворец, не дав умыться и побриться с дороги. Павел упрекнул: «Как же так, я тебя освободил, а ты не хотел поблагодарить меня?» Новиков объяснил, что подчинился приказу коменданта крепости. Император показал Новикову тайно носимый им на отвороте воротника с внутренней стороны масонский знак и сказал: «Вот кто я». На что Новиков ответил: «Истинное масонство в сердце, а не в знаке». — «Что я могу для тебя сделать? Проси, что хочешь», — сказал Павел. Сохранилось предание, что император намеревался назначить Новикова директором Московского

университета, полагая, что тот попросит чина и места, но Новиков попросил освободить заключенных Шлиссельбургской крепости, а также вернуть ему взятое при аресте имущество. Павел, кажется, был разочарован разговором с Новиковым, правда, на прощание милостиво сказал: «Я даю тебе мою руку и слово, что и копейка твоя не пропадет; дай только мне время и верь моему слову». Но дело затянулось. Новиков свое имущество назад не получил; таким образом, из всех пострадавших по новиковскому делу он один не был «вознагражден».

Законодательство Павла оборачивалось анекдотами. «Новость здесь та, — сообщает Карамзин брату в августе 1797 года, — что нам опять позволяют носить фраки; но круглые шляпы остаются под строгим запрещением». В следующем году: «Новостей у нас не много. С месяц говорили все о банке, а теперь говорят о запрещении фраков. Летом по улице надобно будет ходить во французском кафтане и в кошельке или в мундире со шпагою».

Ни дух просвещения, ни свет философии, ни тонкость разума, ни кротость правления не находили себе места в России, все эти понятия оказались так же чужды новому царствованию, как и прошлому.

Как наказания, так и награды давались отнюдь не за заслуги. Описывая пребывание Павла в Москве в 1798 году, Ф. Ф. Вигель вспоминает: «В продолжение шестидневного пребывания своего в Москве он всех изумил своею снисходительностью: щедротами он удивить уже не мог. Войскам объявил совершенное свое удовольствие. Шефа одного полка, который был действительно дурен, он наказал только тем, что ничего ему не дал, но не позволил себе сделать ему даже выговора; всех же других завешал орденами, засыпал подарками. Никто не мог постигнуть причины такого необыкновенного благодушия; узнали ее после. Любовь, усмиряющая царя зверей, победила и нашего грозного царя: пылающие взоры известной Анны Петровны Лопухиной растопили тогда его сердце, которое в эту минуту умело только миловать. Графу Салтыкову пожаловал он четыре тысячи душ в Подольской губернии, а всех адъютантов его, в том числе и зятя моего, произвел в следующие чины».

Атмосфера болезненной подозрительности двора распространяется по стране и отражается на всех учреждениях. Цензура свирепствует — по словам Карамзина, «в безгрешном находит грешное».

Увеличилось число доносчиков и доносов. Император сам разбирался с ними. Писались доносы и на Карамзина. Рижский цензор Ф. О. Туманский, цензуруя немецкий перевод «Писем русского путешественника», обращал внимание императора на содержащиеся в них

вольные мысли. Донос попал к Ростопчину, который не передал его по назначению: Ростопчин был женат на двоюродной сестре Настасьи Ивановны. О другом доносе рассказывает Н. Д. Бантыш-Каменский: «Один недоброжелатель (из противной партии) прислал императору Павлу ложный донос на Карамзина, выставляя его человеком вредным для правительства, безбожником. „Знаешь ли ты Карамзина?“ — спросил император дежурного своего генерал-адъютанта Ростопчина, дав ему прочесть полученную бумагу. „Знаю, — отвечал последний, — с отличной стороны по сочинениям его, и не узнаю в сем сочинении“. — „Я ожидал этого, — продолжал Павел I, — ибо мне известен доноситель; вот и решение мое“. Произнеся эти слова, государь бросил донос в камин».

Многочисленные императорские наказания и штрафы не достигали цели. Карамзин в «Записке о древней и новой России», говоря о царствовании Павла, пишет: «Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иностранцев, россияне боялись даже и мыслить. — Нет! *говорили, и смело!*.. Умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу и не обманывались! Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах: общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности. Вот действия Екатеринина человеколюбивого царствования: оно не могло быть истреблено в 4 года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости».

Именно в Павлово царствование получили широчайшее распространение эпиграммы на царя, на его правление, их «частое повторение» отмечает и Карамзин. Они сохранились в многочисленных рукописных списках.

Желание Павла походить на Фридриха Великого подданные отметили эпиграммой:

Похож на Фридриха, скажу пред целым миром,
Но только не умом, а шляпой и мундиром.

На его парадоманию также была написана эпиграмма:

Не венценосец он в Петровом славном граде,
А варвар и капрал на вахтпараде.

Несколько эпиграмм сравнивали царствование Екатерины II и Павла:

— Не все хвали царей дела.
— Что ж глупого произвела
Великая Екатерина?
— Сына!

Строительство Исаакиевского собора, начатое при Екатерине и продолженное Павлом, тоже стало темой эпиграммы:

Се памятник двух царств,
Обоим им приличный:
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.

Сохранилось предание, что будто бы автор этой эпиграммы молодой моряк Акимов по приказу Павла был лишен чинов и дворянства, подвергнут урезанию языка и сослан в Сибирь. Начальник тайной полиции Санглен в своих воспоминаниях пишет, что Акимов не был сочинителем эпиграммы, он пострадал за то, что повторял чужое сочинение.

В Москве долго помнили, что, когда неожиданно был смещен со своей должности московский военный губернатор И. П. Архаров и отряд солдат увозил его из дома на Пречистенке в ссылку, Карамзин подкатил в коляске и на глазах толпы любопытных вручил ему мешок книг, «дабы в ссылке иметь ему развлечение чтением».

В 1797 году Карамзин написал несколько стихотворений, в которых речь шла о современности.

Первое стихотворение — «Покой и слава»:
Спокойствие дороже славы! —
Твердят ленивые умы.
Нет, нет! они не правы;
.....
Чем бережно в тени скрываться,
Бояться шороха, бояться вслух дышать,
Единственно затем, чтоб жизнь скушать
И смерти праздну дождаться, —

Не лучше ль что-нибудь
Великое свершить?..

В тот же год было написано и известное стихотворение «Тацит»:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно.

На последние годы царствования Екатерины II и правления Павла I приходится период наиболее интенсивного и плодотворного литературного творчества Карамзина. Можно только поражаться, сколько он сделал, несмотря на самые неблагоприятные общественные условия.

Прощаясь с читателями «Московского журнала», Карамзин обещал выпустить первую книжку «Аглаи» весной 1793 года — «с букетом первых весенних цветов». Он сразу же начал собирать альманах, о чем встречаются упоминания в письмах, но работа затянулась, и книга появилась в продаже только в начале 1794 года с обращением «От сочинителя»:

«Я не мог издать „Аглаи“ ни весною, ни летом, ни осенью. Начто говорить о причинах? Довольно, что я не мог. Важное для меня неважно для публики.

Наконец — вот первая книжка!.. Любезные читатели, любезные читательницы! ваше удовольствие, ваше одобрение есть драгоценный мой венок...»

Карамзин отказался от первоначального намерения собрать в альманахе произведения разных авторов; в вышедшей книжке лишь два стихотворения не принадлежат самому Карамзину: «Чиж» И. И. Дмитриева и «Разлука» М. М. Хераскова. Видимо, необходимость не собрать, а написать книгу и послужила причиной задержки.

Карамзин рассматривал свои произведения, напечатанные в «Аглае», как новое слово в русской литературе.

«Я желал бы писать не так, как у нас по большей части пишут, — заявлял он в своем обращении к читателям (заметим, что обращение озаглавлено „От сочинителя“, а не „От издателя“, как полагалось бы в подобных сборниках), — но силы и способности не всегда соответствуют желанию».

В первую книжку «Аглаи» включены следующие произведения Карамзина: стихотворения — «Приношение грациям», «Волга», «Надгробная надпись Боннету», «К соловью», «Эпитафия калифа Абдулрамана», «Весеннее чувство», прозаические произведения — «Путешествие в Лондон» (из «Писем русского путешественника»), повесть «Остров Борнгольм», воспоминания об А. А. Петрове «Цветок на гроб моего Агатона», очерк «Нежность дружбы в низком состоянии» и статьи — «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении».

На два произведения первой книжки «Аглаи» необходимо обратить особое внимание: на повесть «Остров Борнгольм» и статью «Что нужно автору?». В этой маленькой статье Карамзин излагает свои взгляды на основания, на которые должно опираться творчество.

«Говорят, что автору нужны таланты и знания, острый, пронизательный разум, живое воображение и проч., — пишет Карамзин. — Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим, если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всего изображается в творении, и часто против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златую одежду пышных слов сокрыть железное сердце, тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя...

Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего...

Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого, — и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей.

Но если всему горестному, всему угнетенному, всему

слезящему открыт путь в чувствительную грудь твою, если душа твоя может возвыситься до *страсти к добру*, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное *желание всеобщего блага*, тогда смело призывай богинь Парнасских — они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину — ты не будешь бесполезным писателем — и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу.

Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будет ему наградой.

Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? — Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие.

Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою ученость и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее.

Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором».

Дальнейший путь русской классической литературы показал, что Карамзин точно определил главнейшее ее качество — нравственную учительность и особую роль русского литератора как совести нации.

Повесть «Остров Борнгольм» произвела на читателей сильнейшее, можно сказать, потрясающее впечатление.

Ф. Н. Глинка вспоминает, что, поступив в середине 1790-х годов в Первый петербургский кадетский корпус, он «на первом шагу встретился с славой... Николая Михайловича. Кадеты, и в рекреационные часы, и в классах, заслонясь лавкою, читали и вытверживали наизусть музыкальную прозу и стихи, так легко укладывавшиеся в памяти. Смело могу сказать, что из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какой-нибудь страницы из „Острова Борнгольма“. И это уважение, эта любовь к Карамзину доходила до того, что во многих кадетских кружках любимым разговором и лучшим желанием было: как бы пойти пешком в Москву поклониться Карамзину!».

«Остров Борнгольм» был первым опытом русской романтической повести и, надобно сказать, великолепным опытом. Ощущение, которое испытывал читатель от чтения этой повести, совпадало с ощущениями ее героя и автора (рассказ ведется от первого лица): «Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного».

Действительно, для характеристики того, о чем рассказывает Карамзин, более всего подходят определения: странное, ужасное, чрезвычайное.

На побережье Англии, возле Гревзенда, русский путешественник видит молодого человека — «худого, бледного, томного — более привидение, чем человека», который, глядя вдаль, на море, аккомпанируя себе на гитаре, пел тихим голосом песню:

Законны осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Из песни путешественник узнает, что любовь и страдания молодого человека связаны с датским островом Борнгольмом, поэтому, когда корабль встал на ночную стоянку возле этого острова, он уговорил капитана отвезти его на ночь на остров.

Уже самый вид Борнгольма настраивал путешественника (и читателя) на ожидание чего-то страшного и чрезвычайного: «Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной Натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ холодной безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно».

На острове путешественник обнаруживает мрачный полуразрушенный замок, к которому местные жители боятся даже приближаться. Хозяин замка — седовласый старец — оставляет его ночевать. Ночью путешественник проснулся от страшных сновидений и пошел прогуляться. Светила луна. В скале он увидел пещеру, в которой за решеткой была

заключена молодая бледная женщина. Она отказалась от помощи путешественника, сказав: «Я лобызаю руку, которая меня наказывает». Несчастливая затворница ничего не рассказала путешественнику. Это была тайна острова и замка Борнгольм... И хотя старец все же поведал путешественнику ужаснейшую историю — страшную тайну гревзендского незнакомца, тот не захотел пересказать ее читателям...

Конечно, это был великолепный художественный прием: своим рассказом Карамзин создает у читателя настроение таинственности, ужаса и любопытства, каждый наверняка обдумывал свой вариант разгадки, и любой предложенный автором разочаровал бы читателя и разрушил обаяние таинственности.

«Остров Борнгольм» ознаменовал новый этап в развитии творчества Карамзина. Его собственная эволюция следовала по тому направлению, в котором развивалась русская культура: он первый увидел, что она входит в эпоху романтизма. Карамзина совершенно справедливо называют сентименталистом, ему принадлежат высшие образцы сентиментализма, но всякое выдающееся произведение наряду с чертами, выражающими настоящее, включает в себе зародыш будущего. Это качество отличает творца от эпигона, живое произведение от искусственной конструкции. В «Бедной Лизе» нетрудно обнаружить романтические элементы, которые в «Острове Борнгольме» гораздо явственнее.

В том же 1794 году Карамзин выпустил отдельным изданием свои сочинения, опубликованные в «Московском журнале». Сборник он назвал «Мои безделки» и сопроводил кратким предувещанием «От сочинителя»: «Некоторые из моих приятелей и господа содержатели Университетской типографии желали, чтобы я выдал особливо свои безделки, напечатанные в „Московском журнале“; исполняю их желание».

Эпиграфом к книге Карамзин поставил строки из философско-дидактической поэмы «Опыт о человеке» английского поэта первой половины XVIII века Александра Попа: «В древние времена награждалось не только превосходное искусство, но и похвальное старание. Триумфы были для полководцев, лавровые венки для простых воинов».

Ф. Н. Глинка вспоминает о том, какое впечатление произвела эта книга. Свидетельство тем более ценное, что относится к провинции:

«В раннем детстве, как запомню себя, в нашем смиренном околотке (Смоленской губернии близ города Духовщина) мало читали и, кроме книг духовного содержания, почти не имели других. Календарь, „Жизнь Мирамонда“ (соч. Федора Эмина),

„Несчастный Неаполитанец“ и т. под. составляли вечернее чтение многочисленных в околоте дворян, разделявших свое время между хлопотами по хозяйству и наслаждениями самого радушного гостеприимства.

Вдруг появились у нас в доме „Мои безделки“. Нам прислали эту книгу из Москвы, — и как описать впечатление, произведенное ею? Все бросилось к книге и погрузилось в нее: читали, читали, перечитывали и наконец почти вытвердили наизусть. От нас пошла книга по всему околоте и возвратилась к нам уже в лепестках. Кто-то сказал: „Лучшая похвала автору, когда книгу его зачитывают до лепестков!“ Так и случилось, думаю, повсюду с первыми опытами Карамзина. Никто, хоть бы самый рьяный противник Николая Михайловича, не станет отрицать громадного влияния его на современное ему общество. Из первых его сочинений повеяло уже каким-то свежим, живительным, о котором дотоле не имели понятия. В семействах помещиков, живших жизнью обыденною, бесцветною, он пробудил новую жизнь, поднял ряды незнакомых понятий, заговорил языком чувства и получил взамен всеобщее сочувствие. Он как будто дал ключ к самой природе, раскрыв красоты ее, утешительные и на нашем севере. Читая его, поняли приятность смотреть на восходящее солнце, на запад, окрашенный угасающими лучами его, любоваться утренним пением птичек (за что позднее упрекали его достойные сами осмеяния насмешники), вслушиваться в шум родных ручьев, дружить с домашнею природою и наслаждаться бесплатными ее дарами, с которыми легче миришься с случайностями жизни, охотнее веришь надеждам и, при ясном настроении души, привольнее поддаешься мечтам, рассыпающим столько золотых блесков на черный бархат жизни».

В Москве же Н. М. Шатов, поэт, не очень-то жалуемый Карамзиным, откликнулся на выход сборника эпиграммой:

Собрав свои творенья мелки,
Русак немецкой надписал:
«Мои безделки».
А ум, увидя их, сказал:
«Ни слова! Диво!!

Лишь надпись справедлива».

Карамзин промолчал, но за него ответил И. И. Дмитриев:

Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова,
Нас, Боже упаси от разума такова.

В следующем году Дмитриев издал сборник своих стихотворений под названием «И мои безделки».

В 1795 году вышла вторая книжка «Аглаи». Она открывалась посвящением Настасье Ивановне, по которому можно судить о душевном состоянии Карамзина в то время: «Другу моего сердца, единственному, бесценному. Тебе, любезная, посвящаю мою „Аглаю“, тебе, единственному другу моего сердца!

Твоя нежная, великодушная, святая дружба составляет всю цену и счастье моей жизни. Ты мой благодетельный Гений, Гений-хранитель! Мы живем в печальном мире, но кто имеет друга, тот пади на колена и благодари Вездесущего!

Мы живем в печальном мире, *где часто страдает невинность, где часто гибнет добродетель*; но человек имеет утешение — любить! Сладкое утешение!.. любить друга, любить добродетель!.. любить и чувствовать, что мы любим!

Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желания в моем сердце; спокойно мое воображение. Ничто не прельщает в свете. Чего искать? к чему стремиться... *к новым горестям*? Они сами найдут меня — и я без ропота буду лить новые слезы.

Там лежит страннический посох мой и тлеет во прахе!..»

Кажется, это посвящение имело целью успокоить Настасью Ивановну, поскольку в отношениях между ними все более проявлялась отчужденность, его раздражала ее постоянная экзальтированность, он стал тяготиться жизнью в доме Плещеевых. Боясь огорчить Настасью Ивановну, он не решался уехать от них, хотя присматривал квартиру. Наконец в феврале 1795 года объяснение состоялось. «Я нанял те комнаты, которые мы вместе с тобой осматривали, и живу теперь в них, — сообщает он Дмитриеву 12 февраля, делая, впрочем, оговорку: — Но ты надписывай письма ко мне по-прежнему, то есть в дом Алексея Александровича». В апреле Карамзин в очередном письме Дмитриеву подчеркивает: «Пиши ко

мне: на Тверской, в доме Федора Ивановича Киселева».

Дружеские отношения с Плещеевыми сохранились, хотя Настасья Ивановна обиделась. «Настасья Ивановна давно уже обходится со мною холодно, — сообщает Карамзин Дмитриеву, — но я, бывая у них довольно часто, люблю их по-прежнему и буду гораздо счастливее тогда, когда они успокоятся в отношении своих обстоятельств». В другом письме он пишет: «Если бы только мои Плещеевы могли выпутаться из долгов, я согласился бы работать день и ночь для своего пропитания».

Вторая книжка «Аглаи» также состоит из произведений Карамзина, за исключением притчи «Скворец, попугай и сорока», принадлежащей М. М. Хераскову, и продолжает направление первой.

Открывает альманах романтическая повесть «Сиерра-Морена», действие которой происходит в Испании. Она построена по-иному, чем «Остров Борнгольм», тут нет недоговоренностей, рассказана история роковой любви. Двумя этими повестями Карамзин как бы экспериментирует, испробуя возможности романтической поэтики.

Повесть «Афинская жизнь» — произведение иного плана. По сути она представляет собой научно-художественный просветительский очерк, получивший широкое распространение в русской литературе лишь 100 лет спустя, на грани XIX и XX столетий. Карамзин изображает быт древних Афин, рисует картины уличной жизни, театральное представление и т. д. Но, начиная рассказ об Афинах, он уходит во *вторую жизнь поэта* — в мир воображения — и становится как бы современником и участником давних времен: «Смейтесь, друзья мои! но я отдал бы с радостью свой любимый темный фрак за какой-нибудь греческий хитон, — и в минуты приятных мыслей отдаю его — завертываюсь в пурпуровую мантию (разумеется, в воображении), покрываю голову большою распушенною шляпою и выступаю в Альцибиадовских башмаках ровным шагом, с философскою важностью, на древнюю Афинскую площадь». Далее идет описание площади, наполняющего ее народа, уличных сцен и разговоров.

В этой же книжке «Аглаи» опубликована философская переписка «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» — важнейшее мировоззренческое сочинение Карамзина тех лет.

Среди стихотворных произведений, напечатанных в издании, на первом месте стоит поэма «Илья Муромец, богатырская сказка» — прямая предшественница пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». В примечании к «Илье Муромцу» Карамзин пишет: «В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская — почти все наши старинные песни сочинены такими стихами». Обращение к русской теме в развитии творчества Карамзина

имеет принципиально важное значение. И хотя поэме предпослан эпиграф из Лафонтена на французском языке, она открывается такой декларацией:

Не желаю в мифологии
Черпать дивных, странных вымыслов.
Мы не греки и не римляне,
Мы не верим их преданиям...
Нам другие сказки надобны;
Мы другие сказки слышали
От своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
Рассказать теперь одну из них
Вам, любезные читатели,
Если вы в часы свободные
Удовольствие находите
В русских баснях, в русских повестях.

Карамзин напечатал лишь часть поэмы, объяснив, что «продолжение остается до другого времени, конца еще нет, — может быть, и не будет». Окончания действительно не последовало. Вполне вероятно, что, осваивая новый жанр — русской исторической поэмы-сказки, Карамзин выявил его возможности и художественные законы в написанном фрагменте — и потерял интерес к продолжению. Тем не менее следует отметить, что читатели ожидали продолжения с нетерпением и очень долго.

В конце 1795 года Карамзина увлекает идея еще одного издания, необходимость которого для современной русской литературы он понимал более всех своих современников, — издания регулярного альманаха современной поэзии. Подобные издания выходили во Франции под названием «L'almanach des Muses»^[9] представляя панораму современной литературы и одновременно объединяя поэтов в литературном процессе.

Дмитриев отнесся к замыслу друга без восторга, зато московские поэты поддержали Карамзина. «Все здешние стихотворцы, — пишет он Дмитриеву 20 декабря, — от Михаила Матвеевича до... радуются мыслию об русском „L'almanach des Muses“, все обещают плакать и смеяться в стихах, чтобы занять местечко в нашей книжке. Содержатели типографии также рады. Я на тебя надеюсь, мой поэт, несмотря на твои оговорки. Пиши и присылай ко мне, чем скорее, тем лучше».

На предложение Карамзина откликнулись и петербургские поэты. Он

продолжает уговаривать Дмитриева: «Стихи Державина и Капнистовы получил; изъяви им мою благодарность. Но „L'almanach des Muses“ не будет напечатан, если ты мне ничего не пришлешь. Всего будет одна книжка, которая должна выйти к весне; итак, пожалуй, не откладывай до Сызрани, а пришли что-нибудь скорее. Долго ли поэту написать и поэму? Весна приближается, снег сходит и... „L'almanach des Muses“ у цензора».

Сдав сборник в цензуру, Карамзин переменяет его название на русское «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений», впрочем, сохранив смысл. «Аониды, — объясняет он в примечании, — другое имя Муз».

В августе 1796 года вышел первый выпуск «Аонид» с издательским «Предуведомлением»: «Почти на всех европейских языках ежегодно издается собрание новых мелких стихотворений под именем Календаря Муз („L'almanach des Muses“); мне хотелось выдать и на русском нечто подобное для любителей Поэзии; вот первый опыт под названием „Аониды“. Надеюсь, что публике приятно будет найти здесь вместе почти всех наших известных стихотворцев; под их щитом являются на сцене и некоторые молодые авторы, которых зреющий талант достоин ее внимания. Читатель похвалит хорошее, извинит посредственное, — и мы будем довольны. Я не позволил себе переменить ни одного слова в сообщенных мне пьесах.

Если „Аониды“ будут приняты благосклонно, если (важное условие!) Университетская типография, в которой они напечатаны, не потерпит от них убытку, то в 97 году выйдет другая книжка, в 98 третья и так далее. Я с удовольствием беру на себя должность издателя, желая с своей стороны всячески способствовать успехам нашей литературы, которую люблю и всегда любить буду».

В августе 1797 года вышла вторая книжка «Аонид». Она была интереснее и разнообразнее первой. В ней представлены около двадцати поэтов и, как правило, произведениями, которые в их творчестве остались в числе лучших: «Размышление о Боге» Хераскова, «На новый, 1797 год», «На смерть Бецкого», «Пчелка» Державина, «Богине Невы» М. Н. Муравьева, «Суйда» В. Л. Пушкина, «Искатели Фортуны» И. И. Дмитриева и др.

Несмотря на стремление Карамзина сделать «Аониды» ежегодным изданием, осуществить это намерение не удалось. В 1799 году вышел третий — и последний — выпуск альманаха.

Список поэтов, опубликовавших свои стихи в трех книжках «Аонид», обширен: М. М. Херасков, В. В. Капнист, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Г. Р. Державин, Н. А. Львов, И. Костров, Е. И. Костров, Н. М. Карамзин, Е. П.

Урусова, Е. В. Хераскова, Н. Николев, Е. П. Свиньина, Д. П. Горчаков, В. Л. Пушкин, Г. А. Хованский, В. В. Измайлов, Д. И. Вельяшев-Волынцев, А. Ф. Лопухин, Д. А. Кавелин, П. С. Кайсаров, А. Ф. Малиновский, М. Л. Магницкий, П. А. Пельский, И. И. Дмитриев, М. Н. Муравьев, Д. Д. Баранов, А. И. Клушин, П. И. Шаликов, В. Хан, В. А. Поленов, А. В. Храповицкий, Д. И. Хвостов, И. Ф. Тимковский, М. М. Вышеславцев, Ф. Брянчанинов, И. М. Долгоруков, П. С. Гагарин, П. С. Сумароков — всего 38 имен. Среди них поэты, чьи имена остались в истории литературы, поэты так называемого второго ряда и поэты-любители, напечатавшие всего несколько стихотворений и затем ушедшие из литературы. Все вместе они и представляют собой русскую поэзию того времени. Будущее произведет отбор и классификацию, но пока они части единого организма.

В 1797 году во французском журнале «Северный зритель» Карамзин опубликовал статью «Несколько слов о русской литературе», представляющую собой краткий исторический обзор русской словесности и общее обозрение ее современного состояния. Статья напечатана анонимно, видимо, потому, что в ней Карамзин должен был говорить и о себе. Однако современникам в России имя автора статьи было известно. Карамзин своего авторства не скрывал, о работе над статьей он писал Дмитриеву.

Появление ее не случайно: работа над составлением и редактированием «Аонид» поставила Карамзина на место фактического организатора русской литературы. Понимая это, он не мог не думать о путях развития русской литературы, о проблемах ее теории и практики, то есть о вопросах мастерства. Историческим введением в современную русскую литературу стала его статья в «Северном зрителе».

В начале статьи Карамзин заявляет о том, что русская литература должна занять свое место в общемировой: «В каждом климате встречаются дарования, и даже в России есть талантливые люди, которые достаточно скромны, чтобы не оспаривать пальму первенства у французских, немецких и прочих литераторов, но которые могут, читая их бессмертные творения, сказать про себя: „И мы тоже художники“». Он пишет, что Природа повсюду величественна и прекрасна, и таланты, способные ее чувствовать и изображать, создают поэзию. В России поэзия существовала «задолго до времен Петра Великого» (оговорка необходимая, так как за границей было распространено мнение, что до Петра Россия пребывала в полной дикости). «Есть у нас песни и романсы, сложенные два-три века тому назад, где мы находим самое трогательное, самое простодушное выражение любви, дружбы и проч., — продолжает Карамзин. — ...Во всех этих песнях такт

очень размерен и разнообразен, все они проникнуты меланхолией и склонностью к нежной грусти, которые свойственны нашему народу и прекрасно выражены в очень простых, очень унылых, но очень трогательных напевах.

Есть у нас и старинные рыцарские романы (герои их обычно военачальники князя Владимира, нашего Карла Великого), и волшебные сказки — некоторые из них достойны называться поэмами. Но вот, милостивый государь, что поразит Вас, быть может, более всего — года два назад в наших архивах обнаружили фрагмент поэмы, озаглавленной „Слово о полку Игореве“, которую можно поставить рядом с лучшими местами из Оссиана и которую сложил в двенадцатом веке безымянный певец. Энергический слог, возвышенно-героические чувства, волнующие картины ужасов, почерпнутые из природы, — вот что составляет достоинство этого отрывка, где поэт, набрасывая картину кровавого сражения, восклицает: „О, я чувствую, что моя кисть слаба и бессильна. У меня нет дара Бояна, этого соловья прошедших времен...“ Значит, и до него были на Руси великие певцы, чьи творения погребены в веках. В наших летописях сей Боян не упомянут; мы не знаем, ни когда он жил, ни что он пел. Но дань уважения, воздаваемая его гению подобным поэтом, заставляет нас сокрушаться об утрате его созданий».

Следует отметить, что Карамзин первым выступил в печати с высокой оценкой «Слова о полку Игореве» еще до опубликования поэмы.

Говоря о насаждении европейской цивилизации в России Петром, Карамзин говорит, что тогда русская литература стала осваивать иностранный опыт. «С тех пор, — продолжает он, — мы с успехом испробовали силы свои почти во всех жанрах литературы. Есть у нас эпические поэмы, обладающие красотами Гомера, Вергилия, Тасса; есть у нас трагедии, исторгающие слезы; комедии, вызывающие смех; романы, которые порою можно прочесть без зевоты; остроумные сказки, написанные с выдумкой, и т. д. и т. д. У нас нет недостатка в чувствительности, воображении, наконец — в талантах; но храм вкуса, но святилище искусства редко открываются перед нашими авторами. Ибо пишем мы по внезапной прихоти; ибо слабое ободрение не побуждает нас к усидчивому труду; ибо, в силу тех же причин, справедливые критики редки на Руси; ибо в стране, где все определяется рангами, слава имеет мало притягательного. Вообще же у нас больше пишут в стихах, нежели в прозе; дело в том, что под прикрытием рифмы более допустима небрежность, что благозвучную песню можно прочесть в обществе хорошенькой женщине и что сочинение в прозе должно содержать больше зрелых мыслей. Вот уже

несколько лет, как в Москве выходит календарь муз под названием „Аониды“ с эпиграфом из Шамфора:

Соперника в стихах восславим торжество,
Кто победитель мой? Я обниму его.

Все наши поэты печатаются в этом альманахе, — они воспевают восторги или мучения любви, улыбку весны или жестокости зимы, радости труда или очарование лени, величие наших монархов или прелесть наших пастушек; вслед за тем они замолкают на весь год».

В заключение Карамзин дает краткое изложение «прозаического сочинения, стяжавшего в России некоторый успех», — «Писем русского путешественника», которое наконец-то в январе 1797 года выпущено отдельным изданием.

«Письма русского путешественника» вышли с посвящением «Семейству друзей моих Плещеевых: к вам писанное, вам и посвящаю». Издание сопровождалось предисловием, в котором Карамзин раскрывал перед читателем метод своей работы и объяснял особенности сочинения, подчеркивая его художественность или, как стали позже говорить, беллетристичность. «Я хотел при новом издании многое переменить в сих письмах, — писал Карамзин, — и не переменял почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются». (Это заявление Карамзина можно понимать двояко: или он хотел сохранить текст как исторический документ, или же, убедившись, что цензура остается такой же, вынужден был отказаться от перемен. Во всяком случае, было сказано об авторском желании перемен, а уж как трактовать его — дело читателя.)

«Пестрота, неровность в слогe есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он рассказывал друзьям своим, что ему приключилось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случилось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи — соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Филдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон, что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском

трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостию какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора, сидящего в шпанском парике на больших ученых креслах. — А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому вместо сих писем советую читать Бишингову „Географию“».

В статье «Несколько слов о русской литературе» Карамзин рекомендует иностранному читателю «Письма...» как сочинение русской литературы, которое позволяет «судить о том, как мы видим вещи, как пишем и как изучаем создания словесности», то есть рекомендует как образец новой русской литературы.

В своей редакторской работе Карамзин выступал и критиком, и литературным консультантом, и учителем литературного мастерства.

Письма Карамзина Дмитриеву наполовину заняты литературными темами, разбором и оценкой его стихов. В одном из писем 1793 года Карамзин пишет: «При отъезде в деревню хочу написать тебе несколько строк» — это в начале письма, а затем следует обстоятельный разговор о стихах, уводящий к принципиальным вопросам литературной теории и мастерства:

«Благодарю за все Петербургские *стихоиды* и *прозаиды*. Повторение, скажешь ты. Извини, любезный! но я боюсь, чтобы ты совсем говорить не перестал, по ненависти твоей к повторениям.

Ода „С возом“, как воз дров; а дрова, как известно, употребляются не на худое. Из *политических* стихов можно и должно сделать другое употребление (прости мне сей галлицизм) ... Я подозреваю, что автор хочет отрыть лавровый венок Василья Тредиаковского, лежащий в пыли и прахе, — отрыть и возложить его на свою пустую главизну.

„Жаворонок“ очень хорош. Я хотел бы, чтобы стих *И любви не помышляла* был глаже, и чтобы вместо *встрепенись* поставил ты другое слово; надобно сказать *встрепенувшись*. Пичужечки не переменяй, ради Бога, не переменяй! Твои советники могут быть хорошими в другом случае; а в этом они не

правы. Имя *пичужечки* для меня отменно приятно, верно, потому, что я слышал его в чистом поле от добрых поселян. Она возбуждает в душе нашей две любезные идеи: о *свободе* и *сельской простоте*. К тону басни твоей нельзя прибрать лучшего слова. *Птичка* почти всегда напоминает клетку, следственно, неволю. *Пернатая* есть нечто весьма неопределенное. Слыша это слово, ты еще не знаешь, о чем говорится: о страусе или колибри. — То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко. Один мужик говорит *пичужка* и *парень*; первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: *вот гнездо! вот пичужечка!* При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом и утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: *ай, парень! что за квас!* Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей! Итак, любезный мой И., нельзя ли вместо *парня* употребить другое слово? — Мораль в заключении кажется мне неясною. Из басни следует, что не должно надеяться на чужую помощь; к чему же сказано: *не всегда в намерениях будь скор?* Разве к тому, что жаворонок не тотчас решился оставить гнездо свое? Но это очень далеко и темно. Вот мои замечания, очень, очень неважные!»

Наряду со стилистическими и словарными замечаниями Карамзин высказывает общие оценки произведения и принципиальные взгляды на литературу. Он не приемлет официозные проправительственные стихи. «„Ода“ и „Глас патриота“, — пишет он Дмитриеву по поводу его стихотворений, посвященных взятию Варшавы, — хороши *Поэзиею*, а не *предметом*. Оставь, мой друг, писать такие пьесы нашим стихокропателям». В другом письме Карамзин пишет о «Послании» («Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых»): «Возвратившись из деревни, я успел быть очень нездоров и выздороветь; читал пиесу твою и больной, и здоровый; она показалась мне и в том, и в другом состоянии равно хорошею. Благородство в мыслях, связь и свободное их течение в чистом слоге: вот ее достоинства».

«Предисловие» ко второй книжке «Аонид» — это, по существу, литературная консультация, урок для молодых (и немолодых) поэтов, в

котором Карамзин высказывает, естественно, и свои взгляды на современную поэзию.

«Не употребляя во зло доверенности моих любезных сотрудников, не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главные порока наших юных муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места и часто притворную слезливость. (Я не говорю уже о неисправности рифм, хотя для совершенства стихов требуется, чтобы и рифмы были правильны.)

Поэзия состоит не в надутым описании ужасных сцен природы, но в живописи мыслей и чувств...

Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах поэтическую сторону; его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, неясное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда *малое делать великим*, иногда великое делать малым. Один *бомбаст*, один гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит; напротив того, неясная мысль, тонкая черта воображения или чувства непосредственно действует на душу читателя; умный стих врезывается в память, громкий стих забывается.

Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, — сей *способ трогать* очень ненадежен: надобно описать разительно причину их; означить горесть не только *общими* чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, — но *особенными*, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта...

Трудно, трудно быть совершенно хорошим писателем и в стихах, и в прозе; зато много и чести победителю трудностей (ибо искусство писать есть, конечно, первое и славнейшее, требуя редкого совершенства в душевных способностях); зато нация

гордится своими авторами; зато о превосходстве нации судят по успехам авторов ее».

Учителем, мэтром воспринимался молодыми литераторами Карамзин и в столицах, и в провинции.

Осенью 1799 года Карамзина в его квартире на Никольской улице посетил молодой поэт, купеческий сын из Казани Гаврила Петрович Каменев. Он оставил подробное описание своего посещения. Это почти единственное мемуарное свидетельство о домашнем быте Карамзина до его женитьбы.

Каменев пишет своему другу, казанскому литератору С. А. Москотельникову, что к Карамзину он пошел по рекомендации И. В. Лопухина, а сопровождал его сын И. П. Тургенева Николай, десятилетний мальчик: «В прошедшем письме обещал я вам сообщить подробности визита моего у г. Карамзина. Вот они. В половине двенадцатого часу с старшим сыном г. Тургенева поехали мы на Никольскую улицу и взошли в нижний этаж зелененького дома, где г. Карамзин нанимает квартиру. Мы застали его с Дмитриевым, читающего 5-ю и 6-ю части его „Путешествия“, которые теперь в Петербургской цензуре и скоро, вместе с „Московским журналом“, будут напечатаны. Увидевши нас, Карамзин встал из вольтеровских кресел, обитых алым сафьяном, подошел ко мне, взял за руку и сказал, что он любит знакомиться с молодыми людьми, любящими литературу, и, не давши мне ни слова вымолвить, спросил: не я ли присылал ему перевод из Казани и печатан ли он? Я отвечал и на то, и на другое как можно короче. После сего начался разговор о книгах, и оба сочинителя спрашивали меня наперерыв: какие языки мне известны? где я учился? сколько времени? что переводил? что читал? и не писал ли чего стихами? Я отвечал, что перевел оду Клейста... Карамзин спросил Тургенева, перевел ли он переписку Юнга с Фонтенелем из „Философии природы“, и начали говорить о сей книге, которой сочинителя он не любит. Вот слова его: „Этот автор может только нравиться тому, кто имеет *темную* любовь к литературе. Опровергая мнения других, сам не говорит ничего сносного; ожидаешь много, приготовишься — и выйдет вздор. Нет плавности в штиле, нет *зернистых* мыслей; многое слабо, иное *плоско*, и он ничем не *бриллирует*^[10]“. Карамзин употребляет французских слов очень много; в десяти русских есть одно французское. L'imagination, sentiments, tournament, energie, epithete, expression, exeller^[11] и прочее повторяет очень часто. Стихи с рифмами называет *побежденною трудностию*; стихи белые ему нравятся. По его мнению, русский язык не сотворен для поэзии, а

особливо с рифмами; что окончание стихов на глаголы ослабляет экспрессию. Перебирая людей, имеющих в Казани свои библиотеки, о Вас упомянул я и сказал, что трудитесь в переводе Тасса. „Да не стихами ли?“ — спросил Дмитриев. Я отвечал, что прозою, с перевода Лебрюнова, и Карамзин признал этот перевод за самый лучший. Дмитриев хвалил Фон-Визина, Богдановича, но Карамзин был противного мнения, и когда первый читал несколько стихов из поэмы „На разрушение Лиссабона“, переведенных, как он говорит, Богдановичем, то он критиковал стихи, называя их слабыми и проч.

Он росту более нежели среднего, черноглаз, нос довольно велик, румянец неровный и бакенбарт густой. Говорит скоро, с жаром и перебирает всех строго. Сожалеет, что не умел воспользоваться от своих сочинений. Дмитриев росту высокого, волосов на голове мало, кос и худощав. Они живут очень дружно и обращаются просто, хотя один поручик, а другой генерал-поручик. Прощаясь со мной, просил меня, чтоб я чаще к нему ходил».

«Октября третьего дня я сделал визит г. Карамзину, и принят им столь же хорошо, как и в первый. Севши в вольтеровские свои кресла, просил он меня, чтобы я сел на диван, возвышенный не более шести вершков от полу, где, как карла перед гигантом, в уничижительнейшем положении, имел удовольствие с час говорить с ним. Г. Карамзин был в совершенном дезабилье: белый байковый сюртук нараспашку и медвежьи большие сапоги составляли его одежду. Говоря о новых французских авторах (которых я очень мало знаю), советовал мне читать их, утверждая, что ничем не можно столь себя усовершенствовать в истине, как прилежным чтением. Советовал мне сочинять что-нибудь в нынешнем вкусе и признавался, что до издания „Московского журнала“ много бумаги им перемарано и что не иначе можно хорошо писать, как писавши прежде худо и посредственно. Журнал его скоро выйдет новым тиснением.

Комнаты его очень хорошо убраны и на стенах много портретов французских и итальянских писателей, между ними заметил я Тасса, Метастазия, Франклина, Буфлера, Дюпати и других беллетристов».

Удивительны творческая энергия и продуктивность Карамзина в 1790-е годы. За десятилетие он заложил основы новейшей русской литературы.

Но при всем этом он чувствовал, что может сделать еще больше, и хотел одного — работать. «Если спросишь, что я делаю, то мне стыдно будет отвечать: так мало, что почти ничего, имея, впрочем, охоту писать. Лишь только за перо, кто-нибудь в дверь или корректура на стол. Четыре тома „Писем русского путешественника“ выйдут через месяц и будут к тебе доставлены», — пишет он Дмитриеву в 1796 году.

«Свежих стихов нельзя писать без углубления в самого себя, — жалуется он в 1798-м, — а меня что-то не допускает продолжительно заниматься своими мыслями. Все обещаю себе, отлагаю до спокойнейшего времени, и перо мое, верно, засохло бы в чернильнице, если бы нужда не заставляла меня переводить, и то очень лениво. Иногда забавляюсь только в воображении разными планами».

И в декабре 1798 года подводит горестный итог: «Нынешний год я буду *почти только издателем, не написав ничего или очень мало*». Впрочем, в предыдущем письме, посетовав на собственную лень, Карамзин сообщал: «Однако ж на сих днях отправлю к тебе пакет печатных листов».

В 1796–1799 годах Карамзин, кроме уже названных изданий, выпустил следующие книги: повесть «Юлия», в 1797 году переведенную на французский язык и изданную с таким примечанием переводчика: «Этой повести достаточно, чтобы увидеть, что в стране, которую во Франции еще не разучились рассматривать как варварскую, есть писатели, соперничающие с Мармонтелем и Флорианом»; переиздал «Аглаю», «Аониды», «Мои безделки» с дополнениями и исправлениями, издал переводы повестей Мармонтеля и фундаментальную хрестоматию в трех книгах «Пантеон иностранной словесности».

Составляя «Пантеон...», Карамзин поставил перед собой трудную задачу — познакомить русского читателя со всем богатством иностранных литератур — от Античности до современности.

В 1799 году Карамзин создает краткие биографии для альбома гравированных портретов русских писателей, издаваемого П. П. Бекетовым. Помимо изданного, многое осталось в замыслах, планах, набросках. В одном из писем он пишет о романе: «Разве месяца через два пошлю извлечение из нового русского романа, который, может быть, никогда не выйдет на русском языке. Хочешь знать титул? Картина жизни, но эта картина известна только самому живописцу или маляру, и не глазам его, а воображению». Ни этот роман Карамзина, ни извлечение из него не известны, он его не написал. Не были осуществлены похвальные слова Петру Великому и Ломоносову, о которых пишется в другом письме.

В 1799 году Карамзин писал Дмитриеву: «Нынешним летом *стану*

писать прозою, чтобы не загрузить умом». Возможно, статья «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств», напечатанная в 1802 году, состоит из сюжетов задуманных, но не осуществленных повестей Карамзина: призвание варягов, восстание Вадима Храброго, вещий Олег, Ольга, Крещение Руси и др. Некоторые сюжеты разработаны отнюдь не для изображения живописцем, а представляют собой скорее план литературного произведения. Таков, например, сюжет, долженствующий изобразить «эпоху начала Москвы».

«В наше время историкам уже не позволено быть романистами, — пишет Карамзин, — и выдумывать древнее происхождение для городов, чтобы возвысить их славу». Несмотря на такое утверждение, он предлагает романную версию основания Москвы: «Москва основана в половине второго-надесять века князем Юрием Долгоруким, храбрым, хитрым, властолюбивым, иногда жестоким, но до старости любителем красоты, подобно многим древним и новым героям. Любовь, которая разрушила Трою, построила нашу столицу, и я напому вам сей анекдот русской истории или Татищева.

Прекрасная жена дворянина Кучки, Суздальского тысяцкого, пленила Юрия. Грубые тогдашние вельможи смеялись над мужем, который, пользуясь отсутствием князя, увез жену из Суздаля и заключился с нею в деревне своей, там, где Неглинная впадает в Москву-реку. Юрий, узнав о том, оставил армию и спешил освободить красавицу из заточения. Местоположение Кучкина села, украшенное любовью в глазах страстного князя, отменно полюбилось ему: он жил там несколько времени, веселился и начал строить город.

Мне хотелось бы представить начало Москвы ландшафтом — луг, реку, приятное зрелище строения: деревья падают, лес редет, открывая виды окрестностей — небольшое селение дворянина Кучки, с маленькою церковью и с кладбищем, — князя Юрия, который, говоря с князем Святославом, движением руки показывает, что тут будет великий город, — молодые вельможи занимаются ловлею зверей. Художник, наблюдая строгую нравственную пристойность, должен забыть прелестную хозяйку; но вдали, среди крестов кладбища, может изобразить человека в глубоких, печальных размышлениях. Мы угадали бы, кто он — вспомнили бы трагический конец любовного романа, — и тень

меланхолии не испортила бы действия картины».

Карамзин одновременно трудился над несколькими замыслами. Приступив к изданию «Пантеона», он планирует будущую работу. «Выдав книжки три „Пантеона“ (для подспорья кошельку своему), верно, что-нибудь начну или начатое кончу», — отвечает он на вопрос Дмитриева, почему не издает «ничего собственного».

Однако творческие планы постоянно наталкиваются на запреты цензуры: «Цензура, как черный медведь, стоит на дороге, к самым безделицам придирается. Я, кажется, и сам могу знать, что позволено и чего не должно позволять; досадно, когда в безгрешном находят грешное».

Общая атмосфера подозрительности, присущая Павлову царствованию, в цензорской практике превращалась в настоящий кошмар: цензор боялся пропустить что-нибудь такое, что могло бы вызвать гнев начальства и императора (история с Радищевым прекрасно помнилась), поэтому мерещилась крамола в каждой фразе.

27 июля 1798 года Карамзин пишет Дмитриеву:

«Весело быть первым, а мне и последним быть мешает цензура. Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить „Пантеон“, но цензоры говорят, что Демосфен был республиканец и что таких авторов переводить не должно, и Цицерона также, и Саллюстия также... великий Боже! Что же выйдет из моего „Пантеона“? План издателя разрушился. Я хотел для образца перевести что-нибудь из каждого древнего автора. Если бы экономические обстоятельства не заставляли меня иметь дело с типографией, то я, положив руку на алтарь Муз и заплакав горько, поклялся бы не служить им более ни сочинениями, ни переводами».

Цензуре подвергались не только новые произведения, но и переиздания. Три месяца спустя Карамзин сообщает об этом Дмитриеву: «А я как автор могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдичии (издании. — В. М.) „Аонид“ поставили X на моем „Послании к женщинам“. Такая же участь ожидает и „Аглаю“, и „Мои безделки“, и „Письма русского путешественника“, то есть вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих

сочинений. Умирая авторски, восклицаю: да здравствует Российская Литература!»

Цензура могла запретить публикацию какого-либо произведения или мнения, но не в ее силах похерить своим цензорским карандашом в человеке дарованные ему свыше талант и ум, которые, несмотря ни на что, продолжают в человеке свое дело. Недаром же поэтому жалобы Карамзина завершаются энергичным лозунгом: «Да здравствует Российская Литература!» Он полон литературных замыслов, планов, не все они осуществляются, но, как теперь это видно, они вели Карамзина к главному его произведению. Перепополняют его и стихи, как признавался Пушкин: «Ведь рифмы запросто со мной живут: две придут сами, третью приведут», так было и у Карамзина, рифмы его преследовали повсюду. В эти годы он сочиняет множество стихотворных мелочей, признанным мастером которых он был. Эпиграммы, стихи на случай, экспромты, мадригалы, буриме, стихи на заданные слова, подписи, надписи вошли в моду в светских салонах. В большинстве своем это были сочинения, предназначенные для домашнего употребления, понятные узкому кругу посвященных, знавших повод или причину их написания, и чаще всего не отличавшиеся литературными достоинствами. Но такая литературная игра развивала вкус и бывала порой первой ступенью к пониманию настоящей литературы.

Однако светские салонные мелочи, когда их авторами были настоящие поэты, становились явлениями не только быта, но и поэзии: в «Аонидах» опубликовано немало таких мелочей.

Карамзин достаточно серьезно относился к своим экспромтам. Кроме собственно содержания он, безусловно, ценил преодоленную мастерством и талантом трудность самих обстоятельств сочинения.

О сочинении некоторых экспромтов он сообщает Дмитриеву: о катрене, который «сказал одной молодой даме, задремав подле нее»:

Как беден человек! Нет страсти — горе, мука,
Без страсти жизнь — не жизнь, а скука.
Люби — и слезы проливай!
Покоен будь — и ввек зевай!

Когда к нему на маскараде подошли две женщины в масках, Карамзин по этому поводу сочинил «галантное» (как говорит он сам) стихотворение:

Ничто, ничто скрыть любезных не могло!
На вас и маски, как стекло.
Прелестные глаза прелестных обличают;
Под маскою они не менее сияют.
Взглянул — и сердце мне
Сказало: вот оне!

На табакерку «одной любезной женщины» с изображением ландыша и мраморного столба сочинил такую надпись:

Любезное глазам, как *цвет* весенний тленно,
Любезное душе, как *мрамор* неизменно.

В одном доме с позволения хозяйки Карамзин «исписал карандашом с головы до ног» статую мраморного амура. Эти надписи: «На голову», «На глазную повязку», «На сердце», «На пальчик, которым амур грозит», «На руку», «На крыло», «На стрелу, которую амур берет в руку», «На ногу», «На спину амура» он после напечатал в «Аонидах» и включал в каждое издание своих сочинений.

На голову

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало,
Там любви и не бывало,
Там любовь — одни слова.

На сердце

Любовь анатомист: где сердце у тебя,
Узнаешь полюбя.

На руку

Когда рука
Любовника дерзка,
Не верь ему; но верь, когда она робка.

Среди подобных галантных шуток и острых слов у Карамзина немало миниатюр с глубоким — философским — смыслом:

Печаль и радость

С печалью радость здесь едва ли не равна:
Надежда — с первой, с другой — боязнь одна.

Эпиграмма на жизнь

Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам — смеемся, плачем — спим.

Тень и предмет

Мы видим счастья тень в мечтах земного света;
Есть счастье где-нибудь: нет тени без предмета.

Иван Иванович Дмитриев, с которым Карамзина связывала дружба всю жизнь, оставил несколько характеристик друга, относящихся к разным годам, они последовательно рисуют Карамзина — ребенка, Карамзина — юношу, Карамзина — члена новиковского кружка, среди этих портретов есть и портрет Карамзина — светского человека в 1790-е годы:

Он дома — иль Шолье, иль Юм, или Платон;
Со мною — милый друг; у Вейлер — Селадон;
Бывает и игрок — когда у Киселева,
А у любовницы — иль ангел, или рёва.

Дмитриев назвал это стихотворение «Старинной шуткой к портрету Н. М. Карамзина», видимо, имея в виду какой-то старинный литературный образец. Шутка, как и все карамзинские портреты Дмитриева, подмечает характерные черты оригинала. Кажется, лишь с Дмитриевым Карамзин говорил о своих любовных увлечениях. Об этой стороне его жизни свидетельства остались лишь в его собственных произведениях и в письмах другу.

Племянник И. И. Дмитриева М. А. Дмитриев в своей книге «Князь Иван Михайлович Долгорукий и его сочинения», значительную часть которой составляют воспоминания автора о времени и герое этой книги — поэте конца XVIII века, необычайно влюбчивом человеке, дает очерк нравов того времени, касающихся любовной поэзии.

«В понятиях нашего светского общества, — пишет он, — чувствительность была тогда каким-то высшим законом, на который не было апелляции. Само собой разумеется, что при этом права сердца брали самые широкие размеры, даже в ущерб долга. Вспомним стихи Карамзина в „Острове Борнгольме“:

Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Закон природы — и кончено! против законов природы — не было возражения! „В осмнадцатом веке, — говорит Сент-Бёв, — чувствительность примешивалась ко всему: и к описаниям природы Сен-Ламбера, и к сказкам младшего Кребильона, и к философической ‘Истории обеих Индий’ Рейналя“. — Прошу идти против такого потока! — Так было и у нас в конце того века и в начале нынешнего (имеются в виду XVIII и XIX века. — В. М.). — Стихи посвящались тогда женщинам открыто, или под самым прозрачным покровом перемены имени, или под вымышленным именем, однажды навсегда усвоенным ей поэтом. Всякий знал, к кому они относятся, и это нимало не вредило чести красавицы: напротив, окружало ее каким-то венцом славы, а поэту доставляло самую лестную известность... Кто не знал, например, в Москве, что стихи Карамзина: „К неверной“ и

другие: „К верной“ относились к княгине Прасковье Юрьевне Гагариной?»»

Князь Иван Михайлович Долгоруков в своих воспоминаниях «Капище моего сердца» также отмечает это: «Знаменитый Карамзин преклонял пред ней колена и отражал на нее сияние своей славы».

Но настоящую славу и известность княгине Прасковье Юрьевне Гагариной принесло и сохранило от забвения ее имя буквально на века тоже литературное произведение, написанное ее младшим современником, когда она была уже дамой почтенного возраста. А. С. Грибоедов в своей знаменитой комедии «Горе от ума» включил ее в число выразительнейших персонажей фамусовской Москвы под именем Татьяны Юрьевны. Она не присутствует на балу, но ее дух присутствует там, о ней вспоминают и говорят, и поэтому ее отсутствующий образ обретает над всем происходящим какую-то мистическую силу.

Сначала ее упоминает в монологе Фамусов:
А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей;
Судьи всему, везде, над ними нет судей;
За картами, когда восстанут общим бунтом,
Дай Бог терпение, ведь сам я был женат.
Скомандовать велите перед фрунтом!
Присутствовать пошлите их в сенат!
Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!

Затем в диалоге Молчалина и Чацкого проясняется ее роль и влияние. Молчалин указывает Чацкому прямой путь для успеха в карьере обратиться к ее покровительству.

Молчалин
Вам не дались чины, по службе неуспех?
Чацкий
Чины людьми даются;
А люди могут обмануться.
Молчалин
Как удивлялись мы!
Чацкий

Какое ж диво тут?

Молчалин

Жалели вас.

Чацкий

Напрасный труд.

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Из Петербурга воротясь,

С министрами про вашу связь,

Потом разрыв...

Чацкий

Ей почему забота?

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

Чацкий

Я с нею не знаком.

Молчалин

С Татьяной Юрьевной!!

Чацкий

С ней век мы не встречались;

Слыхал, что вздорная.

Молчалин

Да это, полно, та ли-с?

Татьяна Юрьевна!!! Известная, — притом

Чиновные и должностные,

Все ей друзья и все родные;

К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

Чацкий

На что же?

Молчалин

Так: частенько там

Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

Молчалин

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы дает нельзя богаче,

От рождества и до поста,

И летом праздники на даче.

Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать и весело пожить?

Чацкий

Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь;
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

В Москве сразу узнали, кто стал для Грибоедова прототипом Татьяны Юрьевны. И если в качестве прототипов других персонажей называют по нескольку имен, то в этом случае все в своем мнении были едины. Во времена Грибоедова ей было за 60 лет, а в конце 1790-х годов, когда ей посвящал стихи Карамзин, она была молода и имела славу одной из первых красавиц Москвы и Петербурга и отличалась веселым нравом, хотя за спиной у нее уже была пережитая трагедия.

Прасковья Юрьевна — урожденная княжна Трубецкая, племянница фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского, а если заглянуть поглубже в историю, то отыщутся и родственные связи с царской фамилией, в первом и счастливом браке Прасковья Юрьевна была замужем за полковником князем Федором Сергеевичем Гагариным. Князь Ф. С. Гагарин в 1794 году был убит в Варшаве во время восстания Костюшки. Прасковья Юрьевна находилась в Польше при муже, и после его гибели «неутешная молодая вдова, мать нескольких малолетних детей, — рассказывает в своих „Записках“ Вигель, — взята была в плен и в темнице родила меньшую дочь». Освобождена из плена княгиня Гагарина была вместе с другими пленными после штурма польской столицы русскими войсками под командованием А. В. Суворова.

Прасковья Юрьевна осталась вдовой с шестью малолетними детьми: двумя сыновьями Василием и Федором и четырьмя дочерьми Верой, Надеждой, Любовью и Софьей.

«Долго отвергала она всякие утешения, в серье носила землю с могилы мужа своего, — продолжает Вигель, — но вместе с твердостью имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать».

Такой живой и кокетливой изобразил ее в своих воспоминаниях «Капище моего сердца» князь Иван Михайлович Долгоруков, поэт, которому однажды позавидовал даже А. С. Пушкин, светский человек,

ловелас XVIII века, страстно любивший театр и посему неприменный участник всех московских благородных, то есть любительских, спектаклей.

«Я с ней знаком был во время ее вдовства, и довольно коротко, — пишет Долгоруков. — Она женщина смолоду взбалмошная и на всякую проказу готовая... (писалось это, когда и автору, и героине очерка было уже под 60 лет. — В. М.). Всех резвостей исчислить невозможно, какие она выдумывала для приятного провождения времени и на даче, то есть за городом, и в городском ее доме. Я с ней часто игрывал на театре, на котором она затевала разные зрелища, чтобы привлечь к себе людей, и из одного чванства, впрочем, в этом искусстве она худо успевала... Княгиня не умела ни петь, ни играть. Театр поместить мог до ста пятидесяти человек, а мы с ней роздали триста билетов; разумеется, что была страшная давка, шум, крик и всякое неустройство. Ее всё это забавляло чрезвычайно...

Прошла ее и моя молодость, вся наша компания разбрелась по сторонам, и теперь я с этой дамой вовсе незнаком. Одни дурачества юности делали ее заманчивой; исчезли шалости, кончились и отношения. Стихи мои под названием „Параше“ обращены были на ее лицо, и, напечатаны будучи в моих книгах, суть памятник моего с ней знакомства и приятного препровождения времени в ее кругу».

Стихи князя Долгорукова, обращенные к княгине Гагариной, — классический образец старинной альбомной поэзии:

Парашу вечно не забуду,
Мила мне будет навсегда,
К ней всякий вечер ездить буду,
А к Селимене никогда.

Долгоруков был необычайно влюбчив и обязательно влюблялся в каждую хорошенькую партнершу по благородному спектаклю, но тут увлечение княгиней Парашей, кажется, миновало его. Возможно, причиной этого послужил существующий и имеющий больше чем он шансов на успех соперник — Карамзин.

Если князю Долгорукову с его точки зрения княгиня Прасковья

Юрьевна представлялась лишь взбалмошной женщиной, то другие видели в ней совсем другого человека. Граф С. Д. Шереметев, рассказывая о ней по семейным преданиям, дает княгине такую характеристику: «При жизни своего первого мужа по положению и богатству она принадлежала к высшему кругу петербургского общества. Она была образованна, очень умна... При дворе ее уважали за благочестие и скромность».

Любовь Карамзина к княгине Гагариной была глубоким и серьезным чувством, более того, он сделал ей предложение и уже строил в воображении картины их будущего семейного счастья. Гагарина тоже поддавалась на какое-то время этим мечтам, но затем — натура пересилила — и она закрутила новый роман.

Неизвестно, как и что узнал Карамзин об ее измене, но, видимо, объяснения княгини только подтвердили его подозрения. Чтобы выговориться, он пишет стихотворение, многословное, сбивчивое, как его душевное состояние, с названием «К неверной».

Армиды Тассовы, лаисы наших дней
Улыбкою любви меня к себе манили
И сердце юноши быть ветреным учили;
Но я влюблялся, не любя.
Когда ж узнал тебя,
Когда, дрожащими руками
Обняв друг друга, всё забыв,
Двумя горящими сердцами
Союз священный заключив,
Мы небо на земле вкусили
И вечность в миг один вместили,—
Тогда, тогда любовь я в первый раз узнал...
Жестокая!.. увы! могло ли подозренье
Мне душу омрачить? Ужасною виной
Почел бы я тогда малейшее сомненье;
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!
Скорее нас Творец забудет,
Скорее изверг здесь покоен духом будет,
Чем милая души мне может изменить!
Так думал я... и что ж? на розе уст небесных,
На тайной красоте твоих груди прелестных
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй,
Когда сказала ты другому: **торжествуй** —

Люблю тебя!.. — Еще ты рук не опускала,
Которыми меня, лаская, обнимала,
Другой, другой уж был в объятиях твоих...
Иль в сердце... всё одно! Без тучи гром ужасный
Ударил надо мной.

Однако Прасковья Юрьевна не собиралась порывать с Карамзиным и, оправдываясь, убеждает его в своей верности, видимо, говорит о возможности их брака.

Карамзин пишет новое стихотворение — «К верной».

Ты мне верна!.. тебя я снова обнимаю
И сердце милое твое
Опять, опять мое!
К твоим ногам в восторге упадаю,
Целую их!..

Он подхватывает разговор о браке:

Хотя при людях нам нельзя еще словами
Люблю друг другу говорить;
Но страстными сердцами
Мы будем всякий миг люблю, люблю твердить...
Когда-нибудь, о милый друг,
Судьбы жестокие смягчатся:
Два сердца, две руки навек соединятся;
Любовник... будет твой супруг.

Впрочем, отношения Карамзина и княгини Гагариной прекрасно всем были известны. Долгоруков говорит о «тесной связи ее с Карамзиным», а Вигель пишет о ее реакции на светскую молву; «Прасковья Юрьевна, которая всему смеялась, особенно вранью, никак не хотела рассердиться за то, что про нее распускали».

Далее Карамзин рисует в стихотворении картину их будущей семейной жизни, какой он видит ее в своих мечтах:

Далеко от людей, в лесу, в уединенье,
Построю **домик** для тебя,
Для нас двоих, над тихою рекою
Забвения всего, но только не любви;
Скажу тебе: «В сем домике живи
С любовью, счастьем и со мною,—
Для прочего умрем».

Конечно, только безумно влюбленный и ослепленный своей любовью поэт мог подумать, что такая перспектива придется по душе княгине Гагариной. Внешне как будто бы отношения были восстановлены, но только внешне: наступило медленное, длительное и мучительное отдаление.

В марте 1797 года Карамзин пишет посвященному в историю своей любви к Гагариной Ивану Ивановичу Дмитриеву:

«Дружеское письмо твое, мой любезнейший Иван Иванович, влило несколько капель бальзама в мое сердце. Но мне больно, что я огорчил тебя, человека, который истинно меня любит, который сам имеет нужду в утешении. Слабость, слабость! не стыжусь ее, но досажую. Будь покоен, милый друг! надобно верить Провидению; будет с каждым из нас чему быть назначено, и что мы заслуживаем; я не хочу другого, и соглашаюсь терпеть, если не заслуживаю ни счастья, ни спокойствия. Слабое сердце мое умеет быть и твердым, вопреки всему. Теперь главное мое желание состоит в том, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой дружбы. — *Да, я любил*, если ты знать хочешь; очень любил, и меня уверяли в любви. *Все это прошло*; оставим. Никого не виню. Ты говоришь о свете, о моей к нему привязанности: я смеюсь внутренно. Если бы ты заглянул ко мне в душу! Правда, бывали минуты, бывали часы, в которые друг твой смешивался с толпою; но с моим ли сердцем можно любить свет? Я искал только средств жить счастливо в уединении; теперь ничего не ищу. Называй же меня суетным! Жизнь кажется мне скучною, бесплодною равниною; там, впереди, что-то возвышается... надгробный камень и вот эпитафия:

Бог дал мне свет ума: я истины искал,

И видел ложь везде — светильник погашаю.
Бог дал мне сердце: я страдал —
И Богу сердце возвращаю.

Пока будем жить; сердце еще бьется, кровь течет в жилах.
Будь здоров как я, но гораздо счастливее...»

Стихотворения «К неверной» и «К верной» из жанра личных объяснений переходят в область литературных произведений. Карамзин печатает их, но чтобы замаскировать их автобиографичность, снабжает пометой «перевод с французского».

Летом 1797 года Карамзин опять влюблен. Ее имя неизвестно, о ней — несколько строк в письме Дмитриеву: «Чрезмерно беспокоюсь, мой милый друг, о другом человеке; она поехала из Москвы больная, уверив меня самым нежным, самым трогательным образом в любви своей. Не знать, что с нею делается! Жива ли, здорова ли она! Писать, — но, может быть, ей не отдадут письма моего. Однако ж решусь. Часто вижу печальные сны и делаюсь неверным. Клянусь Богом, что готов отказаться от любви ее с тем условием, чтобы она была жива, здорова и счастлива».

Через несколько месяцев опять о ней: «Милая и несчастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая заря вечерняя. Но я все еще не попадаю в долину Иосафатову; все еще на море, как Синдбад-мореходец! Боюсь кораблекрушения, но распускаю парусы! Досадное сердце не слушается рассудка; твержу наизусть Эпиктета»:

Mais, hélas! On a beau faire
Le coeur y revient toujours,
Il revitnt á son penchant naturel:
Il dtmande á aimer^[12].

В дальнейшей жизни княгини Прасковьи Юрьевны мы находим объяснение того, почему она не захотела выйти замуж за Карамзина, и имеем пример благодетельного решения судьбы Карамзина, не давшей свершиться этому браку.

Княгиня Прасковья Юрьевна, наконец, решилась выйти замуж и вышла. Случилось это в 1810 году. О ее замужестве, причинах принятого

решения и избранном ею кандидате в мужа рассказывает Ф. Ф. Вигель.

«Но время шло, дети росли, и когда она совсем почти начинала терять свои прелести, явился обожатель, — пишет Вигель. — То был Петр Александрович Кологривов, отставной полковник, служивший при Павле в кавалергардском полку. Утверждают, что он был в нее без памяти влюблен. Любовь, куда тебя занесло? хотелось бы сказать. А между тем оно было так: надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. Дотоле и после ничего подобного нельзя было в нем найти. В душе его, в уме, равно как и в теле, все было аляповато и неотесано. Я не знал человека более его лишенного чувства, называемого *такт*: он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил невпопад. Любовь таких людей бывает обыкновенно настойчива, докучлива, неотвязчива. Во Франции, говорят, какая-то дама, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него; в России это не водится, и Прасковья Юрьевна не без причины согласилась отдать ему свою руку. Как все знатные у нас, не одни женщины, но и мужчины, не думала она о хозяйственных делах своих, которые пришли в совершенное расстройство. Она до безумия любила детей своих; мальчики вступали в тот возраст, в который по тогдашнему обычаю надобно было готовить их на службу, девочки с каждым годом милее расцветали. Как для них не пожертвовать собою? Как не дать им защитника, опекуна и опору?.. Кологривов имел весьма богатое состояние, да сверх того, несмотря на военное звание свое, был великий хлопотун и делец».

В устройстве судьбы детей Прасковьи Юрьевны добилась полного, по тогдашним понятиям, успеха. Оба ее сына сделали хорошую военную карьеру, всех дочерей она удачно выдала замуж: Веру — за князя П. А. Вяземского, Надежду — за князя Б. А. Святополк-Четвертинского, Любовь — за генерала Б. В. Полуектова, Софью — за московского уездного предводителя дворянства, полковника В. Н. Ладомирского — незаконного, но любимого сына екатерининского фаворита И. Н. Римского-Корсакова и графини Е. П. Строгановой.

Но в замужестве Прасковьи Юрьевны Вигель видит не только голый практический расчет, а вполне возможное ответное чувство: «Вообще же

женщины любят любовь, и не так, как мы, видя ее в существах даже им противных, не могут отказать им в участии и сострадании; а там, поглядишь, они уже и разделяют ее».

Карамзин, уже не считая себя влюбленным, пишет Дмитриеву: «Приманки соблазнительны. Как птичка, лечу в сети; как рыбка, берусь за уду. Однако ж я еще довольно спокоен. На правой и на левой стороне вижу берег. Знаю, что такое женщина, что такое фантом любви и в самой неосторожности надеюсь быть осторожен». Он изучает итальянский язык и твердит наизусть стихи Пьетро Метастазियो «Свобода», описывающие чувства освободившегося от страсти к ветреной любовнице. Правда, при этом оговаривается: «Когда сердце мое по старой привычке вздохнет, заговорит, я велю ему молчать».

В таком настроении он пишет небольшой трактат «Мысли о любви». Карамзин никогда не публиковал это сочинение, оно сохранилось в бумагах Дмитриева. Посылая его, Карамзин просил: «Не сказывай никому, что это пиеса моя. Я называл ее сочинением одной дамы...» — и объяснял повод и причину его написания: «Мысли мои о любви брошены на бумагу в одну минуту, я не думал писать трактата, а хотел единственно сказать по *тогдашнему моему чувству*, что любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего. Философия и страстная любовь не могут быть дружны, мой милый Иван Иванович. Первая пишет только сатиры на последнюю; а тогда *жить и любить* было для меня одно. Рассуждать о страстях может только равнодушный человек; не в бурю описывать бурю».

«Мысли о любви»

«Говорят, что писать о любви может только человек, воспламененный любовью. Но в таком страдательном состоянии человек не способен к соображениям: он не обладает свободой ума, необходимою для того, чтобы отделиться от своих ощущений, чтобы вникнуть в них, разобрать, разложить, видеть их цель, совокупность, оттенки. Подобно человеку, борящемуся со смертью в волнах быстрого потока и исполненному только одного чувства — чувства своей опасности, имеющему только одно желание — спастись своими усилиями, так точно любовник, в пылу своей страсти, чувствует только свою любовь, желает только соединения с своим предметом во всех отношениях. — Все способности его души, внимание, ум, рассудок уничтожены;

его чувствительность обращена только в одну сторону: это — стремление к своей возлюбленной. Он боится размышления, оно прервало бы чувство, которое наполняет его сердце и в котором он живет, мертвый для всего остального. — Только тогда, когда он придет в себя, как буря страсти постепенно рассеется, он будет в состоянии говорить о силе любви, им испытанной, т. е. он постарается снять копию с отсутствующего оригинала, срисовать его на память. Копия может быть очень хороша, но ей все-таки будет недоставать чего-то, и даже многого, многого для совершенного сходства...

Кто же опишет нам любовь? Никто не может описать ее так, как она есть в сердцах восторженных любовников, с ее огнедышащей энергией, с ее сладостно-лихорадочным трепетом, — никто. — Но так много говорено о ней. — Да, именно потому, что никогда никто не мог сказать о ней все...

Рассмотрите все другие страсти: вопреки пышным названиям, которые дают их идолам, служение им оставляет в душе пустоту, доказывающую их недостаточность для нашего счастья, между тем как душа, любящая с природной своей силою, была бы совершенно счастлива, хотя осталась бы одна с предметом своей любви во всем мире, который обратился бы в бесконечную пустыню.

В объяснение блаженства будущей жизни говорят, что души наши найдут чистейшее наслаждение в вечном созерцании Бога. Любящие получают некоторое здесь понятие об этом блаженстве в удовольствии, которое они находят, поглощая друг друга взглядами. Что касается до прочих, то они не понимают ничего в этом объяснении...

О вы, горячие сердца, которые в своих чувствах находите подтверждение моим мыслям, страстные любовники, вы, умеющие в восторженных объятиях забывать даже презрение, которое заслуживают поносители вашего счастья! Вы будете всегда предметом моего поклонения: я буду приносить вам в жертву слезы моего сердца; я буду согревать его огнем вашего счастья. Может ли мнение людей холодных и порочных бросать какую-нибудь тень на ваши светозарные души? Могут ли эти низкие и злые создания препятствовать вашему святому союзу?

Вы любите друг друга, следовательно, благословение Неба над вами, вы супруги, и ничто не должно вас останавливать... Но

земля, непокорная законам Неба, растворяется иногда между вами, и глубокие пропасти вас разлучают; минуйте их или погибайте вместе; вы избежите, по крайней мере, покушений злобы и вопреки ей будете еще счастливы. Так сладко умирать вместе с тем, кого любишь! Праведный и милосердный Бог открывает вам свое Отеческое лоно, вам, любезнейшим из его чад, потому что вы умели любить, и там, среди небесных духов, ваше счастье не будет иметь конца, потому что ваша любовь будет вечна... И если бы — безумное предположение — не было ни будущности, ни Бога, если бы все было мечтою и прахом... все же умрите: вы жили, вы вкусили самую чистую сладость жизни — вам нечего делать более в свете».

В конце 1799 года Карамзин как бы подводит черту под всеми своими романтическими историями:

«Не буду жаловаться на ветреность Амарилл моих, которые (слава Богу!) перепрыгнули от меня за ручей и скрылись в лесу. Пусть там гоняются за ними Сильваны, Фавны и простые Сатиры! Третьего дня исполнилось мне 35 лет от роду».

Время нравиться прошло;
А пленяться не пленяя
И пылать не воспаляя
Есть худое ремесло.

Впрочем, в это время им овладевает новое чувство, о котором он намекает в письме Дмитриеву: «В обстоятельствах моих сделалась некоторая перемена, и бедный друг твой часто грустит тихонько», — чувство к Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре Настасьи Ивановны. О чувстве к нему Елизаветы Ивановны он уже после ее смерти скажет: *«Она обожала меня»*.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщиками был убит Павел I и провозглашен императором его старший сын Александр.

Убийство Павла не было государственным политическим актом, но предприятием частных лиц, озабоченных своим личным благополучием. В том же личном, бытовом плане оно было воспринято тогдашним дворянским обществом. В то время численно небольшая, но все-таки

существующая часть русского общества, которая имела политические взгляды того или иного направления, связывала с новым императором возможность изменений в государственной политической жизни России и строила свои предположения о них. Однако как общее впечатление, так и реакция на это событие несли на себе печать какого-то легкомыслия.

В Москве известие о смене императора было получено утром 15 марта.

На перекладных из Петербурга прискакали генерал князь С. Н. Долгоруков и бывший московский обер-полицмейстер П. Н. Каверин, во весь опор они пронесли по Тверской до дома главнокомандующего. (Люди рассказывали, что они во время этого проезда «встречающихся как будто взорами поздравляли и приветствовали».) С главнокомандующим графом Салтыковым и другими главными должностными лицами Москвы проследовали в Кремль, в Успенский собор. Там был оглашен манифест о кончине Павла I и о воцарении Александра I и началась присяга новому императору.

Известие быстро распространилось по Москве. Вигель вспоминает радостную атмосферу этого дня: «Знакомые беспрестанно приезжали и уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого Воскресенья; ни слова о покойном; чтобы и минутно не помрачить сердечного веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем...»

Вигель пишет о настроении первых дней нового царствования, о «восторгах», которыми приветствовали его «зарю», «весну», «все чувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее».

Естественно, первыми были отринуты внешние запретительные меры. «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, — рассказывает Вигель, — была перемена костюма: не прошло и двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято... К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы и то на людях самых бедных».

За молодыми людьми последовали зрелые. «В апреле все пришло в движение, — продолжает Вигель. — Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время, самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и

виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы».

Ода Карамзина «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол», написанная в марте 1801 года, выразила настроения и надежды тех дней:

Надеждой дух наш оживлен.
Так милыя весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы...

Между прочим, хотя был объявлен официальный траур, в Москве траура под разными предлогами, как отмечает Вигель, почти никто не носил.

До коронации нового императора, которая совершалась по традиции в Москве, должно было пройти не менее полугода, но Александр, как говорили, собирался приехать в Москву уже в мае. Карамзин к предстоящему прибытию императора написал новую оду.

Почти все московские поэты готовили поздравительные оды, многие из них были напечатаны. Их многочисленность вызвала эпиграмму Дмитриева. Он писал, противопоставляя московских стихотворцев Дени Экушару Лебрёну, единственному тогдашнему французскому одописцу, ибо больше во Франции никто од не сочинял:

На случай од, сочиненных в Москве в коронацию

Гордись пред галлами, московский ты Парнас!
Наместо одного Лебрёна есть у нас:
Херасков, Карамзин, князь Шаликов. Измайлов,
Тодорский, Дмитриев, Пospelова, Михайлов,
Кутузов, Свиньина, Невзоров, Мерзляков,
Сохацкий, Таушев, Шатров и Салтыков,
Тупицын, Похвиснев и, наконец, — Хвостов.

В большинстве случаев (это относится и к оде самого Дмитриева «Песнь на день коронования Его Императорского Величества Государя

Императора Александра Первого») сочинения московских стихотворцев представляли собой набор ставших банальными славословий. Стихи же Карамзина отличались четкой нравственной и политической идеей — главные строфы были посвящены свободе и закону:

Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, нам мила
И с пользою царей согласна;
Ты вечно славой их была.
Свобода там, где есть уставы,
Где добрый не боясь живет;
Там рабство, где законов нет,
Где гибнет правый и неправый!

Свобода, о которой пишет здесь Карамзин, — это личная независимость человека от чьей-либо частной воли и подчинение одному лишь закону. Он приходит к выводу, что «свобода состоит не в одной демократии; она согласна со всяким родом правления, имеет разные степени и хочет единственно защиты от злоупотреблений власти». Истинная свобода должна быть личной свободой, личной независимостью, но в рамках закона, выход за пределы которого Карамзин называет «необузданностью».

Впоследствии к такому же пониманию придет Пушкин, который писал в стихотворении 1836 года «Из Пиндемонти»:

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...
— Вот счастье! Вот права...

Ода Карамзина отмечает важный рубеж его жизненного и творческого пути: судя по ее тексту, в апреле — начале мая он принял решение серьезно заняться историей. Если в предыдущей, мартовской, оде на восшествие Александра на престол он выступает как литератор — «се Музы, к трону

приступая», то в апрельско-майской оде на приезд императора в Москву (в конце концов, адресованной «на коронацию») Карамзин приветствует императора от лица *истории*, где возвещается «глас веков», и в заключение заявляет о перемене в своих занятиях:

Монарх! в последний раз пред троном
Дерзнул я с лирою предстать;
Мне сердце было Аполлоном:
Люблю хвалить, но не ласкать;
Хвалил, глас общий повторяя.
Другие славные певцы
От муз приимут в дар венцы,
Тебя без лести прославляя.
Я в храм Истории иду,
И там... дела твои найду.

К предпоследней строке Карамзин делает подстрочное примечание: «Автор занимается Российской Историєю».

Одновременно со стихотворной одой «На прибытие императора Александра I в Москву» Карамзин пишет прозой исторический труд «Историческое похвальное слово Екатерине II».

Известен критический взгляд Карамзина на личность и правление Екатерины II — «Тартюфа в юбке». Но здесь, оставляя в стороне все упреки и претензии к ней, он обращает внимание читателя (а читателем «Похвального слова» он видит прежде всего Александра I, и при издании оно выходит с посвящением вступающему на престол императору) преимущественно лишь на одну отрасль ее деятельности, на начатый и неосуществленный проект создания свода государственных законов, базирующихся на единых — прогрессивных для ее времени принципах и взглядах.

В манифесте о своем восшествии на престол Александр I заявил, что «будет управлять Богом Нам врученным народом по законам и по сердцу в Бозе почившей августейшей бабки нашей Екатерины Великой», и это давало Карамзину надежду, что его труд будет прочитан.

Свои законодательные взгляды Екатерина II изложила в написанном ею в 1765–1767 годах «Наказе» для участников всесословной Комиссии об Уложении, созданной в 1667 году для составления свода законов и работавшей до января 1769 года, но затем свернувшей свою работу.

Официально прекращение работы связывалось с начавшейся Русско-турецкой войной 1768–1774 годов, но действительная причина заключалась в другом — в направлении и идеях, содержащихся в предложенных комиссии материалах «Наказа».

Новое «Уложение» не было создано, но влияние деятельности комиссии оказалось весьма сильным и глубоким на представления не только современного русского общества, но и последующих поколений о проблеме отечественного законодательства. Яркое доказательство этого — упоминание «законов» Екатерины II в манифесте ее внука.

«Наказ» Екатерины II в 1767 году был издан типографским способом на русском, французском, немецком и латинском языках. Но после ликвидации комиссии он был изъят из обращения и практически запрещен.

Карамзин в «Историческом похвальном слове Екатерине II» характеризует «Наказ» как «зерцало ее великого ума и человеколюбия», пишет о некоторых ее конкретных указах, которыми создавались нужные обществу учреждения.

«Наказ» Екатерины II составлен под влиянием идей буржуазного просветительства. В своем сочинении Екатерина II использовала труды французского философа, противника абсолютизма и проповедника буржуазных свобод Шарля Монтескье «Дух законов», итальянского буржуазного правоведа Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» и других деятелей Просвещения, идейно подготовивших французскую революцию (В. О. Ключевский даже называет жанр «Наказа» компиляцией этих работ).

Преобразование феодального крепостнического, монархического общества было мировой проблемой, и неизбежность изменений во взаимоотношении социальных слоев также понималась всеми. Но при этом вставал вопрос о пути решения этих нелегких и неизбежных проблем: один путь мирный — путь переговоров и согласия, другой — революционный, силовой.

Екатерина II и Карамзин были сторонниками мирных реформ. В России это значило найти согласие между крепостными крестьянами и помещиками-крепостниками. И при этом еще сохранить монархию. Составительница «Наказа» и автор «Похвального слова» о ней понимали всю сложность и почти неразрешимую из-за реальных обстоятельств и личных человеческих характеров и интересов проблему. Но выход надо было искать, потому что возникающие в обществе социальные движения подобны природным катаклизмам, так же неотвратимы, неизбежны и мощны в своем воздействии на все слои общества.

«Историческое похвальное слово Екатерине II» — это важный гражданский акт Карамзина. Он говорит от имени русской литературы, которая становится «учебником жизни», учебником не только для народа, но и для царей, выступает как имеющий право на указание верного пути.

М. П. Погодин, сам писатель и историк, отмечает, с каким мастерством написано Карамзиным «Историческое похвальное слово Екатерине II». «Надо удивляться, — пишет Погодин, — его умению выбирать главные существенные черты из множества подробностей, его искусству представлять их в образах привлекательных, соблюдать соразмерность в частях... По сухости предмета... относительной неизвестности (эти материалы) требовали усилий необыкновенных: поддержать занимательность, упростить, сделать доступным для всех содержание — и автор вышел из своего трудного положения со славой».

В первой части «Похвального слова» Карамзин пишет о военных успехах царствования Екатерины II, вторая и третья посвящены ее законодательным идеям.

Начинает «Похвальное слово» Карамзин, определяя место Екатерины II в истории России.

«О слава России! под небесами любезного отечества, на его троне, в его венце и порфире сияли Петр и Екатерина! Они были *наши* — и любовь Всевышнего запечатлела их Своею печатью! Они друг другу, на величественном театре их действий, подают руку!.. Так, Екатерина явилась на престоле оживить, возвеличить творение Петра; в ее руке снова расцвел иссохший жезл бессмертного, и священная тень его успокоилась в полях вечности: ибо без всякого суеверия можем думать, что великая душа и по разлуке с миром занимается судьбой дел своих. Екатерина Вторая в силе творческого духа и в деятельной мудрости правления была непосредственною преемницею Великого Петра; разделяющее их пространство исчезает в истории. И два ума, два характера, столь между собою различные, составляют в последствии своем удивительную гармонию для счастья народа российского! Чтобы *утвердить* славу мужественного, смелого, грозного Петра, должна через сорок лет после его царствовать Екатерина; чтобы *предуготовить* славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр: так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы

рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить Натуру к теплему веянию зефиров!»

В таком зачине слышится желание автора видеть адресата письма подобным же правителем. Об этом говорит и продолжение.

«Теперь представляется мне славнейшая эпоха славного царствования! Россия имела многие частные, мудрые законы, но не имела общего Уложения, которое бывает основанием государственного благоустройства. Обыкновенные умы довольствуются временными, случайными постановлениями; великие хотят системы, целого и вечного. Чего Петр Великий не мог сделать, то решилась исполнить Екатерина. Чувствуя важность сего предприятия, она хотела разделить славу свою с подданными и признала их достойными быть советниками трона. Повелев собраться государственным чинам или депутатам из всех судилищ, из всех частей империи, чтобы они предложили свои мысли о полезных уставах для государства, — Великая говорит: „Наше первое желание есть видеть народ российский столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольствие может на сей земле простираться. Сим учреждением даем ему опыт нашего чистосердечия, великой доверенности и прямой материнской любви, ожидая со стороны любезных подданных благодарности и послушания“»...

Затем Карамзин выделяет главное в «Наказе» для Екатерины II и остающееся тем же и для Александра — проблему монархии, ее оправдания.

«Монархиня прежде всего определяет образ правления в России — *самодержавный*; не довольствуется единым всемогущим изречением, но доказывает необходимость сего правления для неизмеримой империи. Только единая, нераздельная, державная воля может блюсти порядок и согласие между частями столь многосложными и различными, подобно Творческой Воле, управляющей вселенною; только она может иметь сие быстрое, свободное исполнение, необходимое для пресечения всех возможных беспорядков; всякая медленность произвела бы несчастные следствия (9, 10, 11) (здесь и далее

цифры являются ссылкой на параграф „Наказа“. — В. М.). Здесь примеры служат убедительнейшим доказательством. Сограждане! Рим, которого именем целый мир назывался, в едином самодержавии Августа нашел успокоение после всех ужасных мятежей и бедствий своих. Что видели мы в наше время? Народ многочисленный на развалинах трона хотел повелевать сам собою: прекрасное здание общественного благоустройства разрушилось; неописанные несчастья были жребием Франции, и сей гордый народ, осыпав пеплом главу свою, проклиная десятилетнее заблуждение, для спасения политического бытия своего вручает самовластие счастливому корсиканскому воину. Не затем оставил человек дикие леса и пустыни; не затем построил великолепные грады и цветущие селы, чтобы жить в них опять, как в диких лесах, не знать покоя и вечно ратоборствовать не только со внешними неприятелями, но и с согражданами: что же другое представляет нам история Республики? Видим ли на сем бурном море хотя единый мирный счастливый остров? Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелию великих республиканцев; но сколь кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство и великодушных друзей ее заключало в узы? Чье сердце не обливается кровью, воображая Мильтиада в темнице, Аристида, Фемистокла в изгнании, Сократа, Фокиана, пьющих смертную чашу, Катона самоубийцу и Брута, в последнюю минуту жизни уже не верящего добродетели? Или людям надлежит быть ангелами, или всякое многосложное правление, основанное на действии различных волей, будет вечным раздором, а народ несчастным орудием некоторых властолюбцев, жертвующих отечеством личной пользе своей. Да живет же сия дикая республиканская независимость в местах, подобно ей диких и неприступных, на снежных Альпийских громадах, среди острых гранитов и глубоких пропастей, где от вечных ужасов Природы безмолвствуют страсти в холодной душе людей и где человек, не зная многих потребностей, может довольствоваться немногими законами Природы!

Сограждане! признаем в глубине сердец благодетельность монархического правления и скажем с *Екатериною*: „Лучше повиноваться законам под единым властелином, нежели угождать

многим(12)“. „Предмет самодержавия, вещает она, есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу (13)“»...

Монархиня, сказав, что самодержавие не есть враг свободы в гражданском обществе, определяет ее следующим образом: «Она есть не что иное, как спокойствие духа, происходящее от безопасности, и право делать все дозволяемое законами (38,39); а законы не должны запрещать ничего, кроме вредного для общества; они должны быть столь изящны, столь ясны, чтобы всякий мог чувствовать их необходимость для всех граждан: и в сем-то единственно состоит возможное равенство гражданское (34)! Законодатель сообразуется с духом народа; мы всего лучше делаем то, что делаем свободно и следуя природной нашей склонности. Когда умы для лучших законов не готовы, то приготовьте их; когда же надобно для счастья народа переменить его обычаи, то действуйте одним примером. Одно необходимое наказание не есть тиранство, и законам подлежит только явное зло (57–63)».

Далее идет рассмотрение социальных групп, составляющих общество.

«Екатерина обращает взор на три государственные состояния: земледельческое, торговое или ремесленное и воинское. „Первое есть самое необходимое и труднейшее: тем более должно ободрять его (297)“. Монархиня ставит в пример обычай Китая, где император ежегодно возвышает прилежнейшего земледельца в сан мандарина. Сообразуясь с уставами нашего государства, она предлагает иные способы награды для тех, которые, потом лица своего орошая землю, извлекают из недр ее истинные сокровища людей, гораздо драгоценнейшие перуанского золота и бразильских диамантов; „главное же ободрение сельского трудолюбия есть, по словам ее, право собственности: всякий печется о своем более, нежели о том, что другому принадлежит, или что другие могут отнять у него (295, 296)“. Ее человеколюбивое намерение ясно (261); ее желание также (260). Чувствуя, сколь нужно размножение народа для России, Екатерина спрашивает: „Отчего более половины младенцев, рождаемых в наших селах, умирают в детстве?“ Она угадывает источник сего страшного зла: „порок в физическом воспитании и в образе жизни. Люди, не могущие о самих себе иметь нужного попечения в болезнях, могут ли иметь хороший

присмотр за слабыми существами, находящимися в беспрестанной болезни, то есть во младенчестве? Какое счастье для России, если найдется способ отворотить такую гибель (266–276)!“. Одним словом: она хотела благоденствия земледельцев; хотела, чтобы, осыпанные изобилием Природы, среди многочисленных семейств своих, они трудились для наслаждения и под смиренным кровом сельских хижин, где любит обитать спокойствие, не завидовали великолепным градским палатам, где часто праздность и скука изнуряет сердце; она хотела, чтобы трудолюбие, зернистые колосья, золотые нивы, полные житницы были для них истинною роскошью!

Как от успехов земледелия цветут поля и села, так *среднее политическое состояние* украшает грады (377). Обогащая государство торговлею и художествами, представляя ему новые источники общественного избытка и силы, оно не менее полезно и для успехов земледелия, имея нужду в его плодах и щедро награждая за них селянина (377). Премудрая чувствует необходимость особенных законов для городских жителей, для определения их прав и выгод (393), для ободрения их промышленности и трудолюбия. Каждая мысль ее о сем предмете есть важная истина для законодателей. „Торговля бежит от притеснений и царствует там, где она свободна; но свобода не есть самовластие торгующих в странах вольных; например, в Англии они всего более ограничены законами (к этому положению Карамзин дает собственное примечание: ‘О свободе торговой можно сказать то же, что о свободе политической: она состоит не в воле делать все полезное одному человеку, а в воле делать все невредное обществу’), но законы эти имеют единственную целию общее благо торговли, и купечество в Англии процветает (317–322)“. — Сей же род людей прославляет государство науками (377), имеющими влияние и на благо других состояний.

Цветущие села и города должны быть безопасны от внешних неприятелей, которые огнем и мечом могут превратить их в гробы богатств и людей: образуется воинское состояние, училище героев, древний источник гражданских отличий, названных правами благородства или дворянства (365). Гражданин, для общего блага жертвующий не только спокойствием жизни, но и самую жизнь, есть предмет государственной благодарности; ее

мера есть мера услуг его, герои, спасители отечества, были везде первыми знаменитыми гражданами, пользовались везде особыми правами (361). Но чем же наградить воина, умирающего на поле славы? Народная признательность изобрела средство быть вечною, награждая отца в сыне: почесть важнейшая мраморных памятников! Итак, право наследственного благородства есть священное для самого рассудка, для самой философии — и полезное для общества: ибо дети знаменитых мужей, рожденные с великими гражданскими преимуществами, воспитываются в долге заслужить их личными своими достоинствами (374). Честь и слава, по словам бессмертного Монтескье, есть семя и плод дворянства. Хотя первым источником оно было издревле одни воинские добродетели; но как правосудие нужно не менее победе для государственного благоденствия, то оно также может быть отличием сего рода людей (368), сих главных стражей отечества вне и внутри его. Но славные права дворян, их не менее славные обязанности всегда ли будут только жребием некоторых счастливых поколений? Нет: добродетель с заслугою сообщают благородство (363) — вещает *Екатерина* — и таким образом открывает путь славы для всех состояний. Что можно приобрести достоинствами, то можно утратить пороками: монархия означает и те и другие. Если человек, который долгое время был для сограждан примером нравственного совершенства и любви к отечеству, рукой государя возводится на степень дворянства: то можно ли стоять на ней изменнику, вероломному, лживому свидетелю? Он свергается в толпу народную, где гражданское правосудие знаменует его стыдом и бесчестьем (371)...

Предложив в сем *Наказе* самую лучшую основу для политического образования России, *Екатерина* заключает его священными, премудрыми мыслями, которые, подобно Фаросу, в течение времен должны остерегать все монархии от политического кораблекрушения. Сограждане! да обновится внимание ваше: се глас вечной судьбы, открывающей нам причину государственных бедствий!

„Империя близка к своему падению, как скоро повреждаются ее начальные основания; как скоро изменяется дух правления, и вместо равенства законов, которое составляет душу его, люди захотят личного равенства, несогласного с духом законного

повиновения; как скоро престанут чтить государя, начальников, старцев, родителей. Тогда государственные правила называются жестокостию, уставы принуждением, уважение страхом. Прежде имение частных людей составляло народные сокровища; но в то время сокровище народное бывает наследием частных людей, и любовь к отечеству исчезает (502–566). — Что истребило наши две славные династии? говорит один китайский писатель: то, что они, не довольствуясь главным надзиранием, единственно приличным государю, хотели управлять всем непосредственно и присвоили себе дела, которые должны быть судимы разными государственными правительствами. Самодержавие разрушается, когда государи думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку вещей, а переменой оного, и когда они собственные мечты уважают более законов (510–511). — Самое высшее искусство монарха состоит в том, чтобы знать, в каких случаях должно ему употребить власть свою: ибо благополучие самодержавия есть отчасти кроткое и снисходительное правление. Надобно, чтобы государь только ободрял и чтобы одни законы угрожали (513–515). Несчастливо то государство, в котором никто не дерзает представить своего опасения в рассуждении будущего, не дерзает свободно объявить своего мнения (517). — Все сие не может понравиться ласкателям, которые беспрестанно твердят земным владыкам, что народы для них существуют. Но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы живем для нашего народа. Сохрани Боже, чтобы, по совершении сего законодательства, какой-нибудь народ на земле был счастливее российского! Тогда не исполнилось бы намерение наших законов: — несчастье, до которого я дожить не желаю (520)!“».

Заключает Карамзин свою оценку личности идеального образа Екатерины-монархини энергичной хвалебной характеристикой.

«Я верю своему сердцу, — говорит Карамзин, — ваше, конечно, то же чувствует... Сograждане! сердце мое трепещет от восторга: удивление и благодарность производят его. Я лобызаю державную руку, которая, под божественным вдохновением души, начертала сии священные строки! Какой монарх на троне дерзнул — так, дерзнул объявить своему народу, что слава и

власть венценосца должны быть подчинены благу народному; что не подданные существуют для монархов, но монархи для подданных? Мы удивляемся философу, который проповедует царям их должности; но можно ли сравнить его смелость с великодушием самодержавной *Екатерины*, которая, утверждая престол на благодарности подданных, торжественно признает себя обязанною заслуживать власть свою? Ядовитая лесть, которая вьется и шипит вокруг государей, могла ли уязвить такое геройское сердце? Нет! гнусный гад, пресмыкаясь во прахе, не ужалит орла, под небесами парящего!.. И это великое движение пылкой души, эти в восторге произнесенные слова: „сохрани Боже, чтобы какой-нибудь народ был счастливее российского!“ не суть ли излияние и торжество страстной добродетели, которая, избрав себе предмет в мире, стремится к нему с пламенной ревностью и самую жизнь в рассуждении его ни за что считает? Так, *Екатерина* преломила бы скипетр царский, свергла бы венец с главы своей, возненавидела бы власть свою, если бы они не служили ей средством осчастливить россиян!»

Нынешний читатель с его осведомленностью в русской истории может увидеть в последней фразе Карамзина пророчество о том, какое решение своей судьбы примет Александр I в завершение царствования, в которое, как и бабка, он не смог осуществить своих заветных замыслов... Совпадение или откровение?.. Мистика...

Нет сведений о том, прочел ли император «Историческое похвальное слово Екатерине II» и каково было его отношение к нему. Но Карамзину «как знак монаршего благоволения» была пожалована табакерка с бриллиантами.

В воспоминаниях многих москвичей сохранилось ощущение, что не было в Москве более веселого времени, чем первые годы царствования Александра I. Ф. Ф. Вигель проводил лето в подмосковном имении графа И. П. Салтыкова, московского главнокомандующего, Марфине. «Это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее, чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбив друг друга, все русские мечтали только о добре... В первый раз был я совершенно свободен, в самое благоприятное время года, в прекрасном поместье, где жили непринужденно и одни веселости сменялись другими».

В числе «веселостей» в Марфине были и любительские спектакли:

разыгрывались оперы, водевили. Кроме популярной и любимой тогда оперы Паизиелло «Прислужница-хозяйка», музыкальной комедии Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват» и двух комедий Мариво был приготовлен сюрприз хозяину. «Всего примечательнее, — рассказывает Вигель, — была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: „Только для Марфина“, сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом». Текст водевиля не сохранился, за исключением завершающих пьесу куплетов, но, судя по ним, это была изящная, по-водевильному остроумная и веселая игрушка.

В спектакле принимал участие сам Карамзин. Он играл доброго господина — графа Петра Семеновича и режиссировал («учил нас», — сообщает Вигель).

Вигелю тогда впервые довелось говорить с Карамзиным. «Уже был он, — пишет Вигель, — известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но Бог России хранил его; под Его щитом, с кротостию улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно прекрасною цветущею стезею, ведущую его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал... Он был в Москве кумиром всех благородно мыслящих людей и всех женщин истинно чувствительных. В тогдашнее еще чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков вельмож, почти как с равным в обхождении с тридцатилетним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его».

1801 год был, пожалуй, одним из самых счастливых в жизни Карамзина. В этот год в апреле он женился, о чем 24 апреля сообщает брату: «С сердечною радостью уведомляю Вас, что я женился на Елизавете Ивановне Протасовой, которую 13 лет знаю и люблю. Она просит Вашей дружбы, в которой Вы ей, конечно, не откажете. Женитьба не переменила образа моей жизни: я живу в прежних своих небольших комнатах, с тою разницею, что буду чаще дома. Она имеет только 150 душ, но я надеюсь,

что с моим доходом мы проживем год без нужды и с приятностию».

Женитьба Карамзина, человека известного в обществе и литературе, не могла пройти незамеченной. Конечно, она должна была вызвать разговоры; кажется, произошел окончательный разрыв с Настасьей Ивановной; видимо, обсуждали женитьбу Карамзина и в литературных кругах.

В Дружеском литературном обществе, созданном воспитанниками Московского благородного пансиона, в которое входили сыновья И. П. Тургенева и Жуковский, молодой поэт и филолог Андрей Кайсаров прочел свое шуточное «Описание свадьбы г-на К.», в котором представил, каким должен быть этот обряд для писателя-сентименталиста. «Описание...» представляет собой монтаж из отрывков произведений Карамзина и пояснительного текста как будто бы в его духе.

Обряд совершается «в тени липовой рощи» на небольшом холмике, «розмаринами увенчанном».

«На верху холмика стоит миртовая беседка с надписью: „Храм любви“. В ней все просто, но все дышит любовью. Простой дерновый жертвенник, украшенный ландышами и васильками, сооружен посреди ее. На жертвеннике статуя божества, которому посвящен храм сей. По стенам видны изображения Геркулеса, сгорающего от любви к Омфалии; Венеры, млеющей в объятиях Марса; Пенелопы с ее бесконечною тканью и проч. Вход стерегут два купидона с язвительными своими стрелами». Хор пел:

Природа! ты хотела,
Чтоб я ее любил... —

и другие стихи Карамзина.

Карамзин представлялся молодым любителям литературы сентименталистом эпохи «Бедной Лизы», каким он давно уже не был. Наверное, «Описание...» казалось его составителю и слушателям остроумным; о реакции Карамзина ничего не известно.

Женившись, Карамзин не хотел открытой жизни. Из письма брату 26 мая: «Мы к Вам давно не писали оттого, что более трех недель живем в деревне; хотя не далее восьми верст от Москвы, но в городе бываем редко, и то на час. К счастью, время хорошо, а места еще лучше; живем в тишине, иногда принимаем наших московских приятелей, читаем, а всего более прогуливаемся. Я совершенно доволен своим состоянием и благодарю судьбу. Моя Лизанька очень мила, и если бы Вы узнали ее лично, то, конечно бы, полюбили еще более, нежели по одной обязанности родства».

Ему же 31 декабря: «Мы с Лизанькой живем тихо и смирно; я работаю, сижу дома и оставил почти все свои знакомства, будучи весел и счастлив дома».

Елизавета Ивановна понимала, что Карамзин не может существовать без литературной работы, и уговаривала его писать. Памятью того, что она уступила время и внимание мужа, на которые могла бы претендовать, его труду, осталось стихотворение «К Эмили»:

Подруга милая моей судьбы смиренной,
Которую меня Бог щедро наградил,
Ты хочешь, чтобы я, спокойствием усыпленный
Для света и для муз, талант мой пробудил
И людям о себе напомнил бы стихами.
О чем же мне писать? В душе моей одна,
Одна живая мысль; я разными словами
Могу сказать одно: душа моя полна
Любовию святой, блаженством и тобою, —
Другое кажется мне скучной суетою.
Сказав тебе: люблю! уже я все сказал.
Любовь и счастье в романах говорливы,
Но в истине своей и в сердце молчаливы.
...Картина пишется для взора, а не чувства,
И сердцу угодить не станет ввек искусства.
Но если б я и мог, любовью вдохновен,
В стихах своих излить всю силу, нежность жара,
Которым твой супруг счастливый упоен,
И кистию живой и чародейством дара
Все счастье свое, как в зеркале, явить,
Не думай, чтобы тем я мог других пленить.
...Я вкусу знатоков не угожу, мой друг!
Где тут Поэзия? где вымысл украшений?
Я истину скажу: но кто поверит ей?
...чтоб нежный Гименей
Был страстен, и еще сильнее всех страстей,
То люди назовут бессовестным обманом.
История любви там кажется романом,
Где всё романами и дышит и живет.
Нет, милая! любовь супругов так священна,
Что быть должна от глаз нечистых сокровенна;

Ей сердце — храм святой, свидетель — Бог, не свет;
Ей счастье — друг, не Феб, друг света и притворства:
Она по скромности не любит стихотворства.

Осенью 1801 года Карамзин сообщает брату: «Здоровье Лизаньки не перестает меня беспокоить: она дает мне надежду быть отцом; но я очень боюсь за нее».

Полнота семейной жизни, спокойная и интересная работа, с одной стороны, радуют Карамзина; с другой — внушают боязнь лишиться всего этого. «Я благодарю, — пишет он брату 7 января 1802 года, — ежеминутно Провидение за обстоятельства моей жизни, а всего более за милую жену, которая делает меня совершенно счастливым своей любовью, умом и характером. Вам я могу хвалить ее. Бог благословляет меня и с других сторон. *Я через труды свои имею все в довольстве*; желаю только здоровья Лизаньке и себе; желательно, чтобы Бог не отнял у меня того, что имею; *и нового мне не надобно*».

С ослаблением цензуры оживилась книгоиздательская и журнальная деятельность. Несколько московских типографов и книгопродавцев предложили Карамзину возобновить издание журнала.

Карамзин согласился на предложение тогдашнего арендатора Университетской типографии И. В. Попова. В воспоминаниях К. А. Полевого Попову посвящена страничка; он был, пишет мемуарист, «званием купец, по занятиям книгопродавец, типографщик, писатель, ходатай по делам, поверенный питейных откупщиков, некогда студент университета и всегда близкий знакомый многих литераторов и ученых», был знаком он и с Н. И. Новиковым.

Всю вторую половину 1801 года Карамзин готовил материалы для журнала, «Пишу, пишу и все думаю, что мало. Этот журнал требует великих трудов», — писал он Дмитриеву. Полное и четкое представление о характере и программе «Вестника Европы» дает объявление о его подписке на 1802 год, написанное Карамзиным:

«„Вестник“ будет, сообразно с его титулом, содержать в себе главные европейские новости в литературе и в политике, все, что покажется нам любопытным, хорошо написанным и что выходит во Франции, Англии, Германии и проч. Небольшие пиесы можем помещать *целые*, а из *важнейших* книг делать извлечение. Таким образом, лучшие авторы Европы должны быть в некотором

смысле нашими *сотрудниками*, для удовольствия русской публики, а нам остается изображать их мысли, как умеем. Немногие получают иностранные журналы, а многие хотят знать, *что* и *как* пишут в Европе: „Вестник“ может удовлетворить сему любопытству, и притом с некоторою пользою для языка и вкуса. Нам приятно думать, что в Грузии или в Сибири читают самые те пиесы, которые (двумя или тремя месяцами прежде) занимали парижскую и лондонскую публику. Сверх того, в „Вестнике“ будут и русские сочинения в стихах и прозе; но издатель желает, чтобы они могли без стыда для нашей литературы мешаться с произведениями иностранных авторов. Всякий истинный талант, рожденный действовать на умы в своем отечестве, украшать словесность и язык, имеет право требовать себе места в журнале, удостоенном внимания публики: обещаем ему нашу искреннюю благодарность. Мы не *аристократы* в литературе. Смотрим не на имена, а на произведения, и сердечно рады способствовать известности молодых авторов. Желаем и просим также, чтобы нам сообщали всякие любопытные известия из разных мест России, анекдоты, патриотические мысли и замечания... В политическом отделении будут как известия, так и рассуждения; постараемся, чтобы читатели „Русских ведомостей“ не находили его излишним. Не преступая границ благоразумной осторожности, можем брать из английских газет любопытные и забавные анекдоты и проч., и проч. — Наконец скажем, что мы издаем журнал для *всей* русской публики и хотим не учить, а единственно занимать ее приятным образом, не оскорбляя вкуса ни грубым невежеством, ни варварским слогом. Честолюбие наше не простирается далее».

Расчет Попова оказался верным. В январе Карамзин сообщал Дмитриеву: «Пренумерантов немало: около 580; вероятно, что и прибавится». Он был прав: к окончанию подписки количество подписчиков удвоилось, их стало более 1200, по тем временам число огромное.

Несмотря на то, что к сотрудничеству в журнале Карамзин привлек Г. Р. Державина, М. М. Хераскова, И. И. Дмитриева, молодого В. А. Жуковского (в «Вестнике Европы» была напечатана его элегия «Сельское кладбище», с которой началась его поэтическая известность) и других, основная работа легла на самого Карамзина. Кроме стихов и художественной прозы он писал для каждого номера статьи, обзоры

иностранных известий, вел отделы «Смесь» и «Известия и замечания», переводил. «Я набросаю в книжки довольно собственного», — обещал он Дмитриеву в начале 1802 года. Когда же в конце 1803 года он подводил итоги своей работы, то оказалось, что привлеченные им сотрудники давали в журнал преимущественно стихи, из прозы он получил четыре статьи. «Все остальное в прозе, — признавался Карамзин, — писано издателем. Удовольствие читателей казалось мне важнее авторского хвастовства — и для того я не подписывал своего имени под сочинениями». «Вестник Европы» выходил два раза в месяц, нетрудно представить, сколько приходилось работать Карамзину.

Елизавета Ивановна должна был родить в марте. Карамзин с тревогой ожидал родов. «Лизанька не очень здорова», «пожелайте, братец, чтобы март месяц прошел для меня благополучно», — пишет он брату. «Беспокоюсь о Лизаньке, время решительное подходит, и сердце у меня очень дрожит, — делится он своей тревогой с Дмитриевым. — Пожелай, мой милый, чтобы я или сам умер в марте месяце, или был радостным мужем и отцом».

В начале марта Елизавета Ивановна родила девочку. Карамзин пишет брату: «Поздравляю Вас с племянницею Софьею, которая родилась благополучно. Лизанька моя слаба, но, впрочем, слава Богу! хорошо себя чувствует. Вы, конечно, разделите радость мою быть отцом. Маленькая Софья уже забавляет меня как нельзя более. Теперь я всякую минуту занят и матерью, и дочерью».

Пишет он и Дмитриеву: «Я отец маленькой Софьи. Лизанька родила благополучно, но еще очень слаба. Выпей целую рюмку вина за здоровье матери и дочери. Я уже люблю Софью всею душою и радуюсь ею. Дай Бог, чтобы она была жива и здорова и чтобы я мог показать тебе ее, когда к нам возвратишься!»

Но скоро радость сменяется тревогой, а потом и отчаянием. Каждые три-четыре дня он сообщает брату о состоянии жены. 15 марта: «Все беспокоюсь о моей Лизаньке, которая по сие время не может оправиться и очень слаба грудью. Это мешает мне радоваться Вашей племянницею, которая, слава Богу! здорова. Вчера привили мы ей оспу. Говорят, что она очень похожа на меня.

Мы намерены через несколько дней переехать в загородный дом, в надежде, что сельский воздух поможет Лизаньке. Здоровье есть великое дело, и без него нет счастья; а еще прискорбнее, когда болен тот, кого мы более себя любим. Бог видит, что мне всякая собственная болезнь была бы гораздо легче».

Несколько дней спустя (письмо без даты): «Пишу к Вам из деревни, из Свирлова (ныне — Свиблово. — В. М.), где я живу с моею больною Лизанькою, во всегдашнем страдании и горе. Она очень нездорова, и самые лучшие московские доктора не помогают ей. Она день и ночь кашляет, худеет — и так слаба, что едва может сделать два шага по горнице. Я не могу теперь радоваться и дочерью; все мне грустно и постыло; всякий день плачу, потому что я живу и дышу Лизанькою».

Тоже без даты: «Что принадлежит до меня, любезнейший брат, то беспокойство мое о Лизаньке не уменьшается, а увеличивается ежедневно: она час от часу хуже и так слаба, что не могу описать ее состояния; дней пять я, как сумасшедший, тоскую и плачу и еще должен скрывать от нее мою тоску. К несчастью, не могу иметь никакой доверенности к медикам: мне кажется, что они морят ее, а не помогают ей! Но как же теперь и оставить их, когда она уже в таком состоянии? Одним словом, я никогда в жизни не был так несчастлив, как ныне, любя мою Лизаньку во сто раз более самого себя. Что со мною будет, известно одному Богу; но всякий человек перед неприятельскою батареею спокойнее меня. Пожалейте о Вашем бедном брате, который немного просит у судьбы для своего счастья и у которого она грозит отнять все утешение в свете! Простите, милый брат. У меня теперь только одна мысль и одно чувство. С горестным сердцем обнимаю Вас мысленно».

И. И. Дмитриев рассказывал, что, видя безнадежность больной, Карамзин то сидел у ее постели, то бежал к столу, отрываемый срочной журнальной работой, которая была единственным источником содержания семьи.

Елизавета Ивановна скончалась 4 апреля 1802 года.

«С бледным лицом, открытою головою, — рассказывает Бантыш-Каменский, — шел Карамзин около пятнадцати верст (от Свирлова до Донского монастыря), подле печальной колесницы, положив руку на гроб; сам опускал его в могилу; бросил первую горсть земли. Друзья подошли к нему, предлагали ему место в карете. „Оставьте, — отвечал Карамзин, — приходите завтра. Присутствие ваше будет необходимо“. — Он не мог тогда облегчить душевной скорби слезами: она иссушила их!»

Только через месяц он смог написать брату о смерти жены: «Я лишился милого ангела, который составлял все счастье моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ее, не могли знать и моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своем муже. Уже более трех недель я тоскую и плачу, узнав

совершенное счастье для того единственно, чтобы навек его лишиться. Остается в горести ожидать смерти, в надежде, что она соединит два сердца, которые обожали друг друга. Люблю Сонюшку за то, что она дочь бесценной Лизаньки, но ничто не может заменить для меня этой потери. Снова принимаюсь за работу, которая нужна и для Сонюшки, если Бог и ее не отнимет у меня; но прежде работа была мне удовольствием, а теперь быть может только одним минутным рассеянием. Все для меня исчезло, любезный брат; в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела».

Работа стала единственным содержанием жизни и спасительной опорой. Дмитриев рассказывает, что повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» Карамзин «начал писать... во время жестокой болезни своей супруги, посреди забот и душевных страданий, а дописал в первых месяцах ее кончины».

За 1802 и 1803 годы Карамзин издал 48 книжек «Вестника Европы», каждые две недели — номер. Пожалуй, никогда он не работал так много. В эти два года Карамзин как бы подвел итоги своему жизненному опыту: преодолел растерянность от крушения просветительских иллюзий — их заменила основанная на честном наблюдении философия истории, которая не возбуждала такого восторга, как созданная воображением система, но и не приносила таких разочарований.

Отношение к жизни, к людям, к себе стало реалистичнее. Нет, он не потерял веры в просветительские идеалы, в человека, наоборот, укрепился в них. Одна из его политических статей этого времени имеет многоговорящее название: «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». Он понял, что люди и общественная жизнь — не персонажи пьесы, разыгрываемой мечтателем в его воображении его волей, а существующая сама по себе действительность, которая объективно стремится к усовершенствованию, но — увы! — совсем не так прямо и легко, как хотелось бы нетерпеливым философам и реформаторам.

В истории русской журналистики «Вестник Европы» занимает место родоначальника современных толстых журналов. Тип литературного и общественно-политического периодического издания, созданный Карамзиным, оказался столь удачен, что его структура до наших дней не пополнилась новыми разделами и не утратила ни одного.

Высоко ценили журнал Карамзина современники.

Карамзин создал у нас жанр политической публицистики. До него русские газеты печатали лишь сообщения о различных фактах мировой

политики, он же давал критический обзор политических событий, проявляя незаурядный талант аналитика. Его соображения о будущем развитии тех или иных процессов в большинстве случаев оправдывались: так, он точно определил направление внутренней и внешней политики бонапартистской Франции. В его статьях рассыпано множество афористических высказываний, имеющих общее значение, например о политических партиях: «Злой роялист не лучше злого якобинца. На свете есть только одна хорошая партия: друзей человечества и добра. Они в политике составляют то же, что эклектики в философии».

Статьи Карамзина, касающиеся российских дел, отличались продуманной и оригинальной концепцией. Особое внимание он обращает на шаги и меры правительства, направленные к распространению просвещения. В статье «О новом образовании народного просвещения в России», написанной по поводу императорского указа «О заведении новых училищ», он пишет: «Учреждение сельских школ несравненно полезнее всех лицеев, будучи истинным народным учреждением, истинным основанием государственного просвещения». Просвещение необходимо, утверждает Карамзин, чтобы россияне могли «пользоваться... уставами без всяких злоупотреблений и в полноте их спасительного действия», то есть сознательно руководствоваться законами, и поэтому просвещение «есть корень государственного величия, и без которого самые блестящие царствования бывают только личною славой монархов, не отечества, не народа».

В то же время, утверждает Карамзин, для высших классов, которые имеют возможность получать образование и воспитание, необходимо *национальное* воспитание и образование: «Мы знаем первый и святейший закон природы, что мать и отец должны образовать нравственность детей своих, которая есть главная черта воспитания; мы знаем, что всякий должен расти в своем отечестве и заранее привыкать к его климату, обычаям, характеру жителей, образу жизни и правления; мы знаем, что в одной России можно сделаться хорошим русским... Пусть в некоторые лета молодой человек, уже приготовленный к основательному рассуждению, едет в чужие земли узнать Европейские народы, сравнить их физическое и гражданское состояние с нашим, чувствовать даже и самое их превосходство во многих отношениях! Я не боюсь за него: сердце юноши оставляет у нас предметы неяснейших чувств своих; он будет стремиться к нам из отдаления; под ясным небом Южной Европы он скажет: *хорошо; но в России семейство мое, друзья, товарищи моего детства!* Он будет многому удивляться, многое хвалить, но не полюбит никакой страны более

отечества».

«Положим, — пишет Карамзин, — что все Европейские народы с некоторого времени сближаются между собою характером, но различие все еще велико и навсегда останется в свойствах, обычаях и нравах, происходящих от климата, образа правления, судьбы наших предков и других причин, еще не изъясненных философами». Человек, не имеющий национальных корней, национального образования, всюду чувствует себя в какой-то степени чужим: выросший в ином языковом и этническом окружении (имеется в виду французский пансион под Парижем для русских детей. — В. М.), он теряет ощущение России, а «французы, — продолжает Карамзин, — несмотря на то, что вы прекрасно даете чувствовать немое „е“, не признают вас французами».

В своих статьях Карамзин касается многих конкретных проблем и вопросов внутренней политики, но общее направление этих статей проводит заветную мысль: необходимо идти по пути совершенствования, однако не следует торопить события, не следует навязывать своей воли, но, просвещая и объясняя, показывать, что тот или иной шаг благотворен и разумен. «Время подвигает вперед разум народов, — говорит Карамзин, — но тихо и медленно: беда законодателю облететь его! Мудрый идет шаг за шагом и смотрит вокруг себя».

В «Вестнике Европы» Карамзин помещал и статьи о русской литературе и языке: «Великий муж русской грамматики», «О Богдановиче и его сочинениях», и философско-психологические этюды: «О счастливейшем времени жизни», «Мысли о уединении», и очерки о различных сторонах московской жизни: «Путешествие вокруг Москвы», «Записки старого московского жителя», «Известие о бывшем в Москве землетрясении», и большое количество статей по русской истории: «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре», «Известие о Марфе-посаднице», «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича», «Русская старина» и др.

Напечатал Карамзин в «Вестнике Европы» также несколько произведений художественной прозы: повесть «Моя исповедь» — рассказ богатого и знатного шалопая, прошедшего жизнь в мотовстве и разврате и полагающего, что именно так и должен жить дворянин, эта повесть очень близка к русской сатире времен новиковских сатирических журналов;

автобиографическую повесть «Рыцарь нашего времени», в которой он рассказывает о годах своего детства; очерк «Чувствительный и холодный» и одно из главных своих произведений — повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода», которую многие современники ставили выше «Бедной Лизы».

Повесть «Марфа Посадница» рассказывала об одном из самых драматических эпизодов истории вольного русского города Новгорода — присоединении его к Московскому княжеству. История Новгорода, управлявшегося выборными посадниками, была для русских вольнодумцев исполнена животрепещущей актуальности. Идеализируя общественное устройство Новгородской торговой республики, они приписывали новгородцам XI–XV веков свои республиканские идеи и, зачастую вопреки исторической истине, заставляли их действовать в соответствии с собственными представлениями о гражданской доблести.

Карамзин не случайно делает в авторском предисловии к повести оговорку, что только «главные происшествия согласны с историей». «Согласен с историей» сам факт покорения Новгородской республики Иваном III, а также то, что во главе правящей верхушки Новгорода, противившейся присоединению к Московскому княжеству, стояла вдова посадника Марфа Борецкая. Во многом достоверны бытовые детали. Но во всем остальном Карамзин совершенно сознательно идет на нарушение исторической правды: он создает обобщенные образы-типы, сжимает время действия, добиваясь большей художественной выразительности. Карамзин четко разделяет художественное произведение и научный труд. Печатая в том же году в «Вестнике Европы» статью «Известие о Марфе-посаднице», взятую из «Жития святого Зосимы», Карамзин называет свою повесть «сказкой» и противопоставляет ей свидетельства летописца.

Повесть «Марфа Посадница» была последним беллетристическим произведением Карамзина. В статье 1803 года «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре» он замечает: «История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов; для зрелого ума истина имеет особую прелесть, которой нет в вымыслах». Это время наступило для Карамзина в 1803 году.

По его сочинениям и письмам виден путь, которым он шел к серьезным занятиям историей. Во время заграничного путешествия, рассуждая об «Истории» Левека, Карамзин желает иметь «хорошую Российскую Историю», поскольку она не менее занимательна, чем история других стран и народов. С годами художественно-эстетическое отношение к истории сменяется научным интересом, события прошлого интересуют

его уже не только как материал для художественного произведения, но сами по себе. В 1798 году он записывает: «Займусь Историєю. Начну с Джиллиса, после буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона — читать со вниманием и делать выписки, а там примусь за древних авторов, особливо за Плутарха». В 1799 году он пишет Дмитриеву: «В каком состоянии твоя библиотека? Я умножил свою новыми покупками, только не романами, а философскими и историческими книгами», в другом письме сообщает: «Я по уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором».

«Он уже давно занимался происхождением всемирной истории средних времен, — рассказывает в своих воспоминаниях Дмитриев, — с прилежанием читал всех классических авторов, древних и новых; наконец прилепился к отечественным летописям; в то же время приступил и к легким опытам в историческом роде. Таковыми назову: „О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича“, „Путешествие к Троице“, „О бывшей Тайной канцелярии“ и пр. Между тем он часто говаривал мне, что ему хотелось бы писать отечественную историю, но в положении частного человека не смеет о том и думать: пришлось бы отстать от журнала, составляющего значительную часть годового его дохода».

Старчевский пересказывает один из разговоров между друзьями на эту тему — решающий разговор:

«— Так приступай к делу, медлить нечего, — сказал Дмитриев.

— Но я человек частный, — возражал Карамзин, — без содействия правительства не достигну желаемой цели; притом лишусь главных доходов моих, которые приносит мне „Вестник Европы“.

— Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы отечества, — отвечал Дмитриев. — Пиши только в Петербург; я уверен в успехе.

— Тебе все представляется в розовом виде, — сказал Карамзин с досадою.

Долго спорили; наконец Карамзин должен был уступить убедительным доводам друга и сказал:

— Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут!»

Карамзин решил действовать через Михаила Никитича Муравьева — товарища министра просвещения и попечителя Московского университета, поэта, человека, близкого к Александру (в 1780-е годы он преподавал ему

русскую словесность и историю). Он мог со знанием дела судить о замысле Карамзина и о возможностях осуществить этот замысел.

Сам Карамзин принял решение гораздо раньше, чем согласился на уговоры Дмитриева отослать письмо Муравьеву. Письмо было написано в сентябре 1803 года, а еще в июне он писал брату: «Свирлово, 6 июня 1803 г. ...Я нанимаю прекрасный сельский домик, и в прекрасных местах близ Москвы. Бываю по большей части один, и когда здорова Сонюшка, то, несмотря на свою меланхолию, еще благодарю Бога! Сердце мое совсем почти отстало от света. Занимаюсь трудами, во-первых, для своего утешения, а во-вторых, и для того, чтобы было чем жить и воспитывать малютку... Мне хочется до того времени выдавать журнал, пока будет у меня столько денег, чтобы жить без нужды; а там хотелось бы мне приняться за труд важнейший: за Русскую Историю, чтобы оставить по себе отечеству недурной монумент. Но все зависит от Провидения! Будущее не наше...»

До получения ответа из Петербурга в очередном письме брату 13 октября он пишет о том, что будет работать над Историей, как о деле решенном: «Дурное время заставило меня наконец выехать из деревни, где я жил пять месяцев. Не могу вообще жаловаться на свое здоровье, но зрение мое слабеет; это заставляет меня отказаться от журнала; но примусь за Историю, которая не требует срочной работы».

28 сентября 1803 года Карамзин отправил в Петербург письмо Муравьеву:

«Имея доказательства Вашего ко мне благорасположения, а более всего уверенный в Вашей любви ко славе отечества и русской словесности, беру смелость говорить Вам о моем положении.

Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы *принужденною* работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы — одним словом, сочинять Русскую Историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою. Теперь слабые глаза не позволяют мне трудиться по вечерам и принуждают меня отказаться от „Вестника“. Могу и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды. С журналом я лишаюсь 6000 руб. доходу. Если Вы думаете, милостивый государь, что правительство может иметь некоторое уважение к

человеку, который способствует успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение российской публики и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов, то нельзя ли при случае доложить императору о моем положении и ревностном желании написать Историю не варварскую и не постыдную для его царствования? Во Франции, богатой талантами, сделали некогда Мармонтеля *историографом* и давали ему пенсию, хотя он и не писал Истории, у нас в России, как Вам известно, не много истинных авторов. Если галиматья под именем „Корифея“ печатается на счет казны, если перевод „Анахарсиса“ удостоился вспоможения от правительства, то для чего же, казалось бы, не поддержать автора, уже известного в Европе, трудолюбивого и пылающего ревностию ко славе отечества? Хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет, ибо в это время надеюсь управиться с Историею. И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная История и публика не оставила бы меня в нужде. Смею думать, что я трудом своим заслужил бы профессорское жалованье, которое предлагали мне дерптские кураторы, но вместе с должностною, неблагоприятною для таланта.

Сказав все и вручив Вам судьбу моего авторства, остаюсь в ожидании Вашего снисходительного ответа. Другого человека я не обременил бы такою просьбою; но Вас знаю и не боюсь показаться Вам смешным. Вы же *наш* попечитель...

С душевным высокопочтанием имею честь быть, милостивый государь, Вашим покорным слугою.

Николай Карамзин».

31 октября 1803 года последовал именной его императорского величества указ Кабинету: «Как известный писатель, Московского университета почетный член Николай Карамзин изъявил Нам желание посвятить труды свои сочинению полной Истории отечества нашего, то Мы, желая ободрить его в столь похвальном предприятии, Всемилостивейше повелеваем производить ему, в качестве Историографа, по две тысячи рублей ежегодного пенсионна из Кабинета Нашего».

В последнем номере журнала Карамзин напечатал последнюю свою статью «К читателям „Вестника Европы“» — прощальную и

благодарственную:

«Сею книжкою заключается „Вестник Европы“, которого я был издателем. В продолжении его не буду иметь никакого участия.

...Изъявляю публике искреннюю мою признательность. Я работал охотно, видя число пренумерантов. „Вестник“ имел счастье заслужить лестные отзывы самих иностранных литераторов: многие русские сочинения переведены из него на немецкий и французский и помещены в журналах, издаваемых на сих языках.

...Милость нашего императора доставляет мне способ отныне совершенно посвятить себя делу важному и, без сомнения, трудному; время покажет, мог ли я без дерзости на то отважиться.

...Между тем с сожалением удаляюсь от публики, которая обязывала меня своим лестным вниманием и благорасположением. Одна мысль утешает меня: та, что я долговременною работою могу (если имею какой-нибудь талант) оправдать доброе мнение сограждан о моем усердии к славе отечества и благодеяние великодушного монарха».

Глава VII

О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ. 1803–1811

Как ни сильны были печаль и отчаяние Карамзина после смерти Елизаветы Ивановны, ежедневные заботы и время сглаживали, утишали их. Прежде всего, он в полной мере познал новое для него чувство родительской любви. Лето 1803 года он решил снова провести в Свирлове, где был так счастлив и пережил такое горе. Туда его влекли воспоминания о Лизаньке. «Мне, конечно, будет грустно, — сообщает он перед отъездом брату, — но вообще я стал гораздо покойнее...»

«...Я был в великом беспокойстве о моей Сонюшке... теперь она, слава Богу! здорова, и я спокойнее. Находя одно утешение в ней, боюсь и страдаю, как скоро она нездорова. Сделав одну важную потерю, человек уже не уверен ни в чем на земле... Родительское сердце не может быть пусто: когда оно не страдает, то наслаждается. Дай Бог и вам и мне вырастить своих милых».

Из Свирлова в Москву Карамзин вернулся только в октябре, и заставила его это сделать лишь дурная погода.

В Москве жизнь Карамзина текла так же, как в деревне: очень скромная, в работе, с редкими выездами. Старый слуга Карамзина Лука, крепостной Елизаветы Ивановны, рассказывал: «После смерти жены Николай Михайлович нанял домик в Марьиной Роще и поручил Сонюшку Илье (своему крепостному дядьке, который ходил за ним в пансионе Шадена и сопровождал в заграничном путешествии. — В. М.) и мне, он тогда писал „Марфу-посадницу“ и „Лизу-русальницу“ (по народным преданиям, утопившаяся девушка становилась русалкой, поэтому Лука так называет „Бедную Лизу“; соединение двух повестей, между написанием которых разница в десять лет, объясняется тем, что тогда Карамзин готовил собрание своих сочинений, в которое они обе входили. — В. М.), издавал также журнал, этим мы и жили. Накормим Сонюшку кашкой, катаем ее в тележке, она у нас прыгает, такая веселенькая. Как, бывало, придет Николай Михайлович, не нарадуется».

С этим же Лукой связан анекдот, рассказанный П. А. Вяземским в «Старой записной книжке», о том, как однажды Карамзин, приехав к кому-то с визитом и не застав хозяина дома, велел своему слуге записать его в

визитном листе, и тот записал: «Карамзин, граф истории».

Пять месяцев деревенского уединения в Свирлове были временем серьезного, спокойного осмысления своего положения и самооценки. Там Карамзин пишет третий философский диалог Мелодора и Филалета «О счастливейшем времени в жизни», заключающий в себе систему его жизненной философии.

«Сравнение определяет цену всего: одно лучше другого — вот благо! одному лучше, нежели другому, — вот счастье!

— Какую же эпоху жизни можно назвать *счастливейшею по сравнению?* — спрашивает Карамзин и отвечает: — Не ту, в которую мы достигаем до физического совершенства в бытии (ибо человек не есть *только* животное), но *последнюю степень физической зрелости* — время, когда все душевные способности действуют в полном развитии, а телесные силы еще не слабеют приметно; когда мы уже знаем свет и людей, их отношения к нам, игру страстей, цену удовольствий и закон природы, для них установленный; когда разум наш, богатый идеями, сравнениями, опытами, находит истинную меру вещей, соглашается с нею желания сердца и дает жизни *общий характер* благоразумия. Как плод дерева, так и жизнь бывает всего сладостнее *пред началом* увядания.

...В сие же время действует и торжествует Гений... Ясный взор на мир открывает истину, воображение сильное представляет ее черты живо и разительно, вкус зрелый украшает ее простотою, и творения ума человеческого являются в совершенстве, и творец дерзает, наконец, простирать руку к потомству, быть современником веков и гражданином вселенной. Молодость любит в славе только шум, а душа зрелая справедливое, основательное признание ее полезной для света деятельности. Истинное славолубие не волнует, не терзает, но сладостно покоит душу, среди монументов тления и смерти открывая ей путь бессмертия талантов и разума: мысль, утешительная для существа, которое столько любит жить и действовать, но столь недолговечно своим бытием физическим!

Дни цветущей юности и пылких желаний! Не могу жалеть о вас! Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было в сей бурной стремительности чувств к беспрестанным наслаждениям, которая бывает мукою;

его нет и теперь для меня в свете, но не в летах кипения страстей, а в полном действии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни единообразной, успокоенной, хотел бы сказать я солнцу: *остановись*, если бы в то же время мог сказать и мертвым: *восстаньте из гроба!*»

Другую статью того времени, посвященную воспитанию юношества, Карамзин заключает глубоко личными размышлениями, рожденными собственным жизненным опытом: «Будем несчастливы, когда угодно Провидению отнимать у нас радости, но останемся на феатре до последнего действия — останемся в училище горести до той минуты, как таинственный звонок перезовет нас в другое место! — А вы, молодые люди, в несчастиях и в потерях своих не обманывайте себя мыслию, что рана ваша неисцелима: нет! юное сердце, пылая жизнью, излечается от горести собственною внутреннею силою, и сие выздоровление обновляет его чувствительность к удовольствиям жизни. — Иное дело, когда человек, подобно вечернему солнцу, приближается к своему западу: тогда единственно утраты бывают невозвратимы; но и тогда, чтобы не действовать вопреки плану натуры, не должно умирать для света прежде смерти. Если между гробом и нами нет уже никакого земного желания, если не можем, наконец, быть деятельны для своего счастья, то будем деятельны, хотя для рассеяния, хотя для удовольствия других людей, опираясь на якорь религии, которая, подобно надежде, бросает его человеку в бедствиях, но не обманывает человека так, как надежда, ибо *ничего не обещает ему в здешнем свете!*»

И еще одна статья того времени говорит о возвращении Карамзина к общественной и деятельной жизни — «Мысли об уединении». Карамзин исходит из утверждения, что «человек от первой до последней минуты бытия есть существо зависимое» (то есть общественное, зависимое от общества).

«Временное уединение, — пишет он, — бывает сладостно и даже необходимо для умов деятельных, образованных для глубокомысленных созерцаний. В сокровенных убежищах Натуры душа действует сильнее и величественнее; мысли возвышаются и текут быстрее; разум в отсутствии предметов лучше ценит их, и, как живописец из отдаления смотрит на ландшафт, который должно ему изобразить кистью, так наблюдатель удаляется иногда от света, чтобы тем вернее и живее представить его в картине».

Но, продолжает Карамзин, «человек не создан для всегдашнего

уединения и не может переделать себя. *Люди оскорбляют, люди должны и утешать его.* Яд в свете, антидот там же. Один уязвляет ядовитой стрелой, другой вынимает ее из сердца и льет целительный бальзам на рану... Скажем наконец, что уединение подобно тем людям, с которыми хорошо и приятно видаться изредка, но с которыми жить всегда тягостно уму и сердцу».

В начале февраля 1804 года Карамзин выпустил в свет последние две книжки «Вестника Европы». 18 февраля 1804 года он писал Муравьеву: «Теперь, разделавшись с публикою, занимаюсь единственно тем, что имеет отношение к „Истории...“».

Итак, Карамзин начал работу над «Историей государства Российского» в счастливейшее, говоря его словами, время жизни — время высшего духовного развития.

Его литературная слава после публикации «Марфы Посадницы» находилась в апогее, причем эта слава распространялась не только среди читателей высших сословий, но была поистине всенародной. Выразительным свидетельством этого может служить эпизод, рассказанный поэтом и молодым профессором Московского университета А. Ф. Мерзляковым в письме Андрею Тургеневу:

«Третьего дня был я на гулянье под Симоновом монастырем. Сначала было весело; народ, как море разливное... Осмотрев целый мир, который здесь уместился около монастыря, пошел я к озеру, где утопил Карамзин бедную Лизу. Выслушав, что говорила о ней каждая береза, сел я на берегу и хотел слушать разговор ветров, оплакивающих участь несчастной красавицы. — Натурально погрузился в задумчивость и спал бы долее, если бы не разбудил меня следующий разговор:

Мастеровой (лет в 20, в синем зипуне, одеваясь). В этом озере купаются от лихоманки. Сказывают, что вода эта помогает.

Мужик (лет в 40). Ой ли! брат, дак мне привести мою жену, которая хворает уже полгода.

Мастеровой. Не знаю, женам-то поможет ли? Бабы-то все здесь тонут.

Мужик. Как?

Мастеровой. Лет за 18 здесь утонула прекрасная Лиза. Оттого-то все и тонут.

Мужик. А кто она была?

Мастеровой. Она, то есть, была девушка из этой деревни;

мать-то ее торговала пятинками, а она цветами; носила их в город, то есть...

Мужик. Да почто же она утонула?

Мастеровой. То есть, один раз встренься с нею барин. Продай-де, девушка, цветы! Да дает ей рубль. А она, бае, не надо-де мне. Я продаю по алтыну. Ну! он спросил, то есть, где она живет, да ходил к ней; потом он, то есть, много истряс с нею сумм, то есть, дак и не вздумал жениться! — она с тоски да и бросилась в воду... Да нет, лих, не то еще!.. Он ей и дал, знаешь, на дорогу 10 червонных, то есть; она пошла, да встренься ей ее подружка. Она, то есть, ей деньги и отдала: на-де, ты девять-то отнеси матушке, а десятый возьми себе. — Ну, то есть, пришла сюда, разделась да и бросилась в воду!..

Мужик. Ох, брат, по коже подирает!

Мастеровой. Это, брат, любовь!

Мужик. Любовь! *(Помолчав.)* Да что же, брат, написано ли што ли это?

Мастеровой. Написано, как же, продается книжка, называется как-то, „Бездельничества“ ли, што ли, право, не помню. Прекрасная, брат. Как луги-та там называют, как озера-та, то есть! Ну вот невесть как сладко. Мы, знаешь, золотим коностас в монастыре, дак нам монах дал почитать этой книжки! Я ее и сам теперь купил, и не жаль, брат!

Что может быть слаще для г. Карамзина? Что лучше сего панегирика? Мужики, мастеровые, монахи, солдаты — все о нем знают, все любят его!.. Завидую, брат».

Карамзин создал свое направление в литературе. Сентиментализм не только укрепился, но и начал расширяться: у Карамзина появились последователи и подражатели, фактически вся молодая литература пошла по карамзинскому пути. Почти половина авторов, печатавшихся в «Аонидах» и «Вестнике Европы», принадлежала к числу сторонников Карамзина: В. В. Измайлов, В. Л. Пушкин, Панкратий Сумароков, П. И. Макаров, П. И. Шаликов и др. Среди студентов и молодых преподавателей Московского университета сложилось Дружеское общество любителей литературы, в него входили В. А. Жуковский, А. Ф. Мерзляков, А. Ф. Воейков, братья Тургеневы — сыновья И. П. Тургенева, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов. Впоследствии именно в нем зародилось оставившее такой значительный след в истории русской литературы первой четверти XIX

века Арзамасское общество безвестных людей, в которое вошли также П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, Денис Давыдов.

В 1802 году Андрей Иванович Тургенев, считавшийся в кругу молодых университетских литераторов самым одаренным поэтом, сочинил «Надпись к портрету Н. М. Карамзина» и двустихие, в котором выражено отношение их литературного содружества к творчеству Карамзина.

Ты враг поэзии? Его стихи читай —

Твой дух гармонией пленится.

Ты враг людей? Его узнай —

И сердце с ними примирится.

.....

Чтоб зависть возбудить, есть способ нам один:

Пиши как Карамзин.

В то же самое время часть литераторов, в основном старшего поколения, которые не хотели или не могли принять новое направление, заняла враждебную позицию. В сравнительном психологическом этюде «Чувствительный и холодный» Карамзин образу «чувствительного» — Эраста — дал много автобиографических черт.

Эраст был писателем и «скоро обратил на себя общее внимание; умные произносили имя его с почтением, а добрые с любовью, ибо он родился нежным другом человечества и в творениях своих изобразил душу страстную ко благу людей. Призрак, называемый славой, явился ему в лучезарном сиянии и воспламенился его ревностью бессмертия.

Скоро зашипели ехидны зависти, и добродушный автор нажил себе неприятелей. Сии чудные люди, которых он не знал в лицо, бледнели и страдали от его авторских успехов, сочиняли гнусные, ядовитые пасквилы и готовы были растерзать человека, который не оскорбил их ни делом, ни мыслию. Напрасно Эраст вызывал завистников своих писать лучше его: они умели только изливать яд и желчь, а не блистать талантом... Дарования ума всегда оспариваются, и причина ясна: души малые, но самолюбивые, каких довольно в свете, хотят возвеличиваться унижением великих... Эраст... внутренне утешался мыслию, что зависть и вражда умирают с автором и что творения его найдут в потомстве одну справедливость и признательность...»

Наиболее жестокая полемика развернулась по поводу языка и слога Карамзина. В 1803 году известный поэт адмирал А. С. Шишков,

воспитанный на ломоносовской поэтике, напечатал книгу «О старом и новом слог», в которой разобрал и подверг критике нововведения Карамзина.

«Всех, кто любит Российскую Словесность, — начинался трактат Шишкова, — и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающую всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных. Древний словенский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало русского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более произвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие христианские проповедники. Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю?»

Обвинение во французomanии будет долго еще преследовать Карамзина вопреки его действительным взглядам, которые он неоднократно высказывал в опубликованных статьях. Но таково свойство партийной полемики: противники обычно не слышат друг друга и видят перед собой не человека, а созданный их же воображением образ.

И. И. Дмитриев требовал, чтобы Карамзин сам ответил на книгу Шишкова. Карамзин не хотел ввязываться в полемику, но друг настаивал и наконец добился согласия: «Когда привезешь статью?» — «Через две недели». В назначенный срок Карамзин привез довольно толстую тетрадь с ответом, раскрыл ее и начал читать. Дмитриев был удовлетворен статьей. Кончив читать, Карамзин сказал: «Ну, вот видишь, я сдержал свое слово: я написал, исполнил твою волю. Теперь ты позволь мне исполнить свою», — и бросил тетрадь в камин. Отвечали сторонники Карамзина. П. И. Макаров в журнале «Московский Меркурий» за декабрь 1803 года опубликовал обстоятельный разбор книги Шишкова:

«После Ломоносова мы узнали тысячи новых вещей; чужестранные обычаи родили в уме нашем тысячи новых понятий; вкус очистился;

читатели не хотят, не терпят выражений, противных слуху; более двух третей „Русского словаря“ остается без употребления: что делать? Искать новых средств изъясняться. Удержать язык в одном состоянии невозможно: такого чуда не бывало от начала света. Язык Гомера не переменялся ли совершенно? Потомки Периклов, Фокионов и Демосфенов должны, как чужестранцы, учиться тому, которым предки их гремели на кафедре афинской. „Русская правда“ одним ли слогом писана с „Уложением“ царя Алексея Михайловича? Всякий ли француз может ныне понимать Монтеня или Рабле? И должно ли винить писателей века Людовика XIV за то, что они не подражали писателям времен Франциска I или Генриха IV? Должно ли винить Феофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились от своих предшественников, которых сочинитель „Рассуждения о слоге“ предлагает нам теперь в образец? Язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями. Пройдет время, когда и нынешний язык будет стар: цветы слога вянут подобно всем другим цветам».

Карамзин не вступал в спор, потому что он не был ни попугайствующим галломаном, предпочитающим в речи некстати заменять русские слова французскими на манер новомодных щеголей и щеголих — героев сатирических журналов Н. И. Новикова, ни дремучим старовером, держащимся старинных речений только потому, что они старинные. В своей практике он сочетал глубокое уважение к старинному русскому языку и внимательное наблюдение над живой разговорной речью. Кстати сказать, среди аргументов его неприятелей был и такой: Карамзин ничего для совершенствования языка не сделал, просто он пишет, как все говорят в гостиных. В филологическом споре о языке и карамзинисты, и шишковисты в части своих утверждений были правы, в части — неправы; истина заключается в том, что литературный язык является сочетанием традиционной национальной стихии языка и обретением новых слов для новых понятий, причем в принципе не важно, возникает новое слово на основе национального словотворчества или на заимствовании иноязычного корня, который, как правило, приобретает национальные фонетическую и грамматическую формы и теряет свою иноязычность.

Еще в 1795 году в газете «Московские ведомости» в разделе «Смесь» Карамзин опубликовал небольшую заметку, в которой дал свое понимание главного свойства, которым должен обладать «обработанный», как тогда говорили, язык.

«Истинное богатство языка, — объясняет он, — состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых

оним. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для изъяснений главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например, *меч* и *лев*, имеют пятьсот имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств?

В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном не может быть *синонимов*; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не полагаясь на других бывают».

Спор о старом и новом слоге был, по сути дела, отражением происходящего в русском обществе процесса развития общественного мироощущения: от определенности и четкости классицизма к разнообразию, богатству, туманности и многозначительности романтических ощущений.

«Почти отстав, — по его собственному выражению, — от света», Карамзин не перестал бывать в домах, где находил понимание, любовь, умную и интересную беседу. Чуть ли не ежедневно он виделся с Дмитриевым, который, выйдя 30 декабря 1799 года в отставку, поселился в Москве, купив у Красных ворот, в приходе Харитония, деревянный домик. Дмитриев в воспоминаниях пишет о своем первом московском жилище с большой любовью. Он рассказывает, что «переделал его снаружи и внутри сколько можно лучше; украсил небольшим числом эстампов, достаточною для меня библиотекою и возобновил авторскую жизнь... С весны до глубокой осени в хорошую погоду каждое утро и каждый вечер обхаживал я мой садик, занимаясь его отделкою или поправкою; иногда же чтением под густою тению двух старых лип, прозванных Филемоном и Бавкидою. Между тем посвящал часа по два моему кабинету, ездил на дрожках за город любоваться живописными окрестностями или хаживал по разным частям города. Но не проходил ни один день, чтоб я не видался с Карамзиным...»

Этот домик, сгоревший в пожаре 1812 года, и собрания в нем, где «дружба угощала друзей по вечерам», описал Жуковский в стихотворном послании «К И. И. Дмитриеву». Он описал и ветвистую липу, под которой стоял стол, и душистый чай с коньяком, которым потчевал хозяин гостей. Застолье оживлялось «веселым острым словом» самих гостей и, конечно, Карамзина:

Сколь часто прохлажденный

Сей тенью Карамзин,
Наш Ливий-Славянин,
Как будто вдохновенный,
Пред нами разрывал
Завесу лет минувших,
И смертным сном заснувших
Героев вызывал
Из гроба перед нами!
С подъятыми перстами.
Со пламенем в очах...
Казался он пророком,
Открывшим в небесах
Все тайны их священные!

Карамзин часто посещал князя Андрея Ивановича Вяземского. Князь Андрей Иванович был неординарной личностью: умен, образован, знаток и поклонник французских просветителей. Он много путешествовал за границей, жил в Швеции, Германии, Франции, Голландии, Испании, Португалии, Англии, Италии и Швейцарии. По натуре был страстен и решителен, «слыл, как рассказывает его сын П. А. Вяземский, упорным, но вежливым спорщиком: старый и сильный диалектик, словно вышедший из Афинской школы, он любил словесные поединки и отличался в них своею ловкостью и изящностью движений».

Кроме того, его сердце было способно к глубокой и романтической любви. В 1780 году в Ревеле, где тогда стоял полк, которым он командовал, у него был бурный роман с графиней Елизаветой Сиверс, уже помолвленной. Графиня родила дочь и вскоре вышла замуж, оставив ребенка отцу. Девочку назвали Екатериной и дали ей фамилию Колыванова по славянскому названию Ревеля — Колывань. Сначала она воспитывалась у сестры князя с ее детьми, а, женившись в 1786 году, Андрей Иванович взял ее к себе. Князь Вяземский очень любил старшую дочь, после долгих хлопот он удочерил ее, но без права на княжеский титул и фамилию. Его женитьба также была романтична: находясь в Англии, он страстно влюбился в ирландку Дженни О'Рейли, увез ее от мужа в Россию, добился ее развода и сочетался с ней браком против воли родителей, потрясенных таким мезальянсом. Однако брак этот оказался счастливым, от него родились дочь Екатерина и сын Петр.

Московский дом Вяземского, по свидетельствам современников, «был

одним из приятнейших и ежедневно открытых для друзей и многочисленных посетителей», «был средоточием жизни и всех удовольствий просвещенного общества». Несмотря на богатство хозяев, «он был чужд всякой роскоши и не блистал убранством», но зато в нем имелась «обширная и разнообразная библиотека», но и та «служила не предметом роскоши, а необходимого потребления». «Князь Вяземский посвящал ежедневно, до позднего вечера, т. е. до времени обыкновенного съезда гостей, несколько часов на чтение книг исторических, философских и путешествий. Неизменно первый вечерний посетитель мог быть уверен, что найдет его дома, у камина, в больших вольтеровских креслах, с книгою в руке...»

Среди постоянных посетителей Вяземского, наиболее близких ему по взглядам, вкусам и интеллекту, были люди, оставившие более или менее значительный след в истории русской культуры: граф А. Р. Воронцов, граф Н. П. Панин, князь П. В. Лопухин, адмирал Н. С. Мордвинов, князь Я. Р. Лобанов-Ростовский, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, князь А. М. Белосельский-Белозерский (отец Зинаиды Александровны Волконской), граф Л. К. Разумовский, граф Д. П. Бутурлин. «Все путешественники (особенно англичане), — пишет современник, — ученые, художники находили в этом доме русское гостеприимство и прелести европейской разговорчивости». П. А. Вяземский писал, что гости его отца принадлежали к разряду «образованных и разговорчивых в смысле разговора дельного, просвещенного и приятного». Отмечает он также, что при этом в доме «женский элемент господствовал наравне с мужским» и «в сфере умственного соревнования проглядывало между двумя полами истинное равноправие».

О темах и характере разговоров с Вяземским дает некоторое представление письмо Карамзина 1796 года, когда князь Андрей Иванович, назначенный нижегородским и пензенским наместником, жил в Нижнем Новгороде. «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданина в будущей Утопии, — писал Карамзин. — Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства... Когда цветы на лугах Пафосских теряют для нас свежесть и красоту свою, мы перестаем летать зефиром и заключаемся в кабинет для философских мечтаний и умствований, скучных румяному и ветреному юноше, но приятных такому человеку, у которого на лбу холодною рукою времени рисуются уже морщины. Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность или непостоянность красавиц... Отсутствие

Ваше чувствительно в Москве для всех тех, которые имели честь и удовольствие проводить иногда вечерние часы в Вашем доме, приятном для муз, граций, философов и светских людей».

Свои политические теории Вяземский пытался применить на практике в управлении наместничеством, он был уверен в необходимости тех мер, которые предпринимал. «Вы не можете себе представить, сколько злоупотреблений... в общей администрации империи, — писал он в письме А. Р. Воронцову, одному из наиболее близких приятелей. — При всем ни одного верного правила, ни одного закона, точного в своих подробностях там, где подробности не только в высшей степени нужны, но совершенно необходимы ввиду того, что без ясного их выражения можно почти безнаказанно притеснять ту несчастную часть, которая нас питает, одевает, помещает и защищает». Однако в этом он не нашел поддержки.

О Вяземском-наместнике пишет в своих воспоминаниях служивший тогда пензенским вице-губернатором известный поэт князь И. М. Долгоруков, автор популярного тогда стихотворения «Авось», в котором он воспевал это истинно «русское, милое, простое» слово, которое «всему и всем подпора», поэтому вполне понятно, что он не разделял англomanских увлечений Вяземского. «Самовластен, спесив и горяч до бешенства» — так характеризовал его Долгоруков и далее изобразил «в двух различных видах», в которых его знал. Первый вид — «с приятной стороны»: «человек светский, весьма приятного обращения», образованный, острый, «к нему съезжались лучшие люди, вечера его были занимательны»; второй — «с неприятной», административной: «поступки его со всеми чиновниками были таковы, что никто его не возлюбил, и всякий называл его фанфароном — с бесприкладными его теориями и нелепыми затеями ума, испорченного английскими предрассудками. Он хотел в Пензе создать Лондон и, начав с сей точки, что ни делал, что ни писал как начальник русской провинции, все было не у места и некстати».

В царствование Павла Вяземский вышел в отставку, поселился в Москве и занялся строительством в своей подмосковной деревне — Остафьеве. В эти годы отношения Вяземского и Карамзина становятся более близкими и дружескими. Из посетителя общих вечеров Карамзин превратился в особенно желанного гостя. П. А. Вяземский, в то время мальчик, вспоминает, что они с младшей сестрой сердились на него: «В те редкие вечера, когда салоны наши не переполнялись посетителями, а было два-три человека, иногда и никого, отец оставлял нас, детей, ужинать с собою, обыкновенно в одиннадцатом часу. Понятно, что эти дни дорого ценились нами. Не знаю, по какому случаю и по каким соображениям,

Карамзин бывал гостем нашим именно в эти исключительные дни. Отец был великий устный следователь по вопросам метафизическим и политическим; сказывали мне, бывал он иногда и очень парадоксальный, но блестящий спорщик. Беседы и прения его с Карамзиным длились без конца. В ожидании вожделенного ужина мы дремали в соседней комнате, а ужин был все отлагаем позднее и позднее».

Осенью 1803 года Карамзин заметил, что его влечет в дом Вяземских не столько беседа с князем, сколько желание видеть старшую дочь Вяземского, Екатерину Андреевну. Он был старше ее на 14 лет: ему — тридцать восемь, ей — двадцать четыре. Екатерина Андреевна, как догадывался Карамзин, была влюблена в него. Ему все чаще вспоминался странный сон, который он увидел незадолго до кончины Лизаньки. Однажды, утомленный, умученный бессонницей, он уснул и увидел сон: он стоит у вырытой могилы, а на другой стороне — Екатерина Андреевна и подает ему руку...

В декабре 1803 года Карамзин сообщает о предстоящей женитьбе на Екатерине Андреевне другу юности, с которым подружился в Париже во время путешествия, барону Вильгельму фон Вольцогену. «После того, как в течение 18 месяцев я был погружен в глубочайшую печаль, я открыл, что сердце мое еще чувствительно к радости любить и быть любимым. Молодая девушка, прекрасная и добрая, обещала любить меня, и я через несколько недель надеюсь стать ее супругом. Будучи уверен в Вашей дружбе, я уверен также в участии, которое Вы примете в этой перемене моей судьбы. Я осмеливаюсь еще надеяться на счастье; Провидение довершит остальное. Я знаю, я мог бы лишь медленно угасать, не имея такой привязанности. Моя первая жена меня обожала; вторая же выказывает мне более дружбы, и этого мне достаточно...»

С Вольцогеном Карамзин более откровенен, чем с кем бы то ни было. 10 февраля 1804 года, месяц спустя после венчания, он пишет ему: «Я вверил ей свою судьбу и надеюсь, что не пожалею об этом никогда. Да, дорогой мой барон, литератор, привязанный занятиями к своему очагу, живее других чувствует необходимость в нежной и верной подруге». И еще два месяца спустя, в апреле, вновь подтверждая правильность выбора, он элегически размышляет: «Да, милый барон, я должен лишь благодарить Провидение за мое теперешнее положение, в котором мне почти нечего желать. Милая и нежная супруга, и добронравная — настоящее сокровище в этом мире... Разочаровавшись в иллюзиях, которые манят в юности, человек учится ценить домашнее счастье как самое истинное из всех радостей. Однако и мне бывает подчас грустно. Я никогда не смогу ни

забыть мою первую жену, ни думать о ней без умиления. Блажен тот, кто может смотреть на могилы, не вспоминая о счастии, ими похищенном! Воспоминания заставляют нас беспокоиться о тех благах, которыми мы еще располагаем. Можно преодолеть страх смерти, но как не бояться ее власти над всем, что нам дорого?..»

О Екатерине Андреевне известно немного, она как бы растворилась в славе мужа. К сожалению, нет ее портрета в молодые годы, имеется только описание Ф. Ф. Вигеля. Она была красива одухотворенной и спокойной красотой. «У Вяземских увидел я в первый раз Екатерину Андреевну Карамзину и был ей представлен... — вспоминает Вигель. — Что мне сказать о ней? Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости...»

Близкий друг А. И. Вяземского Н. С. Мордвинов, знавший Екатерину Андреевну с детства, поздравляя ее с замужеством, писал: «Господин Карамзин после продолжительного воспевания добродетели и граций сумеет оценить Вас. Писания его всегда обнаруживали нежное сердце и верное разумение красоты и добра; а это прекрасное сочетание находится в Вас...»

Более определенно ее образ вырисовывается в воспоминаниях, изображающих ее в 1830–1840-е годы, уже после смерти Карамзина. Она сумела сохранить в доме атмосферу высокой духовности, которая была при Николае Михайловиче. «После смерти Карамзина, — вспоминает А. Ф. Тютчева, дочь поэта, — весь этот литературный мир продолжал группироваться вокруг его вдовы; так случилось, что в скромном салоне Е. А. Карамзиной в течение более двадцати лет собиралась самая культурная и образованная часть русского общества».

А. И. Кошелев пишет о ней: «Сама Карамзина была женщина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца доброго, хотя, по-видимому с первой встречи, холодного. Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски».

Е. П. Ростопчина в стихотворении, посвященном Е. А. Карамзиной и ее салону, сказала о ней:

...она была меж огненных светил
Звездой мирною, священным вдохновеньем!..

Из воспоминаний П. А. Вяземского известно, что Карамзин имел

соперника, армейского майора Струкова, который сватался к Екатерине Андреевне. Вяземский рассказывает, что они с сестрой были на стороне Струкова, который задабривал их подарками, в то время как Карамзин не обращал на детей внимания.

Правда, сознается Вяземский, вскоре он несколько примирился с Карамзиным, когда тот подарил ему часы. Это были первые часы мальчика, поэтому он запомнил даже слова Карамзина, сказанные при вручении подарка: «Для молодого человека всего нужнее уметь узнать время».

В январе 1804 года состоялась свадьба. По настоянию тестя Карамзин переехал в дом Вяземских в Большом Знаменском переулке.

Только приступив вплотную к «Истории...», Карамзин смог в полной мере оценить всю трудность этой работы. Он не мог и не смел обходить в своем сочинении малоизвестные факты и события, для описания которых требовались дополнительные поиски. Часто оказывалось, что прежние авторы о многом просто не знали, поэтому не указывали даже направлений поисков.

Великолепную характеристику тогдашнего состояния русской истории как науки дает младший современник Карамзина историк М. П. Погодин, который в своей работе должен был преодолевать те же трудности:

«На первом шагу встречаются затруднения, задержки, остановки, а вокруг мрак Киммерийский, зги Божией не видно, хоть глаз уколи. В каком состоянии находилась русская История?

Библиотеки не имели каталогов; источников никто не собирал, не указывал, не приводил в порядок; летописи не были исследованы, объяснены, даже изданы ученым образом; грамоты лежали, рассыпанные по монастырям и архивам; хронографов никто не знал; ни одна часть истории не была обработана — ни история церкви, ни история права, ни история словесности, торговли, обычаев; для древней географии не было сделано никаких приготовлений; хронология перепутана, генеалогией не занимались; нумизматических собраний не существовало; археологии не было в помине; ни один город, ни одно княжество не имели порядочной истории; сношения с соседними государствами покоились в статейных списках; иностранные летописи, кроме греческих, не принимались в соображение, древние европейские путешественники в России едва были известны по слуху; с сочинениями иностранных ученых, в которых рассеяны рассуждения о древней России, никто не

справлялся; ни одного вопроса из тысяч не решено окончательно, ни одного противоречия не согласено.

Что же было сделано? Издано несколько летописей, коими нельзя было пользоваться по отсутствию всякой отчетливости.

Написано несколько „Историй“, удовлетворявших потребностям своего времени; но они не помогали, а увеличивали работу, приводя ученого в сомнение своими прибавлениями и заставляя отыскивать их источники.

Объяснено несколько древних памятников, но без необходимых строгих доказательств.

Положено прочное основание разрешению одного вопроса — о происхождении Руси, и Шлецер только что указал, как надо приниматься за летописи, напечатав первую часть своих толкований на Нестора.

„Российская Вивлиофика“, изданная Новиковым, и ее продолжение — издания Миллера: „Степенная книга“, „Царственная книга“, „Родословная“, „Кенигсбергский Никоновский список Нестора с прод.“, „Новгородская летопись“, сочинения Татищева, критические замечания Болтина, опыты Мусина-Пушкина с помощью Болтина: о „Русской правде“, о Тмутараканском камне, о Мономаховом „Поучении“, о „Слове о полку Игореве“. Вот главные пособия Карамзина».

М. П. Погодин, автор фундаментального биографического труда о Карамзине, человек, относившийся к Карамзину с огромным уважением и любовью, представляет первоначальное отношение Карамзина к труду историка как довольно-таки легкомысленное и изображает с иронией. Поскольку тут соединились в одном лице биограф и профессиональный историк (а известно, как историки относятся к тем, кто вторгается в их, как они полагают, вотчину, главным условием принадлежности к которой считается специальное историческое образование), то Погодин, сообщая факты, дает их объяснение с точки зрения психологии профессора-историка.

«В каком же положении действительно он (Карамзин) находился к своей задаче? — задается вопросом Погодин, приступая к рассказу о Карамзине-историке, и отвечает весьма эмоционально: — Мы видели в Карамзине блистательного литератора, проницательного политического писателя, отличного

журналиста, приятного собеседника, мастера говорить и писать. Но что имел он для „Истории“?

Об деле истории, особенно в отношении к приговорительным, критическим работам, он имел понятия очень поверхностные; классического образования он не получил, и даже собственно ученой подготовки в смысле Шлецера у него не было. Он хотел, прежде всего, сочинить занимательную книгу для чтения; он хотел развернуть приятную, поразительную картину пред взорами своих читателей; распространить в обществе, в народе исторические сведения, доступные прежде только для немногих. Учености у него не было в виду. Он надеялся управиться при одном здравом смысле, живости воображения, при таланте красноречия. — И такие образы, как Рюрик, неизвестный витязь, приплывающий из-за моря в Новгород на княжение, Олег под Константинополем, прибывающий щит к вратам полу плененной столицы, Ольга, принимающая святое крещение от греческого патриарха, Святослав с его удивительными, пиитическими походами, Владимир, завоевывающий веру, Мономах с его поучением, Боголюбский, Мстиславы казались предметами, достойными художественной кисти. А там еще Донской, Св. Сергей, Иоанн III с наследницею Греческой Империи, Грозный, Годунов, Самозванцы!

Какое раздолье для таланта могут представить: норманнские походы, принятие христианской веры, нашествие диких монголов, Куликовская битва, освобождение Москвы от поляков с Пожарским, Мининым, Гермогеном, Ляпуновым, Палицыным, Сусаниным — и Петр, Петр, которому никакая история никого не представляет подобного!

Восхитительные зрелища представлялись воображению!

И как все это легко — материалы готовы, под руками: вот Нестор и его продолжатели, летописи Киевская, Суздальская, Новгородская, Курбский, Палицын... Столбовая дорога проложена Татищевым, Щербатовым, Стриттером, который только что вышел тогда в свет. Миллер, Болтин, Мусин-Пушкин, Бантыш-Каменский дополняют, поясняют. Наконец, иностранные путешественники, с которыми он уже познакомился и сделал опыты, как можно ими воспользоваться! — Стоит только прочесть, как говорил он, разобрать, украсить, уметь

воспользоваться оригинальными чертами, готовыми красками, и весь этот грубый, сырой материал примет совсем другой вид, заговорит душе, взволнует сердце новых читателей, им же сотворенных, друзей „Писем русского путешественника“, „Бедной Лизы“, „Ильи Муромца“, „Замечаний на пути к Троице“!»

Погодин сочиняет воображаемый диалог Карамзина и академика Шлецера, автора обширной монографии о летописи Нестора, считавшейся тогда образцом научного исследования. Приступая к работе над «Историей...», Карамзин не обратился к Шлецеру за советом и благословением, и Погодин полагает, что не обратился, чувствуя свою научную несостоятельность и предполагая, что ответ получит «если не оскорбительный, то неприятный».

На вопрос Карамзина Шлецер, «строгий и пылкий старик», ответил бы, как полагает дипломированный историк Погодин, — «на энергическом языке своем» так: «Вы хотите рубить дерево, на высокой горе стоящее, милостивый государь? А где вы находитесь? У подошвы ее, и спрашиваете у меня, что вам делать. Подниматься в гору, отвечаю я. С Богом! А как подниметесь, ну тогда и начните думать, как рубить дерево». И написавши подобный ответ, разумеется, крепче и язвительнее, сообразно со своим характером, он улыбнулся бы и сказал про себя: «Пусть попытается русский храбрец! Каков! Сочинил „Бедную Лизу“ — да и размахнулся писать „Историю“! „Русскую Историю“!». А Карамзин, по мнению Погодина, «русский человек», видимо сообразив, что школьной премудрости ему в его годы не осилить, думал по-русски: «Утро вечера мудренее. Грозен сон, да милостив Бог, — авось!»

Конечно, Погодин знал, что на авось такой труд, как «История государства Российского», написать нельзя, поэтому разгадку искал в особенном свойстве ума Карамзина.

«В объяснение этого явления, — то есть решения писать „Историю России“, — говорит Погодин, — равно как и в объяснение вообще тех блистательных побед, которые приходилось одерживать Карамзину в непрерывных сражениях с источниками и самыми трудными вопросами истории, нельзя не предположить особенного свойства в уме Карамзина: он обнимал всякий предмет с удивительною легкостью, удерживал его в своем воображении, имел его всегда как будто пред своими

вторыми глазами в совершенном порядке; другими словами, он как будто обладал каким-то внутренним дагеротипом. Ему не нужно было обращаться по нескольку раз к одному и тому же предмету. Раз что-либо прочитав, он присваивал себе навсегда прочитанное: оно отпечатывалось в его сознании. Всякое новое сведение, получаемое им впоследствии, находило себе там принадлежащее ему место между прежними; каким-то таинственным процессом мысли происходила в его уме кристаллизация, — и ему оставалось составившееся таким образом мнение, описание переносить на бумагу и трудиться только над выражением. — Что другой узнавал двадцатилетним опытом, при пособиях бесконечной начитанности, с советами целых факультетов, в ученой атмосфере, то Карамзин схватывал на лету, усматривал сразу, счастливо угадывал».

Однако, несмотря на внешнюю убедительность хода рассуждений Погодина, он был неправ. В его представлении вставал Карамзин — автор и герой «Записок русского путешественника», который в одном из писем из Парижа с юношеской самоуверенностью разрешал проблему создания русской истории. Напомним этот первый план карамзинского исторического труда.

«Нужен только вкус, ум, талант, — утверждает Карамзин. — Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны, — соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что неважно, то сократить... но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело».

Но Карамзина, написавшего эти строки, и Карамзина, приступающего к «Истории России», разделяют 15 лет работы и размышлений, за эти годы он уже приобрел некоторый опыт исторических исследований.

Обращение Карамзина к замыслу создания систематического курса истории России связано с тем, что именно в первые годы XIX века он четко сформулировал свое понимание философии исторического процесса вообще и тезис о своеобразии его конкретного проявления в истории каждого народа.

Его статья 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости» стала выражением той нравственной идеи патриотизма, во имя осуществления которой он приступал к работе над «Историей государства Российского».

Карамзин анализирует чувство любви к отечеству, его природу:

«Любовь к отечеству может быть *физическая, моральная и политическая*. Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов, есть дело природы и должна быть названа *физическою*. Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом... Лапландец, рожденный почти в гробе природы, несмотря на то, любит хладный мрак земли своей. Переселите его в счастливую Италию: он взором и сердцем будет обращаться к северу, подобно магниту; яркое сияние солнца не произведет таких сладких чувств в его душе, как день сумрачный, как свист бури, как падение снега: они напоминают ему отечество! — Самое расположение нерв, образованных в человеке по климату, привязывает нас к родине... Всякое растение имеет более силы в своем климате: закон природы и для человека не изменяется».

Далее Карамзин объясняет, что он понимает под *моральной*, или *нравственной*, любовью к отечеству, то есть любовь к соотечественникам:

«С кем мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа их сообразуется с нашею; делается некоторым ее зеркалом; служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается к предметам склонности для сердца. Сия любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, воспитывались и живем, есть вторая, или *моральная*, любовь к отечеству, столь же общая, как и первая, местная, или *физическая*, но

действующая в некоторых летах сильнее: ибо время утверждает привычку. Надобно видеть двух единоплеменников, которые в чужой земле находят друг друга: с каким удовольствием они обнимаются и спешат изливать душу в искренних разговорах! Они видятся в первый раз, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою какими-нибудь общими связями отечества! Им кажется, что они, говоря даже иностранным языком, лучше понимают друг друга, нежели прочих: ибо в характере единоплеменников есть всегда некоторое сходство, и жители одного государства образуют всегда, так сказать, электрическую цепь, передающую им одно впечатление посредством самых отдаленных колец или звеньев».

Высшая степень любви к отечеству, утверждает Карамзин, любовь *политическая*, которая, включая в себя любовь физическую и моральную, обладает еще дополнительными качествами и лишь с ними может назваться *патриотизмом*.

«Но физическая и нравственная привязанность к отечеству, действие натуры и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения, — и потому не все люди имеют его».

Опорой патриотизма Карамзин считает «народную гордость» — гордость отечеством, соотечественниками, обычаями и мнением о себе как о «первом» народе; «так, англичане, — говорит он, — которые в новейшие времена более других славятся патриотизмом, более других о себе мечтают».

«Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; но мне кажется, что мы излишне *смирены* в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.

Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся,

что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью».

Карамзин пишет о том, что учеба у Европы дала России очень много: успешно развилось военное искусство, гражданские учреждения России по своему устройству не ниже европейских; правда, Россия отстала в развитии науки, но лишь потому, что русские менее занимались ею. Он полагает, что мы освоим и эту область, потому что «успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели собственно так называемые науки) доказывают великую способность русских».

В заключение Карамзин обращается к читателям:

«Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного...

Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою...

Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть *сам собою*, чтобы сказать: *я существую нравственно!* Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? что там носят, в чем ездят и как убирают дома? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе человеку и народу, который будет всегдашним учеником!»

В 1801–1803 годах Карамзин напечатал целый ряд исторических статей, которые, по существу, были первыми пробами будущего большого исторического труда, мысль о котором овладела им уже к середине 1801 года.

В письме Вильгельму фон Вольцогену от 1 июля 1801 года Карамзин пишет: я «задумал писать историю моего отечества, которая могла бы быть занимательна и для чужестранцев». Это самое раннее документальное свидетельство о том, что исторический труд, задуманный Карамзиным,

должен быть систематическим курсом.

Исторические работы 1801–1803 годов Карамзин пишет на основе различных исторических источников. «Историческое похвальное слово Екатерине II» основано на официальных печатных документах — указах, распоряжениях, законодательных рекомендациях императрицы, и в первую очередь «Наказе».

«Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» представляют собой по форме описание путешествия, но по сути это работа об историческом значении Сергиево-Троицкой лавры и ее исторических связях с Москвой, с княжеской и царской властью. В этой статье Карамзин анализирует различные документы, относящиеся к жизни и деятельности Бориса Годунова, и делает вывод о том, что необходимо подвергать критике и проверке существующую оценку исторического деятеля, «даже если она утверждена общим мнением». У него вызывает сомнение утвердившаяся в литературе версия об убийстве Борисом Годуновым царевича Димитрия. «Что, если мы клеветем на сей пепел? — спрашивает он перед гробницею Годуновых в Троицкой лавре. — Если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?..»

В статье «О тайной канцелярии» Карамзин исследует историю этого учреждения, оставившего по себе страшную память. Как и всегда, прежде всего он ищет историческую истину. Он опровергает утверждение Шлецера, что Тайная канцелярия уже при своем основании царем Алексеем Михайловичем была карательным органом: тогда она занималась дворцовыми экономическими вопросами, а сыском и наказанием государственных преступников стала заниматься лишь в царствование Петра I. В статье содержится общая характеристика русских летописей, показывающая, что Карамзин уже в то время был их внимательным читателем:

«Летописцы наши не Тациты: не судили государей; рассказывали не все дела их, а только блестящие — воинские успехи, знаки набожности и проч. *Лев не разевал челюстей за такими историками*, и самый ужасный царь Иван Васильевич мог с удовольствием читать описание своих побед, путешествий к Троице и в другие монастыри. Только славный боярин Курбский не утешил бы его своими записками: за то сей достойный муж убрался в Польшу, чтобы оставить нам верное, но едва вероятное изображение государя своего. — Однако ж мы обязаны вечною

благодарностию добрым монахам за русские летописи. Без их труда исчезла бы и память старой Руси; они сохранили, по крайней мере, нить случаев, — и когда время Петра Великого и строгие взятые им меры против монахов отняли у них не только охоту, но и самую возможность продолжать летописи, история наша не обогатилась лучшими собраниями материалов».

Анализу летописного текста посвящена статья «Известие о Марфе-посаднице, взятое из жития св. Зосимы». Карамзин ставит общую проблему: женщина в русской истории — и высказывает пожелание, «чтобы когда-нибудь искусное перо изобразило нам *галерею россиянок*, знаменитых в истории или достойных сей чести».

В статье «Русская старина» Карамзин пересказывает сообщения иностранцев о старой Москве и России, сопровождая их критическим анализом на основании русских источников.

Получив уведомление о назначении его историографом, Карамзин первым делом беспокоится об источниках, нужных для работы, просит — и именным указом получает — разрешение пользоваться государственными архивами и монастырскими библиотеками.

Приступая к работе, Карамзин имел общий план «Истории...» и намеревался довести ее, по крайней мере, до времени Петра I.

В записной книжке начала 1800-х годов есть набросок плана по периодам с примечанием:

«Не следовать Шлецер[овскому] разделению Рос[сийской] Истории»:

«1) Начало, времена язычества, введение Христ. До разделения монархии.

2) До покорения России.

3) Освобождение России. — До времен Роман. — Новое поколение царей.

Преобразование России при государе Петре».

Карамзин отдавал себе отчет, что начатый им труд потребует значительного времени. «В пять-шесть лет, — писал он Муравьеву, — я надеюсь дойти до Романовых, а прежде я не намерен ничего печатать».

В той же записной книжке появляются наброски к предисловию, некоторые из них войдут в написанный 12 лет спустя текст:

«Что Библия для христиан, то История для народов. Опытность научает человека благоразумию: История — народы. Не только удовлетворяет любопытству, не только просвещает ум в правилах государственного блага, но дает им и твердость, и мужество в несчастиях, являя примеры ужасных бедствий, преодоленных великодушием.

1) Любопытство — знать, от чего мы, как — судьбу предков и т. д.

2) Учит благоразумию.

3) Дает бодрость сравнением.

Картина России: ее пределы! ее разноплеменные народы!

Все степени бытия и обычаев, которые только существуют, от жизни дикарей до самого изысканного общества и т. д.

... Это — владения Поэзии и т. п.

Знаю, что нужно беспристрастие Историка; простите, я не всегда мог скрыть любовь к Отечеству: это как необходимость дышать. Но не обращал пороков в добродетели; не говорил, что русские лучше французов, немцев, но люблю их более: один язык, одни обыкновения, одна участь и проч.

Вы желаете читать Историю? Хорошо, но ее чтение можно уподобить долгому путешествию, во время которого вам придется увидеть и бесплодные пустыни. Но и тут холмики, ручеек и растение, интересное для ботаниста.

Народ, презиравший свою Историю, презрителен: ибо легкомыслен — предки были не хуже его».

С того самого дня, как Карамзин приступил к работе над «Историей государства Российского», все в его жизни было подчинено ей. И. И. Дмитриев рассказывал Погодину, что Карамзин «до такой степени углубился в свой предмет, преимущественно на первых порах, что сделался несносным даже для друзей своих. Он ни об чем не мог думать, ни об чем не мог говорить, ничего не мог понимать, — кроме предмета своих занятий. Спал и видел только его, во сне и наяву». Сам же Карамзин писал в декабре 1804 года брату: «Я делаю все, что могу, и совершенно почти отказался от света: даже обедаю с некоторого времени один, не ранее

пятого часа, и нередко лишаю себя удовольствия быть с моею любезною женою. Провидению остается увенчать мой ревностный труд успехами».

Работе был подчинен режим дня. П. А. Вяземский рассказывает:

«Вставал Карамзин обыкновенно часу в 9-м утра, тотчас после делал прогулку пешком или верхом, во всякое время года и во всякую погоду. Прогулка продолжалась час. Возвратясь с прогулки, завтракал он с семейством, выкуривал трубку турецкого табаку и тотчас после уходил в свой кабинет и садился за работу вплоть до самого обеда, т. е. до 3-х или 4-х часов. Помню, одно время, когда он, еще при отце моем, с нами даже не обедывал, а обедал часом позднее, чтобы иметь более часов для своих занятий. Это было в первый год, что он принялся за „Историю...“. Во время работы отдохновений у него не было, и утро его исключительно принадлежало „Истории...“ и было ненарушимо и неприкосновенно. В эти часы ничто так не сердило и не огорчало его, как посещение, от которого он не мог избавиться. Но эти посещения были очень редки. В кабинете жена его часто сживалась за работою или с книгою, а дети играли, а иногда и шумели. Он, бывало, взглянет на них, улыбаясь, скажет слово и опять примется писать».

Так бывало в Москве, так же и в Остафьеве, подмосковной усадьбе князя А. И. Вяземского, где Карамзин жил каждое лето. Погодин описал его кабинет в остафьевском доме: «Кабинет Карамзина помещался в верхнем этаже в углу, с окнами, обращенными к саду; ход был к нему по особенной лестнице. Я был там, в этом святилище русской истории, в этом славном затворе, где двенадцать лет с утра до вечера сидел один-одинехонек знаменитый наш труженик над египетской работою, углубленный в мысли о великом своем предприятии, с твердым намерением совершить его во что бы то ни стало, — где он в тишине уединения читал, писал, тосковал, радовался, утешался своими открытиями, — куда приносились к нему любезные тени Несторов, Сергиев, Сильвестров, Авраимьев, — где он беседовал с ними, спрашивал о судьбах отечества, слышал внутренним слухом вещий их голос и передавал откровения златыми устами своими. Голые штукатуренные стены, выкрашенные белую краскою, широкий сосновый стол в переднем углу под окнами стоящий, ничем не прикрытый, простой деревянный стул, несколько козлов с наложенными досками, на которых раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного

шкапа, ни кресел, ни диванов, ни этажерок, ни пюпитров, ни ковров, ни подушек. Несколько ветхих стульев около стен в беспорядке».

Этапы работы Карамзина над «Историей...» нашли отражение в его письмах разным лицам. В середине 1804 года он сообщает брату: «Пишу теперь *вступление*, то есть краткую Историю России и славян до самого того времени, с которого начинаются собственные наши летописи. Этот первый шаг всего труднее мне, надобно много читать и соображать; а там опишу нравы, правление и религию славян, после чего начну обрабатывать Русские летописи». Но не только первый шаг оказывается трудным; в сентябрьском письме брату он сетует: «Все идет медленно, и на всяком шагу вперед надобно оглядываться назад. Цель так далека, что боюсь даже и мыслить о конце».

В работе над «Вступлением», или «Введением», как назвал Карамзин первый том «Истории...», он отработывал методику, в общем-то, нового для него литературного жанра — исторического труда, причем методику индивидуальную, отвечающую поставленной задаче и складу собственного характера и таланта. Само собой подразумевалось, что «История...» должна быть литературным произведением, а не сухим, ученым, в дурном смысле этого слова, сочинением. Но это должен быть и высоконучный труд, стоящий на уровне современных знаний. С самого начала Карамзин представлял себе общий план всего труда и всегда держал его в памяти; изучая, собирая материалы для конкретной главы или даже эпизода, он одновременно собирает и материалы, которые потребуются в будущем; чтение летописей перемежается с чтением и копированием материалов недавнего прошлого — послепетровских времен: воспоминаний, писем, актов, попадавших к нему случайно, из частных архивов. Уже в начале работы Карамзин строит концепцию развития исторического процесса в России. Со временем она уточняется, совершенствуется, но принципиально не меняется.

Предстояло найти литературную форму для труда. Опубликованные в 1801–1803 годах исторические статьи и очерки, кроме того, что стали опытами работы с историческими источниками, были также и пробами литературной обработки исторического материала. Они очень разные по тону, характеру, степени беллетризации, в них можно обнаружить отдельные элементы, как бы предваряющие стиль «Истории государства Российского», но сложился этот стиль в самом процессе работы над «Историей...».

В предпосланном первому изданию «Истории...» «Предисловии», написанном в декабре 1815 года, Карамзин рассказал о своем подходе к

литературной стороне работы. Он пишет, что есть три рода истории: первая — сочинение современника о современных событиях; вторая — повествующая о недавнем прошлом, основанная на свежих словесных преданиях; и третья — сведения для которой извлекаются только из памятников. Русскую историю до конца XVII века Карамзин относит к третьему роду, так как «только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания: мы слышали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елисавете многое, чего нет в книгах».

Карамзин рассуждает о различиях труда историков — авторов историй трех родов: «В *первой* и *второй* блистает ум, воображение дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда *творит*, не боясь обличения; скажет: *я так видел, так слышал*, — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. *Третий* род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что передали нам современники; молчим, если они умолчали... Древние имели право вымышлять *речи* согласно с характером людей, с обстоятельствами: право неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее... Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как Естественная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть *могло*».

«Что же остается ему (историку), прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? — спрашивает Карамзин и отвечает, вроде бы говоря о литературной обработке труда: — Порядок, ясность, сила, живопись». Ответ может быть наглядным примером мысли о том, что в красоте заключается истина. Карамзин поясняет и развивает свой ответ о художественном творчестве историка: «Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом».

Кроме всего прочего, Карамзин ставил задачу сделать свой труд понятным, интересным и нужным народу. В 1820 году, говоря о

многочисленных ошибках переводов «Истории государства Российского» на западноевропейские языки и о трудности перевода, он замечает: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева, а не для Западной Европы».

Целый год потребовался Карамзину для написания «Введения». Он закончил его в марте 1805 года. Первоначально Карамзин полагал, что «Введение» будет первым томом «Истории...», но в окончательном варианте оно составило первые три главы первого тома.

В связи с окончанием «Введения» Карамзин писал М. Н. Муравьеву: «За приятнейшую должность поставляю себе давать вам отчет в моей работе. Я кончил теперь введение, которое состоит в ответе на вопросы: кто были древние обитатели в России? кто были наши предки славяне, варяги и варяги-Русь? то есть я дошел до времен Рюрика и могу сказать, что этот шаг был самый труднейший. Надлежало сообразить все написанное греками и римлянами о наших странах, от Геродота до Аммиана Марцеллина; все написанное византийскими историками о славянах и других народах, которых история имеет некоторое отношение к Российской. Нелегко было также сообразить все, предложить следствия кратко, просто и ясно; не сказать ничего лишнего, не пропустить ничего существенного; всякое слово основать на историческом свидетельстве и вероятность отличить от действительной истины. Описание физического и нравственного характера древних славян, их правления и веры составит второе отделение, которым уже занимаюсь, выбрав материалы из византийских летописцев и других, однако ж, достоверных авторов. Надеюсь, если буду жив и здоров, кончить эту статью нынешнею зимою; и тогда уже приступлю к действительной Российской Истории, к описанию правления князей варяжских в нашем отечестве. Одним словом, не только единственное мое дело, но и главное удовольствие есть теперь История. Думаю, что Бог поможет мне совершить начатое не к стыду века».

В ноябре 1805 года Карамзин завершил работу над вторым томом, охватывающим время от Рюрика до Владимира Святого и введения христианства (впоследствии оба этих первоначальных тома были объединены в один — первый).

Сообщая М. Н. Муравьеву в марте 1806 года об окончании первоначального второго тома, Карамзин рассказывает о планах будущей работы: «Я кончил второй том, поместив в нем историю времен язычества, от первых князей варяжских до смерти Владимира, и заключив его обозрением гражданского и нравственного состояния древней России. По сию пору все идет изрядно; увидим, что будет далее. Каждая эпоха имеет

свои затруднения. Надеюсь в III томе дойти до Батыея, а в IV до первого Ивана Васильевича; там остается еще написать тома два до Романовых».

Весь 1806 год Карамзин писал третий том, 1807-й — четвертый. «Работа моя, — сообщает он брату осенью 1806 года, — подвигается вперед, хотя и медленно. Ежели буду жив и здоров с моим семейством, то надеюсь зимою дойти до татарского ига. Жаль, что я не моложе десятью годами! Едва ли Бог мне даст довершить мой труд: так много еще впереди».

Осенью 1807 года умер М. Н. Муравьев. Для Карамзина это была тяжелая потеря. В последнее десятилетие Муравьев был, пожалуй, одним из самых близких ему людей. Несколько лет спустя Карамзин подготовил и издал двухтомник его сочинений.

В мае 1808 года Карамзин пишет письмо Н. Н. Новосильцеву — президенту Академии наук, попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, в то время занявшему должность статс-секретаря императора, руководившему его личной канцелярией и делами, подведомственными «непосредственному самому государю усмотрению и разрешению». Фактически это письмо было отчетом Александру.

«Имею несчастье лишиться в Михаиле Никитиче Муравьеве единственного своего покровителя при дворе Его Императорского Величества, прибегаю к Вашему Превосходительству, желая, чтобы Вы как муж просвещенный взяли ободрительное для меня участие в труде моем, посвященном отечеству, и могли при удобном случае сказать государю Императору, что я ревностно исполняю всемилоостивейше возложенную на меня должность Историографа. В том единственно состоит моя покорнейшая просьба.

Теперь позвольте мне прибавить несколько слов о расположении и самых успехах сего титула.

Уже более четырех лет непрестанно занимаюсь сочинением Российской истории и всеми нужными для того разысканиями с тем неусыпным усердием, без коего работа, почти необъятная, не может быть успешна. Прилежное чтение и соображение древних историков и географов, от Геродота до Аммиана Марцеллина, доставило мне способ представить ясно все те сведения, какие греки и римляне имели о странах и народах, составляющих ныне Российскую державу. Готфский историк VI века Иорнанд, византийские и другие летописцы средних времен служили для меня источником в описании любопытных древностей

славянских. Сии две части труда моего составили I том, или Вступление. Во II томе, изобразив древнее состояние России по сказаниям *нашего* летописца, бессмертного Нестора, начинаю „Историю государства Российского“, описывая не только войны, но и все гражданские учреждения, законодательство (часто весьма мудрое) наших предков, нравы, обыкновения, кои образуют характер народов на целые веки. Главный предмет мой есть строгая историческая истина, основательность, ясность, однако ж, стараюсь также писать слогом не слабым, а по возможности приятным. К счастью, найдены мною в Московской патриаршей и в монастырских библиотеках некоторые важные исторические рукописи XIII и XIV века, донныне совершенно неизвестные. Смею утвердительно сказать, что я мог объяснить, не прибегая к *догадкам* и *вымыслам*, многое темное и притом достойное любопытства в нашей истории.

Теперь я заключил IV том — описание нашествия Батыева — и надеюсь, с помощью Божию, года через три или четыре дойти до времен, когда воцарился у нас знаменитый дом Романовых. Тогда осмелюсь повергнуть плоды трудов моих к стопам его Императорского Величества и буду ожидать Высочайшего повеления для обнародования сей „Истории“. В 1809 году Карамзин завершил описание княжения Дмитрия Донского. В середине этого года, разбирая библиотеку покойного коломенского купца П. К. Хлебникова, он обнаружил ценнейший исторический источник — Волынскую летопись, «полную, доведенную до 1297 года, богатую подробностями, вовсе неизвестную» — так характеризовал он свою находку в письме А. И. Тургеневу. «Я не спал несколько ночей от радости. Список прекрасный, четвертого-надесять века. Слог для знатоков любопытный. Одним словом, это сокровище; Бог послал мне его с неба».

Волынская летопись не только дополняла многие известные материалы, но сообщала новые, неизвестные факты, которые по-иному освещали события. Карамзин принялся за исправление и переработку уже написанных томов «Истории государства Российского». «Эта находка, — имея в виду Волынскую летопись, писал он Тургеневу 17 сентября 1809 года, — спасла меня от стыда; но стоила мне шести месяцев работы. Боги не дают, а продают живые удовольствия, как говорили древние».

Во время переработки сложилось новое разделение материала: первый и второй тома были объединены в первый; третий и четвертый стали соответственно вторым и третьим.

За 1810 год к «Истории...» прибавилось немного новых страниц. «В нынешний год, — писал Карамзин брату в сентябре, — я почти совсем не подвинулся вперед, описав только княжение Василия Димитриевича, сына Донского».

В 1811 году Карамзин приступает к эпохе Ивана III — времени, которое его очень привлекало. «Работаю усердно и готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича, — пишет он в августе 1811 года Дмитриеву. — Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь Африканскую, а перед собою величественные дубравы; красивые луга, богатые поля и проч. Но бедный Моисей не вошел в обетованную землю!..»

К весне 1812 года был завершен шестой том — правление Ивана III, и Карамзин перешел к описанию княжения его сына, великого князя Василия Иоанновича.

Решив печатать «Историю...», дойдя «хоть до Романовых», как он не раз говорил, Карамзин не держал своей работы в тайне; он рассказывал о ней и, вспоминая С. Н. Глинка, «охотно читал рукопись свою приятелям и знакомым». Поэтому в обществе о ней знали, она вызывала интерес, а те, кому довелось читать или слышать написанные фрагменты, сообщали об этом своим знакомым и корреспондентам. Характерны в этом отношении отзывы А. И. Тургенева в письмах родным и друзьям. В 1805 году он пишет А. С. Кайсарову: «Карамзин, брат, удивительные сведения имеет в критической Русской истории... Он пользуется Стриттеровой и другими библиотеками. Пишет тихо, не вдруг и работает прилежно, я говорил с ним много и удивлялся его знаниям и усердию»; в 1808 году — брату Николаю: «Вчера был у Карамзина в деревне; восхищался его образом жизни, его семейственным счастьем, наконец, его Историей. Я еще ни на русском, ни на других языках ничего подобного не читал... Какая критика, какое исследование, какой исторический ум и какой простой, но сильный и часто красноречивый слог! Он превзошел себя... Какой порядок в расположении и как он умел пользоваться летописями»; в 1809-м: «Я читал историю К. и радовался, что, наконец, русские имеют или, по крайней мере, скоро будут иметь историю, достойную русского народа. Таковую историю... можно было написать только при материалах и источниках, которые он собрал; но к чести его еще сказать можно, что некоторые его материалы имели и другие... но не умели ими воспользоваться и не нашли в них того, что он

нашел... К. — один из лучших историков этого столетия, считая и прошедшее, которое прославили Шлецеры, Миллеры, Робертсоны и Гиббоны. Он смело может быть наряду с ними».

Впечатление, которое производило чтение Карамзина в разных обществах, кружках, салонах, как правило, было очень сильное. Одно из чтений отрывков из «Истории...» Карамзин описал в письме И. И. Дмитриеву. Чтение происходило в Российской академии. «Читал 80 минут, — сообщает Карамзин, — с начала Академии, как говорят, не бывало такого многолюдного, блестящего собрания. Забыли правило, и раздалось всеобщее рукоплескание... Это меня тронуло... Тут не было ни интриги, ни заговора, ни друзей...» Об этом же собрании в журнале «Сын отечества» дал отчет присутствовавший на нем В. Н. Каразин: «Слушатели были умилены и восхищены чертами великого характера россиян, сильно представленными глубокомысленным, красноречивым историком... Я плакал и видел многих, отирающих слезы».

С 1804 года вся жизнь Карамзина была подчинена работе над «Историей...». П. А. Вяземский рассказывал, что Карамзин соблюдал диету и режим дня «преимущественно с гигиенической целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда».

Карамзин сознательно ограничивает круг общения, отказывается от светской жизни и развлечений. Написав брату в 1804 году: «Занимаюсь только своей доброй женой и русской историей», он затем из года в год повторяет это, с годами добавляются лишь сведения о здоровье детей (в 1804 году родилась дочь Наталья, в 1806-м — Екатерина, в 1807 году — сын Андрей).

Карамзин не отличался крепким здоровьем. С годами недомогания становятся серьезнее. Летом 1805 года он проболел два месяца, в сентябре писал брату: «Вообразите, что с исхода июля по сей час я не принимался за перо для продолжения своей Истории; и теперь еще не пишу. Это мне прискорбно; но я радуюсь своим выздоровлением, как ребенок. В некоторые минуты болезни казалось мне, что я умру, и для того, несмотря на слабость, разобрал все книги и бумаги государственные, взятые мною из разных мест, и надписал, что куда возвратить. Ныне гораздо приятнее для меня снова разобрать их. Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и умеет заниматься без скуки».

Отстав от светской жизни, Карамзин сузил круг общения, но все же этот круг был достаточно широк и, главное, состоял из людей интересных, мыслящих, творческих. Поселившись в доме князя А. И. Вяземского, он

ввел на его вечера своих друзей-литераторов. П. А. Вяземский вспоминает: «Со вступлением Карамзина в семейство наше — русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей».

Занявшись «Историей...», Карамзин перестал писать стихи. После 1803 года им были написаны и опубликованы всего два стихотворения. Первое из них — «Песнь воинов» — относится к 1806 году. Оно создано после неудачной войны 1805 года, которую вела против Наполеона коалиция Англии, России, Австрии, Швеции и Неаполя. В сражениях этой войны — под Шенграбенom, при Аустерлице — русские солдаты и военачальники проявили чудеса храбрости, но война была проиграна из-за бездарности союзного командования и прямого предательства австрийцев, заключивших сепаратный мир. Армия возвращалась в Россию с конфузней. После суворовских побед над наполеоновскими войсками в Италии и Швейцарии кампания 1805 года воспринималась русским обществом особенно остро. В это время Карамзин и пишет стихотворение «Песнь воинов», выражающее веру в силу русской армии и в ее победу в будущих сражениях:

Не знают россы вероломства
И клятву чести сохранят:
Да будет мир тому свидетель!
За галла весь ужасный ад —
За нас же Бог и Добродетель!

Это стихотворение при тогдашних обстоятельствах не могло быть напечатано: между Францией и Россией велись официальные переговоры, причем обе стороны знали, что противоположная сторона готовится к военным действиям. «Песнь воинов» распространилась по России в рукописных копиях.

П. А. Вяземский тогда учился в пансионе в Петербурге; Карамзин прислал ему экземпляр «Песни воинов». «Эта посылка, — вспоминает Вяземский, — меня очень возвысила в глазах моих товарищей».

В апреле 1807 года умер князь Андрей Иванович Вяземский. Сообщая об этом брату, Карамзин писал: «Последняя воля незабвенного князя состояла в том, чтобы жена моя и княжна жили вместе до замужества последней и чтобы я имел попечение о сыне его пятнадцатилетием до его

совершенного возраста. Опекунами для имения назначены другие. Князь, по завещанию, отказал Катерине Андреевне 800 душ нижегородских с условием, чтобы она взяла на себя около 35 000 р. долга. Завещание послано к государю, ибо в нем есть обстоятельства, требующие его утверждения. Ответа еще нет, а, вероятно, и долго не будет по нынешним государственным хлопотам. Мы живем все вместе и составляем одно семейство».

«Люблю его, как брата, и нахожу достойным: он умен и старается приобретать знания» — так характеризовал Карамзин оставленного его попечению князя Петра Вяземского в письме Дмитриеву. Но опека легла на Карамзина нелегким грузом: молодой Вяземский доставлял ему немало хлопот.

В 1805 году, видя, что домашнее обучение не дает достаточных результатов, князь Андрей Иванович отправил сына в Петербург в иезуитский пансион, славившийся серьезностью образования и воспитания. Перед отъездом Андрей Иванович вызвал сына и продиктовал ему его характеристику, объясняющую, почему князю Петру следует стать воспитанником отцов-иезуитов: «Вы не лишены ни ума, ни известного развития, но ветреность Вашего характера делает то, что Вы отвлекаетесь всем, что Вас окружает, сколь бы ни было это незначительным и ничтожным. Леность Вашего ума, это вторая причина Вашего невежества, заставляет Вас скучать и испытывать отвращение к изучаемым Вами предметам в тот момент, когда они требуют особого внимания и прилежания. Пустота и бессодержательность Вашего времяпрепровождения после классов — третья причина Вашего невежества: или Вы повсюду слоняетесь, как дурачок, или Вы занимаетесь такими пустяками, как пускание змея, или другими детскими игрушками. Даже если Вы и берете книгу, то это лишь от скуки и от нечего делать. Старые газеты или серьезное сочинение — это для Вас безразлично, Вы читаете все, что первым попадается под руки».

Год спустя отец перевел его в другой пансион, при Педагогическом институте, где дисциплина была слабее. Петр сблизился с компанией светской молодежи, ходил в театры и маскарады, участвовал в попойках и разных веселых похождениях. Князю Андрею Ивановичу донесли об этом, и он приказал сыну вернуться в Москву.

Склонный к самоанализу, Петр Вяземский в 1807 году пишет литературный автопортрет:

«У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос (я, право,

не знаю хорошенько, какого цвета; так как в этом презренном мире все следует за модой, то я сказал бы, что мой нос слегка розовый). Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица мой рот, щеки и уши очень велики. Что касается до остального тела, то я — ни Эзоп, ни Аполлон Бельведерский!.. У меня чувствительное сердце, и я благодарю за это Всевышнего!.. Потому что, мне кажется, лишь благодаря ему я совершенно счастлив, и лишь одна чувствительность, или по крайней мере она — одно из главных свойств, отличающих нас от зверей... У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным... Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии... Я не глуп, — но мой ум часто очень забавен. Иногда я хочу сойти и за философа, но лишь подумаю, что эта философия не увеличит моего счастья, — скорее наоборот, — я посылаю ее к черту».

Получив наследство, Петр Вяземский пустился в разгульную жизнь, кутил, крупно играл. Впоследствии он так объяснял свое поведение: «Мне нужно было в то время кипятить свою кровь на каком бы то ни было огне, и я прокипятил на картах около полумиллиона». Просьбы Карамзина переменить поведение не имели успеха, единственно, что удалось — это уговорить поступить на службу. Карамзин предполагал, что наследство кончится и придется зарабатывать средства на жизнь. Так оно и получилось: время от времени Карамзин должен был выручать Вяземского; кажется, последней такой заботой были хлопоты о покупке его имения (заложенного и перезаложенного) комиссией по строительству храма Христа Спасителя. В 1824 году Карамзин писал члену комиссии С. С. Кушникову: «Эта продажа может спасти его от совершенного разорения. Теперь трудно найти покупателя на такое значительное имение между людьми частными; а если он не найдет, то у него скоро опишут все имение за неплатеж в Воспитательный дом. Бедственное состояние этого умного, доброго, но беспечного брата нашего считаю нещастием моих преклонных лет».

Вяземский был зачислен в Московскую межевую канцелярию. Фактически он только числился на службе, продолжая прежнюю жизнь, однако по прошествии полугода из юнкеров был произведен в чин титулярного советника. В 1810 году Карамзин выхлопотал ему через И. И. Дмитриева придворное звание камер-юнкера. Таким образом, князю Петру

открывалась возможность служебной карьеры, дальнейшее зависело от него самого.

В начале 1810 года налаженный ритм жизни и работы Карамзина был нарушен. Продали дом Вяземских, чтобы уплатить карточные долги князя Петра. Съезжать пришлось срочно. Карамзин на те полтора-два месяца, которые оставались до начала летнего сезона, поселился в доме своего племянника, сына сестры, С. С. Кушникова, собираясь ранней весной переехать в Остафьево, благо оно осталось непроданным.

Сообщая брату свой новый адрес (дом С. С. Кушникова), он пишет в марте 1810 года: «В наемных домах жить скучно; но малые доходы наши и великая на все дороговизна не позволяют нам купить собственного. Не хочется входить в долги. Цены на все возрастают ежедневно. Не говоря о другом, фунт хорошей говядины стоит теперь 24 коп. Вина также вдвое дороже, хотя их и много. Впрочем, надобно только желать, чтобы не было хуже настоящего. По крайней мере, живем спокойно». В эти годы Карамзин все чаще пишет брату об этом: «Дороговизна у нас и везде возрастает, и мы, не имущие деревень на пашне, ни фабрик, ни заводов, час от часу становимся беднее».

Положение человека, вынужденного жить собственным трудом, выработало у Карамзина особую философию отношения к материальной обеспеченности.

«Он был непримиримый враг расточительности, — пишет П. А. Вяземский, — как частной, так и казенной. Сам он был не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советовать ее и государству. Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не бывал он, что называется, в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой умеренностью, впрочем... чуждой скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество, и покупать что есть лучшее. В первые времена письменной деятельности его, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые („Аониды“ и проч.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и умением.

Можно сказать, что до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 руб. ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна. Впоследствии времени близкие отношения к императору Александру, милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменило этого скромного положения. В отношениях своих с государем он дорожил своею нравственною независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной... Карамзин за себя не просил; другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольствием».

1810 год был очень тяжел для Карамзина: он опять долго и тяжело болел.

В мае умерла шестилетняя дочь Наташа. «Мы лишились своей милой дочери... Я не бьюсь головою об стену, но едва ли когда-нибудь возвращусь в прежнее свое спокойное состояние», — писал он Дмитриеву.

В июле Дмитриев сообщает, что Карамзину пожалован орден, на что Карамзин замечает: «Все это очень хорошо, но милой Наташи нет на свете! Грущу за себя и беспокоюсь за Катерину Андреевну. Она всякий день плачет. Я могу умерять грусть свою работою; а ей гораздо труднее».

Но и работа продвигается не очень успешно. Подводя итоги года, Карамзин жалуется брату: «В нынешний год я почти совсем не подвинулся вперед, описав только княжение Василия Димитриевича, сына Донского. Болезнь моя, несчастные потери и грусть отняли у меня немалую часть моих способностей. Труд, столь необъятный, требует спокойствия и здоровья; не имею ни того, ни другого и делаюсь, к несчастью, меланхоликом. Жаль, если Бог не даст мне совершить начатого к чести и пользе общей. Оставив за собою дичь и пустыни, вижу впереди прекрасное и великое. Боюсь, чтобы я, как второй Моисей, не умер прежде, нежели войду туда. Княжение двух Иванов Васильевичей и следующие времена наградили бы меня за скудость прежней материи».

В конце года Карамзин стал лучше себя чувствовать, вернувшись в Москву после лета, прожитого в Остафьеве. Он обосновался в снятом на год доме Мордвинова на Новой Басманной и начал работать. Пришлось отложить «Историю государства Российского» ради политического, как

назвали бы теперь, сочинения — «Записка о древней и новой России». Причиной и поводом для этого сочинения послужило личное знакомство Карамзина с императорской семьей.

В конце 1809 года на балу Ростопчин представил Карамзина великой княгине Екатерине Павловне, любимой сестре императора Александра. Она была молода, красива, образованна и умна. Наполеон просил у Александра ее руки, но она отказала ему и в начале 1809 года вышла замуж за принца Георга Ольденбургского. Принц был молод, получил образование в Лейпцигском университете, любил литературу и сам писал стихи. В 1810 году они были изданы отдельным сборником; рисунки и виньетки к сборнику сделала Екатерина Павловна. После женитьбы принц Георг был назначен тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором и имел пребывание в Твери.

Екатерина Павловна знала и ценила сочинения Карамзина, а после личного знакомства пригласила его погостить в Твери. Несколько дней спустя Карамзин занимался в Оружейной палате. В сопровождении Екатерины Павловны туда прибыл император. Произошла первая личная встреча Александра I и его историографа. Видимо, разговор ограничился несколькими фразами вежливости. Дмитриев в своих воспоминаниях приводит слышанный им от Александра краткий рассказ об этом: «Мне давно известен авторский талант его, но я виделся с ним только однажды, мимоходом, в Оружейной палате, когда приезжал с сестрою Екатериною Павловною в Москву. Она мне указала его».

В феврале 1810 года Карамзин шесть дней гостил в Твери. Каждый день его приглашали во дворец на обед, а по вечерам он читал главы из «Истории государства Российского». На чтениях присутствовали принц, муж великой княгини, и младший брат императора великий князь Константин Павлович. Как всегда, чтение Карамзина произвело большое впечатление.

По возвращении в Москву он сообщил брату о своей поездке в Тверь: «Они пленили меня своею милостью... Милость ко мне великой княгини, великого князя Константина Павловича и вдовствующей императрицы служит для меня не малым ободрением в моих трудах. От первой я недавно получил весьма лестное письмо. Императрица приказала сказать мне, что она брала участие в моей болезни и завидует великой княгине, которой я читал свою „Историю“. Константин Павлович также отзывается обо мне с отличным благоволением. Пишу к Вам об этом, зная, что Вы, любезнейший братец, участвуете во всем, до меня касающемся».

Второй раз Карамзин гостил в Твери в начале декабря. «Недавно был я

в Твери, — сообщает он об этой поездке брату, — и осыпан новыми знаками милости со стороны великой княгини. Она русская женщина: умна и любезна необыкновенно. Мы прожили около пяти дней в Твери и всякий день были у нее. Она хотела даже, чтобы мы в другой раз приезжали туда с детьми».

Двор великой княгини оказывал довольно значительное влияние на политику Петербурга; император прислушивался к мнениям и советам сестры. «Дней Александровых прекрасное начало», как охарактеризовал А. С. Пушкин первые годы царствования Александра I, ознаменованное попытками либеральных реформ, кончилось разочарованиями: почти ничего из благих намерений осуществить не удалось, в осуществленных же преобразованиях обнаружилось великое множество недостатков. В Твери критиковали политику царя.

Об общем направлении мыслей окружения Екатерины Павловны может дать представление отрывок из письма графа Ростопчина князю Цицианову. «Нет нужды писать тебе об унынии, так сказать, всей России, — писал он в 1806 году. — Неудача, измена немцев, неизвестность о прошедшем, сомнение о будущем, а еще больше рекруты другой год и пагубная зима — все преисполнило и дворянство, и народ явной печалью. Все молчит, одни лишь министры бранятся в совете и пьют по домам. Господи, помилуй! Как я ни люблю мое отечество и как ни разрываюсь, смотря на многое, но теперь очень холодно смотрю на то, что бесило, ибо вижу, что, кроме Бога, никто помочь не может. Все рушится, все падает и задавит лишь Россию. Флота нет. В мирное время, год назад, 4 миллионов дохода не достало; в армии генералов и офицеров нет... Соли в трех губерниях нет, губернаторов мужики бьют, все крадет. До того дошло, что прокуроров определяют немцев, кои русского языка не знают, а государь печется об общем благе и мухе, верно, зла не сделал!»

Образ Александра I, культивируемый в кружке Екатерины Павловны, решительно отделялся от его окружения. Если тех, кто его окружал, во главе со Сперанским, представляли беспочвенными прожектерами, желающими преобразовывать Россию по иностранным политическим образцам и не знающими и не хотящими знать ее действительных условий и нужд, то император рисовался реформатором-мечтателем, желающим добра своему народу, жаждущим слышать слово правды и совета.

Во второе посещение Твери, кроме очередного чтения «Истории...», велись разговоры об исторических законах развития России и ее современном положении. Екатерина Павловна была увлечена ясной логикой и доказательностью рассуждений Карамзина, его исторической

концепцией и взглядами на современные события, как логически вытекающие из прошлого. Она уговорила его изложить их в письменном виде для императора. «Мой брат, — сказала она, — достоин их слышать». Александр I собирался быть в Твери весной будущего года, великая княгиня намеревалась тогда вручить ему трактат Карамзина.

Карамзин загорелся мыслью высказать свои идеи непосредственно государю и, видимо, надеялся быть не только услышанным, но и понятым. По возвращении в Москву он принялся за сочинение, для которого еще в Твери нашел название «Россия в ее гражданском и политическом отношениях». (Впоследствии название было немного изменено и уточнено и получило такой вид: «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях».)

Личное знакомство с императорской фамилией имело и другие последствия: император и великая княгиня сделали несколько попыток привлечь Карамзина на службу. Екатерина Павловна предложила ему занять должность тверского губернатора. Карамзин отказался, сказав, что в таком случае он будет или дурным историком, или дурным губернатором, тем более что не готовил себя к этой должности.

Мысль о привлечении Карамзина на службу владела и Александром I, он намеревался назначить Карамзина министром народного просвещения, однако Сперанский отсоветовал, так как у Карамзина слишком малый чин, и министром был назначен граф А. К. Разумовский. Карамзину предложили место попечителя Московского университета, но он также от него отказался, и место попечителя получил П. И. Голенищев-Кутузов.

В начале 1810 года И. И. Дмитриев по приглашению Александра I вернулся на службу; он был назначен министром юстиции и членом Государственного совета. В июле Карамзин получил от него письмо, в котором сообщалось о том, что император подписал указ о награждении Карамзина орденом Святого Владимира 3-й степени. Дмитриев советовал написать благодарственное письмо государю, рапорт в Сенат, где велся учет прохождения службы и наград, и ласковое письмо М. М. Сперанскому, который-де очень расположен к Карамзину. Карамзин не обольщался насчет внимания Александра и доброго расположения Сперанского, поэтому отвечал Дмитриеву: «От всего сердца благодарю тебя, угадывая, кто выходил мне этот крест. Как лестна мне государева милость, так любезно и действие твоей дружбы».

Вскоре Карамзин получил официальную грамоту о награждении. Кажется, это единственный в истории дореволюционной России случай награждения орденом за литературные заслуги. Впрочем, не имей

Карамзин звания историографа, он вряд ли удостоился бы награды за «словесность».

«Божиею милостию, Мы и пр. Нашему Надворному Советнику и Историографу Карамзину.

Отличные познания и усердие Ваше к распространению Российских изящных письмен и Словесности, наипаче же труды, употребляемые Вами в изысканиях и составлении отечественной нашей Истории, обращают на Вас особенное Наше внимание. В ознаменование оного и в вящее поощрение многотрудных Ваших в сем роде упражнений, признали Мы за благо пожаловать Вас кавалером ордена Св. равноапостольного князя Владимира третьей степени, коего знаки для возложения на Вас при сем доставляются. — Пребываем Императорскою Нашею милостию всегда Вам благосклонный.

Александр.

В С.-Петербурге, Июля 1, 1810 г.».

Карамзин отнесся к награде без особого восторга. Он послал брату копию с грамоты, а в письме написал: «Милость доброго государя мне любезна, хотя лета и печальная опытность прохладили во мне все чувства мирской суетности».

Награждение Карамзина имело одно неожиданное следствие: новый попечитель Московского университета П. И. Голенищев-Кутузов отправил министру просвещения А. К. Разумовскому формальный донос на Карамзина. Собственно говоря, бумагу Кутузова в строгом смысле доносом назвать нельзя, поскольку речь идет о всем известных напечатанных произведениях. Кутузов был масоном старшего поколения, и не так уж трудно обнаружить в его письме министру просвещения те же обвинения, которые предъявляли Карамзину масоны по его возвращении из путешествия, только высказанные более резко, зло и с предложением практических выводов. Конечно, Лопухин, Трубецкой или кто-нибудь из новиковского круга никогда не позволил бы себе защищать свою точку зрения таким способом, но, возможно, они думали о Карамзине нечто подобное.

Кутузов писал министру просвещения:

«Милостивый Государь, Граф Алексей Кириллович!

Имея столь верный случай, решился писать к Вашему сиятельству и о том, чего бы не хотел вверить почте. Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г. Карамзина; Вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинского яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом, его сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для потомства. Государь не знает, какой губительный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Вы не по имени министр просвещения, Вы муж, ведающий, что есть истинное просвещение, Вы орудие Божие, озаренное внутренним светом и подкрепляемое силою свыше; Вас без всякого искания сам Господь призвал на дело Его и на распространение Его света; в плане неисповедимых судеб Его Вы должны быть органом Его истины, вопиющим противу козней лукавого и его проклятых орудий. И Вы, и я дадим ответы пред судом Божиим, когда не ополчимся противу сего яда, во тьме пресмыкающегося, и не поставим оплота сей тлетворной воде, всякое благочестие потопить угрожающей. Ваше есть дело открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия и врага всякого блага и яко орудие тьмы. Я должен сие к Вам написать, дабы не иметь укоризны на совести; если бы я не был попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред Вами, и начальником моим и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во всем Университете, в пансионе читают, знают наизусть, что из этого будет? Подумайте и полечитесь о сем. Он целит не менее, как в Сиесы или в первые консулы — это здесь все знают и все слышат. Я молчу и никому о сем ни слова не писал, не говорил, а к Вам я обязан это сделать. Пусть что хотят, то делают, но об Университетах надобно подумать и сию заразу как-нибудь истребить. Вы меня благоразумнее, опытнее; Вы мудрости и

доброты более меня в тысячу раз преисполнены! Попекитесь о сем. Тут не мое частное благо, а всеобщее! В том Вам сам Господь поможет. Умолять же о том Его милосердие не престанет, и о Вас, яко о благодетеле, тот, который с сердечною привязанностию, глубочайшим почитанием и беспредельною благодарностию есмь и всегда буду милостивого государя Вашего сиятельства преданнейшим и обязательнейшим слугою.

П. Голенищев-Кутузов.

Москва. Августа 10, 1810 г.».

Рассуждения Кутузова не подействовали на министра просвещения, его послание было сдано в архив.

Дмитриев рассказывает о соображении Александра привлечь Карамзина к службе в личной императорской канцелярии — Кабинете. Случай относится к концу 1810 года.

«Однажды он (то есть государь), остановя доклад мой по делам, изволил сказать мне: „Как ты думаешь? Можно ли употребить Карамзина к письмоводству? Разумеется, не с тем, чтобы отвлечь его от настоящего занятия по его званию историографа, но чтоб иногда только поручать ему кабинетскую работу... Я желал бы с ним сблизиться“. — Отвечав на то, что было можно, я осмелился доложить государю, позволено ли будет мне сообщить Карамзину о том, что имел счастье слышать. „С тем-то я и начал речь об нем, — отвечал император, — ты можешь отписать к нему, что я скоро поеду в Тверь для свидания с сестрой; хорошо было бы, если б он к тому же времени туда приехал“».

Екатерина Павловна торопила Карамзина. В середине декабря она писала ему: «Жду с нетерпением „Россию в ее гражданском и политическом отношениях“»; 5 января 1811 года: «С нетерпением ожидаю Вас и „Россию“». В начале февраля Карамзин привез в Тверь «Записку о древней и новой России». «Записка...» получилась объемная — размером около половины тома его «Истории...». Чтение «Записки...» продолжалось несколько дней, так как было прерываемо вопросами. Трактат Карамзина получил одобрение. «„Записка“ ваша очень сильна», — сказала Екатерина

Павловна.

Между тем из Петербурга не было сообщений о том, едет Александр в Тверь или нет. Договорились, что, как только станет известно о точной дате его приезда, великая княгиня тотчас сообщит Карамзину и он сразу выедет из Москвы.

Карамзин писал Дмитриеву 19 февраля 1811 года: «Давно, давно не писал к тебе, и не от лени. Только в нынешнюю ночь возвратились мы из Твери, где жили две недели, как в очарованном замке. Не могу изъяснить тебе, сколь великая княгиня и принц ко мне милостивы. Я узнал их несравненно более прежнего, имел случай ежедневно говорить с ними по несколько часов между наших исторических чтений. Великая княгиня во всяком состоянии была бы одною из любезнейших женщин в свете, а принц имеет ангельскую доброту и знания необыкновенные в некоторых частях. Не отвечаю за будущее, но теперь милостивое ко мне расположение сей августейшей четы составляет одно из главных утешений моей жизни».

Наконец из Твери пришло предварительное письмо от 18 февраля с известием о том, что Александр решил ехать в Тверь. «Так как вы по любезности своей принимаете участие во всем, что до меня касается, — писала Екатерина Павловна, — то я вас уведомляю, что ожидаемое мною с нетерпением письмо пришло ко мне ныне поутру, к совершенному моему удовольствию, потому что оно доказывает вновь совершенство того существа, которое желала бы я, чтобы вы обожали. Он достоин того, и вы согласитесь после того, как его услышите. Стороною услышала я, что он выезжает на будущей неделе, итак, будьте готовы, милостивый государь». Следующее письмо от 8 марта уже было приглашением ехать: «Прибыл курьер от моей матери с известием, что государь выезжает вечером 12-го и будет у нас 14-го. Приезжайте, милостивый государь».

Карамзин с Екатериной Андреевной в тот же день выехал в Тверь.

Глава VIII

ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССИЯ. 1811

Каждая поездка в Тверь выбивала Карамзина из привычной колеи, и он с трудом возвращался, как признавался Дмитриеву, «в свое прежнее мирное состояние духа». От предстоящей же поездки зависело, возможно, вообще все его будущее. Может быть, он получит право сказать, как сказал о себе в «Памятнике» Державин, что он «дерзнул» «истину царям с улыбкой говорить». Но может быть и так, что царь не захочет выслушать его и оборвет... Это вполне вероятно: «император — человек, а люди не любят горькой правды. Тогда... Тогда не придется дописать „Историю“...»

Карамзин с Екатериной Андреевной приехал в Тверь раньше императора, который задерживался. В те два-три дня ожидания разговор постоянно возвращался к «Записке...». «Знаете ли, Николай Михайлович, что я вам скажу, — заявила Екатерина Павловна, — „Записка“ ваша очень сильна».

Говорили не только о содержании «Записки...», но и о том, как ее представить царю. Был избран такой вариант: Карамзин не станет ее читать, просто Екатерина Павловна в удобный момент отдаст ее императору, таким образом, сохранится полная конфиденциальность.

В начале 1811 года императору поступил донос на Карамзина с обвинением его в шпионаже в пользу Франции, и Александр через Дмитриева сделал ему замечание и предупреждение. Карамзин, поняв серьезность положения и чувствуя, что Александр склоняется к тому, чтобы поверить доносу, вынужден был оправдываться.

В 1809 году в Россию приехал молодой французский аристократ шевалье де Месанс граф Делагард. Он имел большой успех в московских гостиных, был словоохотлив и любезен, сочинял и пел романсы, чрезвычайно нравившиеся дамам. Одновременно Месанс много и с одобрением говорил о том, что в Петербурге оживилась работа в масонских ложах, и расспрашивал о московских масонах. У полиции были сведения, что он заслан в Россию как шпион.

19 февраля 1811 года Карамзин пишет Дмитриеву: «Как удивило меня твое письмо *по секрету*. Ради Бога, мой любезный, как можно скорее доложи нашему дражайшему государю, что я сколь восхищен сим знаком его милостивого ко мне расположения, столь удивляюсь несправедливости

московских донесений: я только *один раз* в жизни видел шевалье де Месанс, и он *никогда не бывал у меня в доме*, ибо своею наружностью и тоном мне не понравился, и, получив от меня сухой ответ на свои учтивые фразы, не рассудил за благо ко мне приехать. Как можно доносить к императору столь ложно! Я даже подозреваю тут намерение повредить мне. Друг твой едва ли может быть обманут шпионом. Дом наш есть уже давно монастырь, куда изредка заглядывают одни благочестивые люди, например, гр. Ростопчин, Нелединский, Обрезков, Сушков, гр. Пушкин, бригадир Кашкин, Разумовский, Рябинин, Оболенские. Вот наше общество: как тут замешаться французу! Я же сам почти никуда не езжу; однако ж, слышу, что шевалье Месанс вербует здесь масонов, ссылаясь на петербургскую моду. Прибавь, любезнейший, что французские шпионы никогда не подумают войти в связь со мною: я не фанатик и не плут. Уведомь, когда об этом скажешь государю. Мне больно, что осмеливаются писать к нему столь неосновательно».

Карамзин, конечно, был уверен, что Дмитриев сделает все, чтобы оправдать его в глазах императора, но знал и то, что Александр слушает не одного Дмитриева и у царя может остаться тень подозрения... Об этом думал Карамзин перед встречей с Александром.

Александр прибыл в Тверь 15 марта. В тот же день Карамзин был ему представлен.

На следующий день Карамзин пишет Дмитриеву:

«Любезнейший друг! Вчера имел я счастье быть представлен государю в кабинете ее императорского высочества, моей благодетельницы. Ты знаешь нашего дражайшего монарха еще лучше, нежели я: следственно, нет нужды говорить о редкой доброте его. В первых словах он сказал мне поклон от тебя, прибавив, что тобою весьма доволен во всех отношениях. Было слово об Историческом обществе, и разговор о разных предметах продолжался около часа. Государь изволил много говорить с моею женою, и в кабинете и после обеда; между прочим, звал нас в Петербург, разумеется, только в знак ласки. Нынешний день будем также иметь счастье с ним обедать.

Все это есть следствие милостивого к нам расположения несравненной великой княгини: или оно никогда не переменится, или я буду счастлив менее прежнего, будучи действительно привязан к ней душою и сердцем. Она столь мила, что бранит меня за эту меланхолическую мысль; однако ж, я стою в том, что

непостоянство есть мода здешнего света.

Ты шутишь, думаю, над моею излишнею скромностию: у меня нет секретов. Правда, я не сказал тебе об одном милостивом предложении, это останется до нашего свидания.

Люблю не быть малодушным, однако ж, желаю, чтобы государь выехал отсюда с благоприятным ко мне расположением...

Екатерина Андреевна свидетельствует тебе свое душевное почтение.

Думаю, что еще напишу тебе из Твери...»

В тоне письма чувствуются волнение и неуверенность. Кажется, Карамзин в душе подготавливает себя к тому, что и его настигнет «мода здешнего света» — непостоянство фортуны. Он ищет у Дмитриева поддержки и совета. Видимо, письмо другу помогло ему сосредоточиться, обдумать ситуацию, может быть, представить его ответ.

Александр пробыл в Твери пять дней и в каждый из этих дней виделся с Карамзиным, которого приглашали во дворец на обед, на беседу в кабинете. Карамзин читал главы из «Истории...» и один раз имел довольно длительный разговор с императором: царь развивал свои любимые мысли о необходимости ограничения или даже упразднения самодержавия. Карамзин возражал, приглашая собеседника спуститься с облаков на землю...

На следующий день после отъезда царя Карамзин пишет еще одно письмо Дмитриеву:

«Любезнейший друг!

Вчера мы в последний раз имели счастье обедать с государем, он уехал ночью. Сверх четырех обедов я с женою был два раза у него во внутренних комнатах, а в третий при великой княгине и принце читал ему свою „Историю“ более двух часов, после чего говорил с ним немало — и о чем же? О самодержавии!! Я не имел счастья быть согласен с некоторыми его мыслями, но искренно удивлялся его разуму и скромному красноречию. Сердце мое всегда влеклось к нему, ибо угадывало и чувствовало доброту сего редкого монарха: теперь люблю, уважаю его по внутреннему удостоверению в красоте его души. Дай Бог, чтобы он был счастлив счастьем России, вот первое желание моего сердца, привязанного к нему и к отечеству!

Прощаясь с нами, он вторично звал меня в Петербург и примолвил, что мы не имеем нужды в наемном доме, что дворец Аничковский довольно велик, что великая княгиня, без сомнения, с удовольствием поместит нас в своем доме. Чувствую всю цену его милости. Скажи ему, любезнейший друг, при случае, что я, и по правилам, и по сердцу, предан навеки монарху, столь редкому изящными качествами души.

Последние слова его были: „Что приказываешь к Ивану Ивановичу?“ Великая княгиня хотела даже, чтобы я дал государю письмо к тебе! „На это есть почта“, — сказал я с низким поклоном. Пусть другие забываются: мое дело помнить, что есть государь и что подданный. Он несколько раз говорил со мною о тебе, о твоём здоровье и не хочет верить, чтобы ты когда-нибудь бывал усердным пешеходом.

„Историю“ мою слушал он, кажется, с непритворным вниманием и удовольствием; никак не хотел прекратить нашего чтения; наконец, после разговора, взглянув на часы, спросил у великой княгини: „Угадайте время: двенадцатый час!“ Одним словом, я должен быть совершенно доволен».

Чтение «Истории...» — из пятого тома о Дмитрии Донском и Куликовской битве — и разговор о самодержавии происходили 18 марта, накануне отъезда царя. Это был тот момент, когда Александр, как это было видно, чувствовал к Карамзину искреннюю симпатию, и Екатерина Павловна сочла его наиболее подходящим, чтобы вручить брату «Записку о древней и новой России...». Он унес ее с собой в спальню.

«Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» представляет собой редчайший, может быть, уникальный образец политического сочинения. Как правило, такие трактаты пишутся с заранее заданной целью и с заранее известными выводами, это трактаты-доказательства какой-либо идеи. Карамзин написал трактат-размышление. В выводах он честен и беспощаден даже по отношению к самому себе, когда логика фактов опровергает его собственные идеи. *«Записка» конкретна: она касается России, взаимоотношений российской власти и народа, а не человечества и государства вообще, хотя, конечно, затрагивает общечеловеческие проблемы.*

Карамзин рассматривает процесс функционирования Русского государства на протяжении тысячелетия, выявляет закономерности этого

процесса, его нормальное течение, нарушения и возвращение в норму. Погружение в такую глубину времен дает возможность увидеть именно те тенденции, которые проявляются в течение веков. Когда Карамзин анализирует политическое и гражданское состояние России начала XIX века, он рассматривает его как конкретное проявление многовековых тенденций. Кстати сказать, конкретные проявления общих тенденций при аналогичных нарушениях в разные века оказывались весьма схожи. Почти два века, прошедшие после написания «Записки...», подтвердили справедливость замеченных и отмеченных Карамзиным особенностей российской политической и гражданской жизни. Правда, при этом они подтверждают и расхожую истину: опыт истории ничему не научил российских правителей. Наверное потому, что они просто к нему не обращались, ограничиваясь лишь обвинениями и разоблачениями предыдущего царствования, виною этому их короткая память, куцые знания. Однако попробуем избежать соблазна выбрать из «Записки...» места, которые так приложимы к современному политическому и гражданскому состоянию, что вполне могут быть цитатой из сегодняшней газеты, даже не будем останавливаться на эпитете «деревянные», которым характеризует историк русские деньги, потому, что Карамзин в «Записке о древней и новой России...» писал не о сегодняшней злобе дня, а о том, что было вчера, существует сегодня и, видимо, будет завтра.

«Несть лести в языке моем» — таким эпиграфом, цитатой из псалма, предваряет Карамзин текст «Записки...». Это и программа, и оправдание, потому что в «Записке...» основное место занимает критика. Конечно, Карамзин понимал, что он лично очень рискует, высказывая императору резко отрицательное мнение по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики его правительства и о той страдательной роли, которую играет сам Александр в политических перипетиях. Однако резкость была вызвана необходимостью и желанием быть полезным отечеству в трудное время. Карамзин понимал, что нападение Наполеона на Россию неизбежно, что правительство своими действиями провоцирует Наполеона к войне против России, в то же время ослабляя ее непродуманно осуществляемыми и несвоевременными перед лицом сильного и вероломного врага социальными и государственными экспериментами.

«Настоящее бывает следствием прошедшего, — начинает Карамзин „Записку...“. — Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее». Далее следует обзор истории Российского государства.

Киевская Русь как государство, пишет Карамзин, «во... сто лет

достигла от колыбели до величия редкого... Что произвело феномен столь удивительный в истории? Пылкая, романтическая страсть наших первых князей к завоеваниям и единовластие, ими основанное на развалинах множества слабых, несогласных держав народных, из коих составила Россия...

В XI веке государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность... Пустыни украсились городами, города — избранными жителями; свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством».

Однако затем обширная Русь, усвоившая удельную систему, стала дробиться на мелкие княжества. «Вместе с причиною ее могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество, и благоденствие народа. Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян, — начали презирать их... Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную.

Открылось и другое зло, не менее гибельное. Народ утратил почтение к князьям: владетель Торопца или Гомеля мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей России? Народ охладел в усердии к князьям, видя, что они, для ничтожных, личных выгод, жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый всегда взять сторону счастливейшего или изменить ему вместе с счастьем; а князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей теснить мирных жителей сельских и купцов; сами обирали их, чтоб иметь более денег в казне на всякий случай, и сею политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям-лихоимцам или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью.

В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной... Смелые, но

безрассудные князья наши с горстью людей выходили в поле умирать героями. Батый, предводительствуя полумиллионом, топтал их трупы и в несколько месяцев сокрушил государство. В искусстве воинском предки наши не уступали никакому народу, ибо четыре века гремели оружием вне и внутри отечества; но, слабые разделением сил, несогласные даже и в общем бедствии, удовольствовались венцами мучеников, приняв оные в неравных битвах и в защите городов бранных».

Отмечая, что русские земли были захвачены с одной стороны татарами, с другой — «по самую Калугу» — Литвой, Карамзин говорит: «Казалось, что Россия погибла навеки» — и далее рассказывает о ее удивительном возрождении.

«Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иван Калита, заслужив имя *Собирателя земли Русской*, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира».

Политику Ивана Калиты Карамзин называет «наилучшей по всем обстоятельствам». Первое: он обеспечил безопасность своих подданных от грабежа татар. «Калита первый убедил хана не посылать собственных чиновников за данью в города наши, а принимать ее в Орде от бояр княжеских, ибо татарские вельможи, окруженные воинами, ездили в Россию более для наглых грабительств, нежели для собрания ханской дани. Никто не смел встретиться с ними: как скоро они являлись, земледельцы бежали от плуга, купцы — от товаров, граждане — от домов своих. Все ожило, когда хищники перестали ужасать народ *своим присутствием*: села, города успокоились, торговля пробудилась, не только внутренняя, но и внешняя; народ и казна обогатились — дань ханская уже не тяготила их. Вторым важным замыслом Калиты было присоединение частных уделов к Великому Княжеству. Усыпляемые ласками властителей московских, ханы с детскою невинностью дарили им целые области и подчиняли других князей российских, до самого того времени, как сила, воспитанная хитростью, довершила мечом дело нашего освобождения.

Глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо и единовластие усилить самодержавием...

Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием».

Карамзин прослеживает исторический путь самодержавия в России: величие страны при Иване III, когда «Европа устремила глаза на Россию: государи, папы, республики вступили с нею в дружелюбные сношения», когда Россия «пользовалась важными открытиями тогдашних времен», когда было упорядочено законодательство и когда «политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных или опасных, желая сохранять, а не приобретать».

Карамзин подводит итог этого периода истории России: «Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титуло уже было не княжеское, не боярское, но титуло *слуги царева*. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием, не спорил о правах».

Затем, при Иване Грозном, наступает тяжкое испытание для идеи самодержавия, но худо-бедно авторитет его пока еще держится. «Кроме злодеев, ознаменованных в истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей! Время и расположение умов достопамятное! Нигде и никогда грозное самовластие не предлагало столь жестоких искушений для народной добродетели, для верности или повиновения; но сия добродетель даже не усумнилась в выборе между гибелью и сопротивлением».

Уважение к самодержцу в народе пало, когда царем стал Борис Годунов, «нравственное могущество царское ослабело в сем избранном венценосце», — пишет Карамзин и объясняет это тем, что Годунов не был наследственным, то есть *законным*, монархом: «Народ помнил его слугою придворным». Поэтому так горячо был встречен народом Лжедмитрий, признанный законным наследником.

Однако для самодержца мало называться самодержцем и иметь наследственное право на престол. Судьба Лжедмитрия показала это:

«Но Лжедмитрий был тайный католик, и нескромность его обнаружила сию тайну. Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романтическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до пристрастия и, не зная истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, короля французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ: малочисленная Дума Боярская, служив прежде единственно Царским советом, обратилась в шумный сонм ста правителей, мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Дмитрий вверил внутренние дела государственные, оставляя для себя внешнюю политику; иногда являлся там и спорил с боярами к общему удивлению: ибо россияне дотоле не знали, как подданный мог торжественно противоречить монарху. Веселая обходительность его вообще преступала границы благоразумия и той величественной скромности, которая для самодержавцев гораздо нужнее, нежели для монахов картезианских. Сего мало. Дмитрий явно презирал русские обычаи и веру: пировал, когда народ постился; забавлял свою невесту пляскою скоморохов в монастыре Вознесенском; хотел угощать бояр яствами, гнусными для их суеверия; окружил себя не только иноземною стражею, но шайкою иезуитов, говорил о соединении церквей и хвалил латинскую. Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами святыню своих предков, возложили руку на самодержца».

Но мало того, что Лжедмитрий, нося сан монарха, был убит, его убийством было уничтожено государство: «Сие происшествие имело ужасные следствия для России; могло бы иметь еще и гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!»

Следствием была Смута: «Правительство рушилось, государство погибало». Народ переборол Смуту, потому что «вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее славное восстание народа под знаменами некоторых верных отечеству бояр».

«Все хотели одного — целостности, блага России» и обратились к традиционному государственному устройству — избрали царя, причем в избрании участвовали все сословия.

Время двух первых царей династии Романовых — это восстановление России и ее дальнейшее развитие, время реформ. Преподобный Карамзин, «восточная простота» государственных учреждений «уже не отвечала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом. Учредились в Москве приказы, которые ведали дела всех городов и судили наместников. Но еще суд не имел устава полного, ибо Иоаннов оставлял много на совесть или произвол судящего. Уверенный в важности такого дела, царь Алексей Михайлович назначил для оного мужей думных и повелел им, вместе с выборными всех городов, всех состояний исправить Судебник, дополнить его законами греческими, нам давно известными, новейшими указами царей и необходимыми прибавлениями на случаи, которые уже встречаются в судах, но еще не решены законом ясным, Россия получила *Уложение*, скрепленное патриархом, всеми значительными духовными, мирскими чиновниками и выборными городскими. Оно, после хартии Михайлова избрания, есть доныне важнейший Государственный завет нашего Отечества.

Вообще царствование Романовых — Михаила, Алексея, Феодора — способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иностранцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XVI века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы *нехотя*, применяя все к нашему и новое соединяя со старым».

Отдавая должное деятельности Петра I, целью которого было «новое величие России» и «совершенное присвоение обычаев европейских», его

успехам на этом пути, Карамзин считает нужным обратить внимание читателя и на «вредную сторону его блестящего царствования»:

«Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: „Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого“, — но не сказал: „Противуборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни“. В сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом.

Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходились между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах,

ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.

В течение веков народ обвык чтить бояр как мужей, ознаменованных величием, — поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или на совет к государю. Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо приказов — коллегии, вместо дьяков — секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание».

Вредной ошибкой Петра Карамзин считает то, что он уничтожил патриаршество и фактически «объявил себя главою церкви». В результате церковь попадает в подчинение мирской власти и «теряет свой характер священный: усердие к ней слабеет, а с ним и вера, а с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для Отечества и где Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический».

Также ошибкой Петра называет Карамзин основание новой столицы в нездоровой местности: Петербург «основан на слезах и трупах» и продолжает пожирать «новые жертвы преждевременной смерти».

Но главное — Петр оставил многое недоделанным, незавершенным, а его наследники преследовали не интересы России, а «пользы личного властолюбия». Последующие царствования, «аристократия, олигархия губили отечество». Анна, бироновщина вызвали всеобщую ненависть, и в результате — «лекарь француз и несколько пьяных гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей империи в мире с восклицаниями: *„Гибель иноземцам! несть россиянам!“* Первые времена сего царствования ознаменовались нахальством славной лейб-компании, возложением голубой ленты на малороссийского певчего и бедствием наших государственных благодетелей — Остермана и Миниха, которые никогда не были так велики, как стоя под эшафотом и желая счастья России и Елизавете. Вина их состояла в усердии к императрице Анне и во мнении, что Елизавета, праздная, сластолюбивая, не могла хорошо управлять государством. Несмотря на то россияне хвалили ее царствование: она

изъявляла к ним более доверенности, нежели к немцам; восстановила власть Сената, отменила смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам. Вопреки своему человеколюбию, Елизавета вмешалась в войну кровопролитную и для нас бесполезную...

Ужасные монополии сего времени долго жили в памяти народа, утесняемого для выгоды частных людей и ко вреду самой казны. Многие из заведений Петра Великого пришли в упадок от небрежения, и вообще царствование Елизаветы не прославилось никакими блестящими деяниями ума государственного. Несколько побед, одержанных более стойкостью воинов, нежели дарованием военачальников, Московский университет и оды Ломоносова остаются красивейшими памятниками сего времени. Как при Анне, так и при Елизавете Россия текла путем, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими. Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и, несколько лет говорив по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерились с Парижем, Лондоном, Веною. Но грозы самодержавия еще пугали воображение людей: осматривались, произнося имя самой кроткой Елизаветы или министра сильного; еще пытки и Тайная канцелярия существовали.

Новый заговор — и несчастный Петр III в могиле со своими жалкими пороками... Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, — и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких, — Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца, ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою — победами, законодательством, просвещением. Ее душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, — и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших гражданских состояниях...

Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя

политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победами, — Екатерина приучила ее к нашим победам...»

Однако внешний блеск, внешние победы царствования Екатерины II скрывали за собой нечто противоположное: язвы, разъедавшие государство и общество. Карамзин пишет и об этом:

«Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах — там от примеров Двора любострастного, здесь от выгодного для казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная — порок, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почтение к добродетелям монарха утверждает власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество. Заметим еще, что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет, там засыпало оно и не пробуждалось. В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности; избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: „Мои законы несовершенные, но лучшие для афинян“. Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали

обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия, — не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами. Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государственных — являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности: дремала на розах, была обманываемая или себя обманывала; не видала или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее царствования.

По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время».

Царствование Павла I компрометировало самодержавие, причиной того была личность самого императора.

«Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпенных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святыя обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность Отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унижил чины и ленты расточительностью в

оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники; имея как человек природную склонность к благотворению, питался желчию зла; ежедневно вымышлял способы устрашать людей — и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец — и соорудил гробницу!.. Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иноземцев, россияне боялись даже и мыслить — нет! говорили, и смело!.. Умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу — и не обманывались! Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах: общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности. Вот действия Екатеринына человеколюбивого царствования: оно не могло быть истреблено в 4 года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости.

Россияне смотрели на сего монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней...» В заключение исторического обзора Карамзин пишет о том, что безвластие приносит беды народу и государству, и приходит к выводу, что в каждом заговоре, которым бывает свергнута законная власть и страна ввергнута в бедствие, виновны и заговорщики, и сами властители: «Заговоры суть бедствия, колеблют основу государств и служат опасным примером для будущности. Если некоторые вельможи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии, и должно скоро обратиться в безначалие, которое ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан, а тиран казнит только некоторых. Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать тронem, а Бог, один Бог — жизнь царей!.. Кто верит Провидению, да видит в злом самодержце бич гнева небесного! Снесем его, как

бурю, землетрясение, язву — феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов, ибо тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в государе, коего действительное счастье неразлучно с народным, с правосудием и с любовью к добру. Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!.. Две причины способствуют заговорам: общая ненависть или общее неуважение к властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, правительница Анна и Петр III — жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем Уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян».

Затем Карамзин переходит к современным событиям, разбирая их опять-таки как историк — в общей панораме движения времени:

«Доселе говорил я о царствованиях минувших — буду говорить о настоящем с моею совестью и с государем, по лучшему своему уразумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, т. е. в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением — испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история».

Карамзин понимает и одобряет внутреннее желание Александра законодательно ограничить самовластие, проявившееся отрицательными качествами в Павле, но полагает, что в настоящее время введение таких мер несвоевременно и приведет к дестабилизации положения в государстве.

«В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: „Можно, надобно только поставить закон еще выше государя“. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они — угодники царя, во втором

захотят спорить с ним о власти, — вижу аристократию, а не монархию. Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?»

Пути реального, действенного ограничения самовластия Карамзин видит в ином. Он рассуждает так: если Александр будет царствовать «добродетельно», придерживаясь «законов Божиих и совести», он «приучит подданных ко благу». Такое правление станет народными обычаями и правилами, и его наследники, если и захотят злоупотребить властью, встретят народную ненависть. «Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после государя мудрого — никогда», — заключает Карамзин.

Начиная изложение своих соображений о настоящем положении страны, Карамзин прибегает к авторитету *общественного мнения*, к той силе, которая может влиять на государственную политику.

«Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха: он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих мыслей; скажу еще более: все согласны, что едва ли кто-нибудь из государей превосходил Александра в любви, в ревности к общему благу; едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне, как он!.. Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Удивительный государственный феномен! Обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти: успокоенные кротостью Александра,

безвинно не страшись ни Тайной канцелярии, ни Сибири и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие горестное расположение умов? Несчастливыми обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Увидим...»

Прежде всего, Карамзин обращает внимание на неудачную и непоследовательную внешнюю политику правительства, которая объективно способствовала усилению Наполеона. Рассорив Россию с союзниками и нанеся ей огромный материальный и моральный ущерб, она тем не менее вела не к миру с Францией, а к неизбежному военному столкновению с ней. В сложившейся ситуации Карамзин обвиняет правительство и ближайшее окружение императора: «Никто не уверит россиян, чтобы советники Трона в делах внешней политики следовали правилам истинной, мудрой любви к Отечеству и к доброму государю. Сии несчастные, видя беду, думали единственно о пользе своего личного самолюбия: всякий из них оправдывался, чтобы винить монарха».

Свои замечания о переменах внутри государства Карамзин предваряет общими рассуждениями о самом процессе изменений государственного устройства и государственных учреждений, обычно болезненно отзывающемся на ходе повседневных дел и жизни населения.

«Посмотрим, как они (то есть „советники Трона“. — В. М.) действовали и действуют внутри государства. Вместо того чтобы немедленно обращаться к порядку вещей Екатеринина царствования, утвержденному опытом 34 лет и, так сказать, оправданному беспорядками Павлова времени; вместо того чтобы отменить единственно излишнее, прибавить нужное, одним словом, *исправлять* по основательному рассмотрению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем тот, что давно уважаем, и все делаем лучше от привычки».

Утверждая, что сложившаяся в царствование Екатерины II «система

правительства не уступала в благоустройстве никакой иной европейской, заключая в себе, кроме общего со всеми, некоторые особенности, сообразные с местными обстоятельствами империи», Карамзин рассматривает министерства, учрежденные «согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных». Министерства были созданы, но не было разработано верного, ясного руководства для их работы.

Карамзин задается вопросом, какая от этих реформ последовала польза. «Министерские бюро заняли место коллегий. Где трудились знаменитые чиновники, президент и несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места, — там увидели мы маловажных чиновников, директоров, экспедиторов, столоначальников, которые, под щитом министра, действуют без всякого опасения. Скажут, что министр все делает и за все отвечает; но одно честолюбие бывает неограниченно. Силы и способности смертного заключены в пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, мог ли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? Могли даже разуместь предметы столь различные? Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств, доказывая их недостаток для благоуспешного правления. Наконец заметили излишнюю многосложность внутреннего министерства... Что же сделали?.. Прибавили новое, столь же многосложное и непонятное для русских в его составе».

Для согласования действий был создан из министров еще один комитет, «но сей Комитет не походит ли на Совет 6 или 7 разноземцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других, — замечает Карамзин. — Министр морских сил обязан ли разуместь тонкости судебной науки или правила государственного хозяйства, торговли и проч.? Еще важнее то, что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих собственных выгод, сам делается сговорчив».

Карамзин объясняет сложившуюся ситуацию прежде всего «излишней поспешностью» введения новых форм, неожиданной, скоропалительной новизной и замечает: «Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех действие внезапности. По крайней мере, авторы должны были изъяснить пользу своих новых образований: читаю и вижу одни сухие формы. Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое. Говорят россиянам: „Было так,

отныне будет иначе“. Для чего? — не сказывают. Петр Великий в важных переменах государственных давал отчет народу: взгляните на Регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою, все побуждения, причины и цели сего Устава. Вообще новые законодатели России славятся наукою писмоводства более, нежели наукою государственною...»

Поскольку недееспособность новой системы государственного управления была видна всем, таким же всеобщим неминуемо должно было стать и ее осуждение.

«Рассматривая, таким образом, сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей. С Сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором у нас шли дела и прошло блестящее царствование Екатерины II. Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. „Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, — говорит умный Макиавелли, — то удержите хотя имя их для народа“. Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет, и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? Где, в какой земле европейской блаженствует народ, цветет правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны?..

Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвердить в России действие закона... Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели...

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин недовольствия россиян на нынешнее правительство есть

излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих благотворность остается доселе сомнительной».

После критики новой системы государственного управления Карамзин переходит к частным постановлениям правительства, отмечая особенно неудачные.

Первым из них в перечне Карамзина стоит Манифест о милиции 1806 года, которым император и правительство предписывали создавать ополчение в помощь регулярным войскам ввиду угрозы вторжения французской армии в пределы России. «Верю, что советники государевы имели доброе намерение, — пишет Карамзин, — но худо знали состояние России». Предполагалось собрать 60 тысяч ратников, но военное ведомство не имело оружия, чтобы вооружить их. Содержание такой армии должно было разорить и дворян, и крестьян. В результате, говорит Карамзин, «изумили дворян, испугали земледельцев; подвозы, работы остановились; с горя началось пьянство между крестьянами; ожидали и дальнейших неистовств. Бог защитил нас. Нет сомнения, что благородные сыны Отечества готовы были тогда на великодушные жертвы, но скоро общее усердие остыло; увидели, что правительство хотело невозможного; доверенность к нему ослабела, и люди, в первый раз читавшие Манифест со слезами, чрез несколько дней начали смеяться над жалкой милицией! Наконец уменьшилось число ратников... Имели 7 месяцев времени — и не дали армии никакой сильной подмоги! Зато — мир Тильзитский...» Карамзин говорит также и о том, что можно было бы предпринять в тогдашних обстоятельствах: «Если бы правительство, вместо необыкновенной для нас милиции, потребовало от государства 150 тысяч рекрутов с хлебом, с подводами, с деньгами, то сие бы не произвело ни малейшего волнения в России и могло бы усилить нашу армию прежде Фридландской битвы. Надлежало бы только не дремать в исполнении».

Также понапрасну были истрачены миллионы на образование, поскольку и здесь не учли российской действительности: «Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что профессеры теряют охоту ходить в классы. Вся беда оттого, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру — зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне

служат, а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! — наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут, а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить детей своих для оногo. Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность чрез 10–15 лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении. Строить, покупать дома для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, физиков — есть пускать в глаза пыль».

Карамзин критикует изданный в 1809 году Указ об экзаменах, по которому чиновники для производства в чин VIII класса (коллежский асессор), дающий ряд привилегий, чин небольшой и обычно достигаемый разночинцами в результате долговременной и усердной службы, должны были иметь диплом об окончании государственного высшего учебного заведения или же подвергнуться экзамену по его программе. Такие же условия ставились для получения чина V класса (статский советник), последнего предгенеральского.

Карамзин называет указ «несчастливым» и пишет о нем:

«Отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в асессоры без свидетельства о своей учености. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойство кислорода и всех газов, вице-губернатор — Пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с

их целью! Забавно, что сочинитель сего Указа, предписывающего всем знать риторику, сам делает в нем ошибки грамматические!.. Не будем говорить о смешном; заметим только вредное. Донныне дворяне и недворяне в гражданской службе искали у нас чинов или денег; первое побуждение невинно, второе опасно: ибо умеренность жалованья производит в корыстолюбивых охоту мздоимства. Теперь, не зная ни физики, ни статистики, ни других наук, для чего будут служить титулярные и коллежские советники? Лучшие, т. е. честолюбивые, возьмут отставку, худшие, т. е. корыстолюбивые, останутся драть кожу с живого и мертвого. Уже видим и примеры. Вместо сего нового постановления надлежало бы только исполнить сказанное в Уставе университетском, что впредь молодые люди, вступая в службу, обязаны предъявлять свидетельство о своих знаниях. От начинающих можно всего требовать, но кто уже давно служит, с тем нельзя, по справедливости, делать новых условий для службы; он поседел в трудах, в правилах чести и в надежде иметь некогда чин статского советника, ему обещанного законом; а вы нарушаете сей контракт государственный. И вместо всеобщих знаний должно от каждого человека требовать единственно нужных для той службы, коей он желает посвятить себя: юнкеров Иностранной коллегии испытывайте в статистике, истории, географии, дипломатике, языках; других — только в знаниях отечественного языка и права русского, а не римского, для нас бесполезного; третьих — в геометрии, буде они желают быть землемерами и т. д. Хотеть лишнего или не хотеть должного — равно предосудительно».

Другой указ, запрещающий помещикам продавать крестьян в рекруты, пишет Карамзин, Александру внушило «самое святейшее человеколюбие», но в то же время этот указ имеет и отрицательные следствия: «Дотоле лучшие земледельцы охотно трудились 10, 20 лет, чтобы скопить 700 или 800 рублей на покупку рекрута и тем сохранить целостность семьи своей, — ныне отнято от них сильнейшее побуждение благотельного трудолюбия, промышленности, жизни трезвой. На что богатство родителю, когда оно не спасет любезного его сына?» Правда, сочинители указа имели в виду, что помещики продавали в солдаты «худых крестьян» — пьяниц, ленивых, распутных и обладающих другими пороками, поэтому запрещение покупки рекрутов пополнит армию лучшими солдатами. Однако, заключает

Карамзин, «скажут, что ныне у нас лучшие солдаты, но справедливо ли? Я спрашивал у генералов — они сего не приметили. По крайней мере, верно то, что крестьяне стали хуже в селениях. Отец трех, иногда двух сыновей заблаговременно готовит одного из них в рекруты и не женит его; сын знает свою долю и пьянствует, ибо добрым поведением не спасет себя от солдатства. Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной, иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла».

Карамзин подвергает критике налоговую систему правительства, стремящегося пополнить казну введением новых налогов:

«Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадежный и только временный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные новыми податями, всегда возвышают цены на свои произведения, необходимые для казны, и через несколько месяцев открываются в ней новые недостатки. Например, за что Комиссариат платил в начале года 10 тысяч руб., за то вследствие прибавленных налогов подрядчики требуют 15 тысяч руб.! Опять надобно умножать налоги, и так до бесконечности! Государственное хозяйство не есть частное: я могу сделаться богаче от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна богатеет только двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия богаче золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулем».

Причиной разорения казны Карамзин считает огромное количество ненужных расходов и скрытого казнокрадства.

«Александра называют даже скупым (имеется в виду, что он уменьшил дворцовые расходы. — В. М.), но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают займы без отдачи и кому? — богачейшим

людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды и проч., и проч. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, — и царствования, столь расточительного, как его!.. Мало остановить некоторые казенные строения и работы, мало сберечь тем 20 миллионов, — не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самих частных людей, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее прежнего для государства».

Карамзин критикует бесконтрольный выпуск ассигнаций, который способствует только падению курса рубля: «Курс упал более и более, уменьшая цену российских произведений для иностранцев и возвышая оную для нас самих».

Он рассматривает законотворческую деятельность правительства, для чего была создана специальная комиссия:

«Избрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобрести лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом. Более года мы ничего не слыхали о трудах сей Комиссии. Наконец государь спросил у председателя и получил в ответ, что медлительность необходима, — что Россия имела дотоле одни указы, а не законы, что велено переводить Кодекс Фридриха Великого. Сей ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но только указы? Разве указы — не законы?.. И Россия не Пруссия: к чему послужит нам перевод Фридрихова Кодекса? Не худо знать его, но менее ли нужно знать и Юстинианов или датский единственно для общих соображений, а не для

путеводительства в нашем особенном законодательстве! Мы ждали года два. Начальник переменился, выходит целый том работы предварительной, — смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьною пылью. Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского характера России... Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в Земле Русской, — и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам, или не писали для нас законов. Опять новая декорация: видим законодательство в другой руке! Обещают скорый конец плаванью и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле, издаются две книжки под именем *Проекта Уложения*. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!

Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! Благодаря Всевышнего мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя, — у нас еще не Вестфалия, не Итальянское Королевство, не Варшавское Герцогство, где Кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит Уставом гражданским. Для того ли существует Россия как сильное государство около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами? Петр Великий любил иностранное, однако же не велел без всяких дальних околичностей взять, например, шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств».

Карамзин высказывает ряд принципиальных положений, на которых должно зиждиться российское законотворчество. Он рекомендует прежде всего обратиться к историческому опыту народа: «Для старого народа не надобно новых законов: согласно со здравым смыслом, требуем от Комиссии систематического предложения наших. „Русская Правда“ и „Судебник“, отжив свой век, существуют единственно как предмет любопытства. Хотя „Уложение“ царя Алексея Михайловича имеет еще силу закона, но сколько в нем обветшало, уже для нас бессмысленного,

непригодного! Остаются указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших: вот — содержание Кодекса! Должно распорядить материалы, отнести уголовное к уголовному, гражданское к гражданскому и сии две главные части разделить на статьи. Когда же всякий Указ будет подведен под свою статью, тогда начинается второе действие: соединение однородных частей в целое, или соглашение указов, для коего востребуется иное объяснить, иное отменить или прибавить, буде опыты судилищ доказывают или противоречие, или недостаток в существующих законах. Третье действие есть общая критика законов: суть ли они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию России? Здесь увидим необходимость исправить некоторые, в особенности уголовные, жестокие, варварские: их уже давно не исполняют, — для чего же они существуют к стыду нашего законодательства?»

Кроме собственно русского законодательства Карамзин считает обязательным в общем законе России учитывать также гражданское право других народов, входящих в состав государства. При этом Карамзин подчеркивает, что необходимо уважать национальные особенности народов. «Опасайтесь внушения умов легких, — советует он, — которые думают, что надобно велеть — и все сравняется!»

Последовательность разработки законов Карамзин предлагает вести в порядке значимости их для государства и народа, отнеся разработку формы ведения дел, с чего законодатели александровского правительства обычно начинали, на последнее место: «Оградите святыню закона неприкосновенность церкви, государя, чиновников и личную безопасность всех россиян; утвердите связи гражданские между нами, потом займитесь целостию собственности, наследствами, куплею, завещаниями, залогами и проч.; наконец, дайте Устав для производства дел».

Ошибки высшего руководства порождают злоупотребления местной власти: «Равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяточничество капитан-исправников, председателей палат, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов», а также «беспокойные виды будущего, внешние отношения», по мнению Карамзина, причина того, что «общее мнение столь не благоприятствует правительству».

«Не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя, — пишет Карамзин, подводя итог своим критическим замечаниям, — не будем твердить, что люди обыкновенно любят жаловаться и всегда недовольны настоящим, — сии жалобы

разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве.

Я совсем не меланхолик и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скорого разрушения, — нет! Государства живущи, и в особенности Россия, движимая самодержавною властью! Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе! Вижу еще обширное поле для всяких новых творений самолюбивого неопытного ума, но не печальна ли сия возможность? Надобно ли изнурять силы для того, что их еще довольно в запасе? Самым худым медикам нелегко уморить человека крепкого сложения, только всякое лекарство, данное некстати, делает вред существенный и сокращает жизнь».

Заключительные страницы «Записки о древней и новой России...» Карамзин посвятил соображениям о «средствах целебных», то есть способных исправить нанесенный вред и действенных в настоящее время.

«Главная ошибка законодателей сего царствования, — утверждает Карамзин, — состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: оттого — изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся — только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны... Да будет... правило: *искать людей!* Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест. Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту; медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, — тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним

словом, теперь всего нужнее люди!»

То, что важны не форма и даже не государственное устройство, а люди, которые осуществляют управление, — одна из любимейших мыслей Карамзина.

Следующим после правила «искать и находить людей» Карамзин считает умение «обходиться с людьми». «Мало ангелов на свете, — пишет он, — не так много и злодеев, гораздо более смеси, то есть добрых и худых вместе. Мудрое правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго — боязнь наказания. Кто знает человеческое сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится в истине сказанного Макиавелли, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных. Если вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и спокойно, народ доволен, слабый не утеснен, невинный безопасен, — то скажите смело, что в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха! Любить добро для его собственных прелестей есть действие высшей нравственности — явления, редкого в мире: иначе не посвящали бы алтарей добродетели. Обыкновенные же люди соблюдают правила честности не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил».

«Одно из важнейших государственных зол нашего времени, — пишет Карамзин, — есть бесстрашие (то есть отсутствие страха наказания. — В. М.). Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты — честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с нашим законом, по которому взяточбратель и взякодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей — и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники в надежде на своих, подобных им, защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года наживают по несколько сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни! Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам:

он выгнал из службы двух или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных мздоимцами; но сии малочисленные примеры ответствен ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает: „Брат мой N. N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то, процветают в благоденствии: один многим не указ, а если меня и выгонят из службы, то с богатым запасом на черный день — еще найду немало утешений в жизни!“ Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость не у места».

В создании атмосферы безнаказанности Карамзин прямо обвиняет императора: «Чего Александр не сведает, если захочет ведать? И да накажет преступника! Да накажет и тех, которые возводят его на степень знаменитую! Да ответствен министр, по крайней мере, за избрание главных чиновников! Спасительный страх должен иметь ветви; где десять за одного боятся, там десять смотрят за одним... Начинайте всегда с головы: если худы капитан-исправники, — виновны губернаторы, виновны министры!..»

Вместе с требованием неотвратимости наказания Карамзин требует поднять престиж наград: «Я вижу всех генералов, осыпанных звездами, и спрашиваю: „Сколько побед мы одержали? Сколько царств завоевали?..“ Ныне дают голубую ленту — завтра лишают начальства!.. Сей, некогда лестный, крест Св. Георгия висит на знаменитом ли витязе? Нет, на малодушном и презренном в целой армии! Кого же украсит теперь Св. Георгий? Если в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве, то в Александрово, по крайней мере, не возвысились, чего следствием было и есть — требовать иных наград от государя, денежных, ко вреду казны и народа, ко вреду самых государственных добродетелей... Честь, честь должна быть главною наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах не изменились; соедините с каким-нибудь знаком понятие о превосходной добродетели, т. е. награждайте им людей единственно превосходных, — и вы увидите, что все будут желать оно́го, несмотря на его ничтожную денежную цену!.. Слава Богу, мы еще имеем честолюбие, еще слезы катятся из глаз наших при мысли о бедствиях России; в самом множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство вы слышите нередко голос благодарной любви к Отечеству. Есть люди, умеете только обуздать их в зле и поощрять к добру благоразумною системою наказаний и наград!»

Все рассуждения Карамзина ведут к тому, что в настоящее время и в настоящих условиях государственным строем России должно быть самодержавие: «Самодержавие есть палладиум (священное изображение Афины Паллады — символ и залог благополучия и процветания. — В. М.) России: целость его необходима для ее счастья».

Карамзин пишет, что государь должен «возвышать сан» дворянства, ибо «твердо основанные права благородства в монархии служат ей опорой».

Необходимым считает Карамзин повышение нравственного авторитета духовенства: «Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения... Не довольно дать России хороших губернаторов — надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе».

Также Карамзин касается и одного из самых главных, но официально не обсуждаемого вопроса — крепостного права. «Нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу», — начинает он ту часть «Записки...», в которой разбирается эта проблема, и переходит к истории крепостного права в России.

«В девятом, десятом, первом-надесять веке были у нас рабами одни холопы, т. е. военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или потомки их; но богатые люди, имея множество холопей, населяли ими свои земли: вот первые, в нынешнем смысле, крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную и гражданскую свободу; некоторые, получая от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих служить ему вечно, — вторая причина сельского рабства! Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю у владельцев только за деньги или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Сии свободные переходы имели свое неудобство: вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных крестьян от владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустою землею, лишались способа платить государственные повинности. Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место, т. е. укрепил их за господами, — вот начало общего рабства. Сей устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое

время служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе — и древнее различие между крестьянами и холопами совершенно исчезло».

Карамзин был противником крепостного права, он желал его уничтожения, но в то же время старался предвидеть следствия, поскольку перед его глазами стояли примеры того, что самые благие начинания (включая революцию) оборачиваются бедой и несчастьем. То, что писал Карамзин о крепостном праве в 1811 году в «Записке...», он не считал окончательной истиной и искал выхода из созданной историческими обстоятельствами проблемы и много лет позже. В конце 1818 года, когда П. А. Вяземский горячо высказывался против крепостного права, Карамзин его спрашивал: «Желаю знать, каким образом вы намерены через или в 10 лет сделать ваших крестьян свободными; научите меня, я готов следовать хорошему примеру».

В «Записке...» Карамзин рассматривает гражданские и имущественные права крестьян и помещиков:

«Следует: 1) что нынешние господские крестьяне не были никогда владельцами, т. е. не имели собственной земли, которая есть законная, неотъемлемая собственность дворян. 2) Что крестьяне холопского происхождения — также законная собственность дворянская, и не могут быть освобождены лично без особенного некоторого удовлетворения помещикам. 3) Что одни вольные, Годуновым укрепленные за господами, земледельцы могут, по справедливости, требовать прежней свободы; но как — 4) мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая трудность в распутывании сего узла гордиева, если он не имеет смелости рассечь его, объявив, что все люди равно свободны: потомки военнопленных, купленных, законных невольников, и потомки крепостных земледельцев, — что первые освобождаются правом естественным так же, как вторые — правом монарха самодержавного отменять Уставы своих предшественников. Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому и что благоразумный самодержец отменяет единственно те Уставы, которые делаются вредными или

недостаточными и могут быть заменены лучшими».

Далее Карамзин, основываясь на выводе, что земля, «в чем не может быть и спора — есть собственность дворянская», обрисовывает картину личного освобождения крестьян без земли.

Поскольку работа на земле — единственный источник существования крестьянина, то он вынужден будет остаться у помещика на его условиях, но при этом, задает Карамзин вопрос, не очень-то веря в гуманность российского помещика, «надеясь на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий? Дотоле щадили они в крестьянах свою собственность, — тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических: напишут контракт, и земледельцы не исполнят его, — тяжбы, вечные тяжбы!..». Не имеющие возможности исполнить контракты будут искать более легких условий, переходить с места на место, превратятся в бродяг. Это уже беда и для них, и для государства: казна лишится податей, многие поля останутся необработанными, житницы пустыми, количество хлеба в стране резко уменьшится. Лишенные средств к существованию и надзора помещиков крестьяне «начнут ссориться между собою и судиться», «станут пьянствовать, злодействовать — какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников».

Вызывает у Карамзина страх также нравственное и психологическое состояние крестьян, которые при освобождении, став юридически полноправными гражданами, будут оказывать сильнейшее влияние на общественную нравственность и общественные учреждения: при закреплении, говорит он, «они имели навык людей вольных — ныне имеют навык рабов». Все это «худо для нравов и государственной безопасности». Карамзин не говорил о крестьянском возмущении, о пугачевщине, в которой вполне проявился «навык рабов», но, безусловно, думал о ней.

В современных условиях, считал Карамзин, «неудобно возвратить» крестьянам свободу по причине внутренней — общественной, юридической, нравственной и психологической — неподготовленности России. Невозможно подвергать испытаниям государственный и общественный строй и ввиду внешней угрозы — войны с Наполеоном.

В то же самое время Карамзин полагает, что нужно постепенно готовить Россию к отмене крепостного права, крестьян — «исправлением нравственным», их владельцев — государственным контролем. Предупреждая, что лишение дворянства его имущественных прав

неминуемо расстроит государственное управление, поскольку именно дворянство его осуществляет, Карамзин говорит, что «первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства» и, только учитывая это, он должен подходить к решению других проблем, в том числе и к отмене крепостного права.

Государь, пишет Карамзин, «желает сделать земледельцев счастливее свободой; но ежели сия свобода вредна для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным? Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется умеренным оброком или десятиною пашни на тягло, счастливее казенных, имея в нем бдительного попечителя и заступника. Не лучше ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких? Они известны начальникам губерний. Ежели последние верно исполняют свою должность, то первых скоро не увидим; а ежели не будет в России умных и честных губернаторов, то не будет благоденствия и для поселян вольных».

Карамзин подводит итог всему сказанному в «Записке...», веря в будущее России.

«Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, — благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкогоконечного бедствия, но благодаря Всевышнего сердце мое им не верит, — вижу опасность, но еще не вижу гибели!

Еще Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он как человек ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок.

Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумной строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и с утратой многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не

равняется с первым их благом или с целостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если, — что в сем предположении будет необходимо, — дороговизна мало-помалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается правильным, постоянным; новое и старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы теперь не от нас зависит. Переменит ли Франция свою ужасную систему или Бог переменит Францию — неизвестно, но бури не вечны! Когда же увидим ясное небо над Европой и Александра, сидящего на троне *целой* России, тогда восхвалим Александрово счастье, коего он достоин своею редкою добротою!

Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаясь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!»

Александр мог ознакомиться с «Запиской о древней и новой России...» или ночью (разговор о самодержавии, о котором писал Карамзин Дмитриеву, продолжался приблизительно час, так что время для чтения перед сном у императора было), или утром 19 марта. Карамзин и Екатерина Павловна с волнением ожидали результата. Спрашивать было невозможно, оставалось ждать.

Этот день был очень тяжел для Карамзина: сначала томительное ожидание, затем совершенно неожиданная реакция царя. Карамзин лишь немногим рассказывал о том, что произошло тогда. Его рассказ кратко записал историк К. С. Сербинович, который был близок с Карамзиным в последние годы его жизни: «На другой день после чтения, в день отъезда, Карамзин с великим удивлением заметил, что государь был совершенно холоден к нему и, прощаясь со всеми, взглянул на него издали равнодушно».

Дмитриев, Блудов и Вяземский, опять-таки по рассказу самого Карамзина, рисуют эту сцену более драматично. Они (передает их рассказы М. П. Погодин) «свидетельствовали, что государь, сначала благосклонный, милостивый, в последний день показал охлаждение или неудовольствие

Карамзину. Граф Блудов повторял мне это несколько раз».

Император выехал из Твери в ночь на 20 марта. Карамзин тоже собрался уезжать, но его задержала Екатерина Павловна. Письмо Дмитриеву от 20 марта, в котором Карамзин писал о милостях, оказанных ему царем, о приглашении жить в Аничковом дворце, заключается фразой: «Еще не знаю, ныне или завтра, или послезавтра выеду отсюда. Великая княгиня хочет еще поговорить со мною».

Екатерина Павловна сказала, что она имела разговор с братом и что он по-прежнему расположен к Карамзину. Наверное, Карамзин воспринял ее слова как желание утешить его и вряд ли поверил им до конца. Но подтверждением справедливости сказанного ею как будто бы может служить свидетельство Дмитриева в его воспоминаниях: «Государь, возвратясь из Твери, изволил сказать мне, что он очень доволен новым знакомством с историографом и столько же отрывками из его „Истории“, которые он, в первый вечер, прослушал до второго часа ночи. Даже изволил вспомнить, что было читано: о древних обычаях россиян и о нашествии монголов на Россию».

В апреле, то есть месяц спустя, Екатерина Павловна гостила в Петербурге и снова говорила с императором о Карамзине. Конфликт, во всяком случае, внешне, был окончательно улажен. 12 апреля великая княгиня писала Карамзину из Петербурга: «Наш дорогой император в добром здравии... Он поручил мне передать Вам его приветствия». Однако неприязнь к Карамзину Александр преодолел только через пять лет: до 1816 года Карамзин не получил ни одного «знака императорской милости», царь, казалось, демонстративно игнорировал его.

Не следует преувеличивать значение царской немилости для самого Карамзина. Скорее всего, он предполагал такой поворот событий и подготовился к нему заранее. После выказанного ему императором «охлаждения или неудовольствия»

Карамзин тотчас сориентировался и выбрал линию поведения. Вообще в трудных обстоятельствах он никогда не терял присутствия духа, не отчаивался, трезво оценивал обстановку и старался найти выход.

Неудовольствие царя «Запиской о древней и новой России...» было столь явно, что не понять его было нельзя. И Карамзин это понял. Наверное, обращаясь к Дмитриеву, постоянному своему ходатаю перед царем, он должен был бы просить о новом заступничестве, но вместо этого рассказывает об оказанных ему милостях, как будто ничего не произошло.

Конечно, сделано это намеренно. Действительно, о каком ходатайстве или заступничестве могла идти речь, когда в основе конфликта лежало

различие убеждений? Карамзин своих не собирался менять, царь тоже. В этих обстоятельствах Карамзин избрал совершенно четкую и последовательную тактику: попытка стать советником царя не удалась, он возвращается в прежний статус историографа. Учитывая конфиденциальность акции (В. А. Жуковский писал, что Карамзин не оставил себе копии «Записки...», потому что «был так совестлив, что у себя не хотел иметь того, что для всех должно было остаться тайною»), Карамзин мог считать ее формально как бы и не бывшею. Так он и ведет себя.

Кстати, весьма вероятно, что слова царя, сказанные Дмитриеву о том, что он доволен знакомством с историографом, были вызваны сообщением Дмитриева, основанным на письме Карамзина, что тот «совершенно доволен» вниманием царя и «предан ему навеки». Иного Александр просто не мог сказать после таких уверений.

22 марта Карамзин с Екатериной Андреевной выехал в Москву. Перед отъездом он попросил великую княгиню вернуть ему «Записку о древней и новой России...». «„Записка“ Ваша теперь в хороших руках», — ответила Екатерина Павловна.

Ее увез Александр. Видимо, позже он перечитывал «Записку...» и обсуждал с кем-то из наиболее приближенных лиц, но также втайне, потому что при его жизни о ее существовании никто не знал, и она была обнаружена лишь в 1836 году при разборе бумаг А. А. Аракчеева, умершего в 1834 году.

Раз от разу путешествия в Тверь (а Карамзину пришлось совершить их еще несколько после свидания с царем) становились для него тягостнее. «Отдыхал и отдыхаю после тверских путешествий, — пишет он Дмитриеву в апреле, — собираюсь с мыслями и стараюсь возвратиться в свое прежнее мирное состояние духа, т. е. от настоящего к давно минувшему, от шумной существенности к безмолвным теням, которые некогда также на земле шумели». «После трех путешествий в Тверь отдыхаю за „Историей“, — сообщает Тургеневу, — и спешу окончить Василия Темного: тут начинается действительная история российской монархии: впереди много прекрасного». Дмитриеву 1 мая: «Она (великая княгиня) зовет нас в Тверь. Люблю ее душевно и признателен ко всем ее милостям; однако ж, будучи усердным домоседом, не пленяюсь мыслию скакать по большим дорогам и жить дней по десяти в праздности и беспокоиться о детях. Время летит, а „История“ моя ползет. Хотелось бы дойти скорее хоть до Романовых и напечатать, пока есть сила в душе и зрение в глазах». Брату 30 мая: «Мы с детьми прожили в деревне только две недели и возвратились в Москву с

тем, чтобы завтра ехать в Тверь дней на восемь. Как ни приятно нам пользоваться милостью прелестной великой княгини, однако ж грустно расставаться с малютками, да и моя „История“ от того терпит. Впрочем, любя искренно великую княгиню, не могу не исполнить ее воли. Она пишет ко мне самые ласковые письма и желает познакомить меня с отцом принца, который теперь у них гостит. Человек редко умный и добродетельный. Наполеон отнял у него Ольденбургское герцогство».

В конце 1811-го — начале 1812 года Карамзин несколько раз отказывался от приглашения: то по причине собственной болезни, то из-за беременности жены. Свое отношение к царю он ограничивает исполнением принятого на себя труда историографа. «Милость государеву чувствую, — пишет он Дмитриеву, — а благодарность моя должна состоять в усердии к работе, которая удостоилась его одобрения». «Милость велика; однако ж, любезнейший братец, я совсем не думаю ехать в Петербург, — объясняет он брату. — Привязанность моя к императорской фамилии должна быть бескорыстна: не хочу ни чинов, ни денег от государя. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к мирской суетности».

Однако разговор по темам «Записки о древней и новой России...» с великой княгиней и через нее с царем Карамзин пытается продолжить. Он дарит Екатерине Павловне ко дню ее ангела 24 ноября 1811 года альбом с собственноручными выписками из сочинений различных авторов из Ветхого Завета — из книг Иисуса, сына Сирахова и Иова; из Руссо, Боссье, Бюффона, Паскаля, Монтеня, Мильтона, Попа и других философов и писателей разных эпох и народов. Все эти цитаты подтверждают ту или иную мысль Карамзина: о естественности и постепенности развития общества и государства; о необходимости учитывать дух времени и народа и уважать устройство и обычаи, освященные временем; о нравственности как основе политики; об осторожности в самооценке своей роли правителями, ибо судьба народов и государств зависит от воли Провидения.

Идеи Карамзина, изложенные им в «Записке о древней и новой России...», для их понимания и восприятия требуют определенных знаний и в еще большей степени опыта самостоятельности мышления. Либералы его времени (и последующих времен) клеили на Карамзина ярлык крепостника и монархиста. Под влиянием либеральной пропаганды в юности находился и А. С. Пушкин. В одном из сохранившихся фрагментов записок, сожженных им при получении известия о восстании 14 декабря 1825 года, Пушкин писал о Карамзине: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: „Итак, вы рабство предпочитаете свободе“. Карамзин

вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся». Пушкин в первой половине 1820-х годов, назвав общепризнанные «реакционные» идеи Карамзина парадоксами, судя по контексту, еще в достаточной степени верит общему мнению, но уже сомневается в его справедливости. С годами постижение истинного значения идей Карамзина углубляется. В статье 1830 года «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (опубликованной после смерти автора) Пушкин солидаризируется с одним из «парадоксов» Карамзина о вреде «свободы книгопечатания»: «Один из великих наших сограждан сказал мне... что если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Все имеет свою злую сторону...» (возможно, последняя фраза представляет собой воспроизведенную по памяти цитату из «Записки...»: «Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла»).

Таким образом, «парадоксы» Карамзина в сознании Пушкина становятся истинами. На заседании Российской академии 18 января 1836 года ее престарелый президент адмирал А. С. Шишков упомянул о пребывании Карамзина в Твери в 1811 году и о его «Записке...» в связи с тем, что в зале присутствовал принц Петр Ольденбургский — сын Екатерины Павловны.

Пушкин решил воспользоваться первым публичным заявлением об этом документе и напечатать «Записку...» в издаваемом им «Современнике». В примечании к публикации он назвал эту рукопись драгоценной, а в сообщении о заседании Российской академии характеризовал «Записку...» как написанную «„со всею искренностью“ прекрасной души, со всею смелостью убеждения смелого и глубокого». Пушкину тогда не удалось опубликовать «Записку...» — цензура не пропустила.

«Глубокие» убеждения Карамзина, «система его разысканий» (слова Пушкина), его «парадоксы» были столь оригинальны, что для их понимания и усвоения требовалось преодолеть общепризнанные мнения, которые стали уже не мнениями, а безусловным рефлексом. Пушкин знал, что для осмысления фундаментальных идей Карамзина нужно время, они будут поняты в будущем, идеи верного рыцаря «века Просвещения», практическое осуществление надежд которого переносилось с осьмого-надесять века на девятый-надесять век.

Пушкин всего дважды в своих сочинениях употребил слово «парадокс»: один раз он прямо связал его с именем Карамзина, в другом

имя не названо, но речь, безусловно, идет о нем. Это — очень известный сейчас фрагмент неоконченного стихотворения «О, сколько нам открытий чудных...». Благодаря популярной телепередаче «Очевидное — невероятное» у нас сейчас слово «открытие» в контексте этого четверостишия воспринимается как естественно-научное открытие, хотя его значение гораздо шире, у Пушкина оно обозначает вообще нечто ценное. «Ошибки и открытия предшественников, — говорит он в статье о „Слове о полку Игореве“, — открывают и очищают дорогу последователям». Приняв все это во внимание, становится ясно, что в четверостишии говорится вовсе не о физических законах:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...

Трактат Карамзина особенно ценен не тем, что он критикует, разоблачает ошибки правителей, а тем, что он говорит о том, как предупредить и избежать их. Он называет два признака, по которым падают правительства: ненависть народа к ним или общее неуважение. Карамзин определяет основу и неперемное условие существования государства как гармонию нравственных принципов народа и власти. К тому же выводу о первенствующей роли нравственности в функционировании государства спустя 75 лет пришел в результате многолетнего изучения истории России и другой великий русский историк — С. М. Соловьев.

При чтении «Записки о древней и новой России...» и нашего современника — думающего читателя ожидает еще много «открытий чудных».

Глава IX

ПУТЬ В ПЕТЕРБУРГ. 1812–1816

Близился июнь 1812 года. Политические тучи в Европе уже гремели грозой. «Карамзин, — как свидетельствует П. А. Вяземский, — ни до войны 1812 года, ни при начале ее не был за войну. Он полагал, что мы недостаточно для нее приготовлены: опасался ее последствий... Он был того мнения, что некоторыми дипломатическими уступками можно и должно стараться отвратить хотя на время наступающую грозу. Патриотизм его был не патриотизмом запальчивых газетчиков: патриотизм его имел охранительные свойства историка».

Но к началу 1812 года международные взаимоотношения так обострились, что война стала неизбежна. С той и с другой стороны подготовка к военным действиям велась почти открыто. Наполеон не раз заявлял, что он «раздавит» Россию, так как она одна мешает ему стать «повелителем мира». В мае, за месяц до вторжения, он сказал: «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира... Москва — сердце империи».

6 марта 1812 года Карамзин писал брату: «Мира с турками нет, и мы готовимся к войне с французами. Надобно молиться Богу. Слышно, что сам государь будет командовать армией и выедет из Петербурга 13 или 15 нынешнего месяца. Любя отечество с усердием к его целостности и славе, я стараюсь успокаивать себя верой в Провидение. Мы живем во времена трудные. Небо не хочет проясниться над нами».

Между тем в русской армии производились реформы, усовершенствовалось вооружение, особое внимание было обращено на артиллерию, которая в будущей войне, как и предполагалось, сыграла огромную роль. 23 марта 1812 года Александр I издает Манифест о подготовке войск к военным действиям.

«Состояние дел в Европе, — говорилось в манифесте, — требует решительных и твердых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения, которое могло бы верным и надежным образом оградить империю от всех могущих против нее быть неприятных покушений. Издавна сильный и храбрый народ Российский любил со всеми окрестными народами пребывать в мире и тишине, соблюдая свой и других покой; но когда бурное дыхание восстающей на него вражды понуждало

его поднять меч свой на защиту Веры и Отечества, тогда не было времен, в которые бы рвение и усердие верных сынов России во всех чинах и званиях не оказалось во всей своей силе и славе. Ныне настает необходимая надобность увеличить число войск наших новыми запасными войсками. Крепкие о Господе воинские силы наши уже ополчены и устроены к обороне царства. Мужество и храбрость их всему свету известны. Надежда престола и державы твердо на них лежит. Но жаркий дух их и любовь к Нам и Отечеству да не встретят превосходного против себя числа сил неприятельских».

Несмотря на столь широковещательные заявления о готовности войск к обороне царства, в действительности дела обстояли вовсе не так. Граф Ф. В. Ростопчин, зная настоящее положение дел и состояние русской армии, совсем по-другому видел развитие событий. В начале июня, когда, наконец, мир с Турцией был заключен, он писал Александру: «Мне приходит на мысль, что известие о заключении мира с турками принудит Наполеона начать с нами войну, если нет какого-либо особенного соглашения. Он не захочет поджидать подкреплений, которые придут с Дуная, для войск, предназначенных к тому, чтобы бить французов. Ваша империя имеет двух могущественных защитников: в своих пространствах и в своем климате. 16 миллионов людей, исповедующих одну веру, говорящих одним языком, которых не коснулась бритва, эти-то бороды и составляют твердыню России; кровь солдат родит героев на их место, и если бы несчастное стечение обстоятельств принудило бы Вас отступить перед победоносным неприятелем, русский император всегда будет страшен в Москве, ужасен в Казани, непобедим в Тобольске». (Из этого письма видно, что Ростопчин предполагает, что Наполеон двинется на Петербург и Александру придется спасаться в Москву.)

28 мая Карамзин пишет брату: «Французские войска стоят по Висле, наши от Галиции до Курляндии. Война кажется неизбежной. Наполеон в Дрездене и скоро будет в армии».

В ночь на 12 июня без объявления войны наполеоновская армия форсировала Неман и вступила на территорию России.

Александр в эти дни думал назначить Карамзина государственным секретарем, в обязанность которого входило сочинение манифестов и обращений к народу. Он говорил Дмитриеву, что колеблется между двумя кандидатурами: Карамзиным и А. С. Шишковым, чье сочинение «Рассуждение о любви к Отечеству», читанное тогда в публичных собраниях, вызывало в Петербурге общий восторг. В конце концов, был предпочтен Шишков. Избрание оказалось удачным. При опасности надо

выбирать не новое, а испытанное старое, об этом говорит и Карамзин в своей «Записке...».

Архаический стиль Шишкова, образцом для которого был «высокий штиль» М. В. Ломоносова, в мирное время вызывавший насмешки молодежи, предпочитавшей писателей-сентименталистов и романтиков, оказался в суровое военное время не только уместным, но и прямо-таки единственно возможным в высокой патриотической публицистике правительственных обращений к народу. Проникнутые искренним чувством, блестящие литературным талантом, эти официальные документы выражали отнюдь не личную волю императора, а общественное мнение. Шишков считал необходимым условием развития патриотизма народное национальное воспитание. «Ученый чужестранец может преподать нам, когда нужно, некоторые знания свои в науках, — утверждал он, — но не может вложить в душу нашу огня народной гордости, огня любви к Отечеству, точно так же, как я не могу вложить в него чувствований моих к моей матери». Он постоянно говорил и об ответственности политических деятелей перед народом и будущим страны. Эти его взгляды были хорошо известны обществу: они высказывались им и до Отечественной войны, их же он проводил в манифестах.

С. Т. Аксаков в воспоминаниях о 1812 году пишет: «В Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова, писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей».

Таковы были знаменитые первые высочайшие манифесты: «Приказ армиям о вступлении врага на Русскую землю» и «Рескрипт» председателю Государственного совета генерал-фельдмаршалу Салтыкову.

«Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге храбрости, — говорилось в „Приказе армиям...“. — В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, Свободу. Я с вами! На зачинающего Бог!» Этот полный веры в силу духа русского народа, в его патриотизм призыв находил, по многочисленным свидетельствам современников, живой отклик и повторялся повсюду так же, как и слова «Рескрипта» о «праведности» войны против захватчиков и решимости бороться до победы: «Провидение благословит праведное наше дело. Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной принудило нас препоясаться на брань. Я

не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».

В Москве о начале войны узнали 15 июня из напечатанного в «Московских ведомостях» царского рескрипта: «Французские войска вошли в пределы нашей империи... И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все врученные мне Провидением способы к отражению силы силою. Я надеюсь на усердие моего народа и на храбрость войск моих».

Несмотря на то что уже несколько лет в России широко говорили о неизбежности войны с Наполеоном, известие о ее начале потрясло всех: все понимали, что война будет тяжелая, кровопролитная, что противник силен, опытен и невозможно предсказать развитие событий... А. Г. Хомутова, тогда молодая московская светская барышня, в своих «Воспоминаниях о Москве в 1812 году» описывает смятение, царившее в высшем свете: «В обществе господствовала робкая, но глухая тревога; все разговоры вращались около войны: одерживались победы, терпелись поражения, заключались договоры. Но всего более распространено было мнение, что Наполеон после двух-трех побед принудит нас к миру, отняв у нас несколько областей и восстановив Польшу, — и это находили вполне справедливым, великолепным и ничуть не обидным».

Однако гораздо сильнее было иное чувство. С. Г. Волконский вспоминает: «И хотя были некоторые, которые предвещали, что затеянная борьба не по рукам нам, но их было весьма мало, и зловещее их предсказание почитали трусостью; их не оспаривали, но слова их внушали к ним одно презрение. Порыв национальности делом и словом выказывали при всяком случае».

«Московские ведомости» выходили два раза в неделю, но москвичи требовали ежедневных известий с фронта. Генерал-губернатор, или, как еще называлась эта должность, главнокомандующий Москвы, Ростопчин распорядился печатать сообщения в виде бюллетеней-листовок. Каждое утро их раздавали народу в Управе благочиния, которая помещалась на Никольской улице, за Казанским собором, построенным, по преданию, князем Дмитрием Пожарским в память освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Задолго до часа раздачи листовок возле собора толпился народ. На ограде собора вывешивались карикатуры на Бонапарта и патриотические лубки. С начала войны эта часть Никольской и Красная площадь, всегда многолюдные, еще более наполнились народом: сюда приходили узнать о новостях, послушать верных людей, сюда стекались и отсюда распространялись слухи.

Русская армия с жестокими боями отходила. Наполеон стремился к Москве, положение становилось опасным. 6 июля Александр обратился со специальным манифестом к «Первопрестольной столице нашей Москве»: «Имея в намерении, для надлежащей обороны, собрать новые внутренние силы, и наипервое обращаемся Мы к древней столице предков наших Москве: она всегда была главою прочих городов российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу, по примеру ее из всех прочих окрестностей текли к ней наподобие крови к сердцу сыны Отечества для защиты оногo». Это было объявление о всеобщем ополчении.

12 июля Александр приехал в Москву. 15 июля в Лефортове, в Слободском дворце, состоялась встреча царя с московским дворянством и купечеством, на которой он обратился с призывом организовать ополчение. Начались формирование ополчения, сбор пожертвований. 16 июля главнокомандующим Московскою военною силою (так официально называлось Московское ополчение) был избран М. И. Кутузов, и это послужило первой ступенью к избранию его главнокомандующим всей русской армией. Щедро начали поступать пожертвования, богатые жертвовали сотни тысяч, бедняки несли последний рубль.

На бульварах, в местах народных гуляний были поставлены палатки, украшенные оружием, в которых велась запись добровольцев. В эти дни, рассказывает современник, в Москве «движение народное было необыкновенное. Множество приезжих из деревень наполняло вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было, все почти были в мундирах Московского ополчения, вооруженные, готовые кровью своею искупить мать русских городов; но мало-помалу эта толпа становилась реже и реже, а недели через три бульвары и вовсе опустели».

«В Москве не остается ни одного мужчины: старые и молодые, все поступают на службу», — сообщала тогда же одна москвичка в письме петербургской приятельнице. Вступали в ополчение дворяне, разночинцы: студенты Московского университета, семинаристы, сыновья священников, мещане, торговцы, актеры; помещики отпускали в армию крестьян.

Настроение, царившее в Москве, очень хорошо характеризует запись, которую сделал тогда в своем дневнике С. И. Тургенев: «Военное ремесло есть единственно выносимое для порядочного человека в настоящее время».

Карамзин весь июнь прожил в Остафьеве, в июле возвратился в город. 29 июля он пишет брату: «Живем в неизвестности. Ждем главного сражения, которое должно решить участь Москвы. Добрые наши поселяне

идут на службу без роптания. Беспокоюсь о любезном Отечестве, беспокоюсь также о своем семействе: не знаю, что с нами будет. Мы положили не выезжать из Москвы без крайности: не хочу служить примером робости. Приятели ссудили меня деньгами. О происшествиях Вы знаете по газетам. Главная наша армия около Смоленска. По сию пору в частных делах мы одерживали верх, хотя и не без урона; теперь все зависит от общей битвы, которая недалека».

«Общая битва» — сражение за Смоленск — была ожесточенной. 6 августа французы заняли город. Открылась прямая дорога к столице. Кутузов, принимая во внимание складывающуюся ситуацию и соотношение сил, допускал, что придется отступить и за Москву. Но он понимал, что отдать Москву без боя нельзя, и начал подготовку к сражению. Одновременно начинается эвакуация Москвы.

Ростопчин отправляет из Москвы правительственные учреждения, университет, старших воспитанников Воспитательного дома, ценности. Выезжают богатые купцы, дворяне. Карамзин отправил жену с детьми в Ярославль, где в то время находилась великая княгиня Екатерина Павловна, сам же решил вступить в ополчение.

Один за другим уходили в армию его молодые друзья, знакомые, сотрудники. Ушел молодой историк, помогавший Карамзину в сборе материалов для «Истории...», — Калайдович. Перед отъездом он зашел проститься с Николаем Михайловичем.

«На лице его я прочел некоторое уныние, соединенное с надеждою несомненною, — рассказывал Калайдович Ф. Н. Глинке об этом прощании. — Историограф задержал меня на целый день; прощаясь со мною, заплакал и сказал: „Если бы я имел взрослого сына, в это время ничего не мог бы пожелать ему лучшего“».

Поступил в армию А. С. Кайсаров. В 1813 году он погиб в бою.

Хлопоты Карамзина о вступлении в ополчение не увенчались успехом: Ростопчин властью главнокомандующего Москвы приказал ему присутствовать при себе и пригласил поселиться в его доме.

Французская армия продвигалась внутрь России. Все ожидали генерального сражения.

«Готов умереть за Москву, если так угодно Богу, — писал Карамзин Дмитриеву 20 августа, — наши стены ежедневно более и более пустеют. Уезжает множество. Хорошо, что имеем градоначальника умного и доброго, которого люблю искренно, как патриот патриота: я рад сесть на своего серого коня и вместе с *Московскою удалою дружиною* примкнуть к нашей армии. Не говорю тебе о чувствах, с которыми я отпускал мою

бесценную подругу и малюток: может быть, в здешнем мире уже не увижу их! Впрочем, душа моя довольно тверда, я простился и с „Историей“: лучший и полный экземпляр ее сдал жене, а другой в Архив Иностранной Коллегии. Теперь без „Истории“ и без дела читаю Юма „О происхождении идей“! Многие из наших общих знакомых уже в бегах. Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю».

К жене 21 августа: «Живу четвертый день у графа, налево от гостиной. Армия наша приближается к Москве и вступила в Гжать. Вязьма сожжена и в руках неприятеля. Будет ли сражение, не знают, хотя и приехал Кутузов».

23 августа: «Думаю, что мне нельзя было иначе, хотя пребывание мое здесь и бесполезно для Отечества, По крайней мере, не уподоблюсь трусам, и служу примером государственной, так сказать, нравственности.

Вчера приезжал сюда Платов на несколько часов, думая найти здесь государя, и опять уехал в армию. Привезли уже около 3 тысяч раненых. Не отпуская лошадей в деревню. Будь готова к отъезду.

Князь Петр едет к своему генералу Милорадовичу. Мы простились».

Князь Петр Вяземский ехал в армию, чтобы принять участие в Бородинском сражении.

Теперь новости с фронта становились известны в тот же день. 26 августа Карамзин сообщает жене: «Знаем, что наши дерутся сильно на левом фланге». 27 августа: «Вчера в 10-м часу началось ужасное сражение и кончилось ночью... Мы удержали место, но, вероятно, отступили для приведения армии в новое устройство. Неприятель тоже расстроен».

В тот же день, 27 августа, он посылает письмо брату: «Не вините меня, что я недели две не писал к вам. Право, не хотелось за перо взяться. Наконец я решился силою отправить жену мою с детьми в Ярославль, а сам остался здесь и живу в доме у главнокомандующего Федора Васильевича, но без всякого дела и без всякой пользы. Душе моей противна мысль быть беглецом: для этого не выеду из Москвы, пока все не решится. Вчера началось кровопролитнейшее сражение и ныне возобновилось. Слышно, что мы еще удерживаем место. Убитых множество: французов более. Из наших генералов ранены Багратион, Воронцов, Горчаков, Коновницын. С обеих сторон дерутся отчаянно: Бог да будет нам поборник! Через несколько часов окажется или что Россия спасена, или что она пала. Я довольно здоров и тверд: многие кажутся мне малодушными. Верно, что есть Бог! Участь моя остается в неизвестности. Буду ли еще писать к вам, не знаю; но благодарю Бога за свое доселе хладнокровие, не весьма обыкновенное для моего характера. Чем ближе опасность, тем менее во мне страха. Опыт знакомит нас с самими нами».

А. Я. Булгаков, служивший тогда чиновником по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, 27 августа привез известие из армии и присутствовал при разговоре Карамзина с Ростопчиным. Позже он записал этот разговор.

«Я никогда не забуду пророческих изречений нашего историографа, который предугадывал уже тогда начало очищения России от несносного ига Наполеона. — Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и, наконец, прибавил: „Ну, мы испили до дна горькую чашу... Но зато наступает начало его и конец наших бедствий. Поверьте, граф: обязан будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!“ — Казалось, что прозорливый глас Карамзина открывал уже вдали убийственную скалу Св. Елены! В Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и вместе с тем отрадного. Он возвышал свой приятный мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражения, сверкали. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился. Мы слушали молча. Нелединский был так тронут, что я не один раз замечал слезы на его глазах.

Граф Ростопчин тоже слушал, не возражая ничего, но как скоро ненавистное для него имя Наполеона поразило слух его, лицо его тотчас переменялось, покраснело, и он сказал Карамзину с досадою: „Вы увидите, что он вывернется!“ Карамзин... с каким-то твердым убеждением возразил: „Нет, граф! тучи, накапливающиеся над главою его, вряд ли разойдутся!.. У Наполеона все движется страхом, насилием, отчаянием; у нас все дышит преданностью, любовью, единодушием... Там сбор народов, им угнетаемых и в душе его ненавидящих; здесь одни русские... Мы дома, он как бы от Франции отрезан. Сегодня союзники Наполеона за него, а завтра они все будут за нас!.. Можно ли думать, чтобы австрийцы, пруссаки охотно дрались против нас? Зачем будут они кровь свою проливать? Для того ли, чтоб утвердить еще более гибельное, гнусное могущество всеобщего врага? Нет! не может долго продлиться положение, соделавшееся для всех нестерпимым“. — Карамзин был в большом волнении: он остановился, задумался и прибавил: „Одного можно бояться!“ Все молчали и искали угадать смысл

сих последних таинственных слов, как Ростопчин вдруг воскликнул: „Вы боитесь, чтобы государь не заключил мира?“ — „Вот одно, чего бояться можно, — отвечал Карамзин. — Но этот страх не имеет основания. Все политические уважения, все посторонние происки уступят прозорливости государя нашего. Впрочем, не дал ли он нам и целому свету торжественный залог в Манифесте своем!.. Он меча не положит... не возьмет пера, покуда Россия будет осквернена присутствием новых вандалов“.

В Карамзине тоже начинал развиваться жар, волновавший Ростопчина; разговор его продолжался не с прежним уже хладнокровием, и он начал проклинать Наполеона как бич, Богом ниспосланный.

Достопамятное сие утро останется всегда в памяти моей. Я тогда же слова Карамзина передал немедленно на бумагу, но уверен, что они и без того глубоко бы врезались в душу мою...

Когда гости разъехались, то граф пошел со мною в свой кабинет и начал разговор сими словами: „Как вам показался давеча Карамзин? Не правда ли, что в его речах слишком много было поэтического восторга?“ — „Конечно, будущее скрыто от всех, — отвечал я, — но Карамзин излагает мысли свои и чувства убедительно, пламенно, и желательно было бы, чтобы все русские одинаково с ним мыслили“. — „Как ни убедительны, а может быть, и справедливы рассуждения Карамзина, — возразил граф, — но я более дам веры словам и мнению военных. Платов и Васильчиков боятся за Москву: неизвестно, станут ли ее отстаивать! Другого Бородина ожидать нельзя, а ежели падет Москва... что будет после? Мысль эта не дает мне минуты покоя! Последствий нельзя исчислить“.

Карамзин тогда еще верил, что Москва не будет сдана, тем более что и Кутузов, и Ростопчин в этом, как говорил он, „нас уверяли, ободряли, клялись седыми волосами“».

29 августа Карамзин пишет жене: «Неприятель в 80 верстах. Мы отступаем. Графиня завтра едет. Граф переезжает на Тверскую. Сенат и присутственные места закрываются. Князь Петр наш возвратился из армии и, слава Богу, не ранен».

30 августа: «Вижу зрелище разительное: тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только обозы с ранеными и гробы с телами убитых. Теперь я видел князя Лобанова, которого участь являться позже

для дела: за ним полки рекрут».

31 августа: «Нынешнюю ночь видны были здесь огни нашей армии. Надежды мало. Графиня сию минуту едет в Ярославль».

Ростопчин говорил, что следует сжечь Москву. Карамзин возражал.

Карамзин выехал из Москвы 1 сентября, «в тот день (писал он Дмитриеву), когда наша армия предала ее в жертву неприятелю».

На выезде, у заставы, произошла встреча с С. Н. Глинкой. Глинка сидел на куче бревен, окруженный небольшой толпой мужиков, ел арбуз и ораторствовал. Увидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему:

— Куда же это вы удаляетесь?! Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или, наконец, вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с Богом! Добрый путь вам!

Карамзин, не останавливаясь, раскланялся с ним и, не сказав ни слова, поехал далее.

Ярославская дорога была полна колясок, телег, карет, по обочинам шли пешие. Наверное, среди покидающих Москву Карамзин встретил не только С. Н. Глинку, но и других знакомых. Везли раненых. Все направлялись в Ярославль, но разговоры шли о том, что, видимо, придется ехать еще дальше.

В Ярославле Карамзин застал ту же тревогу и те же разговоры. Они с Екатериной Андреевной решили ехать в Нижний Новгород, куда были переведены из Москвы многие правительственные учреждения и куда выехало большинство московской светской публики. Если же не удастся устроиться в губернском городе, то, как рассчитывал Карамзин, в крайнем случае, они смогут прожить это время в уездном Арзамасе или в нижегородской деревне Екатерины Андреевны.

Нижний был переполнен. Приезжие жили в тесноте. К. Н. Батюшков, сопровождавший в Нижний Е. Ф. Муравьеву, в письме Гнедичу сообщает: «Мы живем теперь в трех комнатах; мы, то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, П. М. Дружинин, англичанин Эванс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак». Василий Львович Пушкин снимал угол в крестьянской избе. Правда, богачи, такие как Архаровы, Апраксины, смогли устроиться гораздо комфортнее. Карамзину повезло: в Нижнем проездом был его младший брат Александр, он устроил Карамзиных в доме своего приятеля, чиновника губернского правления.

По приезде в Нижний Карамзин опять пытается вступить в армию,

ведет об этом переговоры с командующим Нижегородским ополчением генералом графом Петром Александровичем Толстым. «Думаю опять странствовать, но только без жены и детей, и не в виде беглеца, но с надеждою увидеть пепелище любезной Москвы: граф П. А. Толстой предлагает мне идти с ним с здешним ополчением против французов, — сообщает он в начале октября Дмитриеву. — Обстоятельства таковы, что всякий может быть полезен или иметь эту надежду. Обожаю подругу, люблю детей, но мне больно смотреть издали на происшествия, решительные для нашего Отечества; осудишь ли меня? По тому же побуждению я и в Москве оставался. Верю Провидению. Не буду говорить много, хотя и с другом...»

К этому времени Карамзину стала известна судьба его имущества, оставшегося в Москве: «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но „История“ цела: Камознс спас „Лузиаду“. Жаль многого, а Москвы всего более: она возростала семь веков! В какое время живем!»

Но Карамзину не пришлось идти освобождать Москву с Нижегородским ополчением: 7 октября наполеоновская армия вышла из Москвы, и началось ее бегство из России. «Москва возвратилась нам без меча историографского, — писал Карамзин в следующем письме Дмитриеву, — остаюсь с моим семейством». А в письме Вяземскому, повторив слова об историографическом мече, который остался без дела, он уже говорит о будущем: «Теперь работа мечу, а там работа уму».

Вскоре в Нижнем Новгороде появились очевидцы московского пожара. В конце октября — начале ноября в Москву ездил князь Долгоруков. Об этой поездке он рассказывает в воспоминаниях: «Около застав и на улице еще много было падали скотской; находили по местам и человеческие трупы. Не было еще почти обиталища; все лучшие дома стояли без крыш, обожженные с низу до верха. Людей мы от заставы до Охотного ряда не встретили десяти человек; ни одного экипажа; в Охотном ряду толпилось, может быть, человек до ста, а на прочих рынках едва ли было в половину против того. Улицы все покрыты мусором и золой, которая, смешавшись с снегом, засорила все следы, так, что, кроме человеческого хода, ничего нельзя было разглядеть; да кому и куда ездить?»

Полуразрушенный Кремль, сожженные и разграбленные дома, оскверненные храмы — все это производило гнетущее впечатление. Батюшков съездил из Нижнего в Вологду навестить родных, туда и обратно он проезжал Москву. «Москвы нет! — рассказывал он. — Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать,

разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец?»

И. М. Долгоруков в ответ на стихи петербургского стихотворца Ивана Кованько:

Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда! —
Наш фельдмаршал, князь Кутузов
Их на смерть впустил туда, —

написал элегию «Плач над Москвою»:

О день великих зол! — Но к пущему несчастью
У матушки-Москвы есть множество детей,
Которые твердят по новому пристрастью,
Что прах ее не есть беда России всей.
Утешит ли кого сия молва народна?
Отечества я сын и здесь сказать дерзну:
Россия! ты раба, — когда Москва в плену!

Каждый, конечно, хотел знать судьбу своего дома, и очень немногие могли порадоваться тому, что пожар миновал их жилище.

Печаль о сожженной Москве шла рядом с радостью от перелома в ходе войны.

«Как ни жаль Москвы, — писал Карамзин Дмитриеву 26 ноября, — как ни жаль наших мирных хижин и книг, обращенных в пепел, но слава Богу, что Отечество уцелело и что Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром».

Между тем жизнь в Нижнем «московских изгнанников», как называли они себя, входила в обычную колею. В. Л. Пушкин написал стихотворное обращение «К жителям Нижнего Новгорода» и, как прежде по московским гостиним, самозабвенно декламировал его повсюду в Нижнем.

Батюшков, менее года назад описавший в ярком, остром очерке «Прогулка по Москве» московское светское допожарное общество и типы, которые позже станут персонажами комедии Грибоедова «Горе от ума», в письмах из Нижнего описывает это же общество. «Здесь я нашел всю Москву, — сообщает он Вяземскому. — Алексей Михайлович Пушкин

плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга... У Архаровых на обедах собирается вся Москва, или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и *терпению*. Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски... Потерю Москвы немногие постигают...» Батюшков описывает балы и маскарады у губернатора и вице-губернатора, «где наши красавицы, осыпав себя брильянтами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилих французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклинали врагов наших», шумные застолья, «где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к Отечеству», где Василий Львович «отпускал каламбуры, достойные лучших времен...».

В конце концов большинство как-то устроилось, но Карамзин находился в подавленном настроении. «Здесь довольно нас, московских, — писал он Дмитриеву. — Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бостон, для того мало разницы: он играет и в Нижнем. Но худо для нас, книжных людей: здесь и *Степенная книга* мне в диковинку». В другом письме он жалуется: «Живем день за днем, не зная, что будет с нами. Я теперь, как растение, вырванное из корня: лишен способов заниматься и едва ли когда-нибудь могу возвратиться к своим прежним мирным упражнениям. Не знаю даже и того, как и где буду жить».

Дмитриев приглашает Карамзина в Петербург, выставляя все выгоды жизни в столице. На что Карамзин отвечает: «Очень, очень желаю не только ехать в Петербург, но и поселиться там, по крайней мере, в ожидании, когда Москва сделается обитаемою. Время для меня дорого: склоняюсь к старости, несколько лет еще могу писать, пять, шесть, если Богу угодно; а там на покой, временный или вечный: следственно, надо пользоваться днями и часами для довершения моего историографства. Здесь я теряю время, не имея нужных книг, — только в Петербурге могу продолжать работу. К этому прибавь утешение жить с тобою и суди о моем нетерпении выехать из Нижнего. Но вот беда: крестьяне, изнуренные всякими налогами чрезвычайными, не дают оброка. Жена моя представила на службу 70 человек, которых вооружение и прочее стоило нам около 10 000 рублей: вот весь наш доход годовой. Далее и пенсии не получаю, ибо Казенная московская палата еще не открылась. Дадут ли мне в Петербурге чистый уголок в каком-нибудь казенном доме, т. е. комнат шесть? Государь сам предлагал мне жить в Аничковом дворце; но тогда были другие обстоятельства, ему теперь не до историографа. Скажи мне об этом свое

мнение». Однако, несмотря на заверения друга, что все можно устроить, что великая княгиня Екатерина Павловна по-прежнему приглашает его, Карамзин отказывается ехать в Петербург: он не хочет быть зависимым от царской милости.

«По сию пору, — пишет от Дмитриеву 18 февраля 1813 года, — я не в Петербурге от того, что я считаю безрассудностию ехать туда без денег и без известного нам дохода. Я муж; и отец детей; мне надобно иметь более, нежели прогоны. Доселе я жил своим: на пятом десятке не хочется входить в долги и кланяться. Состояние крестьян жалкое: у меня нет духа требовать с них полного оброка, хотя и весьма умеренного. Будущее также не ясно. Долго ли станут воевать? Чего еще потребуется от нас и крестьян для славы и безопасности России? Одним словом, думаю, что мне надобно еще, по крайней мере, дожидаться здесь лета, вопреки моему сильному желанию обнять тебя, видеть любезнейшую великую княгиню и снова заняться моим историографским делом, для которого не имею здесь достаточных способов».

26 декабря русские войска, преследуя бегущую французскую армию, вышли на пограничный Неман. Теперь территория России была свободна от захватчиков.

В январе 1813 года москвичи начали разъезжаться из Нижнего Новгорода. Многие возвращались в Москву, на родное пепелище, рассчитывая как-нибудь перезимовать если не в каком-нибудь уцелевшем флигеле, то у кого-нибудь из родни. «Мы остались почти одни», — писал Карамзин брату 21 января.

Между тем Карамзин преодолевает первоначальную растерянность и смятение, мало-помалу обретает душевное равновесие и начинает думать о работе.

«Думаю приняться за свое дело, — сообщал он Вяземскому в середине ноября, — раскладываю бумаги и книги, однако ж, успех сомнителен: не имею и половины материалов...» О том же, о деле, он пишет в конце ноября Дмитриеву: «С нетерпением жду, чем закончится эта удивительная кампания. Есть Бог: Он наказывает и милует Россию... Еще не знаю, где буду жить, на московском пепелище или в Петербурге, где единственно могу

продолжать „Историю“, т. е. найти нужные для меня книги, утратив свою библиотеку. Теперь еще не могу тронуться с места: не имею денег, а крестьяне не дают оброка по нынешним трудным обстоятельствам. Между тем боюсь загубить умом и лишиться способности к сочинению. Невольная праздность изнуряет мою душу. Так угодно Богу. Авось весною найду способ воскреснуть для моего историографского дела и выехать отсюда».

21 января 1813 года, получив письмо от А. И. Тургенева, переписка с которым прервалась в начале войны, в ответном письме, как и в прежние времена, он просит присылать книги, нужные для работы: «Давно я не писал к Вам, но всегда помнил и любил Вас. Сколько происшествий! Как не хотелось мне бежать из Москвы! Сколько раз в день спрашиваю у судьбы, на что она велела мне быть современником Наполеона со товарищи? Добрый, добрый народ русский! Я не сомневался в твоём великодушии, но хотел бы лучше писать древнюю свою „Историю“ в иной век и не на пепелище Москвы. Библиотека моя имела честь обратиться в пепел, вместе с Грановитой палатой, однако ж рукописи мои уцелели в Остафьеве. Жаль Пушкинских манускриптов; они все сгорели, кроме бывших у меня. Потеря невозвратимая для нашей истории! Университет тоже всего лишился: библиотеки, кабинета... По крайней мере, дай нам Бог славного мира, и поскорее! Между тем сижу как рак на мели: без дела, без материалов, без книг, в несносной праздности и в ожидании горячки, которая здесь и во многих местах свирепствует. Просторно будет в Европе и у нас. Но вы, петербургские господа, сияя в лучах славы, думаете только о великих делах! Извините меланхолию бедных изгнанников московских.

Оставим шутку невеселую и поговорим о другом. Сделайте мне удовольствие, исполните Ваше обещание и пришлите *Льва Дьякона*... Я и здесь нашел нечто любопытное: *Степенную книгу* с прибавлениями неизвестными, касательно времен царя Ивана Васильевича. Не можете ли прислать мне еще *Архангелогородского печатного летописца*? Вы его, думаю, знаете. Маленькая книжка в четвертку».

О работе же он пишет и возвратившемуся в Москву А. Ф. Малиновскому: «Вам бывает грустно, и нам также; но многим ли весело? Вы на пепелище, а мы, как в ссылке. Московские приятели или уже оставили или оставляют нас, а нижегородскими не умеем довольствоваться, и мысль: что будет? тревожит сердце. Толкаю себя в правый и левый бок, чтобы чаще взглядывать на небо; но суетная земля еще крепко удерживает свои права на мою слабую душу. Желаю работать:

только не имею всего, что надобно. Читаю Монтеня и Тацита: они жили также в бурные времена».

С осени 1812 года Карамзин пребывал в тревоге за здоровье шестилетнего сына Андрея: всю зиму тот болел, похудел, к весне стал совсем плох, в марте врачи определили, что у него чахотка и что он безнадежен. «Мы лишаемся Андрюши, — в тоске сообщает Карамзин Дмитриеву. — Что Богу угодно, то и будет с нами. Много писать не могу. Катенька, Наташа и Сонюшка также нездоровы. Боюсь и за моего друга, жену».

В конце апреля стало очевидно, что близок печальный конец. «Я долго не имел сердца писать к тебе в нашей горести и тоске, — пишет Карамзин Дмитриеву. — Катерина Андреевна от беспокойства выкинула и еще не совсем здорова. Андрюша еще жив и все так же безнадежен... Ждем непрестанно, чем Бог решит судьбу нашу. Уже настал третий месяц: сил у меня немного в запасе. Удерживаюсь от ропота: много в свете несчастливых; не я первый, не я последний... Не время делать планы. Выедем ли отсюда, и когда? — не знаем. От всего сердца предаемся во власть Божию».

Андрей умер в мае. Карамзин рыдал у его гроба, молился, пытался рассуждать о том, что, любя детей наших истинно, для них, а не для себя, мы должны оплакивать тех, которые остаются, а не тех, которые в чистоте ангельской оставляют мир сей и присоединяются к чистейшим существам в райских селениях, и молил Бога, чтобы Он удовольствовался этой жертвой и оставил ему остальных детей — Катеньку, Наташу и Сонюшку, которые также постоянно болели...

Письмо Дмитриеву 20 мая: «Мы погребли милого ангела Андрюшу, более десяти недель страдав беспокойством и тоскою. Наша горесть велика, и мы жалки самим себе. Было у нас двое детей прекрасных, здоровых, милых; обоих схоронили. Так угодно Всевышнему. Жизнь и свет для меня стали беднее. Мысленно обнимаю тебя с нежностью, зная, что ты берешь искреннее участие в нашей печальной судьбе. Мы собираемся ехать в Москву, хотя и не имеем там верного пристанища. Думаю отправиться после и в Петербург, чтобы выдать написанные мною томы „Российской Истории“ и тем исполнить долг чести. Но подожду возвращения государева».

Мысль о необходимости печатать написанные тома «Истории...», не ожидая, когда будет выполнен намеченный им план — дойти до избрания Романовых, целиком овладела Карамзиным.

Карамзины выехали из Нижнего Новгорода 1 июня. Ехали с тяжелым

сердцем. Перед отъездом Карамзин отправил брату письмо, в котором писал: «Оставляем здешнее имение не в цветущем состоянии, — мужики обеднели и хлебы плохи. Сердце наше тоскует о милом Андрюше; все стало чернее вокруг нас. Видно, что мы созданы здесь не для счастья. Молю Всевышнего пощадить мою слабость... Последняя почта не привезла никаких известий о воинских происшествиях — это нехороший знак. Силы Наполеона еще не малы. Уверяют, что австрийцы с нами соединяются. Надобно еще молиться...»

Одно дело слышать рассказы и по ним рисовать картины в воображении, другое — увидеть все своими глазами. О своем первом впечатлении от разоренной Москвы Карамзин писал Дмитриеву: «Я плакал дорогою, плакал и здесь, смотря на развалины; Москвы нет: остался только уголок ее»; о том же писал брату: «С грустью и тоской въехали мы в развалины Москвы».

«Здесь трудно найти дом, — писал он брату, — осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строятся очень мало». К счастью, избежало пожара и разграбления Остафьево. Там жили П. А. Вяземский с женой и годовалым сыном, там же поселились и Карамзины на первое время.

Карамзин находился в подавленном настроении. Он, как ни старался, не мог принудить себя к работе. Это его пугало. «Мы, слава Богу, здоровы, но я нахожу в себе большую перемену, — пишет он брату, — если хочу жить, то единственно для моего друга Катерины Андреевны. И к работе теряю способность». Карамзин считает, что он прежде всего должен, чтобы не пропал его труд, напечатать написанную часть «Истории...», и решает немедленно ехать в Петербург. Он пишет Дмитриеву: «Правительство имеет нужду в мерах чрезвычайного благоразумия. Впрочем, это не мое дело: есть Бог; Он все знает лучше нашего. Мое дело грустить о сыне, жалеть о друге и собираться в Петербург, чтобы обнять тебя и напечатать свою „Историю“ с дозволения государева. Не можешь ли на несколько дней дать нам у себя в доме три или четыре комнаты, не более? Мы живали и в двух. Не хотелось бы мне с детьми въехать в трактир, да и богатство наше невелико. Разумеется, что ты не должен церемониться со мною и делать себе неприятность. Скажи искренно. Через несколько дней я найду себе или казенную квартиру, или найму уголок по выбору и по удобности: не употреблю во зло твоего снисхождения. Назначаю август для путешествия к вам». Дмитриев отвечал, что государя нет в Петербурге и неизвестно, когда он будет, так что дозволения на печатание «Истории...» в эту поездку Карамзин получить не сможет. Кроме того, он сообщал, что сам в

ближайшее время собирается взять отпуск и приехать в Москву.

«Буду ждать вести о вероятности скорого государева возвращения в Петербург: что должно решить наш выезд отсюда, — соглашается Карамзин. — Едва ли неприятельские действия не возобновятся: в таком случае не время думать о напечатании моей „Истории“; надобно будет подождать конца. Доживем ли до спокойствия? Или найдем его только в гробе? Я нездоров. Я очень переменялся, любезнейший друг, со времени разлуки нашей: остыл к приятностям мира и даже едва ли могу продолжать „Историю“; для того более и хотел бы напечатать, что готово. Чувствительность моя цела единственно для горестей. Иногда рассудком убеждаю себя быть суетнее! Впрочем, да будет со мною, что угодно Провидению. Не я сам произвел себя; не я сам захотел быть в здешнем свете: это говорю себе в утешение».

Дмитриев ехал в Москву, так как решил выйти в отставку и поселиться в Первопрестольной. Он намеревался купить домик, «приют, — как он сам говорил, — для моей старости», взамен дома у Красных ворот, сгоревшего до основания.

После свидания с Дмитриевым в начале августа Карамзин приободрился. Видимо, к этому времени он отдохнул, спокойная домашняя жизнь — а Остафьево столько лет было ему настоящим домом, домашним очагом, кабинетом, в котором он пережил много часов радостного труда, — вернув силы, вернула и способность к работе. Он закончил примечания к описанию царствования Ивана III и начал писать о правлении его сына Василия Ивановича.

Вновь письма постоянным корреспондентам полны просьб о присылке материалов.

К осени Карамзин нанял дом Селивановского на Большой Дмитровке, и в ноябре они всей семьей переехали из Остафьева в Москву.

Летом Карамзин бывал в городе наездами на час-два, теперь он мог наблюдать московскую жизнь пристальнее и ближе. Все более и более он убеждается, что после пожара Москва изменилась. «Не одни дома сгорели, — пишет он Дмитриеву, — самая нравственность людей изменилась в худое... Заметно ожесточение; видна и дерзость, какой прежде не бывало». «Здесь все переменялось, и не к лучшему, — сообщает он брату. — Говорят, что нет и половины прежних жителей. Дворян же едва ли есть и четвертая доля из тех, которые обыкновенно приезжали сюда на зиму. Один

Английский клуб в цветущем состоянии: он подле нас, а я еще не был в нем».

Между тем Дмитриев в Петербурге подготавливал почву для приезда Карамзина. Он сказал вдовствующей императрице Марии Федоровне, что историограф собирается в Петербург, и императрица предложила ему помещение в Павловске и в Петербурге. Дмитриев сообщил об этом Карамзину, тот написал Марии Федоровне благодарственное письмо, началась переписка. Затем Карамзин получил письмо от великой княгини Екатерины Павловны. Таким образом, как будто восстанавливались прерванные войной отношения с императорским семейством.

От приглашения императрицы Карамзин отказался из-за болезни младшей дочери, великой княгине ответил обширным письмом, в котором затрагивались многие вопросы и содержались рассуждения на разные темы. В переписке с Екатериной Павловной Карамзин вновь ощутил себя светским собеседником: его речь ярка, красочна, живые картины сменяются глубокими, но легко и просто изложенными рассуждениями.

Он описывает Москву: «Вид Москвы поистине страшен. Никогда прежде мир не видел таких обширных руин... Поистине это место для грусти. Вы знаете, я люблю гулять, иногда прогуливаюсь и ночью, когда лунный свет падает на остовы дворцов, таких прекрасных в прошлом, но теперь, опустошенные огнем, они похожи на символы смерти. Ни празднеств, ни украшений, ни великолепных экипажей, люди видны лишь на избежавших разрушения улицах. Никаких развлечений для женщин, мужчины читают газеты и играют в бостон».

Между тем Москва, не раз в своей истории подвергавшаяся вражескому разрушению и вновь поднимавшаяся из пепла, и после великого пожара 1812 года возрождалась.

Победные реляции шли одна за другой. В марте русские войска подошли к столице Франции.

Карамзин внимательно следил за всеми событиями, анализировал их, и часто его прогнозы оправдывались в полной мере. Он не был бесстрастным наблюдателем, его волновали несчастья, героизм, поражения, победы, и, конечно, ему приходила мысль написать о нынешних днях России.

В январе 1813 года в «Московских ведомостях» появилось обращение Я. И. Бардовского, переводчика, литератора, бывшего до войны членом Общества любителей российской словесности при Московском университете, с просьбой о доставлении ему сведений «о нашествии неприятеля на Москву», поскольку он имеет поручение от императора описать эти события. Карамзин просит Дмитриева узнать о поручении и

Бардовском. Возможно, уже тогда Карамзин задумался о литературной работе на военную тему. Думается, с этими мыслями связана и фраза в его письме 17 февраля 1813 года Малиновскому о том, что он читает Тацита и Монтеня, сопровождаемая замечанием: «Они жили также в бурные времена». Наверное, Карамзин был уязвлен тем, что такое историческое поручение дано не ему, историографу, а человеку, никак не проявившему себя в этой области. Об этом он, видимо, разговаривал с Дмитриевым во время его приезда в Москву. В марте 1814 года Карамзин прямо сообщает императрице Марии Федоровне о своем намерении «„заняться историею“ нынешнего достопамятного времени и важнейших происшествий, в глазах наших совершившихся и совершающихся».

17 апреля в Москву прибыл специально посланный курьер, граф Васильев, чтобы объявить древней столице о взятии Парижа. В кремлевских соборах служили благодарственные молебны, после литургии гремел орудийный салют, над городом плыл колокольный звон, преосвященный Амвросий, выйдя на площадь, обратился к народу с проникновенными словами: «Москва! вознеси главу свою, убеленную долголетними сединами; отряси прах, покрывающий оную; радость и веселие да разольются на величественном челе твоём». Три дня продолжались празднества.

В опьяняющей атмосфере победных торжеств Карамзину, с одной стороны, хотелось писать историю Отечественной войны, с другой — он понимал трудность работы: сбор материала, необходимость заняться современными военными науками, о которых он имел самое общее представление, наконец, он должен был на время работы иметь материальное обеспечение. 20 апреля 1814 года он пишет Дмитриеву: «Мысль описать происшествия нашего времени мне довольно приятна; но должно знать многое, чего не знаю. Не возьмусь за перо иначе, как с повеления государева. Не хочу писать для лавок: писать или для потомства, или не говорить ни слова». 11 мая на уговоры Дмитриева приняться за работу он отвечает: «Не имею нужды уверять тебя, какое живое участие беру в великих происшествиях, в особенности столь славных для нашего любезнейшего государя. Я готов явиться на сцену с своею полушкою, и если буду жив, то непременно предложу усердное перо мое на описание французского нашествия; но мне нужны, любезный, сведения, без которых могу только врать: почему и буду просить их. Читал я Петербургское красноречие, и хотя не знаю, что ты думаешь, но соглашаюсь с тобою, доверяя твоему вкусу. Мы очень славны: авось будем и разумны; всему есть свое время. Я в бреду написал было несколько строф; но теперь не

имею сил писать ни стихами, ни прозою».

Карамзин говорит здесь об оде «Освобождение Европы и слава Александра I», которая была им написана к празднеству 19 мая и тогда же напечатана в Москве отдельной брошюрой. Из бесчисленного числа тогдашних од она прежде всего выделялась посвящением. Обычно такие оды посвящались царю. Карамзин написал: «Посвящается Московским жителям», затем следовало развернутое посвящение:

«С вами, добрые Москвитяне, провел я четверть века и лучшее время жизни моей; с вами видел грозу над сею столицею отечества; с вами ободрялся великодушием достойного нашего градоначальника; с последними из вас удалился от древних стен Кремлевских, и с вами хожу ныне по священному пеплу Москвы, некогда цветущей. Сердце мое принадлежит вам более, нежели когда-нибудь. В эти тревоги и бедствия видел я вашу доблесть: лица горестные, но ознаменованные твердостью; слезы, но слезы умиления, всегда исчисляемые Отцом Небесным: они были для тирана Европы гибельнее самого оружия Героев Российских. Примите жертву моей искренности. Счастлив буду, если, пользуясь остатком дней моих и способностей, успею изобразить на скрижалях „Истории“ чудесную, беспримерную славу Александра I и нашу: ибо слава Монарха есть народная».

Карамзин упорно работал над «Историей государства Российского», он спешил дописать седьмой том и побыстрее взяться за следующий. «Я дописываю Василья Ивановича, чтоб скорее приняться за Грозного царя Ивана», — сообщает он брату. «Оканчиваю Василья Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного: какой славный характер для исторической живописи! — пишет он А. И. Тургеневу. — Жаль, если выдам „Историю“ без сего любопытного царствования! Тогда она будет, как павлин без хвоста».

Между тем императрица Мария Федоровна требовала, чтобы он писал «историю нашего беспримерного времени», приглашала все настойчивее в Петербург.

Карамзин серьезно обдумывал сочинение об Отечественной войне, в его архиве сохранился набросок, опубликованный в 1862 году под названием «Мысли для Истории Отечественной войны» (у Карамзина названия нет). Эта страничка дает представление об общем направлении труда.

«1) Смотря на географическое положение Франции и России, судя по обыкновенным издавна причинам войны между европейскими державами, кто бы за четверть века пред сим вообразил, чтобы Франция и Россия могли непосредственно ударить одна на другую?

2) Так справедливо судили: ибо надлежало перемениться всему политическому состоянию Европы, чтобы сия война могла быть действительно.

3) Революция: ее причина, изменения, проч.

4) Характер Наполеона; его история, постепенность. Случаи несли его на плечах: он делал ныне, чего не предвидел и не думал вчера.

5) Ошибки Кабинетов.

6) Политика России: Аустерлиц; Тильзит; Эрфурт.

7) Гишпания: первый камень преткновения.

8) Наполеон не хотел войны с нами так скоро, хотя и готовил нашу погибель».

Наверное, существовал и и наброски плана дальнейшего повествования. Об общем же плане истории Отечественной войны рассказывает арзамасец Д. В. Дашков в письме Д. Н. Блудову и К. Н. Батюшкову от 25 октября 1814 года:

«Я торопился добраться до Рязани и пробыл в Москве только три дни. Однако ж я успел там видаться со всеми, успел быть всякой день у Карамзина, поговорить с ним обо всем... Почтенный автор занимается теперь царствованием Иоанна, но внимание его обращено и на новейшие события. Ему хочется написать историю войны 1812 года, и план уже готов в голове его: план превосходный. Я удивлялся искусству и точности, с коими он начертан. Главная цель автора есть вторжение французов в Россию и бегство их. Но что же привело их к нам? И с какими целями, с какими надеждами? — Для объяснения сего необходимо нужно начать с Французской революции и вкратце показать ее последствия. Походы Суворова, Аустерлицкий, Фридландский, мир при Тильзите представлены глазам читателя в отдалении, как бы картины в волшебном фонаре. Но чем ближе к нашему времени, тем изображения становятся яснее, обширнее, подробнее. Сильно и красноречиво будет описание сей

достопамятной кампании, если судить по жару, с каким Карамзин говорит об ней. Наконец, перенеся знамена русские за Неман, он опять сжимает, так сказать, свои изображения; краткими, но сильными чертами повествует подвиги в Германии и во Франции, и потом вдруг устремляет все лучи на взятие Парижа, на славное сие последствие 1812 года, который никогда не перестает быть главною его целию. — Для меня всего приятнее слушать умного и красноречивого человека, говорящего с жаром; никакие книжные фразы, на которых всегда приметна печать излишней выделки и обдуманности, не могут сравниться с простым сердечным жаром в разговорах».

Но, несмотря на увлеченность темой Отечественной войны, Карамзин в те же самые дни, в октябре 1814 года, приходит к окончательному решению отказаться от нее. 21 октября он пишет брату; «Хотелось мне... описать историю нашего времени, то есть нашествие французов; но едва ли эта мысль исполнится по разным обстоятельствам». Закончив в конце сентября Василия Ивановича, он начинает писать об Иване Грозном.

24 октября Екатерина Андреевна разрешилась от бремени. Родила сына, назвали Андреем. Карамзин, очень опасавшийся за жену, был рад благополучному исходу. «Он на радостях», — записал в своем дневнике Калайдович о Карамзине.

В то же время, когда Карамзин, вернувшись из Нижнего Новгорода, искал удобную квартиру, Дмитриев, твердо решив выйти в отставку и поселиться в Москве, подыскивал себе домик. Но он приобрел не дом, а погорелое место на Спиридоньевке. Место ему нравилось тем, что отовсюду близко: и от Тверского бульвара, и от Пресненских прудов. Карамзин участвовал в выборе места и потом, пока дом строился, регулярно сообщал другу в Петербург, как обстоят дела и в доме, и в саду, который садовник устраивал одновременно со строительством.

В сентябре 1814 года закончилось строительство дома на Спиридоньевке, и Дмитриев переехал в Москву. Теперь они виделись с Карамзиным почти каждый день. Когда-то Карамзин написал стихи к портрету Дмитриева:

Министр, поэт и друг: я все тремя словами
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами.

Теперь он переделал катрен в двустишие:

Он с честью был министр, со славою поэт;
Теперь для дружества и счастья живет.

С приездом Дмитриева, жившего, как и прежде, литературными интересами, Карамзин стал больше внимания обращать на литературную московскую жизнь, вернее, на литературную *брань*. «Эпиграммы сыплются на князя Шаховского, далее и московские приятели наших приятелей острят на него перья, — сообщает он А. И. Тургеневу. — Василий Пушкин только что не в конвульсиях; в здешнем свете все воюет — и Наполеоны, и Шаховские у нас, и везде любят брань. Пусть Жуковский отвечает только новыми прекрасными стихами, Шаховской за ним не угонится».

В 1814 году Карамзин выпустил второе издание своего собрания сочинений — «исправленное и умноженное»; по сравнению с первым, вышедшим в 1803–1804 годах, оно увеличилось на целый том. Собрание сочинений хорошо продавалось, но, поскольку это была уже классика, и мнение обо всех произведениях давно устоялось, критика молчала. Зато Карамзин получил вызванное этим изданием письмо как бы из прошлого, из милых и заветных времен.

Карамзин переписывался с Н. И. Новиковым, безвыездно жившим в Авдотьино. Переписка то затухала, то возникала вновь. Расположение было взаимным. Может быть, Карамзину в обширных и старомодных письмах старого масона особенно важны были его убежденность и верность своим взглядам и принципам, несмотря на то, что время и обстоятельства подвергали их жестоким испытаниям.

«Из сочинений Ваших, — писал Новиков, — шестой и седьмой томы я с возможным мне вниманием прочитал от доски до доски; о приятном, хорошем и прекрасном говорить теперь ничего не буду, но что касается до философии, о том хочу несколько слов сказать. Извините меня, мой любезный, что я с нею не во всем согласен; я нахожу в ней более пылкости воображения и увлечения в царство возможностей, нежели основательности. Но я думаю, что ныне и Вы сами не будете на все согласны. Скажите мне, угадал ли я, что в письмах „Мелодора

к Филалету“ и „Филалета к Мелодору“, также и в разговоре о счастии назван Филалетом покойный любезный молодой человек П... потому что при чтении сих пьес мне показалось, что обоих вас вижу. Молодой Филалет со стоической холодностью философствует, а философия холодная мне не нравится; истинная философия, кажется мне, должна быть огненна, ибо она небесного происхождения; однако, любезнейший мой, не забывайте, что с Вами говорит идиот (Новиков употребляет это слово в его прямом смысле: по-гречески „идиот“ значит „невежда“. — В. М.), не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою голову: это странность, однако истинно было так, но о сем в другое время...

Извините меня, любезный друг, что я кое-что сказал смутно и беспорядочно, что только по слабости моей в мысль пришло».

Карамзин пишет восьмой том «Истории...». 21 января: «Пишу о царе Иване и венчаю его Мономаховым венцом». Через полгода уже заглядывает вперед, в девятый. 24 июля: «Дописываю осьмой том, содержащий в себе завоевание Казани и Астрахани, а в девятом надобно описывать злодейства царя Ивана Васильевича»; 9 сентября: «Управляюсь мало-помалу с царем Иваном. — Казань уже взята, Астрахань наша, Густав Ваза побит, и орден Меченосцев издыхает; но еще остается много дела, и тяжелого: надобно говорить о злодействах, почти неслыханных. Калигула и Нерон были младенцы в сравнении с Иваном».

Не хватает средств на жизнь. «Цены на все лезут в гору, — жалуется Карамзин брату, — отчего нам трудно жить», «зимою опять начну помышлять о Петербурге, чтобы издать свою „Историю“ и тем доставить себе возможность к воспитанию детей и к заплате долга (Карамзин взял в Ссудной казне Воспитательного дома заем в 15 тысяч рублей. — В. М.), если Бог поможет». Карамзины собираются задержаться в Остафьеве до ноября «не столько для удовольствия, сколько из экономии, потому что здесь проживаем менее. Расходы беспрестанно умножаются, а доходы те же. Остается одна надежда на „Историю“, но и та весьма неверна».

Свидание с императором отодвигается — Александр все время находится за границей: сначала Венский конгресс, затем Сто дней Наполеона, заключение мира, заседание Священного союза... К тому же Карамзин предусматривает, что свидание может не принести успеха. 24 октября он пишет брату: «Надеюсь на свою „Историю“: авось она в течение

двух или трех лет даст мне способ и заплатить долг, и устроить себя до конца жизни. Если же обманусь в надежде, то решимся продать часть имения и жить по-мещански».

В конце октября дети заболели скарлатиной. Екатерина Андреевна была беременна, донашивала последние месяцы. 17 ноября Карамзин пишет А. И. Тургеневу в Петербург: «Десять дней тому, как мы потеряли милую дочь Наташу, а другие дети в той же болезни, в скарлатине. Не скажу ничего более. Вы и добрый Жуковский об нас пожалеете. Это не мешает мне чувствовать цену и знаки Вашей дружбы. Только не легко говорить. Отвечаю на главное... Жить есть не писать „Историю“, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, не исключая и моих осьми или девяти томов. Чем далее живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее. Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу. Сухой, холодный, но умный Юм в минуту невольного живого чувства написал: *сладостное спокойствие души в безропотном подчинении Провидению!* Далее Спиноза говорит о необходимости какой-то неясной любви к Всевышнему, для нашего благоденствия! Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что и как можете: только любите добро; а что есть добро, спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром или автором, ученым — все одно.

Пока живу и движусь, присылайте мне относящееся к русской истории...»

Наконец император вернулся в Петербург. Надо было ехать и везти готовую к печати рукопись. Карамзин откладывает девятый том и принимается за предисловие, которым он должен подготовить читателя к чтению труда, объяснить его цель, предупредить об отличиях чтения истории от чтения беллетристики.

«Предисловие» было написано за ноябрь и окончено 5 декабря 1815 года. Написанное Карамзиным далеко выходило за пределы служебного введения, это был трактат, излагающий основы его философии истории, и истории России в частности, определяющий место исторических знаний в общей системе культуры общества, рассказывающий о принципах исторического сочинения как литературного произведения и об особенностях творческой работы над ним. В «Предисловии» Карамзин подытоживал многолетние размышления и опыт работы над «Историей государства Российского», отсюда ясность, точность, краткость и простота

формулировок. «Предисловие» (как и сама «История...») обращено к самому широкому кругу читателей, а не только к ученым, это определило его язык и стиль.

Карамзин начинает с объяснения сущности истории и ее роли в жизни общества и человека, на какой бы ступени социальной лестницы он ни находился:

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье.

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушилось; она питает нравственное чувство, и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому».

Карамзин пишет, что рассказ о прошлом всегда вызывает интерес у человека, но «особую прелесть» представляет история отечественная. «Истинный космополит, — говорит Карамзин, — есть существо метафизическое... Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с Отечеством: любим его, ибо любим себя». Перечисляя эпохи истории России и называя имена ее исторических деятелей, Карамзин показывает, что отечественная история ничуть не менее богата и любопытна, чем античная и западноевропейская.

«С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться охудения (то есть признания худой, в смысле плохой. — В. М.); но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолубие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в своем труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать Российскую Историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей.

Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: любим Отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого Самодержавия и Святой Веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере, долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!»

На следующий день после окончания «Предисловия» — 8 декабря — было написано посвящение: «Государю Императору Александру Павловичу Самодержцу Всея России». Так требовал этикет.

31 декабря Екатерина Андреевна благополучно родила сына, которого называли Александром. Теперь Карамзин мог ехать.

Он написал о своем приезде в Петербург великой княгине Екатерине Павловне. Ответа не получил.

«Имею намерение ехать через две недели в Петербург, чтобы представить государю восемь томов моей „Истории“, — разумеется, если жена и дети будут здоровы, — писал Карамзин брату 19 января 1815 года. — Великой княгини уже не могу там застать, к сожалению. Впрочем, чему быть, то будет. Императрица Мария несколько раз милостиво звала меня в Петербург; сам государь некогда изъявлял желание видеть меня там. Но все это не обольщает меня: знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем».

В письме брату Карамзин бодрится, старается представить обстоятельства лучше, чем они есть на самом деле, но то смятение, которое было в душе, он не скрывает в письме одному из ближайших друзей, А. Ф. Малиновскому, написанном 20 января: «Я писал к великой княгине и не получил ответа. Она занята и в нас не имеет нужды. Лета располагают нас

к умеренности и к смирению. Если отправлюсь в Петербург, то возьму с собою запас терпения, уничижения, нищеты духа».

Карамзин выехал из Москвы в последний день января. С ним ехал князь Петр Вяземский — «освежиться и отдохнуть» в обществе петербургских друзей.

2 февраля в шестом часу вечера, когда улицы уже окутала тьма, Карамзин с Вяземским въехали в Петербург. Они объехали несколько гостиниц в поисках пристанища и, наконец, нашли свободный номер в *отель-гарни*, или, говоря проще, в меблированных комнатах. В комнатах было холодно, дурно пахло, но ехать еще куда-либо было поздно, и они остались.

На следующий день Карамзин поехал с визитом во дворец к великой княгине Екатерине Павловне. Великая княгиня его приняла, интересовалась его здоровьем, работой, с участием расспрашивала о Екатерине Андреевне, уверяла, что ее дружеское отношение неизменно, позвала сына, чтобы он поздоровался с Карамзиным.

На другой день он был принят вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Легкий светский разговор продолжался минут двадцать, за это время коснулись многих тем: нравственности и отвлеченных идей, труда Карамзина и здоровья Екатерины Андреевны и детей. Императрица сказала, что не находит, будто Карамзин похудел, как ей говорили. Потом она извинилась, что не может уделить ему больше времени. «Вы понимаете положение матери, которая выдает замуж последнюю дочь», — сказала она. Свадьба Анны Павловны с нидерландским наследником, принцем Вильгельмом, должна была состояться в ближайшее время. «Вот и конец моих свиданий с императорскою фамилией», — меланхолически замечает Карамзин в письме жене, рассказав про визиты к великой княгине и императрице.

Правда, во дворце граф Н. А. Толстой сказал Карамзину, что император не желает, чтобы он представлялся ему по существующему официальному порядку через обер-камергера, а будет дано через графа повеление явиться с «Историей...» в кабинет. Такое повеление означало особое расположение, поэтому оставалось лишь ждать. «Боюсь только, — писал Карамзин жене, — что это может продлиться и неделю, и две, и три в нынешних обстоятельствах. Готовятся к свадьбе и праздникам (на 13–20 февраля приходилась Масленица. — В. М.), разве около 20-го затихнет шум. Сколько дней для меня потеряно!»

Беспокоясь о семье, о детях, о жене, Карамзин хотел скорее решить

дело с изданием «Истории» и возвратиться в Москву. Но его появление в Петербурге было замечено, к нему проявляли интерес, да и простой долг вежливости требовал нанести визиты прежним знакомым, друзьям, приятелям и новым знакомым, которые приглашали, прося оказать им честь.

Уже вечером следующего после приезда дня Карамзин писал жене: «Я видел многих, но еще гораздо более надобно видеть. Несмотря на усталость моих лошадей, я не устал духом, ни телом, а только грущу...» И затем в каждом письме (он писал их почти каждый день) он дает отчет о визитах и встречах.

Как «у свойственника любезного» он обедает у Ростопчина, наносит визиты князю А. Н. Голицыну, князю А. Н. Салтыкову, Полторацкому, графине Лаваль, князю Щербатову, Румянцевым, Оленину, Огаревым, княгине А. П. Голицыной, встречается с Розенкампом, Тургеневыми, Лобановым, Козодавлевым, Нелединским, Державиным, Мордвиновым, Муромцевым, графом Каподистрия, Шторхом, Кругом, Мятлевым, Балашовым, Крыловым, Гнедичем и многими другими, не говоря уже о брате Федоре Михайловиче, жившем тогда в Петербурге, и Екатерине Федоровне Муравьевой...

«После обеда езжу из дому в дом, т. е. бываю в двух или трех местах... Еще у половины не был; многие уже пеняют мне»; «обед за обедом; зовут и на вечер; пишут обязательные записки...»; «будущие обеды, записанные в моей книжке, идут уже до воскресенья второй недели поста». По утрам у него самого бывают визитеры: «У меня в одно утро было 12 гостей, и все добрых приятелей», «мне часто не дают писать, а отказывать не могу: видят, что я дома, по карете; не хочу быть грубым и неблагодарным...» — и так день за днем.

Карамзин доволен приемом: «Не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ», «учтивостью, приветствиями и ласками здешних жителей и бояр». Он иронизирует над собой: «Вообще я изрядно болтаю», «почти не затворяю рта», пишет жене о своем сожалении, что она не видит, «как твоего плешивого мужа уважают в Петербурге», описывает свой внешний — светский — вид: «Ты хочешь знать мой туалет: распудрен, причесан славно за 30 рублей в месяц, большею частию в черном фраке, в башмаках, и хоть куда! Находят, что я не так стар. Дай Бог, чтобы ты по возвращении то же обо мне сказала!»

Во многих домах он читает главы из «Истории...»: у графини Лаваль (которая, замечает он, «поет мне комплименты, как сирена» и у которой «дом есть едва ли не первый в Петербурге»), у Тургеневых, у Свечиной, у

великих княгинь и императрицы и в других домах. А. С. Стурдза, присутствовавший на нескольких таких чтениях, рассказывает в своих воспоминаниях: «Я встретил в первый раз Карамзина в гостиной Софьи Петровны Свечиной; он читал нам вслух блистательный отрывок из своей „Истории“, а именно: сказание о Дмитрие Донском; я внимал ему в толпе слушателей, отчасти любопытных, отчасти не доверявших его учености и таланту. Сквозь легкомыслие и вежливое лицемерие некоторых проглядывало глубокое, иногда забавное изумление. Эти домашние чтения повторялись во многих почетных домах; везде сыпались на автора похвалы, которые он принимал без услады и восторга, просто, с неподражаемым добродушием».

Г. Р. Державин, пригласив Карамзина на обед, решил познакомить его с членами «Беседы». Здесь Карамзин впервые встретился и познакомился с Шишковым. Собираясь к Державину, он писал жене: «Нынешний день буду у Державина обедать со всеми моими смешными неприятелями и скажу им: *есть един посреди вас и не усташуся*». Спора не вышло, хотя натянутость и чувствовалась. Затем Карамзин встречался с Шишковым у великой княгини Екатерины Павловны.

Н. И. Греч в своих воспоминаниях пишет о знакомстве Карамзина с Шишковым (правда, две встречи слились в его памяти в одну). «Николай Михайлович рассказывал, — вспоминает Греч, — что он в первый раз встретился с Шишковым у великой княгини Екатерины Павловны. Александр Семенович, услышав имя Карамзина, немного смутился. Николай Михайлович немедленно сказал ему: „Люди, которые не знают коротко ни вас, ни меня, вздумали приписывать мне вражду к вам. Они ошибаются. Я не способен к вражде; напротив того, я привык питать искреннее уважение к добросовестным писателям, трудящимся для общей пользы, хотя и не согласным со мною в некоторых убеждениях. Я не враг ваш, а ученик: потому что многое высказанное вами было мне полезно, и если не все, то иное принято мною и удержало меня от употребления таких выражений, которые без ваших замечаний были бы употреблены“. — Разумеется, что такое объяснение совершенно переменило мысли Шишкова о Карамзине. С тех пор они были если не друзьями, то, по крайней мере, добрыми искренними знакомыми». Жена Шишкова рассказывала, что эта беседа происходила за столом у Державина, и тогда Карамзин произвел на нее «приятное впечатление» той «скромностью», «с какою он начал знакомство с ее супругом».

На том же обеде Карамзин встретил П. И. Кутузова, который в свое время писал на него доносы. «К. обедал с нами, — сообщает Карамзин

жене, — он в волнении духа и спрашивал меня, когда уеду в Москву! Он, верно, не без страха, и мне почти хотелось бы успокоить его; вот казнь злобы и душевной мерзости. Не знаю, кто больше обрадуется: ты ли моему приезду или он моему отъезду». «Старый знакомец», как называет Кутузова Карамзин, три недели спустя предпринял новую акцию против него, которая тут же стала Карамзину известна. «Сказывают, — пишет он жене 7 марта, — что он на сих днях старался доставить графу Аракчееву записку с новыми доносами; но посредник отказался. Он просто сумасшедший, этот К. К счастью твоему, он трус; иначе твой муж был бы, конечно, им застрелен или зарезан ночью».

Кутузов оказался единственным недоброжелателем Карамзина в Петербурге. «Ты, милая, хочешь знать, кто со мною всех *сердечнее, ласковее*, — добрая хозяйка (через два дня после приезда Карамзин из меблированных комнат переехал к Е. Ф. Муравьевой по ее настойчивому приглашению. — В. М.), Малиновские, Арзамасское общество наших молодых литераторов, Румянцевы, Огаревы, Оленины, Полторацкие».

С особым удовольствием Карамзин встречался с молодыми литераторами — арзамасцами. «Здесь из мужчин, — писал он жене, — всех любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная Русская академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!»

Арзамасское общество, или просто «Арзамас», возникло в ходе литературной полемики между сторонниками и противниками карамзинских литературных нововведений, которая началась еще в 1790-е годы. В 1805 году А. А. Шаховской написал комедию «Новый Стерн», в которой высмеивал Карамзина. Литературный спор имел общественный резонанс. Сам Карамзин на выпады против него не отвечал, поэтому даже когда в 1811 году составилось в Петербурге литературное общество «Беседа любителей русского слова», которое объединило приверженцев старых традиций А. С. Шишкова, Г. Р. Державина, А. А. Шаховского, А. С. Хвостова, С. А. Ширинского-Шихматова и других, спор не принимал особой остроты. Но в 1815 году тот же А. А. Шаховской написал комедию «Липецкие воды, или Урок кокеткам», в одном из героев которой, поэте Фиалкине — жалком воздыхателе, постоянно говорившем о своих балладах, публика узнала сатиру на В. А. Жуковского. Молодые романтики, последователи Карамзина, открыли настоящую войну против Шаховского и «Беседы».

Д. В. Дашков написал сатирическую кантату — «похвалу» Шаховскому:

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад.
В «Беседе» добрый усыпитель,
Хвостову брат,
И враг талантов записной.
Хвата тебе, о, Шаховской.

П. А. Вяземский вспоминает: «Все наше молодое племя закипело и вооружилось». Писались эпиграммы, пародии. В конце концов, молодые друзья Карамзина и Жуковского организовали общество, на заседаниях которого вели разговоры о литературе, подвергая осмеянию взгляды и произведения членов «Беседы». Д. Н. Блудов сочинил шуточный разговор на литературную тему неких «безвестных людей» на постоялом дворе в Арзамасе. Сочинение понравилось, и тогда общество решили назвать «Арзамасское общество безвестных людей», а на ужин, которым заканчивалось каждое заседание, подавать жареного гуся, потому что Арзамас славился гусями.

Членам Арзамасского общества давались прозвища по героям баллад Жуковского: сам Жуковский получил прозвище Светлана, Д. Н. Блудов — Кассандра, А. Ф. Воейков — Дымная Печурка, А. А. Плещеев — Черный Вран, Н. И. Тургенев, — Варвик, Д. В. Дашков — Чу, С. П. Жихарев — Громобой, Ф. Ф. Вигель — Ивиков Журавль, А. И. Тургенев — Эолова Арфа, М. Ф. Орлов — Рейн, К. Н. Батюшков — Ахилл, Н. М. Муравьев — Адельстан, П. А. Вяземский — Асмодей, А. С. Пушкин — Сверчок и т. д., а членам «Беседы» дали общее наименование — халдеи.

Многих из арзамасцев Карамзин знал по Москве, с ними он чувствовал себя легко и свободно. Он посетил несколько заседаний Арзамасского общества, на одном из которых ему вручили диплом, хотя и написанный в шутовском тоне, но свидетельствующий о любви и уважении к нему арзамасцев. Ему было присвоено звание «природного арзамасца» без прозвища. Бывали арзамасцы и у него. Вяземский вспоминает, что как-то «Карамзин читал молодым приятелям своим некоторые главы из „Истории государства Российского“». После этого вечера В. А. Жуковский писал И. И. Дмитриеву в Москву: «У нас здесь праздник за праздником. Для меня же лучший из праздников: присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича. Здесь все жаждут его узнать, и видеть его в этом кругу так же приятно, как и быть с ним в его семье: он обращает в чистое наслаждение сердца то, что для большей части есть только беспокойное

удовольствие самолюбия. Что же касается до меня, то мне весело необыкновенно об нем говорить и думать. Я благодарен ему за счастье особенного рода: за счастье знать и (что еще более) чувствовать настоящую ему цену. Это более, нежели что-нибудь, дружит меня с самим собою. И можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзиным*: тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего. Недавно провел я у него самый приятный вечер. Он читал нам описание взятия Казани. Какое совершенство! И какая эпоха для русского появления этой „Истории“! Какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту „Историю“ можно назвать *воскресителем прошедших веков бытия нашего народа*. По сию пору они были для нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь все оживятся, подымутся и получают величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования, теперь созревающие! Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы...»

Карамзин не делал тайны из главной цели своего приезда. Ф. Н. Глинка, с которым он лично познакомился тогда — прежде они были знакомы заочно — и сошелся довольно близко, в своих заметках «о незабвенном Николае Михайловиче Карамзине» пишет о феврале — марте 1816 года: «Это была важная для него эпоха! Все надежды, может быть, и мечты его сосредоточились в этом кратком, но томительном периоде ожидания: „Как будет принята и оценена и в каком виде пропущена в печать его ‘История’“?»

С одной стороны, бурное, веселое, суматошное светское времяпрепровождение, с другой — ожидание. «С 11 часов скачу с визитами, — пишет он жене 11 февраля, — и хорошо делаю: это лучшее рассеяние; почти не затворяю рта и не имею времени грустить». Успех в свете — это рассеяние от тревоги, неуверенности, предчувствий, сомнений, бессилия изменить течение событий...

Из того же письма: «Вот уже более недели, как я здесь, и все езжу с визитами. От государя ни слова. Императрица Мария нередко говорит обо мне с другими, как мне рассказывают. Здесь теперь все занято праздниками: авось скоро узнаю что-нибудь решительное в рассуждении моей „Истории“... Судьба наша зависит от Бога: следственно, в хороших руках».

14 февраля Карамзин видел императора на балу, но тот не обратил внимания на историографа. Граф Толстой сказал, что государь придет за ним после праздников, и добавил, что всякое справедливое желание

Карамзина будет им исполнено.

18 февраля Карамзин приглашен на придворный маскарад в Таврический дворец.

Между тем по Петербургу пошли слухи. Утверждали, что государем уже дано Карамзину все, что он просил. По секрету Карамзину сообщили, что в одном доме, услышав о шестидесяти тысячах, нужных на издание (а именно столько, по расчетам Карамзина, требовалось), государь удивился и сказал, что не выдаст из казны такую сумму. Кто-то советовал Карамзину продать рукопись какому-нибудь издателю.

25 февраля: «Уже три недели я здесь и теряю время на суету: не подвигаюсь вперед и действительно имею нужду в терпении. Почти ежедневно слышу, и в особенности через великую княгиню, что государь благорасположен принять меня — и все только слышу. Видишь, как трудно войти в святилище Его кабинета! Вчера граф Каподистрия (сидевший у меня три часа) в утешение говорил мне, что государь во все это время еще *никого* не принимал у себя в кабинете: следственно, надобно ждать! Ты, милая, заставила меня посмеяться над тобою, сказав, что я, верно, не употребляю всех способов отделаться поскорее: действительно, жду только и более ничего не делаю, но для того, что делать нечего. Государь не может забыть, что историограф здесь: ибо сам, как мне сказывали, говорит обо мне; а принудить его никто, без сомнения, не возьмется... Буду молчать до третьей недели поста; а там скажу, что пора мне домой, как я уже писал к тебе».

28 февраля, после одного из очередных разговоров с великой княгиней, Карамзин пишет жене: «Я уже решился не говорить об „Истории“, везти ее назад, спрятать до иных времен и надписать над манускриптом: „Предназначено для моих детей и последующих поколений“... В самом деле, меня все ласкают: чего более? По милости Бога проживем и без „Истории“. ...Изгоняй Петербург и двор из своей головы, ты должна видеть в нем только своего друга, который думает только о возвращении. Позабудь даже и мою „Историю“. Однако ж я буду продолжать ее, воротясь в Москву: она принадлежит детям и отечеству. Да здравствует работа!.. Я не сделаю глупостей, не буду ни на чем настаивать, торопить, спешить без толку, но никогда я не чувствовал себя так гордым, как подышав петербургским воздухом».

1 и 2 марта у Карамзина состоялись два решительных разговора с великой княгиней Екатериной Павловной.

«Вчера, говоря с великой княгиней Екатериной Павловной, я

только что *не дрожал от негодования* при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти *оскорбительным образом*. Я спросил ее, не могу ли я уехать в Москву без разрешения. Она отвечала: „Нет, должно ожидать приказаний его величества“. Я говорю всем, кто хочет меня слушать, что у меня теперь одна только мысль — отправиться домой. Меня душат здесь под розами, но душат; я не могу долго жить таким образом; я слишком на виду, говорю слишком много, это возбуждает сверх меры мои нервы, а мне нужен покой: я сержусь не на шутку на того, кому нет дела, кажется, ни до меня, ни до моей „Истории“...

Вообще, милая, хотел бы я переехать с тобою в Петербург, но если не удостоят меня *лицезрения*, то надобно забыть Петербург: докажем, что и в России есть благородная и Богу не противная гордость; продадим Вторусскую деревеньку и станем век доживать в Москве. Еще повторяю: не сердись, не говори о том для меня; даже и сердцем мы могли бы унизиться; будем только жалеть, и *есть об чем жалеть!* Пестро, очень пестро; но все делается, как Богу угодно: вот что всегда успокаивает мою душу, исполненную любви к России и к ее доброжелательному монарху...»

Ф. Н. Глинка, служивший в Генеральном штабе и бывший в центре всех новостей, имел обширные знакомства: «Я сообщал ему взгляды разных партий и значительных единиц на его „Историю“, о которой всякий судил по-своему, и то по слуху! Об ином Н. М. уже слышал и знал; о другом догадывался; а некоторые вещи были для него еще новы. Уже обе государыни были на стороне Карамзина, многие влиятельные особы стояли за него: но все чего-то недоставало. Полагали и, кажется, не ошибались, что Н. М. следовало сделать визит Аракчееву».

Между тем обстоятельства сами вели Карамзина к встрече со всесильным вельможей.

«Вчера, — пишет Карамзин в письме от 25 февраля, — входит ко мне ординарец его (Аракчеева. — В. М.) с запискою от адъютанта, что граф ждет меня в 6 часов вечера. Догадываюсь и отвечаю, что не я, а брат мой Федор, старинный сослуживец графа, был у него накануне, не имев счастья видеть его. Адъютант извиняется весьма учтиво и пишет, что он, действительно, ошибся, и что граф ждет брата. Брат является, и

граф с низким поклоном говорит ему: „Радуюсь случаю познакомиться с таким *ученым* человеком, тем более, что я был некогда приятелем вашего брата“. Федор Михайлович отвечает: „Ваше сиятельство! я не историограф, а самый ваш старинный знакомец!“ Следуют объятия, ласки. Открылось, что граф ждал историографа, узнав, что приехал к нему Карамзин. Но могли я, имея известный тебе характер, ехать к незнакомому мне *фавориту*! Это было бы нахально и глупо с моей стороны. Однако ж, этот случай ставит меня в неприятное положение: *друг государев* уже объявил свое расположение принять меня учтиво и обязательно: если не буду у него, то не покажусь ли ему грубияном? а если буду, то *не заключат ли, что я пролаз и подлый искатель*! Лучше, кажется, не ехать. Пусть вельможа несправедливо сочтет меня грубияном. Так ли думаешь, милая?»

Неделю спустя Карамзину передали, что Аракчеев будто бы сказал: если откажут в выдаче казенной суммы, он с удовольствием предложил бы средства от себя. «Я рад, что у нас есть такие бояре, — замечает по этому поводу Карамзин, — но скорее брошу свою „Историю“ в огонь, нежели возьму 50 т. от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».

10 марта приближенный Аракчеева передал Карамзину, что граф желает видетсья с историографом и говорит: «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства: он приехал сюда и не забросил даже ко мне карточки».

Ситуация приобретала явно неловкий характер. Зная уважительное к нему со стороны Аракчеева отношение, отказаться от встречи было бы просто невежливо, и Карамзин отвез карточку к графу. «Что будет далее, не знаю, — писал он жене. — Помогите нам Бог выпутаться из всех придворных обстоятельств с невинностью и честью, которыми я обязан моему сердцу, милой жене, детям, России и человечеству!»

В представлении современников либерального направления мыслей и через них традиционно утвердившийся в истории образ Аракчеева рисовался как олицетворение зла. Все в нем, начиная от внешности, представлялось уродливым и зловещим. Вот как описывает его мемуарист: «По наружности он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучить анатомию жил и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая

безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства». Такими же отрицательными чертами характеризовалась его деятельность: тиран с подчиненными, организатор военных поселений, преданнейший, бессловесный и исполнительный слуга Павла I, а затем Александра I. С его именем связывали любое реакционное или нелепое действие правительства. Общественное мнение требовало относиться к нему с ненавистью и презрением.

В письме от 13 марта Карамзин описывает встречу с Аракчеевым: «Я отвез карточку к графу Аракчееву и на третий день получил от него зов; приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторою искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал: „Не прошу ваше сиятельство; но если вам угодно, и если будет кстати“ и проч. Он сказал: „Государь, без сомнения, расположен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь“. Пришел третий человек, его *ближний*, и разговор наш переменился. Слышно, что он думает пригласить меня к обеду. Вообще я нашел в нем человека с умом и с хорошими правилами. Вот его слова: „Учителем моим был дьячок: мудрено ли, что я мало знаю? Мое дело исполнять волю государеву. Если бы я был моложе, то стал бы у вас учиться; теперь уже поздно“. Не думай, милая, что это насмешка; нет, он хорошо трактовал меня, и сказанное мною не могло подать ему повода к такой насмешке. Следственно, и граф Аракчеев обязался способствовать моему скорейшему свиданию с государем: даже уверил меня, что это откладывание не продолжится. Неужели все будет напрасно? По крайней мере, надобно ждать, и непристойно требовать, чтобы меня ни с чем отпустили в Москву».

Позже Карамзин говорил, что в этом разговоре шла речь о его молодости, связях с масонами и о Павле I.

Кстати сказать, многие люди, искренне верившие в созданный молвой образ Аракчеева, при личной встрече бывали удивлены его несоответствием с действительностью; об этом писали, например, Н. И. Тургенев, декабрист В. И. Штейнгель.

Между тем и великая княгиня, и императрица обнадеживали Карамзина, что аудиенция будет дана на днях.

В городе повторяли острогу Ростопчина. Одна из младших великих

княгинь спросила: «Почему весь Петербург так ласкает историографа?» На что Ростопчин ответил: «Потому, что он привратник в бессмертие».

«Во-первых, я все надеюсь, что дело мое кончится на сих днях; как скоро увижу императора, то, без сомнения, на третий день выеду, — пишет Карамзин после встречи с Аракчеевым. — Во-вторых, если бы сверх чаяния и продлились недосуга его еще неделю, две или более, то заклинаю тебя быть спокойною на мой счет, предаться в волю Божию и ждать меня в Москве. Самый последний срок есть отъезд государев: это развяжет мне руки и ноги; если и не увижу его, то все буду свободен ехать к тебе, милая, а он, как слышно, в самом начале весны отправится. Теперь уже дело зашло далеко: не могу пристойным образом и просить дозволения возвратиться в Москву, не видав государя: мне со всех сторон кладут в рот, что он расположен сделать для меня все справедливое и пристойное... Решится судьба моего труда долговременного и отчасти самой жизни нашей: две лишние недели разлуки могут некоторым образом наградить нас за шесть, уже прошедших...»

15 марта император принял Карамзина.

Письмо жене, написанное на следующий день, 16 марта: «Милая! Вчера в 5 часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково, обнял и провел со мною *час сорок минут* в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь, не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию, два раза начинал и не кончил. Скажи: тем лучше! ибо он хотел говорить со мною. Я предложил, наконец, свои *требования*: все принято, дано, как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге; весну и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и проч. Я нюхал табак: он взял мою табакерку; нашел, что ты лучше портрета... Он пригласил меня обедать в пятницу, то есть завтра; обещал подписать два указа обо мне нынешний день, или, по его словам, прежде пятницы; одним словом, надеюсь выехать около будущего вторника или среды...»

Письмо от 17 марта: «Не знаю, кто мне даст знать об указах. Вчера я отвез карточку к графу Аракчееву: он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с императором. Письмо запечатаю. Думаю, что оно, хоть и краткое, сделает тебе более

удовольствия, нежели прежние. Авось, все устроится к лучшему! Могу сказать лишнее; могу и поступить в ином не совсем благоразумно, но Бог поправит, вступится за мою простоту!..»

В чем причина столь долгого ожидания аудиенции? Советская историография упорно утверждала, что царь хотел унижить Карамзина, выразить свое недовольство «Запиской о древней и новой России...». Было высказано также мнение, что аудиенцию тормозил Аракчеев, желавший показать свое могущество. Но думается, что разгадка проще, и прав М. П. Погодин, когда писал: «Может быть, замедление произошло просто и естественно, потому что наверху вещи представляются иначе, и немедленное решение о печатании „Истории“ не казалось столько нужным и важным, чтобы должно было пожертвовать ему другими делами».

24 марта в «Сыне отечества» было помещено объявление:

«При сем случае можем известить публику, уже давно с нетерпением ожидающую „Истории Российской“, сочиненной г. Карамзиным, что он кончил и совершенно изготавил к напечатанию 8 томов. В них заключается История России от древнейших времен до кончины царицы Анастасии Романовны, супруги царя Ивана Васильевича Грозного, т. е. до 1560 года. Ныне занимается он девятым томом и надеется кончить его до издания в свет первых осьми. Вся „История“ печататься будет в Санкт-Петербурге, под смотрением самого автора, и все 9 томов выйдут вдруг. Печатание продолжится года полтора».

25 марта, в Благовещение, Карамзин с В. Л. и С. Л. Пушкиными, Жуковским, А. И. Тургеневым и Вяземским навестил в Царскосельском лицее Александра Пушкина. Об этом посещении в Лицее знали заранее. «Мы надеемся, что Карамзин посетит наш Лицей, — писал в письме знакомому Илличевский, — и надежда наша основана не на пустом: он знает Пушкина и весьма много им интересуется». К тому времени стихи юного Пушкина были уже известны в Петербурге. Конечно же Василий Львович не преминул познакомить с ними Карамзина.

Наверное, Сергей Львович вспоминал эпизод из давних лет, когда однажды Карамзин был у них в доме и они долго беседовали, а шестилетний Александр, сидя против, не спускал с Карамзина глаз и вслушивался в разговоры, что, по мнению Сергея Львовича, показывает, что уже тогда мальчик «понимал, что Николай Михайлович Карамзин — не то, что другие». (Это же он много лет спустя написал в своих кратких

заметках о сыне.) Во всяком случае, Пушкин получил приглашение посещать Карамзина в свободное от занятий время, когда тот переедет на дачу в Царское Село.

Произведения Карамзина, главным образом стихи, и особенно «богатырская сказка» «Илья Муромец», входили в круг постоянного чтения Пушкина. В стихотворении «Городок» он так описывает полку с книгами любимых авторов:

Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фон-Визин и Княжнин...

После посещения гостями Лицея, прочтя объявление в «Сыне отечества», Александр Пушкин, мысли которого тогда занимала поэзия, и она стояла на первом месте, написал на Карамзина эпиграмму:

«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство Золотое,
А может быть, про Грозного царя...» —
И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря».

27 марта Карамзин и Вяземский выехали из Петербурга.

Глава X

«И ИСТИНУ ЦАРЯМ С УЛЫБКОЙ ГОВОРИТЬ...» 1816–1826

Карамзин возвратился в Москву усталый, возбужденный и в тот же день разложил на столе бумаги и книги, чтобы продолжить оставленную два месяца назад работу.

Но первым делом он написал письмо Екатерине Федоровне Муравьевой, исполняя долг вежливости и еще больше благодарности:

«Почтеннейшая и любезнейшая Катерина Федоровна! Последним словом моим в Петербурге было изъявление моей сердечной к Вам благодарности, а первым в Москве да будет то же! Ваша милость и дружба составляют одно из главных благ моей жизни. Зная чистоту Вашей души, радуюсь Вашей любовью, которая дает более достоинства моему нравственному существу. — С нежностью целую Вашу руку.

Я щастлив свиданием с милым семейством. Но сын Андрей нездоров: это беспокоит меня, хоть и не вижу еще опасности. У него, кажется, зубы, а может быть, есть и простуда. Помолитесь за нас, мы же будем за Вас молиться.

Дай Бог, чтоб в конце мая мы увиделись или в Царском Селе или в Петербурге благополучно! Хорошо жить в одном месте с Вами.

Обнимаю молодых друзей моих, любезного Никиту Михайловича и веселого братца его. Всем, кто ездит в Ваш благословенный дом и вспомнит обо мне, от доброго сердца кланяюсь...»

Второе письмо — Александру Тургеневу: «Обнимаю Вас с чувством нежности и признательности за все доброе, чем Вы преисполнили мою душу в течение моей петербургской Пятидесятницы».

Если говорить только о результатах поездки в Петербург, то Карамзин получил все, на что рассчитывал. Но в то же время осталось от этого и чувство горечи.

Спустя несколько дней после возвращения в Москву Карамзин пишет

брату письмо, в котором сообщает о чине и ленте, о деньгах, данных на печатание «Истории...», об обедах во дворце у государя и вдовствующей императрицы, о милостях великих князей и княгинь, сообщает о своем возможном переезде «на год или два» в Петербург. Но затем тон рассказа вдруг резко меняется, и становится понятно, что «милости» — это лишь казовая, парадная сторона происшедшего, в действительности же все совсем не так радостно и безоблачно. Ситуация во время свидания с императором имела нечто схожее с той, в которой оказался Карамзин в 1811 году после того, как император прочел или просмотрел «Записку о древней и новой России...».

Рассказав о своем удовлетворении от внимания публики, Карамзин продолжает: «Все остальное зависит от Бога. Мне уже не долго странствовать по земле: надобно не столько гоняться за приятностями, сколько за пользой и добром... Милость государева не ослепляет меня; не ручаюсь за ее продолжение. Дай Бог только счастья ему и государству! Некоторые из знатных ласкали меня, другие и так и сяк. Всякий о себе думает, или по большей части. — Петербург славный город; но жить в нем дорого: не знаю, как мы там устроимся. Впрочем, не беспокоюсь заранее».

А. И. Тургенев прислал письмо, где передавал отзывы о Карамзине, которые слышал после его отъезда, и высказывал свое восхищение им и его «Историей...», на что Карамзин отвечал: «Дружеское письмо ваше от 3 апреля тронуло меня до глубины сердца... Однако ж могу посмеяться над вами, над вашею ко мне верою! Она не обманет вас в одном смысле: верьте моей искренности и дружбе, остальное не важно. Я не мистик и не адепт. Хочу быть самым простым человеком, хочу любить как можно более; не мечтаю даже и о *возрождении* нравственном в теле. Будем в середине немного получше того, как мы были во вторник, и довольно для нас, ленивых».

Готовясь к отъезду в Петербург и обдумывая будущее, Карамзин, в конце концов, наиболее возможным считает такой вариант: он едет в Петербург, получает деньги, договаривается с типографщиками о печатании «Истории...», причем если почему-либо не удастся договориться с петербургскими, то можно печатать в Москве у Селивановского, лето живет в Царском Селе, а осенью возвращается в Москву.

Поэтому в Петербург Карамзин берет лишь часть материалов для работы над очередным томом, остальное оставив в архиве у А. Ф. Малиновского с распоряжением: «1. Оставляю шесть ящиков, из коих три под № 1, 2 и 3 должны быть отправлены на почту в пятницу 19 мая; а другие три под № 4, 5 и 6 остаются в Архиве до моего востребования... 2.

Остается еще в Архиве большой сундук с моими книгами до моего возвращения или распоряжения».

Карамзин попросил А. И. Тургенева выяснить, отведен ли ему, как было обещано, дом в Царском Селе; дом был готов, и 18 мая Карамзин со всей семьей выехал в Петербург.

24 мая Карамзины были уже в Царском Селе. Домик, прибранный, протопленный, ожидал их. Ящики из архива прибыли накануне.

В тот же день Карамзин отправил письмо в Петербург А. И. Тургеневу: «Здравствуйте, любезнейший Александр Иванович! Мы в Царском Селе; в Петербурге ли вы? Думаю или надеюсь. Можете ли заглянуть к нам? или мне приехать к вам? — Между тем, дружески прошу сказать князю Александру Николаевичу (Голицыну. — В. М.) выразительное слово о моей искреннейшей благодарности: мы очень довольны приятным домиком. Не может ли он, будучи столь благосклонен ко мне, доложить государю, что я, по его высочайшей милости сделавшись теперь жителем Царского Села, ожидаю, когда мне позволено будет видеть моего монарха и благотворителя? — Обнимаю вас от души и сердца. Напишите строчку в ответ. Не замедлю быть в Петербурге. До свидания. 24 мая ввечеру».

На следующий день Карамзин написал письма Дмитриеву и Малиновскому. Он сообщал, что вдовствующая императрица, пребывавшая в Павловске, присылала поздравить его с приездом и передать, что он может быть в Павловске, когда захочет, и всегда будет принят с удовольствием, что император выехал из Царского Села три дня назад и будет послезавтра, что сам он находит предоставленный ему домик приятным, уютным, изрядно меблированным.

Отныне так называемый китайский домик в Царском Селе станет постоянным местом жительства Карамзина в летние месяцы. И. И. Дмитриев в своих воспоминаниях оставил описание летних придворных дач.

«Для любопытных наших внучат я скажу несколько слов и о сих китайских домиках. Они поставлены были еще при императрице Екатерине Второй вдоль сада, разделяемого с ними каналом. Это было пристанище ее секретарей и очередных на службе царедворцев. Китайскими прозваны потому только, что наружность их имеет вид китайского зодчества, и со въезжей дороги ведет к ним выгнутый мост, на перилах коего посажены глиняные или чугунные китайцы, с трубкою или под зонтиком. Ныне число домиков умножено и определено им другое

назначение: они служат постоем для особ обоего пола, которым государь, из особливого к ним благоволения, позволяет в них приятным образом препровождать всю летнюю пору.

Все домики, помнится мне, составляют четвероугольник, посреди коего находится каменная же ротонда. Живущие в домиках имеют позволение давать в ней для приятелей и соседей своих обеды, концерты, балы и ужины. В каждом домике постоялец найдет все потребности для нужды и роскоши: домашние приборы, кровать с занавесом, уборный столик, комод для белья и платья, стол, обтянутый черною кожею, с чернильницею и прочими принадлежностями, самовар, английского фаянса чайный и кофейные приборы с лаковым подносом и, кроме обыкновенных простеночных зеркал, даже большое, на ножках, цельное зеркало. Всем же этим вещам, для сведения постояльца, повешена в передней комнате у дверей опись, на маленькой карте, за стеклом и в раме. При каждом доме садик: посреди круглого дерна куст сирени, по углам тоже. Для отдохновения железные канапе и два стула, покрытые зеленою краскою. Для услуг определен придворный истопник, а для надзора за исправностию истопников один из придворных лакеев».

Дмитриев описывает китайские домики Царского Села с внешней, так сказать, стороны, и поэтому создается впечатление, что и сама обстановка и жизнь в них должны иметь специфический казенный колорит. Однако это не совсем так: петербуржец, привычный к наемным квартирам и считающий более выгодным и спокойным снимать, нежели иметь собственный дом, вообще не ощущал там никакой казенности, москвич Карамзин тоже почти всю жизнь жил на квартирах, поэтому на этой даче чувствовал себя вполне уютно.

Карамзину нравится Царское Село и в том числе по историческим воспоминаниям. «Царское Село есть прекрасное место и, без сомнения, лучшее вокруг Петербурга, — пишет Карамзин брату. — Здесь все напоминает Екатерину. Как переменялись времена и обстоятельства! Часто в задумчивости смотрю на памятники Чесмы и Кагула».

Карамзин с женой — постоянные гости на обедах и балах в Павловске. Император оказывает ему вежливое внимание; однажды «призвал к себе» и говорил с ним, по словам Карамзина, «весьма милостиво о вещах обыкновенных», при встречах на прогулках останавливался, «чтобы

сказать несколько приятных слов», дважды Карамзин был приглашен к императору на обед. «Ласка двора к нам необыкновенная», — подводит Карамзин итог в письме брату.

В Царском Селе Карамзина навещают Тургенев, Жуковский, Блудов и другие арзамасцы.

С первых же дней пребывания в Царском Селе частый гость у Карамзиных — лицеист Александр Пушкин. Уже 2 июня Карамзин сообщает Вяземскому, что его посещают «поэт Пушкин, историк Ломоносов», которые его «смешат добрым своим простосердечием», при этом он добавляет: «Пушкин остроумен».

М. П. Погодин, слышавший воспоминания современников, рассказывает, что Пушкин каждый день после занятий прибегал к Карамзиным, «проводил у них вечера, рассказывал и шутил, заливаясь громким хохотом, но любил слушать Николая Михайловича и унимался, лишь только взглянет он строго или скажет слово Катерина Андреевна; он любил гулять с его семейством и играть с детьми; резвился, кривлялся, досаждал мамушке их, Марье Ивановне, которая беспрестанно на него кричала: „Да полноте, Александр Сергеевич, вы уроните, вы ушибете... что это такое, ни на что не похоже, перестаньте шалить!“ — и шалун унимался».

Незадолго до приезда Карамзина в Царское Село Пушкин получил письмо из Москвы от дяди Василия Львовича, в котором тот писал: «Николай Михайлович в начале мая отправляется в Царское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем». В это «мы» он, кажется, включал и Карамзина. Во всяком случае, когда к одному из павловских празднеств понадобилось написать стихи для кантаты в честь принца Оранского, Карамзин порекомендовал как автора Пушкина.

В 1830-е годы Пушкин рассказывал Погодину, что он присутствовал при том, когда Карамзин работал, и даже изобразил, какое у него в это время бывало «вытянутое лицо». Их разговоры в это лето касались и литературы, и современных событий. Сам Пушкин свое отношение к Николаю Карамзину характеризует как «сердечную привязанность».

Осенью 1816 года Пушкин в послании «К Жуковскому» писал о Карамзине:

Сокрытого в веках священных судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник Муз любимый

И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил.

Несмотря на внешнее благополучие, довольно скоро, всего неделю-две спустя, обнаружилось, что Карамзин по своим привычкам, образу жизни не вписывается в уклад, нравы и обычаи царскосельского общества. Придворная жизнь, состоящая из множества обязанностей и правил, жестко определенных и неуклонно выполняемых, требовала от человека, если он желал играть в ней какую-то роль, всего его времени, всех сил и помыслов. Карамзин же, занятый работой и заботами об издании «Истории...», не уделял должного, как полагали в Царском Селе, внимания выполнению придворных правил. Кому-то это представлялось заносчивостью, кто-то завидовал. А Карамзину просто не нужна была придворная карьера, и что в глазах окружающих почиталось удачей и счастьем, для него не имело никакой цены. «Мое положение могло бы восхитить молодого человека, а я уже стар и мрачен духом: цветы мало веселят меня», — пишет он Дмитриеву в одном письме, а в другом замечает: «Я не придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других». Его настроение приобретает меланхолический оттенок. «А доволен ли я? — повторяет он вопрос Дмитриева и отвечает: — По крайней мере, не собою; не совсем доволен и другими»; «не каюсь, что приехал сюда; надеюсь, что не буду каяться и возвратясь в дом Кокошкина» (последнее место жительства Карамзина в Москве на Арбатской площади. — В. М.). В письме Малиновскому от 4 июля, изобразив свою «единообразную» жизнь: обеды в Павловске, встречи с императором на прогулках, редкие приезды друзей из Петербурга, не очень задающуюся работу («пишу кое-как»), Карамзин говорит: «Москва у меня в сердце; я доволен здешним пребыванием, но помышляю возвратиться, и решительно, в половине или исходе августа. Кажется, что мне лучше провести остаток жизни там же, где я провел молодость, в любви семейственной и дружеской».

В июле в Москве умер И. В. Лопухин, о чем Карамзину сообщил Дмитриев, в тот же день в Царском Селе узнали о кончине Г. Р. Державина. 18 июля Карамзин пишет Дмитриеву из Царского Села: «Ты с грустию писал ко мне о смерти нищелюбивого И. В. Лопухина, моего старинного благоприятеля, а я с грустию же пишу к тебе о кончине Г. Р. Державина. В один день узнали мы о той и другой. Меня кольнуло в сердце. Естественно вспоминать об усопших только добром. Наш Пиндар готовился дать

сельский пир друзьям своим и пал в могилу, которая часто бывала рифмою в его стихах! До сей минуты не знаю никаких подробностей. Здесь мало занимаются мертвыми. В воскресенье мы обедали в Павловске — никто не сказал мне ни слова о смерти знаменитого поэта!»

Взаимоотношения с обитателями китайских домиков становятся все прохладнее. «Если не могу, то и не хочу нравиться людям, — пишет Карамзин Дмитриеву в сентябре. — Здесь многие перестали быть ласковы со мною: у того я не был с визитом, другому не сказал учтивости и проч., иной считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже травы». А 2 августа он уже не может скрыть тоски и жалуется Малиновскому: «Не могу изобразить Вам, как мне бывает тяжело и грустно. Чувствую, что я не создан для здешней жизни и что мне оставалось бы только доживать век свой в уединении, с вами, моими немногими друзьями московскими. Может быть, я сделал ошибку; да будет воля Божия! хотелось бы поговорить с Вами: обо всем не напишешь...»

Угнетает Карамзина также и мысль о том, что на жизнь в Петербурге, где все гораздо дороже, чем в Москве, его средств явно не хватит, придется залезать в долги. Рассчитывая на доход от издания «Истории...», он грустно шутит: «А наши доходы? указываю на манускрипт свой и винюсь в сходстве с девкою-молошницею, которая несет на голове кринку и мечтает о богатстве».

Однако, несмотря на меланхолию, дурное настроение, Карамзин занимается хлопотами об издании «Истории...». Он часто ездит в Петербург, ведет переговоры с владельцами типографий. Поскольку слухи, как обычно, преувеличивали сумму, полученную им из казны на печатание «Истории...», то везде назначали высокую цену. Карамзин торговался, но безуспешно. «Типографщики дорожатся или не имеют нужного для такого печатанья», — описывает он свои мытарства в письме Дмитриеву 8 июня 1816 года; 28 июня уже почти решает печатать в Москве: «Сверх цены нахожу, что у Селивановского можно печатать „Историю“ скорее, нежели в здешних типографиях». В июле императору стало известно о неудачных переговорах Карамзина с типографщиками, и он решил дело по-своему. «Государь, — сообщает Карамзин Дмитриеву 18 июля, — без моей просьбы дал приказание князю Волконскому (генерал-адъютант, начальник Главного штаба. — В. М.), чтобы военная типография печатала мою „Историю“ на условиях, какие предложу ей; но г. Закревский (начальник военной типографии. — В. М.) учтиво пишет ко мне, что он готов исполнить приказание, не ручаясь за скорое печатание. Я отвечал, что в таком случае не могу иметь с ними дела». Однако Карамзину намекнули,

что в данном случае лучше не вступать в конфликт. 2 августа он пишет Малиновскому: «Судьба наша решилась тем, что мы должны остаться в Петербурге года на два, следственно, почти на всю жизнь по моим летам и здоровью, если не ошибаюсь. Государь без моей просьбы велел печатать „Историю“ мою в военной типографии, желая тем изъяснить к нам милость! Отказаться невозможно, хотя, кроме всего прочего, сама „История“ будет там напечатана весьма некрасиво».

Карамзин снял квартиру на Захарьевской улице, близ Литейного двора, в доме Баженовой, за четыре тысячи в год. В письме Малиновскому он перечисляет достоинства снятой квартиры: «Нева в 100 саженьях, недалеко и Таврический сад; двор хорош и с садиком; всего довольно, и сараев, и амбаров, комнаты весьма недурны, только без мебели, на которую надо еще издержать тысячи две, если не более». Правда, это было довольно далеко от центра, но, может быть, удаленность и привлекала Карамзина. «Ум и сердце согласно предписывают мне жизнь семейную и работу, — пишет он Дмитриеву, водворившись в квартире на Захарьевской, и замечает: — Типография и корректуры будут ближайшими для моего сердца предметами. Желаю скорее начать это дело...»

В октябре пошли первые листы корректуры. Однако радость видеть напечатанным многолетний труд отравлялась совершенно явным желанием начальства типографии досадить историографу. «Типография смотрит на меня медведем», «в военной типографии печатают мою „Историю“ весьма неисправно и делают мне досады»; «„История“ печатается худо и весьма худо», — жалуется он в письмах друзьям. Придирки принимают невозможный характер: «Сверх того военные господа, начальники типографии, старались делать мне разные неудовольствия, и в отсутствие государя даже остановили было печатание, требуя, чтобы я отдал книгу свою в цензуру».

Карамзин подает докладную записку А. Н. Голицыну, который обещал, что доведет ее до сведения государя.

«„История“ моя по Высочайшему повелению печаталась в военной типографии, — писал Карамзин, — но г. Закревский на сих днях остановил печатание, объявив, что эта книга должна быть еще рассмотрена цензурою; хотя он сам сказал мне прежде (22 июня в Петербурге), что для типографии нет нужды в одобрении цензурном, когда государь приказывает печатать. Ожидаю теперь Высочайшего решения. Академики и профессеры не отдают своих сочинений в публичную цензуру.

Государственный историограф имеет, кажется, право на такое же милостивое отличие. Он должен разуместь, *что и как* писать; собственная его ответственность не уступает цензорской; надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности; но быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет История?»

Император повелел печатать «Историю...» без общей цензуры. Придирки кончились, но выявляются новые трудности: в военной типографии не хватало литер, поэтому набор был поручен трем типографиям — военной, медицинской и сенатской; набирали разными шрифтами. Но Карамзин жертвовал «наружною красотью печати» скорости печатания, и все равно работа затягивалась самое меньшее на год-полтора. Кроме того, чтение корректур «Истории...» требовало много времени и особой внимательности при обилии имен, дат, цитат, ссылок, которые следовало проверять, обращаясь к справочным материалам. В ноябре — декабре 1816 года, в феврале — марте и вплоть до конца 1817 года Карамзин в основном занят вычитыванием корректур: «читаю корректуры с утра до вечера» (ноябрь 1816-го), «корректурная деятельность моя продолжается и доводит меня иногда до обморока» (март 1817-го), «всем... жертвую скорости печатания... и своими глазами: никто усерднее моего не читывал корректур» (июль 1817-го).

При переезде осенью из Царского Села в Петербург остались те же заботы: корректуры «Истории...» и необходимость поддерживать связи в обществе.

Еще в Царском Селе Карамзин, предвидя большое количество работы, предполагал, что у него «останется немного времени для общества, по крайней мере, для выездов», как он писал Дмитриеву. Но когда он приехал в Петербург, то оказалось, что избавиться от визитов и выездов или хотя бы сократить их не удастся. «Мы уже недели три в городе, где пустые визиты и печатанье „Истории“ отнимают у меня время, — пишет он брату. — Хлопотно и скучно. Жалею о Москве; жалею о Царском Селе, и Петербург сделался мне почти противен. Хотелось бы дожить век в тишине и покое, а здесь едва ли могу иметь их». Время от времени Карамзина приглашают во дворец, он обедает у императрицы; на балах и спектаклях издали, как он сам говорит, видит государя. Старые и новые знакомые стараются вовлечь его в свой круг. «Могу ездить ко многим, но не хочется», «вижу иногда людей приятных. Заглядываю во дворец, чтобы поздравить вдовствующую

императрицу с праздниками или обедать у нее раз в три недели. Так было до сего дня. Не ищу никаких связей: даже кажусь неучтивцем. Но, воля их, не могу соблюдать всех пристойностей светских», «люблю иногда поговорить с умным человеком, но желание нравиться ослабело во мне», — пишет он Малиновскому.

Наиболее глубоко и серьезно Карамзин обсуждает тему отношений к свету с Дмитриевым. Из их переписки сохранились только письма Карамзина, но и по ним можно судить, что Дмитриева очень интересовали успехи друга в свете и он давал ему в этом плане советы. По поводу каких-то новых предложений или возможностей занять высокую государственную должность Карамзин писал Дмитриеву: «Невольная или лучше сказать естественная, благоразумная скромность удаляет меня от всяких льстивых мечтаний самолюбия». В другом письме, говоря о поверхностном знакомстве с находящимися в настоящее время в фаворе у двора вельможами, он заключает свой рассказ, решительно закрывая эту тему: «Вообще могу сказать, что я не имею здесь никакой связи с так называемыми свежими людьми; это мне не честь, но и не бесчестье. Я ленив, горд смирением и смирен гордостью. Суетность во мне есть, к сожалению, но я искренно презираю ее в себе, и еще более, нежели в других: следственно, она, по крайней мере, не сведет меня с ума. Более нежели когда-нибудь, в искренние минуты чувствую свою ничтожность. — Прости, милый друг! Будь здоров и спокоен. Всего более желай мне того, чтобы Катерина Андреевна родила благополучно». (Карамзина была беременна сыном Николаем, который родился в конце июля 1817 года.)

Карамзин не обольщался искренностью и постоянством императорской благосклонности к нему. Он сомневался в них, когда весной 1816 года приехал в Царское Село и получил поздравление с приездом от вдовствующей императрицы: «Увидим, так ли любезен будет государь: едва ли!»; «Я не видел императора и едва ли увижу. Мы расстались, по видимому, с двором. Бог с ним!» Однако император, не приближая Карамзина к себе, оставался любезен; правда, Карамзин, бывая по праздникам с поздравлением во дворце, лишь однажды (об этом он сообщил брату) услышал от царя «несколько приятных слов». Прекрасно улавливающие придворные веяния, симпатии и антипатии слуги сделали вывод, что император совсем охладил к историографу, и соответственно изменили свое отношение к нему. Приехав в мае 1817 года в Царское Село, Карамзин узнал, что живописец, поновляя роспись в предназначенном для него китайском домике, нарисовал панно, на котором изобразил муз и знаменитых русских историков — летописца Нестора, князя М. М.

Щербатова, автора семитомной «Истории Российской от древнейших времен», и поместил Карамзина в треугольной шляпе, каким видел его прогуливающимся по парку. Начальник Царскосельского дворцового управления и полиции генерал Захаржевский, увидя картину, рассердился и приказал замазать все фигуры. На следующий год он вообще поселил в домике Карамзина некоего Фролова. Потребовалось вмешательство царя, чтобы домик был возвращен историографу.

Однако 1817 год в жизни Карамзина отмечен не только огорчениями и припадками меланхолии. Оказавшись в условиях, для него непривычных, вынужденный жить в сильной, агрессивной, требующей полного подчинения своим обычаям и жестоко карающей ослушников среде, он отстаивал право на свой образ жизни, свою мораль, свои убеждения, свой стиль поведения — и отстоял его. У одних он вызывал уважение, другие сочли за лучшее примириться и принять его условия взаимоотношений, третьи, у которых оставалось по отношению к нему чувство зависти и вражды, вынуждены были ограничиться распространением мнения, что историограф чудаковат и не так уж умен, как о нем говорят. Отзвук последнего П. А. Вяземский услышал много лет спустя после смерти Карамзина. «Один из придворных, — вспоминает Вяземский, — можно сказать, почти из сановников, образованный, не лишенный остроумия, не старожил и не старовер, спрашивает меня однажды: „Вы коротко знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно ли он был умный человек?“ — „Да, — отвечал я, — кажется, нельзя отнять ума от него“. — „Как же, — продолжал он, — за царским обедом часто говорил он такие странные и неловкие вещи“».

Летом 1817 года настроение Карамзина несколько улучшается. В конце мая напечатан первый том, печатают пять следующих, появляется уверенность, что к декабрю будут готовы все восемь томов. Карамзин сетует, что корректуры не оставляют времени для работы над очередным — девятым — томом. «Скоро забуду, как пишут „Историю“, переехав в город, я не прибавил ни строки к 9 тому», — жалуется он Дмитриеву в ноябре 1816 года. «Боюсь отвыкнуть от сочинения», — повторяет он брату в мае 1817-го. «Не без грусти смотрю на взятые мною из Архива материалы; я до них не дотрагиваюсь! — пишет он Малиновскому. — Забываю писать; но делать нечего. Лучше все напечатать, пока я жив; а там как Богу угодно!»

Но в то же время Карамзин вполне осознает значение своего труда. «Впрочем, я довольно потрудился», — обронил он в одном из писем брату, а в письме Дмитриеву говорит об общественном значении «Истории...»: «Судьбу „Истории“ поручаю судьбе! Это великое сражение, которое я даю

неприятелю».

Издание «Истории...», поскольку император, дав деньги на печатание, оставил книгу собственностью автора, по расчетам Карамзина, должно было принести ему такую сумму дохода, которой хватит на пять лет безбедного существования и на это время снимет с него «экономическую заботливость».

Летом 1817 года жизнь в Царском Селе шла по тому же распорядку, что и в прошлый год: прогулки, визиты в Павловск, редкие встречи в парке с императором, по-прежнему доброжелательным; вечерами (не каждый вечер) гости — приезжие из Петербурга, главным образом арзамасцы, офицеры расквартированного в Царском Селе лейб-гвардии Гусарского полка П. Я. Чаадаев, П. П. Каверин, А. И. Сабуров, лицеисты. А. С. Пушкин познакомился с Чаадаевым у Карамзина.

В Лицее — выпускные экзамены. 22 мая на экзамене по всеобщей истории в числе почетных гостей присутствовал и Карамзин.

П. А. Вяземский, гостивший в мае — июне в Царском Селе, пишет в Москву жене: «Общество наше составляют лицейские Пушкин и Ломоносов; они оба милые, но каждый в своем роде: один порох и ветер, забавен и ветрен до крайности, Николай Михайлович бранит его с утра до вечера, другой гораздо степеннее».

В отрывочных воспоминаниях Пушкина о Карамзине записан эпизод, относящийся к этой весне: «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...»

К этому же времени относится еще один эпизод из биографии Пушкина, который вызывал и вызывает пристальное внимание пушкинистов.

«Однажды, — рассказывает Погодин, — случилась с ним (Пушкиным. — В. М.) большая беда, за которую он поплатился дорого. Он написал из лицея два письма, одно к Катерине Андреевне Карамзиной по какой-то надобности, а другое к своему знакомому пажу, князю Мещерскому, о разных шалостях, может быть, не совсем приличных, да и перепутал адреса: последнее письмо попало в руки Катерины Андреевны. Николай Михайлович рассердился и, когда пришел Пушкин, сделал ему строгий выговор за непростительную ветреность. Пушкин стоял пред ним как вкопанный, потупив глаза, и вдруг залился слезами...» П. И. Бартенев записал рассказы двух человек об

этом же эпизоде. Первый исходит от Е. А. Протасовой, родственницы Карамзина по первой жене, правда, в пересказе достаточно близкого к ней родственника: «Покойница Екатерина Афанасьевна Протасова (мать Воейковой) рассказала (как говорил мне Н. А. Елагин), что Пушкину вдруг задумалось приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор их полюбил, и они сблизились».

Второй вариант рассказа об этом же эпизоде Бартенев слышал от Блудова: «Покойный гр. Д. Н. Блудов передавал нам, что Карамзин показывал ему место в своем кабинете (в царскосельском китайском доме), облитое слезами Пушкина. Головой Карамзина могла быть вызвана и случайностью: предание уверяет, что по ошибке разносчика любовная записочка Пушкина к одной даме с назначением свидания попала к Екатерине Андреевне Карамзиной (в то время еще красавице)».

Воспоминания современников не дают возможности с полной достоверностью решить, была ли любовная записка адресована Карамзиной или же к ней по ошибке попало письмо, адресованное другой даме. Но А. П. Керн в своих воспоминаниях совершенно определенно утверждает: «Она (Е. А. Карамзина. — В. М.) была первой любовью Пушкина». Некоторые пушкинисты в так называемом «Донжуанском списке» Пушкина под обозначением «Катерина II» склонны видеть Е. А. Карамзину. Ю. Н. Тынянов написал работу «Безыменная любовь», в которой доказывал, что в жизни Пушкина была одна настоящая, но утаенная любовь, которую он пронес с юности до последнего часа, — к Е. А. Карамзиной.

Однако «строгий выговор» Карамзина и слезы Пушкина не повлияли на их отношения: Пушкин так же часто продолжает бывать в доме Карамзиных, приезжает к ним даже после окончания Лицея, живя в Петербурге.

По преданию, записанному Погодиным, Пушкин обязан Карамзину чином, полученным при выпуске, тем, что он был выпущен не коллежским регистратором, а коллежским секретарем: «По окончании курса лицейское начальство, сердитое на Пушкина (он писал на всех эпиграммы и досаждал насмешками), присудило ему последний класс, 14-й. Карамзин вступился

перед директором, говоря: как же вы хотите выпустить его последним, если сам Бог отличил его дарованиями, всем известными, — и Пушкин получил десятый класс».

Между тем Карамзина не оставляют мысли о возвращении в Москву. Из Петербурга московская жизнь кажется ему еще более привлекательной. На жалобы Дмитриева, что в Москве ему одиноко, бледно и скучно, он отвечает: «Приезжай на время сюда: ты возвратишься спокойнее и довольнее в Москву. Говорю по собственному искреннему, глубокому чувству. Меня еще ласкают; но московская жизнь кажется мне прелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более общественных удовольствий, более приятных разговоров. Ты знаешь и свет и двор лучше меня, думаю; но время изглаживает, ослабляет впечатления. Люби, люби Москву: будешь веселее». В другом письме ему же он пишет: «Типографские дела мои идут медленно, к моему немалому сожалению: потому что мне хочется возвратиться в Москву еще с глазами и с ногами, чтобы видеть, слышать тебя и гулять в твоём саду».

Он планирует на вырученные от «Истории...» деньги приобрести домик в Москве, «на свои деньги», — подчеркивает он в письме Малиновскому, а в письме Дмитриеву так представляет свое будущее: «Я думаю о Москве! Готовь местечко в своём саду, где нам пить чай и мирно беседовать вдвоем или втроем. Ось мира будет вертеться и без нас. Поблагодарю Бога, когда с *целым* семейством и к *целому* другу московскому возвращуся, и буду в состоянии купить домик, а для роскоши и землицу для огородов под Москвою».

Но в течение лета все менее официальными становились отношения царя и историографа, разговоры — более продолжительными, император несколько раз, не предупредив, по-соседски, не встретив Карамзина во время прогулки, заходил к нему в китайский домик. Об одном из таких посещений Карамзин пишет Дмитриеву 21 августа: «Мы сидели дома с арзамасцами, и вдруг говорят: „Император!“ Гости разбежались, и я едва успел встретить августейшего в передней комнате... Он спрашивал, зачем не хотим ехать в Москву? и позволил нам, если будем живы, встретить его весною в Царском Селе».

Вопрос Александра о Москве был вызван тем, что в декабре 1817 года исполнялось пять лет со времени изгнания наполеоновских полчищ с территории России. Эту дату предполагалось отметить торжествами в Москве. Кроме обычных молебнов, парада, балов, приемов, народного гулянья намечалась торжественная закладка на Воробьевых горах обетного благодарственного за избавление от нашествия двенадцати языков храма

во имя Христа Спасителя и открытие на Красной площади памятника спасителям России в Смутное время Минину и Пожарскому. На торжества должны были прибыть в Москву двор и гвардия. Подготовка и разговоры о торжествах и отъезде двора в Москву начались уже с января. Вдовствующая императрица была удивлена, когда Карамзин, по своему положению почти обязанный ехать со двором, отказался, отговорившись слабостью жены, только что родившей. Но в письмах друзьям он сознавался, что, кроме трудностей поездки с детьми, его удерживало в Царском Селе «при корректурах» желание скорее окончить печатание «Истории...».

Вдовствующая императрица попросила Карамзина составить для нее список наиболее интересных московских достопримечательностей, так как во время пребывания в древней столице хотела бы «увидеть ее старину».

Карамзин вместо списка написал обширный очерк о памятных местах Москвы и ее окрестностей — «Записку о московских достопамятностях».

Во времена Карамзина не существовало слов «краевед», «москвовед», предпочитали выражаться более возвышенным стилем: «певец Тавриды», «певец Кубры». Карамзина с полным правом можно было бы назвать «певцом Москвы». Тема Москвы вошла в творчество Карамзина с самых первых его произведений. «Бедную Лизу» он начинает описанием панорамы Москвы, открывающейся с высокого берега Москвы-реки от Симонова монастыря. Созданный им замечательный пейзаж был первым художественным литературным пейзажем Москвы, притом такой огромной эмоциональной и художественной силы, что москвичи словно прозрели, увидев, как красив их город. С «Бедной Лизы» пошел обычай любоваться видами Москвы, они вошли в моду, художники начали их писать, и картинами, изображающими Москву, как встарь прославленными во всем мире русскими мехами, одаривали иностранных владетельных особ и послов.

Карамзин остро ощущал одну из главных особенностей и внешнего облика Москвы, и характера москвичей — присущую Москве живую связь истории и современности, которая проявлялась в восприимчивости ко всему новому, к развитию, к прогрессу во всех областях жизни и быта и в то же время в уважении к вековым обычаям, традициям: на Красной площади седые стены Кремля прекрасно гармонировали с ампирной колоннадой торговых рядов, а страсть к сказкам про Бову и Еруслана Лазаревича не мешала с удовольствием и восторгом читать Вольтера. Таким гармоничным сочетанием современности и живой памяти о прошлом пронизана «Бедная Лиза»; современный вид Симонова монастыря

вызывает у автора воспоминания о его истории.

Карамзину было легко и приятно писать «Записку о московских достопамятностях». Он писал, вспоминая, как в юности они с Петровым исходили всю Москву и ее окрестности, как потом он любил один совершать такие экскурсии, отыскивая следы прошлого.

«Записка о московских достопамятностях» — это, по сути дела, первый в москвоведении историко-культурный путеводитель по Москве. В нем Карамзин как бы вел читательницу по милым его сердцу местам, рассказывая о современном их облике, попутно сообщал исторические сведения; и все, о чем бы он ни писал, — о Кремле или Сухаревой башне, Симоновом монастыре или Немецкой слободе, — как бы освещено его любовью к Москве. Карамзин писал «Записку...», не обращаясь ни к документам, ни к справочникам. «Я писал на память, — поясняет он в „Записке...“, — мог иное забыть, но не забыл главного». Москва действительно была у него в сердце.

Именно в «Записке о московских достопамятностях» Карамзин высказал четко и определенно свое мнение о государственном статусе Москвы: «В заключение скажем, что Москва будет всегда истинною столицею России. Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского. Красивый, великолепный Петербург действует на государство в смысле просвещения слабее Москвы, куда отцы везут детей для воспитания и люди свободные едут наслаждаться приятностями общежития. Москва непосредственно дает губерниям и товары, и моды, и образ мыслей. Ее полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностью, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостью представляет глазам наблюдателя нечто любопытное, особенное, характерное. Кто был в Москве, знает Россию».

Карамзин писал «Записку о московских достопамятностях» не для печати, а как частное письмо, поэтому мог позволить себе больше свободы в высказываниях. Рассказывая о Симоновом монастыре, он пишет о том, как монастырь связан с его писательским успехом: «Близ Симонова есть пруд, осененный деревьями и заросший. Двадцать пять лет пред сим сочинял я там „Бедную Лизу“, сказку незамысловатую, но столь щастливую для молодого автора, что тысячи любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных». С таким же очень личным отношением пишет он о Донском монастыре: «Немногие из тех, которые провели большую часть жизни в Москве, смотрят равнодушно на Донской монастырь, почти все приближаются к нему с умилением и слезами, ибо там главное кладбище дворянства и богатого купечества. Жить долго есть терять милых. Там

некоторые эпитафии младенцев сочинены мною... Но гробы детей моих не имеют эпитафий».

В то время, когда отношение правительства к раскольникам было отрицательным, Карамзин находит возможным сказать о них доброе слово: «Близ застав Владимирской и Коломенской находится главная церковь и многолюдная обитель раскольников, которые позволили мне однажды вместе с ними молиться. Но я чувствовал какой-то холод в душе; видел земные поклоны, но не видел умиления на лицах. Число сих и других раскольников беспрестанно умножается. Они как фанатики беспрестанно стараются обращать невежд и слабых людей в веру свою, предлагая им разные житейские выгоды. Но нет худа без добра: раскольники не пьянствуют и богатеют трудами».

Выступает Карамзин за увеличение помощи Московскому университету: «Университет московский ныне в развалинах. Надобно восстановить Университет физически и нравственно. Он со времени Елизаветы Петровны для России полезнее С.-Петербургской Академии наук. Мы все учились в нем — если не наукам, то, по крайней мере, русской грамоте».

Но что особенно надо отметить, Карамзин критикует и оспаривает утвержденный императором градостроительный проект размещения громадного сооружения храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Он пишет, что Москва богата точками обзора, перечисляет некоторые: с Ивана Великого, с «бывшего места князя Безбородки» (с Воронцова поля). «Но, — замечает он, — ничто не может сравниться с Воробьевыми горами: там известная госпожа Лебрюнь (Виже-Лебрэн, французская художница, приглашенная Павлом I в Москву специально для того, чтобы написать ее виды. — В. М.) неподвижно стояла два часа, смотря на Москву в безмолвном восхищении...» Далее он говорит о храме Христа Спасителя: «Ныне, как слышно, хотят там строить огромную церковь. Жаль! она не будет любоваться прелестным видом и покажется менее великолепною в его великолепии. Город, а не природа украшается богатою церковью. Однажды или два раза в год народ пойдет молиться в сей новый храм, имея гораздо более усердия к древним церквам. Летом уединение, зимой уединение и сугробы снега вокруг портиков и колоннад; это печально для здания пышного! Березовую рощу на сих горах сажал Петр Великий».

В Москве императрица, очень довольная путеводителем Карамзина, широко давала его читать. С «Записки о московских достопамятностях» снимали копии, что стало известно Карамзину. Он пожаловался Дмитриеву: «Общие наши любезные приятели распустили эту „Записку“ по Москве к

моему неудовольствию; она была писана совсем не для публики». Карамзин оказался прав в своем опасении: недоброжелатели обрушились на него с критикой: его упрекали за нескромность в рассказе о «Бедной Лизе», университетские профессора обиделись, истолковав, что он ругает их за дурные нравы, кое-кто находил непристойным порицать распоряжение императора. Карамзин, не отвечая на критику, лишь напечатал «Записку...», выпустив все вызвавшие нападки места. Так, с купюрами, она печаталась и печатается до сих пор.

В начале января 1818 года тираж всех восьми томов «Истории государства Российского» — три тысячи комплектов на обычной бумаге и несколько так называемых подносных на веленовой — был отпечатан. Но прежде чем пускать книги в продажу, необходимо было поднести экземпляр «Истории...» императору. Александр принял Карамзина 28 января, и в тот же день Карамзин сообщил Дмитриеву: «Выезжал, чтобы поднести „Историю“ государю, был у него в кабинете и имел счастье обедать: следственно, одно дело сделано; другое сделается на сих днях: т. е. выйдет книга для публики».

Тем временем Карамзин перевез тираж из типографии домой. Через почтамт были отправлены экземпляры подписчикам, и 1 февраля в «Сыне отечества» появилось объявление: «История Государства Российского, сочиненная Н. М. Карамзиным, в осьми томах, продается в Захарьевской улице, близ Литейного двора, в доме Баженовой». Цена восьми томам была положена 50 рублей — «в обыкновенном переплете».

Сообразив доходы и расходы, Карамзин увидел, что от покупки собственного домика придется отказаться, но желание вернуться в Москву и там «провести остаток своей жизни, хотя и в наемном доме» (так написал он Дмитриеву), осталось неизменным. Свой отъезд из Петербурга он намечал на август, когда кончался срок найма дома. Кроме того, к этому времени, как он рассчитывал, будет продана часть книг и меньше придется везти в Москву. Карамзин был готов к тому, что «История...» будет расходиться долго. Тираж книг того времени не поднимался выше 1200 экземпляров, книги же по истории обычно печатали тиражом 600 экземпляров, поэтому три тысячи казались огромной цифрой. Конечно, понимая достоинство своего труда, его общественную значимость, Карамзин был прав, печатая сразу такой тираж и надеясь, что когда-нибудь он будет раскуплен.

Но 12 февраля Карамзин сообщает брату о ходе продажи «Истории...»: «Осталась только половина экземпляров»; 28 февраля пишет

Малиновскому: «27-го февраля сбыл я с рук *последние* экземпляры моей „Истории“ и дня через два буду свободен от книжных хлопот. Это у нас дело беспрецедентное: в 25 дней продано 3000 экз.»; а в письме Дмитриеву, рассказав об этом, он добавляет: «Не осталось у меня ни одного экземпляра; сверх тысяч проданных требовали у меня еще шестьсот... Наша публика почтила меня выше моего достоинства».

В письмах, дневниках, мемуарах современников содержится немало сведений о первом издании «Истории государства Российского» и реакции общества на него.

Об этом рассказывает и А. С. Пушкин.

«Это было в феврале 1818 года, — пишет он. — Первые восемь томов „Русской истории“ Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле (Пушкин тогда выздоравливал после тяжелой болезни. — В. М.) с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием.

Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моему выздоровлению, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова „Истории“ Карамзина. Одна дама, впрочем, весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: „*Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...*“ — *Однако!..* Зачем не *но!* *Однако!* Как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? *Однако!*“ — В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (примечания. — В. М.) „Русской истории“ свидетельствуют обширную ученость Карамзина,

приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению.

Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал „Историю“ свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что „История государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разбирал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале „Истории“ не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал романа в истории — ново и смело!

Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, — конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни».

Пушкин отметил самое главное и характерное. Свидетельства других современников только подтверждают его рассказ и добавляют к нему новые подробности.

Очень многие читали «Историю...», как и Пушкин, «с жадностью и вниманием». Н. И. Тургенев записывает в дневнике: «21 февраля... Я читаю III том „Истории“ Карамзина. Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении. Некоторые происшествия, как молния проникая в сердце, роднят с русскими древнего времени. Что-то родное, любезное. Кто может усомниться в чувстве патриотизма?»; «15 апреля... (том шестой. — В. М.).

Все, даже междоусобные войны читал я если не с удовольствием, то с великим интересом. Сердце билось за того или другого князя»; «10 мая... Сию минуту я кончил VIII том „Истории“ Карамзина. Я давно заметил, что не умею изъяснять чувств своих, и потому не могу сказать, что чувствую о сем славном творении». Император сказал Вяземскому, что, получив тома «Истории...», он прочел их «с начала до конца».

Но что особенно важно и примечательно, «История государства Российского» стала общенародным чтением. Среди подписчиков на нее, наряду с титулованными персонами, офицерами, чиновниками высших рангов, литераторами, значатся имена простых людей. Карамзина это радовало и волновало. «Вообразите, — пишет он в одном письме, — что в числе сибирских субскрибентов были крестьяне и солдаты отставные». Конечно, круг читателей «Истории...» подписчиками не ограничивался, особенно среди простых людей. В воспоминаниях разночинской интеллигенции, чья юность пришлась на конец 1810-х — 1820-е годы, почти у каждого встречаются сведения о чтении Карамзина. В этом отношении характерно письмо Иринарха Введенского, будущего известного критика, близкого к кружку петрашевцев, а тогда ученика Пензенского духовного училища, отцу-священнику: «Тятенька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина; я буду читать его по ночам и за то буду хорошо учиться».

Многим читателям «История...» Карамзина открыла гораздо больше, чем просто неизвестные им прежде исторические факты. П. А. Вяземский рассказывал о графе Федоре Толстом, известном по прозвищу Американец, что тот «прочел одним духом восемь томов Карамзина и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть». Этнограф и историк И. П. Сахаров признавался, что, прочтя в юности Карамзина, он «узнал... родину и научился любить русскую землю и уважать русских людей». Об этом же пишет в своих воспоминаниях А. С. Стурдза, чиновник Министерства иностранных дел, литератор: «Карамзин, живой пример беспримерного добродушия, незлобия и даровитости ума, начал и открыл для нас период народного самосознания... До него история России походила на те полярные страны, в которые должно пробираться по сугробам и глубоким снегам, при багровом отливе северных сияний или в полуночном мраке. Он проложил и разработал стези к знанию прошедшего, а без сего знания нравственная жизнь и доблесть какого бы то ни было народа поглощается долу преклонным влечением к веществу или раболепством ко всему чужеземному. Такая заслуга выше всех заслуг, в

особенности, когда человек не ниже великого писателя».

Толки об «Истории...» Карамзина, о которых говорит Пушкин, шли не в одном Петербурге, а по всей России.

Из Москвы в Варшаву Вяземскому, где тот в это время служил, Дмитриев сообщает: «„История“ нашего любезного историографа у всех в руках и на устах: у просвещенных и профанов, у словесников и словесных». В июньском номере «Сына отечества» был напечатан фельетон В. В. Измайлова «Московский бродяга», в котором описывались дебаты по поводу «Истории...» Карамзина в одном московском литературном салоне.

Пушкин отмечает две основные темы обсуждений «Истории»: первая — ее слог, литературно-художественная сторона, вторая — идейное направление. Правда, немало было толков в свете, порожденных невежеством и завистью, вроде тех, которые слышал Н. И. Тургенев в Английском клубе. «Странно слушать суждения клубистов, — пишет Тургенев в дневнике, — о сем бессмертном и для русских неоцененном творении: один из них говорил, что Карамзин „ничего нового не сказал“, Розенкампф, чиновник-юрист, заявил, что „он сам лучше бы написал“, Бакаревич „три недели смеется“ (и смешит Английский клуб) над выражением „великодушное остервенение“, „иной жалуется, зачем о Петре I не говорится в ‘Истории’“. Можно припомнить и отзыв большого барина И. А. Яковлева, отца А. И. Герцена, про который рассказывается в „Былом и думах“. Когда он узнал, что „Историю“ читал император, то сам принялся за нее, но вскоре „положил ее в сторону, говоря: „Всё Изяславиичи да Ольговичи, кому это может быть интересно““». Безусловно, Пушкин слышал и такие толки, но в его заметках речь идет не о них.

Прежде всего, для многих читателей «Истории...», знавших и любивших творчество Карамзина, оказался непривычным, неожиданным стиль и язык «Истории...». В московском салоне, описанном в фельетоне В. В. Измайлова, один из посетителей категорически осудил автора, сказав, что «славный писатель русский не умеет писать на русском языке, что самовольное перо его смешало старый язык с новым, книжный с разговорным, высокий с простым».

Литературно-эстетической критикой является и пародия «некоторых остряков», переложивших за ужином Тита Ливия «слогом Карамзина». Здесь Пушкин говорит о собраниях узкого круга петербургской светской молодежи у Н. В. Всеволожского и Я. Н. Толстого, на которых в свободном разговоре обсуждались литературные и театральные новинки. Своему содружеству молодые люди дали название «Зеленая лампа», в подражание

названиям масонских лож и потому, что в зале, в которой они собирались, висела зеленая лампа. Пушкин посещал «Зеленую лампу». Позже, уже из ссылки, в 1822 году, в послании к Я. Н. Толстому он вспоминал эти собрания и их участников — «веселых остряков»:

Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.

Но веселье и легкость разговора, с достаточной долей вольнодумства (недаром в стихотворении упоминается головной убор якобинцев в виде фригийского колпака, на языке начала XIX века символизировавший свободу), не исключали серьезности и глубины воззрений участников «Зеленой лампы». Один из них, П. П. Татаринов, в письме товарищу по «Зеленой лампе» Н. И. Бахтину рассуждает о слоге «Истории...» Карамзина, стараясь понять его особенности и проанализировать свое отношение к нему: «Правда, совершенная правда, что нынешний слог его не похож на прежний; но который из них лучше, право, решить не умею. Слог ли самый, или то обстоятельство, что исторический рассказ, ни вздохами и никакими формально причудами не начиненный, а налитый, так сказать, какою-то естественностью и силою мыслей, — гораздо труднее романического, или еще и то, что сочинитель хотел быть кратким, — не знаю, а вижу, что нет, — читать как-то трудно, до того, что язык устает. Быть может, что, привыкши читать гладкую, плавную прозу Карамзина-журналиста, — теперь думаешь тоже найти и в „Истории“ те же достоинства...»

Литераторы и читатели молодого поколения, поклонники романтизма, естественно, могли все же в полной мере и понять и оценить стиль Карамзина.

К. Н. Батюшков летом 1818 года пишет стихотворение «К творцу „Истории государства Российского“»:

И я так плакал в восхищенье,
Когда скрижаль твою читал,

И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиление...

Пушкин в послании к Жуковскому пишет о Батюшкове, но, конечно, передает свои собственные восприятие и оценку:

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там — в дыму столетий!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой!
От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной...
И в нем трепещет вдохновенье!

А Жуковский в это время сказал: «Я гляжу на „Историю“ нашего Ливия как на мое будущее: в ней источник для меня и вдохновения и славы». Жуковский, как и Пушкин, чувствовал заключающийся в «Истории...» Карамзина сильнейший творческий импульс, видел в ней темы и материалы для многих произведений, и в этом они были правы: впоследствии многие поэты и беллетристы напишут замечательные стихи, драмы, повести, романы, вдохновленные трудом Карамзина.

Критических откликов в журналах на выход «Истории...» было очень мало. Историки — Н. С. Арцыбашев, З. Ходаковский, Н. А. Полевой, М. П. Погодин — опубликовали несколько мелких фактических поправок, М. Т. Каченовский, профессор Московского университета по кафедре истории, публицист, литературный противник карамзинистов и «Арзамаса», в основном возражал против «неуважительных» высказываний Карамзина в

предисловии о Шлецере, древнегреческих и римских историках и находил, что периодизация русской истории, данная Шлецером, более правильна, чем предложенная Карамзиным, поэтому следует вернуться к ней. Другой крупный московский историк Н. А. Полевой, автор написанной в противовес «Истории государства Российского» «Истории русского народа» (издана в 1829–1833 годах), наоборот, упрекал Карамзина в 1818 году устно, а в 1829-м в напечатанной в «Московском телеграфе» статье в том, что «истинные, по крайней мере, современные нам, идеи философии, поэзии и истории явились в последние двадцать пять лет, следственно, истинная идея истории была недоступна Карамзину. Он был уже совершенно образован по идеям и понятиям своего века».

Но общественное мнение, в том числе и мнение о литературных, научных, политических сочинениях в те времена создавали не печатные издания. С. С. Уваров, дипломат, литератор, один из основателей «Арзамаса», в 1830-е годы министр просвещения, постоянный и усердный посетитель литературных и научных обществ, кружков, салонов 1810–1820-х годов, рассказывая в своих «Литературных воспоминаниях» об этом времени, говорит: «Заметим, что частные, так сказать, домашние общества, состоящие из людей, соединенных между собой призванием и личными талантами и наблюдающих за ходом литературы, имели и имеют, не только у нас, но и повсюду, ощутительное, хотя некоторым образом невидимое влияние на современников. В этом отношении академии и другие официальные учреждения этого рода далеко не имеют подобной силы». Он приводит в пример французские салоны предреволюционного времени, итальянские и немецкие кружки конца XVIII — начала XIX века. Поэтому и Пушкин, игнорируя журнальные отзывы, обращает основное внимание на отношение к «Истории...» «молодых якобинцев» — светской молодежи.

В век Просвещения просветительно-художественные кружки и общества не могли избежать политических тем, при определенных условиях социальные вопросы начинали играть главенствующую роль, и любители поэзии, истории, философии, острого слова превращались в политиков.

9 февраля 1816 года в казармах Семеновского полка, на квартире братьев Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов собирались давние друзья и почти все в той или иной степени родственники — поручик Никита Муравьев, подполковник Генерального штаба А. Н. Муравьев, поручик князь С. П. Трубецкой, подпоручик И. Д. Якушкин. Они образовали тайное общество, целью которого было изменение государственного строя в России, отмена крепостного права и борьба против других социальных зол.

Вскоре к ним присоединились чиновник Министерства юстиции М. Н. Новиков (племянник Николая Ивановича), ротмистр М. С. Лунин, поручик князь Ф. П. Шаховской, поручик П. И. Пестель, штабс-капитан Ф. Н. Глинка и др. Свое общество они называли «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества».

Карамзин приехал в Петербург с рукописью восьми томов «Истории...» 2 февраля, то есть за неделю до основания Союза спасения. Он жил в доме Екатерины Федоровны Муравьевой в самый разгар бесед и обсуждений, сопровождавших этот решительный шаг молодых людей. Безусловно, о создании тайного общества за домашним обеденным столом не говорилось, но общая направленность разговора, темы были те же. И. Д. Якушкин, вспоминая эти дни, пишет: «В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще». Карамзин имел полное представление (за исключением мыслей о заговоре) о направлении умов Никиты Муравьева и его друзей и относился к нему с пониманием и сочувствием. Кроме современного положения России разговоры касались общих проблем французской революции, ее последствий и уроков. Молодые вольнодумцы, разделяя критический взгляд Карамзина на современное положение в России, считали его представления о путях ее преобразования устарелыми и неверными, с таким умонастроением смотрели они и на «Историю...» еще до ее выхода.

Александр Тургенев, остававшийся вне тайного общества (хотя он также придерживался умеренно либеральных воззрений), после очередного чтения Карамзиным в доме Е. Ф. Муравьевой предисловия и отрывков из «Истории...» в феврале 1816 года пишет брату Сергею в Париж, где тот находился на дипломатической службе: «Его „Историю“ ни с какою сравнить нельзя, потому что он приносившим ее к России, т. е. она изымалась из материалов исторических, совершенно свой особенный национальный характер имеющих. Не только это будет истинное начало нашей литературы, но „История“ его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, Бог даст, русской возможной конституции. Она объяснит нам понятия о России, или, лучше, даст нам оных. Мы узнаем, что мы были, как переходили от настоящего status quo (*лат.*, положения) и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям».

Николай Тургенев, член тайного общества, в том же 1816 году также пишет брату Сергею о карамзинской «Истории...»: «Карамзина „История“ началась печататься. Многие, в особенности брат Александр Ив., очень ее хвалят. Что касается до меня, то я ничего еще не читал, но, посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать *facta* (*лат.*, факты, события) русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противного».

К концу 1816 года четко обозначилось основное противоречие между Карамзиным и молодыми либералами. Оно заключалось в том, что он полагал надежду на действие времени, постепенность преобразований, они же ждать не хотели, предпочитая не развязывать, а разрубить узел, не принимая во внимание того, что при разрубании все завязанное должно быть неминуемо поражено или даже уничтожено. Об одном из разговоров на эту тему рассказывает Н. И. Тургенев в дневниковой записи от 12 ноября 1816 года: «Вчера был я при заседании „Арзамаса“... После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и *желать* надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том, должно ли то быть, что желательно? — Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действие? — Есть; ибо такого правительства или, лучше сказать, правителя долго России не дожидаться. — Итак, из сего следует, что надобно делать — „дерзайте убо, дерзайте, людие Божии...“».

Пушкин говорит о негодовании «молодых якобинцев», проявившемся в разговорах, и о двух произведениях письменных, но неизданных — рукописи Никиты Муравьева и частном письме М. Орлова. Это и было то суждение частного, домашнего общества, которое имело решительное воздействие на общественное мнение.

Никита Муравьев назвал свою рукопись «Мысли об „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина». Закончив ее во второй половине 1818 года, он прежде всего показал свое сочинение Карамзину, который, прочтя, сказал, что не возражает против ее распространения.

Муравьев начинает «Мысли...», полемизируя с заключительной фразой посвящения «Истории...» императору. Карамзин пишет: «История народа принадлежит Царю»; Муравьев утверждает: «История принадлежит народам». Эта карамзинская фраза как раз и была из числа «отдельных размышлений», повторяемых и опровергаемых «молодыми якобинцами».

Но дело в том, что они вкладывали в нее не тот смысл, который имел в виду Карамзин. Вяземский поясняет: «Карамзин в посвящении исторического творения своего императору Александру сказал: „История народа принадлежит Царю“. Либералы того времени осуждали эти слова и видели в них выражение раболепства. Взгляд их был ошибочен и буквально близорук. Они не понимали ни Александра, ни Карамзина. Разумеется, мысль писателя заключалась не в том, что история есть, так сказать, казенная собственность царей, из которой могут они сделать все, что им угодно. Карамзин видимым образом говорил, что история народа есть нераздельная принадлежность царского звания, т. е. что цари должны преимущественно перед прочими изучать минувшую историю своего народа».

Муравьев требует от истории, чтобы она воспламеняла гражданскую добродетель, подвигала на «брань вечную» блага со злом; он хочет видеть в истории примеры открытого сопротивления, а не «рабскую хитрость» Иоанна Калиты. «Не примирение наше с несовершенством, не удовлетворение суетного любопытства, не пища чувствительности, — говорит он, — составляют предмет нашей истории: она возжигает соревнование веков, пробуждает душевные силы наши и устремляет к тому совершенству, которое суждено на земле. Священными устами истории праотцы наши призывают к нам: *не посрамите земли русская!*» Муравьев хотел видеть в истории материал для революционной агитации, нечто вроде карамзинской повести «Марфа Посадница» (кстати сказать, она называлась в числе сочинений, способствовавших формированию революционных, республиканских взглядов в обществе).

Михаил Орлов в упоминаемом Пушкиным письме Вяземскому возмущается первым томом «Истории...», потому что в нем, по его словам, Карамзин «хочет быть бесстрастным космополитом, а не гражданином»: «Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не приклонит все предания к бывшему величию нашего Отечества?.. Тит Ливий сохранил предание о божественном происхождении Ромула, Карамзину должно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов». Одним словом, Орлов, как и Муравьев, хотел бы, чтобы «История...» исполняла агитационные функции.

Однако, несмотря на все недоброжелательные толки, успех «Истории...» был очевиден. Сразу же после распродажи первого издания, петербургские книгопродавцы Оленины покупают у Карамзина право на второе издание. В июне 1818 года его начали печатать. Карамзин задерживается с отъездом в Москву, чтобы по первому тому посмотреть,

можно ли довериться аккуратности издателя. В августе выясняется, что его присутствие необходимо. «Первые листы второго издания доказали мне необходимость остаться здесь на зиму: иначе будет ошибка на ошибке, чего при жизни не хочу видеть, — пишет он Дмитриеву. — Остаюсь не без грусти. Здесь мы не на месте, а жить уже недолго. Уверен в твоей дружбе, следственно, уверен и в том, что тебе жаль не быть с нами, как нам жаль не быть с тобою в одном городе. Несмотря на знаки государевой милости, стремлюсь душой вдаль от блестящего света, с которым у меня нет симпатии. Тем живее чувствую потребность дружбы, истинной, старой, неизменной. Здесь у нас только молодые друзья».

В августе Карамзины съезжают с квартиры на Захарьевской улице и поселяются у Е. Ф. Муравьевой. За пять тысяч в год они снимают второй этаж дома; на первом живет хозяйка, третий занимают ее сыновья — Никита и Александр.

Одним из выражений общественного признания Карамзина стало избрание его в члены Российской академии в 1818 году. Президент Российской академии А. С. Шишков сообщил Карамзину, что академия избрала его своим членом и в связи с избранием он, по существующему положению, должен произнести речь на общем заседании; тема речи должна соответствовать предмету занятий академии, конкретное же ее содержание представляется выбору автора.

В сентябре 1818 года речь была готова. «Я написал самую Карамзинскую речь для Российской академии и А. С. Шишкова! — сообщает Карамзин Вяземскому. — Они требовали от меня речи, но, вероятно, не такой, и могут отвергнуть ее. Да будет их воля!» То же опасение он высказывает и в письме Дмитриеву: «Это совсем не в духе Устава (академии. — В. М.). Скажут, что хочу дразнить людей, а я миролюбив. Добрый Шишков одобрил эту речь: не знаю, искренно ли».

Опасения Карамзина оказались напрасны. В речи он высказал идеи и мысли, которые уже вызревали подспудно в недрах Российской академии под влиянием времени. Ведь круг ее членов стал пополняться «новыми» писателями. Так, в ее состав были избраны Жуковский, Гнедич, Дмитриев, Батюшков, по предложению Шишкова — Александр Пушкин.

Карамзин начинает свою речь с благодарности членам академии за то, что они удостоили его чести делить с ними «труды полезные». Далее идут рассуждения об общественной «важности» языка и словесности.

«Вы знаете, милостивые государи, что язык и словесность суть не только способы, но и *главные* способы народного

просвещения; что богатство языка есть богатство мыслей; что он служит первым училищем для юной души, незаметно, но тем сильнее впечатлевая в ней понятия, на коих основываются самые глубокомысленные науки; что сии науки занимают только особенный, весьма немногочисленный класс людей, а словесность бывает достоянием всякого, кто имеет душу; что успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человеческого, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве народа, являя степень его образования, ум и чувствительность к изящному».

Отметив высокие достоинства издаваемых академией трудов — словаря и грамматики, Карамзин поднимает больной вопрос о том, должны ли ученые предписывать законы языку или же только изучать его. «Главным делом вашим было и будет *систематическое образование языка*: непосредственное же его *обогащение* зависит от успехов общежития и словесности, от дарования писателей, а дарования — единственно от судьбы и природы... Слова не изобретаются академиками: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях таланта как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть или показать оные».

В задачу академии входит также и критика (опять-таки не законодательная, не запретительная): «Никто не предпишет законов публике: она властна судить и книги, и сочинителей; но ее мнение всегда ли ясно, всегда ли определительно? Сие мнение ищет опоры: если Академия посвятит часть досугов своих *критическому обозрению российской словесности*, то удовлетворит, без сомнения, и желанию общему и желанию писателей...»

Карамзин говорит о постоянном поступательном развитии литературы: она не копирует буквально формы древних произведений, но изобретает новые в соответствии с требованиями времени. Разбирает он и проблему взаимоотношения мировой культуры и национальной.

«Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном, взаимном

сближении народов, которое есть следствие самого их просвещения. Красоты *особенные*, составляющие характер словесности *народной*, уступают красотам общим; первые изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для россиян: еще лучше писать для всех людей. Если нам оскорбительно идти позади других, то можем идти рядом с другими, к цели всемирной для человечества, путем своего века, не Мономахова и даже не Гомерова: ибо потомство не будет искать в наших творениях ни красот „Одиссеи“, но только свойственных нынешнему образованию человеческих способностей. Там нет *бездушного подражания*, где говорит ум или сердце, хотя и *общим* языком времени; там есть *особенность личная*, или характер, всегда новый, подобно как всякое творение физической природы входит в класс, в статью, в семейство ему подобных, но имеет свое частное значение. С другой стороны, Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог: ибо и власть самодержцев имеет пределы. Сии остатки, действие ли природы, климата, естественных или гражданских обстоятельств, еще образуют народное семейство россиян; подобно как юноша еще сохраняет в себе некоторые особенные черты его младенчества, в физическом и нравственном смысле.

Сходствуя с другими европейскими народами, мы и разнствуем с ними в некоторых способностях, обычаях, навыках, так что хотя и не можно иногда отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во *множестве* открывается *народное*. Сию истину отнесем и к словесности: будучи зеркалом ума и чувства народного, она также должна иметь в себе нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих. Имея вкус французов, имеем и свой собственный: хвалим, чего они не хвалят; молчим, где они восхищаются. Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах».

Карамзин призывает ободрять таланты похвалой, поскольку слава пленяет и юношу, и старца. Но при этом, говорит он, высшая награда, высшее наслаждение творца — его труд и удовлетворенность своим трудом. Эта тема потом не раз прозвучит в русской литературе — от

Пушкина до Блока с его афористической строкой: «Венец трудов — превыше всех наград».

«Но ежели слава изменяет, то есть другая, вернейшая, существеннейшая награда для писателя, от рока и людей независимая: *внутреннее услаждение деятельного таланта*, изъясняющее для нас удивительную любовь к трудам и терпение, коему мы обязаны столь многими бессмертными творениями и которое Бюффон называл *превосходнейшим даром*: ибо не одни сочинители фолиантов, не одни антиквариаты имеют нужду в терпении; оно, может быть, еще нужнее для великого поэта, для великого оратора или великого живописца природы: „Удаленный от света и (сказал мне, в юности моей, старец Виланд) не имея ни читателей, ни слушателей, в дикой пустыне, среди необитаемого острова, я в восторге беседовал бы с уединенною музою, неутомимо исправляя стихи мои, хотя бы и неизвестные миру“. Вот тайна писателей, часто, но не всегда ласкаемых славою! Сильная мысль, истина, красота образа, выразительное слово, внезапно представляясь уму, оживляют душу и питают ее таким чистым, полным, ей *сродным* удовольствием, что она в сии счастливые минуты забывает всякое иное земное счастье».

Повторяя свою любимую идею о том, что истинный талант по природе своей служит добру, Карамзин говорит, что «на ядовитом поле разврата» таланты «скоро увядают и тлеют».

«Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств», — утверждает Карамзин. Только культура сохраняет государство «в самые ужасные времена», поэтому не наращивание силы, не завоевания — цель человека и государства, но «и жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах! Сия мысль, среди гробов и тления, утешает нас каким-то великим утешением. — Возвеличенная, утвержденная победами, да сияет Россия всеми блестящими дарами ума бессмертного, да умножает богатства наук и словесности; да слава России будет славою человечества...».

Речь Карамзина имела успех. На заседании присутствовали и арзамасцы. А. И. Тургенев описал его в письме Вяземскому: «„Здесь все для души“, — сказал Карамзин в четверг бездушной Академии, и голос его отдался в душе арзамасцев, которых заслонял широкопузый Шаховской с тщедушною братиею. Это было торжество не Академии, но „Арзамаса“, ибо *почетный гусь* наш, казалось, отделялся от лестных собратий своих, как век Периклов и Александров отделяется от века Лудвига Благочестивого и Батыева. Все было внимание, и он не произносил речи, но, кажется, как детей, наставлял своих слушателей с чувством, которое отзывалось в душах наших и оживляло лица... Большинство на стороне „Арзамаса“. Даже и сенаторы слушали с умилением».

31 июля 1818 года скончался Н. И. Новиков. К этому времени он был разорен окончательно: Авдотьино заложено и перезаложено, долги выросли до такой степени, что даже проценты по ним платились с великим трудом и опозданием. Его дети и многочисленные домочадцы, призреваемые им старики — Гамалея, вдова брата, вдова Шварца и другие — остались без всяких средств к существованию.

Карамзин в связи с этим подает императору «Записку о Н. И. Новикове», в которой описывает общественную и масонскую деятельность Новикова, причины его преследования Екатериной II и необоснованность обвинения в государственных преступлениях. В документе Карамзин подытоживает свои мысли о Новикове и дает общую историческую оценку его деятельности. Эта оценка была принята последующей историографией и остается неизменной до настоящего времени.

«Новиков, — пишет Карамзин, — как гражданин, полезный своею деятельностью, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель, по крайней мере, не заслуживал темницы: он был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого».

Заканчивается «Записка о Н. И. Новикове» просьбой: «Бедность и несчастье его детей подают случай государю милосердному вознаградить в них усопшего страдальца, который уже не может принести ему благодарности в здешнем свете, но может принести ее Всевышнему».

Имение Новикова все же было продано с торгов. Правда, купивший его генерал-майор П. А. Лопухин оставил Авдотьино в распоряжении его обитателей, а впоследствии оно было передано Комитету по призрению просящих милостыню для устройства в нем богадельни, которая и была там создана.

Александр I в отношении Польши проводил политику уступок, как бы демонстрируя, что остается верен идеям, с которыми он начинал царствовать. В 1817 году Польша получила конституцию, в то время как в России все шире разворачивалось строительство военных поселений. Начав уступать, император был вынужден делать все новые и новые уступки. В конце концов, он обещал восстановить Польшу в ее древних границах.

В России такая политика Александра вызывала возмущение. В конце 1817 года на одном из собраний членов тайного общества в Москве, на котором присутствовали Никита и Александр Муравьевы, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Фонвизин, Шаховской и Якушкин, читали и обсуждали письмо Трубецкого о последних петербургских слухах. В Петербурге толковали о польских притязаниях, говорили, что император считает Польшу, в отличие от России, более образованной и европейской страной и поэтому любит ее, а Россию ненавидит, что он намерен отторгнуть некоторые русские земли от России и отдать их Польше и что, наконец, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу в Варшаву. Все это казалось в высшей степени достоверным, особенно при сопоставлении с тем, что для облегчения бедственного положения народа России Александр не предпринимал никаких шагов. Молодые люди говорили обо всем этом, и у них возникло ощущение, что зло, гнетущее и разоряющее Россию, сконцентрировалось в Александре и что от его правления уже нельзя ожидать чего-нибудь хорошего в будущем.

«Меня проникла дрожь, — рассказывает в своих воспоминаниях об этом собрании Якушкин, — я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уверять, что то и другое несомненно. „В таком случае, — сказал я, — тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению“. — На минуту все замолчали. Наконец Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанести удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решил без всякого жребия

принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести».

Далее Якушкин рассказывает, как он мыслил совершить покушение: «Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок».

Тогда впервые в тайном обществе декабристов не в теоретическом плане, а как практическое действие прозвучала мысль о цареубийстве, и она испугала вольнодумцев. Товарищи принялись отговаривать Якушкина от его намерения, поскольку Трубецкой сообщает всего лишь слухи и они требуют проверки. Якушкин дал слово ждать до выяснения.

Никакого передела и переноса столицы не последовало. Однако идеи восстановления Польши в древних границах Александр не оставлял. В октябре 1819 года, возвратясь из очередной поездки в Варшаву, император в беседе с Карамзиным сообщил, что он окончательно утвердился в своем решении и намерен приступить к его исполнению. Александр мотивировал свое решение необходимостью следовать христианским заповедям любви, всепрощения, самопожертвования. Карамзин пытался возражать императору, но тот не слышал возражений, упоенный собственной добротой, комплиментами иностранных государственных деятелей, славой освободителя.

Описывая национальный характер англичанина, Карамзин отмечал, что тот в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей. Но, видимо, эта черта не столько национальная, сколько присущая определенному психологическому типу человека. Есть люди, которые самоотверженно и охотно благотельствуют чужим, незнакомым, в то время как ближние, семья остаются в забросе. Природа такой доброты — тщеславие, цель — получить публичную благодарность и похвалу. А забота о семье славы благодетелю не принесет. Александр был тщеславен; поскольку его семья, его дом было государство, Россия, то он искал удовлетворения своему тщеславию вне ее, и это заставляло его заниматься делами Европы в ущерб российским. Карамзин, понимая, что в беседе император слышит только себя, решил свои возражения представить ему в письменном виде.

Возвратившись домой после разговора с Александром, Карамзин написал свои соображения, назвав эти заметки «Мнение русского гражданина». Рукопись была окончена 17 октября 1818 года. «Читано государю в тот же вечер, — сделал Карамзин помету на рукописи. — Я пил

у него чай в кабинете, и мы пробыли вместе, с глазу на глаз, пять часов, от осьми до часу за полночь».

«Мнение русского гражданина» опубликовано лишь однажды, в 1862 году, в «Неизданных сочинениях... Н. М. Карамзина», издании малотиражном, давно ставшем библиографической редкостью.

Главная мысль Карамзина заключается в том, что нельзя нарушать сложившуюся в Европе в результате войн конца XVIII — начала XIX века территориальную и политическую ситуацию: «Пусть существует и даже благоденствует Королевство Польское *как оно есть* ныне; но да существует, да благоденствует и Россия, *как она есть* и как оставлена вам Екатериною!»

Карамзин мотивирует и обосновывает свой вывод четко, жестко. Знающий историю вопроса, предыдущие попытки его решения и понимающий, какой ошибочный шаг намерен сделать император, он считал долгом гражданина предостеречь его от него.

Начинает Карамзин с выяснения общего: отношения религиозного чувства и гражданского устройства общества.

«Государь! в волнении души моей, любящей Отечество и вас, спешу, после нашего разговора, излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом порядке. Как мы говорим с Богом и *совестью*, хочу говорить с вами.

Вы думаете восстановить Польшу в *ее целости*, действуя как христианин, благотворя врагам. Государь! Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом; есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; она выше земли и мира; выше всех законов — физических, гражданских, государственных, — но их не *отменяет*. Солнце течет и ныне по тем же законам, по коим текло до явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле и как иначе быть не может: только возвысилась душа в ее сокровенностях, утвердилась в невидимых связях с Божеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с Небом в *чувствах*, но *действуем* на земле, как и прежде действовали. *Несмы от мира сего*, сказал Христос; а граждане и государства в сем мире. Христос велит любить врагов: любовь есть *чувство*; но Он не запретил судьям осуждать

злодеев, не запретил воинам оборонять государства. Вы христианин, но вы истребили полки Наполеоновы в России, как греки-язычники истребляли персов на полях Эллады; вы исполняли закон государственный, который не принадлежит к религии, но также дан Богом: закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как христианин любите своих личных врагов; но Бог дал вам Царство и вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом оно́го. *Как человек по чувствам души, озаренной светом христианства*, вы можете быть выше Марка Аврелия, но *как Царь* вы то же, что он. Евангелие молчит о политике; не дает новой: или мы, захотев быть христианами-политиками, впадаем в противоречия и несообразности. Меня ударят в ланиту: я как христианин должен подставить другую. Неприятель сожжет наш город; впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел? Как мог язычник Марк Аврелий, так может и христианин Александр благотворить врагам государственным, уже *побежденным*, следуя закону человеколюбия, известного и добродетельным язычникам, но единственно в таком случае, когда сие благотворение не вредно для Отечества».

Далее Карамзин указывает причины, почему *невозможно* восстановить Польшу в древних границах, которые изменялись в течение веков.

«Вы думаете восстановить *древнее* Королевство Польское; но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? согласно ли с вашими священными обязанностями, с вашею любовью к России и к самой справедливости? Во-первых (не говоря о Пруссии), спрашиваю: Австрия отдаст ли добровольно Галицию? Можете ли вы, творец *Священного Союза*, объявить ей войну, противную не только христианству, но и государственной справедливости? ибо вы сами признали Галицию законным владением австрийским. Во-вторых, можете ли с мирною совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целостность своих Держав? Сии земли уже были *Россиею*, когда митрополит

Платон вручал вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую вы сами назвали Великою. Скажут ли, что она незаконно разделила Польшу? Но вы поступили бы еще незаконнее, если бы вздумали загладить ее несправедливость разделом *самой России*. Мы взяли Польшу мечом; вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина отвечает Богу, отвечает Истории за свое дело; но оно сделано, и для вас уже свято: для Вас Польша есть законное российское владение. *Старых крепостей* нет в политике: иначе мы должны были восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское и так далее. К тому же и *по старым крепостям* Белоруссия, Волыния, Подолия, вместе с Галицею, были некогда коренным достоянием России. Если вы отдадите их, то у вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего.

Доселе нашим государственным правилом было: *ни пяди ни врагу, ни другу!* Наполеон мог завоевать Россию; но вы, хотя и самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины русской. Таков наш характер и дух государственный. Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за благо рассудите?»

Карамзин предсказывает, что отторжение от России ее исконных, а также перешедших к ней в результате военных действий территорий было бы чревато трагическими последствиями. «Поляки рукоплескали бы вам», — говорит Карамзин Александру, но «русские не извинили, если бы вы для их рукоплескания ввергнули нас в отчаяние».

«Я слышу русских, — восклицает Карамзин, — и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игрищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не опустел бы, конечно, дворец; вы и тогда имели бы министров, генералов; но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные

рабы... А вы, государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу!

Одним словом... и Господь Сердцеведец да замкнет смертию уста мои в сию минуту, если говорю вам не истину... одним словом, восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обагрят своею кровию землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!»

Карамзин считает, что следующим шагом после присоединения к Польше российских областей будет ее борьба за полное отделение от России.

«Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом ее будет отступление от России, конечно, не в ваше царствование, но вы, государь, смотрите далее своего века, и если не бессмертны телом, то бессмертны славою! В делах государственных чувство и благодарность безмолвны; а независимость есть главный закон гражданских обществ». Карамзин полагает, в значительной степени основываясь на прошлых событиях, в частности нашествии Наполеона, что Польша окажется на стороне врагов России и ее измену надобно будет подавлять силою, поэтому «поляки, законом утвержденные в достоинстве особенного, державного народа, для нас опаснее поляков-россиян».

Во взаимоотношениях с Польшей, убеждает Карамзин императора, голос россиян должен быть «слышнее для вашего сердца». Он призывает: «Любите людей, но еще более любите россиян, ибо они и люди и ваши подданные, дети вашего сердца. И поляки теперь слушаются Александра; но Александр взял их русскою силою, а россиян дал ему Бог, и с ними снискал он благодетельную славу *Освободителя Европы*».

После чтения «Мнения...» состоялся разговор, долгий и тяжелый.

Два месяца спустя, убирая рукопись «Мнения...» в архив, Карамзин приложил к ней записку «для потомства» об обстоятельствах этого чтения и его последствиях:

«На другой день я у него (императора. — В. М.) обедал, обедал еще и в Петербурге... но мы душою расстались, кажется,

навек...

Потомство! достоин ли я был имени гражданина русского? Любил ли Отечество? верил ли добродетели? верил ли Богу?..

Не хочу описывать всего разговора моего с государем, но между прочим вот что я сказал ему по-французски: „Государь! у вас много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. Что говорю я вам, то сказал бы я вашему отцу, государь! Я презираю либералистов нынешних, я люблю только ту свободу, которой никакой тиран не может у меня отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз“. Но вообще я мало говорил и не хотел говорить. Душа моя остыла... Довольно сказанного для потомства и для сыновей моих, если они будут живы и вырастут.

Прибавлю, что я не изменил скромности: не сказал никому ни слова о нашем разговоре с Александром, кроме верной жены моей, с которой я жил в одну мысль, в одно чувство.

С.-Петербург, декабря 19, 1819 г.».

Александр отказался от восстановления Польши в древних пределах, но, как он сказал в 1824 году, причиной этому были не «слезные убеждения» Карамзина, а «обстоятельства».

В сохранившихся фрагментах десятой главы «Евгения Онегина» Пушкин описывает эволюцию развития декабристского движения от его возникновения до оформления в организацию; он говорит и про события, которые происходили в доме, где жил Карамзин, и про тех людей, которые были его ближайшим, почти семейным кругом. Карамзин если и не знал всего, то о многом догадывался.

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

(Речь идет о Никите Муравьеве и князе Илье Долгоруком. — В. М.)

Друг Марса, Вакха и Венеры,

Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

.....
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделие молодых умов,
Забавы взрослых шалунов,
Казалось.....
Узлы к узлам.....
И постепенно сетью тайной
Россия.....
Наш царь дремал.....
.....

Молодым якобинцам, по мере того как в их сердца все глубже входила «мятежная наука», теория ненасильственных преобразований, развиваемая Карамзиным, представлялась не только ошибочной, но и злонамеренной. Менялось и отношение к самому Карамзину. Н. И. Тургенев пишет о своей «антипатии» и «неприязни» к нему; Никита Муравьев, перечитывая его сочинения, замечает: «Так глупо, что нет и возражений», «неправда», «дурак».

Из муравьевско-тургеновского кружка вышел ряд эпиграмм на Карамзина. Скорее всего, это было коллективное творчество, тем более что

все они представляют вариации на одну тему. О принадлежности эпиграмм именно этому кружку говорит использование в одной из них слова «хам». Это слово по отношению к людям дворянского, аристократического круга в среде своих друзей-единомышленников было введено в употребление Николаем Тургеневым. Он использовал его в значении человека — раба по духу, вне зависимости от того, к какому сословию он принадлежит. В этом смысле и употреблено это слово в одной из эпиграмм, всего же их известно три.

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

На плаху истину влача,
Он показал нам без пристрастья
Необходимость палача
И пользу самовластья.

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Автором второй эпиграммы М. И. Муравьев-Апостол в воспоминаниях, написанных в старости, назвал Пушкина, но эту версию никто не поддержал. Последняя же эпиграмма упорно приписывалась Пушкину. Сам Пушкин отрицал авторство; в заметке об «Истории...» и реакции на ее выход он говорит: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни». Не считал Пушкина ее автором и Вяземский. Пушкинского автографа эпиграммы не существует.

Понимая психологию неопитов и адептов, Карамзин пытается сгладить отношения, просит лишь одного: признать право каждого на собственное мнение.

«Нередко случалось мне слышать, — говорил Стурдза, — упреки „Истории“ Карамзина и за то, что автор вывел из творения своего неверные и односторонние заключения. Некто,

ревностный читатель бессмертного его труда, однажды при мне выразил ему самому это замечание. Карамзин ответил на сие вопросом: „Вы, может быть, правы; но скажите, какое впечатление производит на вас моя ‘История’? Если оно не согласно с моим мнением, то в этом я не вижу беды. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностию события, разногласят с ним в выводах. *Лишь бы картина была верна — пусть смотрят на нее с различных точек*“».

Карамзин объясняет наиболее близкому ему из «молодых друзей» — Вяземскому — свои взгляды, но при этом не настаивает на том, чтобы тот думал так же: «Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек сказал: „Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности; но не люблю и пожилых людей, которые любят вольность“. Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше или что *было* лучше для России. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу Национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру».

Иногда он позволял себе подтрунить над верой молодых в политическую экономию, как в Священное Писание. «Эта наука, — говорил он, — смесь истин, известных каждому, и предположений весьма гипотетических». Ссылался на собственный опыт: «Если поживете лет сорок, многое увидите и меня вспомните». Но, как правило, встречал нежелание слышать и однажды в разговоре с Вяземским сказал поразившую того и записанную им фразу: «Он же (то есть Карамзин. — В. М.) говорил, что те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе». Карамзин, как психолог, уже тогда увидел в тогдашних либералах будущих диктаторов.

Члены тайного общества и вовлеченная в сферу их влияния молодежь бравировали радикализмом. «Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти», — говорит об этом времени Ф. Ф. Вигель. По обычаю времени, настроения и программа радикалов излагались стихами. Особенно популярным было тогда четверостишие, заимствованное из французской песенки эпохи революции:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа

Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Кстати, это четверостишие также приписывается Пушкину, в одних собраниях сочинений оно включается в раздел несомненных пушкинских текстов, в других — в «приписываемое Пушкину».

«Молодые друзья» все более отдалялись от Карамзина.

23 марта 1820 года Екатерина Андреевна пишет Вяземскому: «Г-н Тургенев, Александр, отправился в Москву вместе со своим братом Сергеем. Последний, очевидно, не очень-то ценил общество моего мужа, поскольку, отправляясь в Константинополь на неопределенное время, он даже не дал себе труда зайти попрощаться. Кто знает, дорогой князь Петр, кто знает, может быть, наступит время, когда, живя в одном городе, вы уж не захотите с нами встречаться, ибо для вас, либералов, не свойственно быть еще и терпимыми. Следует иметь те же взгляды, а без этого нельзя не только любить друг друга, но даже встречаться». Карамзин к этому письму сделал приписку: «Обнимаю вас, любезнейшие друзья, прочитав не без улыбки, что пишет к вам жена о либеральных, которые не либеральны даже в разговорах».

2 апреля 1820 года императору Александру управляющим Министерством внутренних дел графом В. П. Кочубеем было представлено письмо В. Н. Каразина, бывшего правителя дел главного правления училищ, лично известного царю, в котором автор предлагал меры для прекращения вольнодумства. В числе главных причин распространения антиправительственных настроений в обществе он называл стихи и эпиграммы Пушкина. Император приказал произвести расследование и наказать автора эпиграмм. В городе распространился слух, что Пушкина велено отправить в ссылку в Сибирь или заключить в Соловецком монастыре.

Как только об этом стало известно, либеральствующие друзья Пушкина — П. Я. Чаадаев, А. И. Тургенев и другие — начали хлопотать о нем. Наибольшую возможность помочь имел Карамзин. Пушкин встретился с ним. В разговоре Карамзин сказал фразу, запомнившуюся Пушкину и в 1836 году поставленную им эпиграфом к статье «Александр Радищев»: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице». Смысл ее: не следует совершать уголовно наказуемых поступков.

Карамзин просит императрицу Елизавету Алексеевну о заступничестве за Пушкина, обращается к помощнику министра

иностранных дел графу Каподистрии.

О начале и результате хлопот Карамзина рассказано им в письмах Дмитриеву. 19 апреля 1820 года: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносное (это, между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. Это узнала полиция и проч. Опасаются следствий. Хотя я уже давно истощил все способы образумить эту беспутную голову и предал несчастного Року и Немезиде, однако ж из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет». 7 июня: «И в прежних письмах я забыл сказать тебе, что ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту или поэмке молодого Пушкина, сравнивая ее с „Энеидою“ Осипова: в ней есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку. Его простили за эпиграмму и за оду на вольность: дозволили ему ехать в Крым и дали на дорогу 1000 рублей. Я просил о нем из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее, по крайней мере, дал мне слово на два года».

Пушкин подтвердил такое обещание в 1824 году в письме Жуковскому: «Я обещал Николаю Михайловичу два года ничего не писать противу правительства».

Этот разговор, кроме того, послужил к разъяснению каких-то недоразумений и восстановлению отношений между Карамзиным и Пушкиным. В 1826 году, уже после смерти Карамзина, Пушкин, отвечая на упреки Вяземского по поводу эпиграмм, писал: «Что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? довольно одной, написанной мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолубие, и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены: ужели ты мне их приписываешь?»

С 1820 года все известные отзывы Пушкина о Карамзине свидетельствуют о том, что Пушкин, перечитывая его сочинения, припоминая разговоры, проникается все большим к нему почтением; постепенно ему открываются глубина, стройность и цельность мировоззренческой системы Карамзина. Ксенофонт Полевой, знавший Пушкина в 1830-е годы, отмечает: «Пушкин вообще любил повторять изречения или апофегмы Карамзина, потому что питал к нему уважение безграничное». Пушкин первым пытался опубликовать «Записку о древней и новой России» в своем журнале «Современник». В его произведениях,

письмах с годами все чаще встречаются мысли и образы, идущие от Карамзина.

Девятый том «Истории государства Российского», в котором рассказывалось о второй половине царствования Ивана Грозного, Карамзин начал писать весной 1816 года, еще в Москве, накануне переезда в Петербург. Том складывался медленно и трудно — не страницами, а буквально строками. В июле 1819 года Карамзин пишет Дмитриеву, что окончание тома «требуется еще месяцев трех прилежной работы», в конце года мечтает: «Если бы я успел кончить IX том к весне», в марте 1820 года гадает: «Авось к зиме, если Бог даст, допишу девятый том» и лишь 10 декабря сообщает Малиновскому: «Последняя глава IX тома мною дописана».

По поводу столь длительной работы над девятым томом Д. Н. Блудов шутил: «Видно, Карамзину так же трудно описывать царствование Ивана Васильевича, как было современникам сносить его». В этой шутке большая доля правды: описание кошмарных преступлений царя и бедствий отчизны отразилось на нервном состоянии. Так об Иване Грозном Карамзин писал первым из русских историков. Конечно, историки знали и о казнях, и о распутстве Ивана Грозного, но материалы и документы, освещающие эту сторону его царствования, лежали в недоступных архивах, свидетельства современников-иностранцев не переводились на русский язык. Государственная политика требовала уважать и почитать царский сан, поэтому в официальной истории Иван IV предстал в облике сурового, но справедливого и мудрого правителя. Трехвековое утаивание сделало свое дело, «стенания умолкли, — говорит Карамзин, — жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими».

Работая над девятым томом, Карамзин искал источники (он очень радовался и гордился тем, что обнаружил русские документы, потому что прежде известны были в основном свидетельства иностранцев) и создавал свою концепцию эпохи. 1 августа 1819 года он пишет Дмитриеву: «В самом деле, мне трудно решиться на издание 9-го тома: в нем ужасы, а цензурою моя совесть. Я говорил об этом с государем: он не расположен мешать исторической откровенности, но меня что-то останавливает. Дух времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться. Впрочем, мне еще надо много писать, чтобы дописать царя Ивана».

В декабре 1819 года Карамзин решает устроить публичное чтение глав из девятого тома. Он предложил А. С. Шишкову посвятить этому

ближайшее заседание Российской академии. Шишков как человек осторожный доложил о том императору и получил позволение на чтение.

Чтение состоялось 8 января 1820 года. Карамзин читал около полутора часов. Как говорили, такого многолюдного и блестящего собрания не бывало с основания академии. Тему и содержание читанных отрывков Карамзин в письме Дмитриеву называет так: «О перемене Иоаннова царствования, о начале тиранства, о верности и геройстве россиян, терзаемых мучителем». После окончания чтения, вопреки правилу, пишет Карамзин, «раздалось всеобщее рукоплескание».

«Читающий и чтение были привлекательны, — писал митрополит Филарет, — но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя».

Закончив и переписав набело девятый том, Карамзин отдает его императору. Получив рукопись обратно и увидя на полях отметки, автор спросил, прикажет ли государь исправить отмеченные места. Император ответил, что делал отметки только для себя.

Карамзин отдал рукопись в типографию. О новом томе «Истории государства Российского» в петербургских газетах появилось объявление от имени издателя. Но, судя по стилю, оно писано самим Карамзиным; в нем обращалось внимание читателя на главное в содержании и новизну сведений: «Сей девятый том заключает в себе историю царствования Иоанна Васильевича Грозного с 1560 года по его кончину: период важный по многим государственным делам, любопытный по разнообразным лицам и происшествиям; в нем изображение ужасного по грозному характеру и деяниям царя! Сей том обогащен такими историческими сведениями и чертами, которые доныне вовсе не были известны или, по крайней мере, известны весьма сбивчиво и недостаточно».

Уже когда том печатался, по Петербургу распространился слух, что он запрещен. Видимо, слух этот имел своим источником требование министра внутренних дел Кочубея подвергнуть девятый том цензуре (он снял свое требование после предъявления ему высочайшего распоряжения от 1816 года печатать «Историю...» Карамзина без цензуры). Слух о запрещении вызвал в публике дополнительный интерес к новому тому «Истории...».

Выход тома (он поступил в продажу 9 мая 1821 года) стал событием в общественной жизни. «Его жадно читали, так что, по замечанию одного из товарищей, в Петербурге от того только такая пустота на улицах, что все

углублены в царствование Иоанна Грозного!» — пишет в своих «Записках» декабрист Н. И. Лорер.

Общество разделилось на два лагеря. Либералы были в восхищении. «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита», — писал К. Ф. Рылеев. А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, другие будущие декабристы восторгались девятым томом и позднее отмечали его влияние на них. На следствии по делу декабристов многие из них называли его среди источников «вредных мыслей», как, например, В. И. Штейнгель: «Между тем, по ходу просвещения, хотя цензура постепенно делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России — девятый том „Истории государства Российского“, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто именовавший тираном, какому подобных мало представляет история».

У нового тома «Истории...» нашлось и немало противников. Тот же Лорер вспоминает: «Рассказывали тогда, что в это же время, в одном окне Аничкова дворца, рисовались две особы, глядя на кипящий Невский проспект. Одна из них (имеется в виду хозяин Аничкова дворца великий князь Николай Павлович. — В. М.) почему-то обратила взоры свои на проходящего человека и спросила стоящего возле человека: — Это Карамзин? Негодяй, без которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны».

П. А. Вяземский, служивший при великом князе Константине Павловиче, говорил, что цесаревич «почитает „Историю“ вредною книгою». А Н. И. Тургенев в дневнике отмечает: «Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана-царя».

Карамзин описывал бесконечно длинную цепь злодеяний, предупреждая этим современников и потомков о том, как легко обществу в любые времена ввергнуться в ужас самовластия.

«Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение к злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною деесписатель может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в Истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои преступления».

Карамзин говорит о том, что злодеяния, ставшие государственной

политикой, продолжают свое страшное воздействие и после смерти тирана. Он, пишет Карамзин, «губительною рукою касался... самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, крошечников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново».

При описании царствования Ивана Грозного, как и других периодов и времен истории государства Российского, Карамзин считал главной своей целью *дать верную объективную картину эпохи во всех ее аспектах и противоречиях*. Иван Грозный — один из самых противоречивых персонажей русской истории. С одной стороны, это воплощенное зло, и Карамзин описывает его злодеяния, преступления против человечности, отмечает губительное влияние на нравственность народа введенного им в государственную политику новшества — карательную структуру, состоящую из «доносителей, клеветников и крошечников», которая, хотя была отменена им самим, «оставила злое семя» на будущие времена. Семя оказалось не только злое, но и живучее. Последующие правители России, почти все, время от времени прибегали к помощи испробованной Иваном Грозным структуры для собственных политических целей, и всегда это семя оказывалось жизнеспособным, жизнеспособно оно и сейчас. Таков ужасный подарок Ивана Грозного России.

С другой стороны, в то же время Иван Грозный проявил себя как мудрый государственный деятель, дальновидный политик, умный законодатель, к тому же он обладал литературным и композиторским талантами.

При описании Карамзиным правления Ивана Грозного его злодеяниям отведено места ничуть не больше, чем деятельности на пользу государства.

«Но отдадим справедливость и тирану; Иоанн в самых крайностях зла является как бы призраком великого Монарха, ревностный, неутомимый, часто проницательный в государственной деятельности; хотя, любив всегда равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но остался завоевателем; в Политике внешней неуклонно следовал великим намерениям своего деда, любил правду в судах, сам нередко разбираал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно; казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом (рядил их в великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал

живодерам возить из улицы в улицу); не терпел гнусного пьянства (только на Святой неделе и в Рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсыпали в темницу). Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести; представим доказательство. Воеводы, Князя Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные Царем из Литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве; Щербатый говорил истину; Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что Король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоаннова имени. „Бедный Король! — сказал тихо Царь, кивая головою. — Как ты мне жалок!“ — и вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, приговаривая: „Вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь!“...»

«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в *народной памяти*; стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех Царств Могольских; доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы Царя-Завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!»

С начала 1820-х годов жизнь Карамзина приобретает ту размеренность и однообразие, которые были ему так необходимы для работы. «Положение Карамзина сделалось самое возвышенное, от всех отдельное, недостижимое для интриг и критики, — пишет Ф. Ф. Вигель. — Он пользовался совершенною доверенностью царя, который, на лето помещая его у себя в Царском Селе, нередко посещал его. Там спокойно продолжал он огромный и полезный труд свой, по временам издавая новые томы русской истории своей; но уже болезни посетили его совсем еще неглубокую старость».

В 1821–1823 годах Карамзин пишет десятый и одиннадцатый тома. В начале 1824 года они выходят в свет. Хотя по материалу и художественности они ничуть не ниже предыдущих томов, расходятся они

хуже. Карамзина, живущего на доходы от литературной работы, это огорчает. С грустью жалуется он Вяземскому: «Мало надежды, чтобы и два тома „Истории“ поправили наши финансы: книги не продаются, кроме „Полярной Звезды“». Однако сама работа доставляет ему удовольствие и радость. Как и 20 лет назад, он уходит целиком в описываемую эпоху. «Я теперь весь в Годунове, — пишет он Малиновскому и с жадностью и волнением загадывает о будущей работе: — Буду очень доволен, если Бог даст мне хоть осенью начать Шуйского».

Осенью 1823 года Карамзин уехал из дома Е. Ф. Муравьевой, так как в его комнатах ей пришлось поселить своего племянника — К. Н. Батюшкова, заболевшего тяжелым психическим расстройством. Карамзины сняли квартиру на Моховой в доме Межуева. «Все не велико, но уютно», — характеризовал Карамзин свое новое жилище.

Весной 1824 года Карамзину пожалован очередной чин действительного статского советника: он стал генералом, догнав Дмитриева.

Живописные портреты Карамзина 1820-х годов фактически являются не натурными, а перерисовкой более ранних, с добавлением новых аксессуаров — звезды, фрака, шубы, шлафрока с меховым воротником. Поэтому особенно ценен литературный портрет, написанный Ф. В. Булгариным. Автор увидел Карамзина на вечере в одном петербургском доме.

«Началось чтение Мольеровой пьесы. Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется, и входит человек высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не беспокоил.

Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда я видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и губы имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжаты, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиогномия его

выражала явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума. Отличительные черты его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорит душе что-то сладостное, утешительное. — На его одушевленной физиогномии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу для своего современного партера... Кончилось чтение, слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени незнакомца. „Это Карамзин“, — отвечал хозяин».

К. С. Сербинович, ставший домашним человеком у Карамзина в эти годы, подробно описал распорядок его дня и метод работы над последними томами «Истории государства Российского»:

«Он вставал в 9-м часу утра и всякий день в 10-м часу делал прогулку, довольно большую. Всегда с самого начала дня он был совершенно одет и не надевал шлафрока иначе, как уже к ночи, ложась спать. Когда он жил в доме Е. Ф. Муравьевой у Аничкова мосту, а потом на Моховой, в доме Межуева, то гулял обыкновенно по Фонтанке до Прачешного мосту, иногда и по Дворцовой набережной и по Невскому проспекту; когда же погода не позволяла, прогулка ограничивалась Невским проспектом. Большею частию он гулял один, иногда же случалось видеть его с одною из дочерей. Помню, что зимою он был в темно-зеленом бекеше с бобровым воротником, в теплых темного цвета перчатках и с тростью в руке...

Возвратясь домой, Н. М. садился за работу свою и занимался ею без отдыха до самого обеда, т. е. до 5-ти часов. Случалось, однако ж, что постоянное занятие его было прерываемо посещениями лиц, которым он не мог отказывать. С другой стороны, хотя и очень редко, необходимость требовала, чтоб перед обедом он сам сделал кому-либо посещения. Эти исключения всегда ему были очень тягостны.

После обеда он обыкновенно отдыхал с полчаса или с четверть часа на диване в полулежачем положении. „Мне только нужно немного забыться, чтобы освежить себя“, — говорил он. После короткого сна следующее время до 9-ти часов у него назначено было для чтения полученных в тот день русских, французских и немецких газет и журналов, а также и новых книг.

Затем он приходил в гостиную, где семейство и добрые знакомые ожидали его. — Тут приезжали друзья, ученые, литераторы и люди государственные или те молодые таланты, которым было суждено впоследствии занять важнейшие государственные места. Разговор шел обо всех предметах, которые могли интересовать русского гражданина и образованного человека. Новости литературные и политические, отечественные и иностранные, вопросы по разным отраслям государственного управления, известия об отсутствующих родных и друзьях, рассказы о временах прошедших царствований, о тогдашнем состоянии России, о замечательных людях того времени, особенно же о тех, которых собеседующие застали еще в живых, все эти предметы сменялись одни другими.

Разговор всегда шел оживленный. Н. М. особенно одушевлялся, когда дело шло о России и об ее пользах. Он умел особенным образом поддерживать беседу, давая каждому свободу высказаться и резкие суждения некоторых смягчая легкими замечаниями. Он ценил это приятное для общежития искусство и в других людях. Н. М. умел сверх того в присутствии многих знатных давать возможность и неизвестному, скромному посетителю не оставаться в совершенной тени.

Ложился спать обыкновенно в 12-м часу; но приятная беседа с друзьями длилась иногда и за полночь...»

Сербинович также описывает кабинеты Карамзина в доме Е. Ф. Муравьевой и в последнем его жилище — доме Межуева:

«В доме Е. Ф. Муравьевой, в 3-м этаже, одна большая комната, о 4-х окнах, была перегороджена на две половины, из которых в одной помещался кабинет. Библиотека находилась в 3-х шкафах, каждый о двух отделениях: в верхнем от 4-х до 6-ти полок, в нижнем две. Книг помещалось более 400 званий, кроме тех, которые лежали при нем самом для беспрестанных справок.

Это мне известно потому, что я сам смотрел за перемещением библиотеки в дом Межуева и составил ей каталог.

В доме же Межуева, что на Моховой, во 2-м этаже, в квартире Н. М. кабинет был о 2-х окнах, и в нем стояли те же шкафы.

Как в прежнем, так и в этом кабинете, стояли посреди два небольшие письменные стола, плотно приставленные один к другому, с ящиками, обращенными в разные стороны. За одним столом он сидел, имея окна с левой стороны, другой стол перед глазами его был уставлен нужными ему книгами. Кругом на стульях также лежали книги, а некоторые фолианты стояли вблизи на полу, так, чтобы можно было доставать их рукою. Чернильница и песошница были без всяких затей».

Сербинович рассказывает и о работе Карамзина над последними томами «Истории...», будучи свидетелем их создания:

«В уцелевших черновых листах „Истории“ можно видеть, как иное было у него набрасываемо на бумагу прежде надлежащего изложения. Но иногда он принимался прямо за самое изложение, которое нередко после уступало место новому изложению. Черновые листы „Истории“ в первоначальном их виде подвергались большим переделкам или перемаркам: целые строки бывали перечеркиваемы и заменяемы новыми строками; даже случалось видеть, что и между этих строк вставлены были другие слова и выражения, вместо зачеркнутых, до такой степени, что только глаз, привычный к его почерку, может надлежащим образом разобрать и прочесть все. А между тем, он никогда не упускал означать в строках, между скобками, сокращенное название источника с указанием страниц. Все такие листы непременно требовали собственноручной его переписки; затем являлись и переделанные им целые главы, с указанием, уже на полях, книг и страниц, откуда взяты события.

Окончательно переписывала, если не все, то очень многие главы „Истории“, супруга Николая Михайловича, Екатерина Андреевна; эту обязанность впоследствии стала разделять с нею старшая дочь его Софья Николаевна, а потом уже и Екатерина Николаевна. Таким образом, переписанное подносилось и государю».

Отношения с императором занимали в жизненной философии Карамзина, в его системе этики большое, даже, можно сказать, определяющее место. В них он отстаивал свое право, право честного человека, на независимость и равенство. В течение десяти лет в этих отношениях присутствовала напряженность, но в 1821 году они приобретают определенно устойчивый характер; заканчивается внутреннее, часто неосознанное, противостояние, каждый принял другого таким, каков тот есть.

30 сентября 1821 года Карамзин писал Дмитриеву об Александре: «Кроме его любезного обхождения со мною, он имеет в себе что-то особенно привлекательное — вижу в нем более человека, нежели царя; а как вспомню, что это царь, то нахожу его еще любезнее. Дай Бог, чтобы вся Россия и потомство отдали ему со временем полную справедливость. Желая того еще более из любви к России, нежели из любви к Александру. Судьба странным образом приблизила меня в летах преклонных к двору необыкновенному и дала мне искреннюю привязанность к тем, чьей милости все ищут, но кого редко любят».

В мае 1821 года император получил обширную «Записку» о существующем в России антиправительственном тайном обществе. Ее автор, библиотекарь Главного штаба М. К. Грибовский, был хорошо осведомлен об обществе, его целях и членах, потому что сам входил в его руководство — коренную управу. В «Записке» были названы имена главных участников — в большинстве своем гвардейских офицеров из хороших фамилий. Почти всех их Александр знал лично. Александр прочел «Записку», вернулся к страницам со списком заговорщиков. Докладывавший генерал-адъютант Васильчиков ожидал распоряжений об арестах. Но император сказал: «Дорогой Васильчиков, вы были у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения... Не мне подобает их карать...»

Зная о тайном обществе, зная заговорщиков и ничего не предпринимая против них, Александр поставил себя в ложное и странное положение. Он стал недоверчив, подозрителен, чувствовал себя бесконечно одиноким и, глядя на окружавших его, невольно думал: «Может, и этот — тайный недруг?»

Жена великого князя Николая Павловича Александра Федоровна в своих записках дает выразительный портрет Александра в последние годы его царствования: «Я не поняла подозрительного характера императора — недостаток, вообще присущий людям глухим. Не будучи положительно глухим, император мог, однако, с трудом слышать человека, сидящего

напротив его за столом, и охотнее разговаривал с своим соседом. Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал, будто над ним смеются, будто его слушают только для того, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делаем друг другу знаки, которых он не должен был заметить. Наконец, все это доходило до того, что становилось прискорбно видеть подобные слабости в человеке со столь прекрасным сердцем и умом». Другие мемуаристы называли причиной его подозрительности близорукость. Но, конечно, дело было в ином.

Карамзину Александр верил. Он мог убедиться в нерушимости данного им слова: до сих пор никто при дворе не знал ни о «Записке о древней и новой России», ни о «Мнении русского гражданина», между тем как множество конфиденциальнейших разговоров становилось объектом общей молвы.

Император чувствовал искренность и симпатию со стороны Карамзина и всех его домашних.

А. О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях описывает, как в Царском Селе Александр часто заходил к Карамзиным попить чаю. Катерина Андреевна в белом полотняном капоте разливала чай, старшая дочь Карамзина Сонюшка делала бутерброды. Царь, не имея собственной семейной жизни, объясняет Россет, «всегда искал ее у других, и ему уютно было у Карамзиных; все дети его окружали и пили с ним чай». Еще рассказывает Россет об одной анекдотической мелочи. У Карамзиных был слуга Лука, крепостной первой жены Карамзина. Он занимался тем, что шил холщовые панталоны. Когда через переднюю проходил царь, слуга, не смущаясь, продолжал заниматься своим делом. Александр, видя что-то белое и длинное, думал, что он разбирает летописи на столбцах, о чем как-то и сказал. Поэтому в кружке Россет стали называть штаны летописями.

В одном из писем Дмитриеву Карамзин рассказывает, как раскован и прост бывал у них Александр: «Мы простились вчера с любезным государем: считая минуты перед своим отъездом, он провел у нас целый час, от семи до восьми вечера; сказал, чтобы к нему не переменялись, обнял всех наших малюток, мать, отца...»

«Не только от знаков его доброго расположения к нам, но и по удостоверению, что он ревностно занимается будущим жребием России, я стал как-то спокойнее, — пишет Карамзин Дмитриеву в одном из писем 1821 года. — Впрочем, знаю, что все зависит от Провидения: наше дело только желать добра».

Разговоры Карамзина с Александром во время прогулок касались главных политических тем внешней и внутренней политики. Они были

людьми одной эпохи, подвергались одним и тем же влияниям, пережили крушение одних и тех же надежд, но, несмотря на это, продолжали верить в идеалы молодости. В августе 1822 года, после одного из разговоров, Карамзин пишет царю: «Вы служите орудием Провидению. Здесь *либералисты*, там *сервилисты*, истина и добро в середине: вот Ваше место, прекрасное, славное».

В это время Карамзин формулирует свою политико-нравственную доктрину в небольшом сочинении «Мысли об истинной свободе». Высказанным в ней идеям он оставался верен до конца своих дней.

«Можно ли в нынешних книгах или журналах (книги не достойны своего имени, ибо не переживают дня), можно ли в них без жалости читать пышные слова: настало время истины; истинною все спасем; истинною все ниспровергнем... Но когда же было время не-истины? когда не было Провидения и вечных Его уставов? Умные безумцы! и вы не новое на земле явление; вы говорили и действовали еще до изобретения букв и типографий!.. Настало время истины: т. е. настало время спорить об ней!

Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все авгуры и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод.

Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги аристократов убеждают аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не книга! — Итак, сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!

Либералисты! Чего вы хотите? Щастия людей? Но есть ли щастие там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание.

Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностию к Провидению!»

Император читал новые тома «Истории...» в рукописи, беря их с собой в поездки. Карамзин просил царя читать с карандашом в руках и делать при чтении замечания. Замечания Александра — их было мало — не касались собственно исторических фактов или выводов. Карамзин приводит один пример: «У меня сказано, что слабый Федор должен был зависеть от вельмож и от монахов», и вопрос императора: «Последнее не оскорбит ли нашего черного духовенства?» На замечаниях Александр никогда не настаивал.

Доверенность Александра к Карамзину простиралась до того, что он сообщил ему в 1823 году о существовании тайного манифеста об отречении Константина от престола и объявлении наследником младшего брата — Николая. Об этом в России знали еще только два человека — писавший этот манифест князь А. Н. Голицын и митрополит Филарет.

Зиму 1824/25 года Карамзин болел, томился, работа не шла, хотя он, как было заведено, каждый день усаживался за стол. Переезд в Царское Село ничего не изменил. «Я все хилею, — писал он А. Ф. Малиновскому 9 июля, — езжу верхом, обмываюсь холодною водою, ем мало, но все не к лучшему; не могу работать с успехом, высиживая в кабинете не страницы написанные, а головную боль. Вот расплата за авторское ремесло! Немоощь телесная есть и душевная. Думаю все кинуть на время вместо лекарства. По крайней мере, в угодность милой жене, которая сама нездорова, а беспокоится только обо мне...»

Как ни трудно и ни непривычно было не работать, Карамзин все же отложил «Историю...». Он гулял, ездил, бывал в Павловске и Петергофе. В это лето особенно долгими и доверительными стали беседы в «зеленом кабинете» с императором. Александр был задумчив, мягок, сосредоточен, внимателен к собеседнику, но в то же время было видно, что он постоянно возвращается к каким-то своим затаенным думам. Неизвестно, сказал ли император Карамзину, что 17 июня он имел разговор с унтер-офицером 3-го Украинского уланского полка англичанином Шервудом, который, вступив в тайное общество и разузнав имена его членов и ближайшие планы, которые заключались в свержении монархии и возможной казни всей императорской фамилии, сообщил ему об этом.

На зиму Александр с императрицей уезжал в Таганрог, так как

Елизавете Алексеевне из-за обострения болезни врачи предписали перезимовать в более мягком климате. 28 августа, перед отъездом, Александр зашел проститься с Карамзиным. Уже после смерти императора Карамзин записал: «В последней моей беседе с ним 28 августа от 8 до 11 ½ часов вечера я сказал ему как пророк: „Ваше величество, ваши дни сочтены, вам некогда уже что-либо откладывать, а вам еще предстоит столько сделать для того, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала“. Движением головы и милою улыбкою он изъявил согласие, прибавил и словами, что непременно все сделает: даст коренные законы России».

В октябре Карамзин почувствовал себя лучше, его опять потянуло к работе.

В письме от 22 октября он описал Дмитриеву свое выздоровление:

«В ответ на милое письмо твое скажу, что о вкусах, по старому латинскому изречению, не спорят: я точно наслаждаюсь здешнею тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, не туманного озера, славимого и в „Conversation d’Emilie“^[13], в 11-м завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег; трясусь, качаюсь — и весел; возвращаюсь, с аппетитом обедаю с моими любезными, дремлю в креслах и в темноте вечерней еще хожу час по саду, смотрю вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы; возвращаюсь свежим, читаю газеты, журналы... В 9 часов пьем чай за круглым столом, и с десяти часов до половины двенадцатого читаем с женою и с двумя девицами Вальтер-Скотта, романы, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея, что вечера коротки. Не знаю скуки с зевотою и благодарю Бога. Рад жить так до конца жизни. Вот следствие, вероятно, лучшего здоровья; не знаю, продолжится ли, но так теперь. Что мне город?..

Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к Небу за свое историческое дело. Знаю, что и как пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве, я независим и наслаждаюсь

только своим трудом, любовью к Отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей „Истории“: она есть, и довольно с меня. Одним словом, я совершенный граф Хвостов по жару к музам или музе! За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить Бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты,

Как лебедь на водах Меандра,
Пропев, умолкнет навсегда.

Чтоб чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть как сладкое успокоение в объятиях Отца. В мои веселые светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о бессмертии авторском, хотя и посвятил здесь способности ума авторству. — Так пишут к друзьям из уединения».

Карамзин говорил, что у него опять «голова свежа». Он начал писать пятую главу двенадцатого тома «Истории...», читал отрывки у вдовствующей императрицы. «История государства Российского» близилась к завершению. «Двенадцатый том, — пишет он брату, — должен быть последним. Если Бог даст мне описать воцарение Михаила Феодоровича, то заключу мою „Историю“ обозрением новейшей до самых наших времен». К. С. Сербинович вспоминает, что в эти месяцы «можно было слышать из уст Николая Михайловича, что он теперь в лучшем состоянии здоровья, и ясное тому доказательство — приятность, которую находит в работе, как бывало и прежде, что, чувствуя сладость жизни, благодарит Бога за этот дар; сам любит перечитывать разные места своей „Истории“, оценивая, что и где хорошо; радуется, что совершил такой труд, и, исполнив по совести свой долг, нимало не заботится даже и о суде потомства».

Тем не менее в письмах этого времени людям, близким ему духовно, Карамзин возвращается к одной теме: к осмыслению и оценке своей жизни и деятельности. Особенно сердечно и открыто выражено это в письме графу И. А. Каподистрии в ноябре 1825 года. (Письмо написано на французском языке, на русский переведено В. А. Жуковским.)

«Мои скопляющиеся годы, шаткость моего здоровья,

печальные обстоятельства, нас разлучающие и которым конца не вижу, все это заставляет меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но в утешение себе говорю: „Хотя он (то есть И. А. Каподистрия. — В. М.) и далеко, но об нас помнит; а мы бессмертны. Соединение душ не прекращается с жизнью материальною: переживший сохраняет воспоминание; отошедший, быть может, более выигрывает, нежели теряет. Земные путешественники слишком рассеянны: им нет досуга заботиться о дружбе; не прежде, как бросив свой посох, мы можем предаться вполне привязанностям своего сердца: тогда растерянное во времени будет отыскано в вечности“. — Такие разговоры с самим собою занимают меня теперь гораздо более всех разговоров в обществе: они сохраняют теплоту моей души, которая мне еще нужна для моего милого семейства, для моих друзей, для моей „Истории“, подвигающейся к окончанию. — (Дар от меня потомству, если оно его примет, если же нет, то нет.) Так я стареюсь, не угасая (быть может, придет и то). О как я люблю еще моих товарищей, путешествия! как трогает меня их бедная участь! как вся душа моя полна сострадания к людям и народам!..

Мы на сих днях переехали в Петербург из Царского Села, где прожили более двух месяцев в ненарушимом уединении; как далеко была от меня скука в те минуты, когда я не страдал физически! Сколько глубоких наслаждений находил я в этом ежедневном досуге, в кругу моего семейства, иногда один совершенно! Работа, чтение, осенние, нередко ночные прогулки имели для меня прелесть неизъяснимую. Не слишком боясь смерти, иногда смотря на нее с каким-то радушием и любя повторять с Ж.-Ж. Руссо, что засыпающий на руках Отца беззаботен в своем пробуждении, я допиваю по каплям сладкое бытие земное: я радуюсь им по-своему, неприметно зависти. Подходя к концу жизни, я благодарю Бога за все, что Он мне даровал в ней; может быть, ошибаюсь, но совесть моя спокойна. Милое Отечество ни в чем не упрекнет меня; я всегда был готов служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязан ответствовать: и что же? я мог описать одни только варварские времена его Истории; меня не видали ни на поле сражения, ни в советах государственных; зная, однако, что я не трус и не ленивец, говорю самому себе: „Так было угодно Богу“,

и, не имея смешной авторской спеси, вхожу не стыдясь в общество наших генералов и наших министров...»

15 ноября Карамзины вернулись в Петербург, 17-го пришли первые известия из Таганрога о том, что государь болен. «С той минуты, — рассказывал позже Карамзин, — я уже не мог ничем спокойно заниматься». 27 ноября прибыл курьер с сообщением о кончине императора. В тот же день великий князь Николай Павлович объявил о восшествии на престол Константина и первым присягнул ему. В свое время Александр говорил Николаю, что тот наследует престол после него, но поскольку публичного отречения Константина не последовало, то вопрос о престолонаследии оказался нерешенным. Между Варшавой, где жил Константин, и Петербургом началась переписка.

Карамзин каждый день бывал во дворце. Вдовствующая императрица желала его постоянно видеть. Говорили об усопшем, вспоминали различные случаи из его жизни. При матери обычно находился Николай Павлович. Чем дальше, тем чаще разговор переходил на современное состояние России. Карамзин рассказывал о своих беседах с покойным государем, говорил о причинах общего недовольствия и необходимых мерах для исправления положения. Он должен был говорить — и говорил, зная, что в конце концов престол займет Николай, о недоделанных Александром делах и о его ошибках.

— Пощадите, пощадите сердце матери, Николай Михайлович! — воскликнула однажды императрица-мать после одной из таких речей.

— Ваше величество, — отвечал Карамзин, — я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать.

М. П. Погодин, основываясь на воспоминаниях современников, рассказывает, что после этого разговора Карамзин возвратился домой в возбужденном состоянии: «Лицо его горело, щеки были красны, глаза сверкали каким-то неестественным блеском, голос дрожал... Он рассказал жене сцену свою во дворце. „Государыня меня останавливала, — сказал он, — как будто я говорил только для осуждения! Я говорил так, потому что любил Александра, люблю Отечество и желаю его преемнику избежать его ошибок, исправить зло, им невольно причиненное!“».

Карамзин постоянно думал об Александре. С его кончиной кончалась, уходила историческая эпоха, к которой принадлежал и сам Карамзин. Она истаивала с каждым днем.

Карамзин достал из-под спуда рукопись «Мнения русского

гражданина», приписал к записке, объясняющей ее появление и обстоятельства, «новое прибавление»:

«Я ошибся: благоволение Александра ко мне не изменилось, и в течение шести лет (от 1819 до 1825 года) мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж, слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милость и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества. Правда, Россия удержала свои польские области; но более счастливые обстоятельства, нежели мои слезные убеждения, спасли Александра от дела равно бедственного и несправедливого: по крайней мере, так сказал он мне в ноябре 1824 года. Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Гурьевской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о Министерстве просвещения, или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, — наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные.

...Если не я, то другие увидят скоро, для чего Бог внезапно отнял Александра у России! Мне хочется более плакать, нежели писать об нем. Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека, красу человечества своим великодушием, милосердием, незлобием редким. Не боюсь встретиться с ним на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба веря Богу и добродетели...»

«Александра любил я как человека, как искреннего, доброго, милого приятеля, если смею так сказать: он сам называл меня своим *искренним*, — писал Карамзин брату. — Его величие и слава, конечно, давали этой связи еще особенную прелесть. Не думал я пережить его и надеялся оставить в нем покровителя моим детям. Да будет воля Божия! Привязанность моя к нему осталась бескорыстною: новый государь России не может знать и

ценить моих чувств, как знал и ценил их Александр. Я слишком для него стар и думаю только кончить, если даст Бог, 12-й том „Истории“, чтобы куда-нибудь удалиться от двора, в Москву ли, или в Немецкую землю для воспитания сыновей: здесь учение дорого и не так легко. Впрочем, предаюсь и тут на волю Божию. Ныне мы живы, а завтра где будем. Если не Александр, то Небесный Отец наш не покинет моего семейства, как надеюсь».

Возмущаясь потоком российских официальных поделок на смерть императора, Карамзин собирался сказать о нем лишь «в обозрении нашей новейшей истории, чрез год или два, если буду жив». «Иначе, — продолжает он, — поговорю с самим Александром в Полях Елисейских. Мы многого с ним не договорили в здешнем свете».

12 декабря было получено торжественное и оформленное по всем требованиям закона отречение Константина Павловича.

Николай обратился к Карамзину с поручением написать Манифест о восшествии на престол. Карамзин включил в него обязательства исполнять то хорошее, нужное России, что в тяжких опытах постиг к концу своего царствования Александр.

В начале манифеста, как было принято всегда, Карамзин писал о скорби по усопшем, «коего царствование, ознаменованное делами беспримерной славы для Отечества, во веки веков будет сиять в наших и всемирных летописях: царствование спасителя России, избавителя Европы, благодетеля побежденных, умирителя народов, друга правды и человечества».

В заключение от имени нового государя объявлялось:

«И Мы, в сей торжественный час, пред лицом Всевышнего, от глубины сердца даем обет жить единственно для любезного Отечества: следовать примеру оплакиваемого Нами Венценосца! Да будет Наше царствование только продолжением Александрова! Да благоденствует Россия своим уже приобретенным могуществом, внешнею безопасностью, внутренним устройством, чистою Верою наших предков, государственною и воинскою доблестью, истинным просвещением ума и непорочностию нравов, плодами трудолюбия и деятельности полезной, мирною свободою жизни гражданской и спокойствием сердец невинных! Да будет престол Наш тверд Законом и верностию народною! Да соединится

неразрывно, под Нашею державою, правосудие неослабное с милосердием человеколюбия! Да исполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для Отечества Александр бессмертный: тот, коего священная память должна питать в Нас и ревность и надежду стяжать благословение Божие и любовь народа Российского».

Но Николай отверг написанное Карамзиным. По поводу начала он сказал, что ему «неприлично хвалить брата в Манифесте», в завершающем абзаце нашел «повод к толкам, вид самохвальства, излишние обязательства». Сперанский исправил и переписал манифест.

Оказались вычеркнутыми: «друг правды и человечества», «истинное просвещение ума», «плоды трудолюбия и деятельности полезной», «мирная свобода жизни гражданской», «правосудие неослабное с милосердием человеколюбия», а также выпали слова о том, что «да будет престол Наш тверд Законом», и желание, чтобы исполнилось «все, чего желал, но еще не успел совершить для Отечества Александр». Вместо этого в исправленном манифесте говорилось о весьма неопределенных «благих намерениях наших».

Выписав на память, «для сыновей», отвергнутое Николаем, Карамзин в заключение говорит: «Один Бог знает, каково будет наступившее царствование. Желаю, чтобы это сообщение было любопытно для потомства: разумею, в хорошем смысле».

Манифест писался и исправлялся 13 декабря.

Поздно вечером Николай подписал его и приказал собрать для присяги Государственный совет. Присяга Сената была назначена на завтра на семь утра. Затем должна была последовать присяга в полках.

Карамзин обратил внимание, что Николай, подписывая манифест, нервничал; позже он объяснил это предчувствием завтрашних событий: Николай уже знал от Якова Ростовцева, подпоручика, бывшего камер-пажа, случайно оказавшегося вовлеченным в тайное общество, о восстании, назначенном на 14 декабря.

Наступило 14 декабря. В семь утра присягнул Сенат, и сенаторы разъехались по домам. В Зимний дворец съезжались для присяги придворные. Карамзин приехал со старшими дочерьми (они имели придворное звание фрейлин).

Около десяти часов покинул казармы и двинулся на Сенатскую площадь Московский полк — первый из восставших. Начальник штаба гвардейского корпуса генерал-майор Нейгардт доложил об этом Николаю.

Николай вышел из Зимнего дворца на площадь. Милорадович — взволнованный, растерянный — сказал царю: «Дело плохо, они идут к Сенату, но я поговорю с ними». К одиннадцати часам утра о начавшихся беспорядках узнал весь Петербург. На Дворцовой и Сенатской площадях стал скапливаться народ. Толпа явно сочувствовала восставшим.

Милорадович обратился к солдатам, призывал уйти за ним с площади, вспоминал, как он ходил с ними в сражения.

Его любили, ему верили, и, видя, что солдаты колеблются, Каховский выстрелил в Милорадовича. Пуля попала в грудь, смертельно раненный генерал стал валиться с лошади. Это был первый выстрел 14 декабря. Стало ясно, что вооруженного столкновения не миновать.

К солдатам вышел с крестом и уговорами митрополит, его прогнали.

Императрица-мать была в страхе за жизнь Николая, который находился на площади. Никто во дворце не мог сказать ей, где он сейчас и что с ним. Чтобы успокоить ее, Карамзин вышел из дворца. Пробиваясь через толпу, гудевшую разговорами и восклицаниями, он пытался возражать тем, кто особенно громко выражал сочувствие восставшим; его не слушали, чуть не избили. Граф Ф. П. Толстой, художник-медальер, оказавшийся 14 декабря на Сенатской площади, вспоминал: «Я вошел на Исаакиевскую площадь у Сената. Гауптвахта стояла во фронте с ружьями на плече; между ними и монументом Петра Великого стояли солдаты Московского полка, не более батальона, состава правильное каре, внутри которого я видел несколько фигур, которых рассмотреть не мог, проходя очень скоро по левой стороне этого каре, кричавших в один голос — кто имя Константина Павловича, кто конституцию и еще какие-то слова, которых в этой массе слившихся голосов расслышать было невозможно. За монументом, проходя к забору строившейся Исаакиевской церкви, где было меньше народа, я увидел стоящего на Адмиралтейском бульваре, лицом к Сенату, молодого, только что вступившего на трон императора, окруженного главным штабом, генерал-и флигель-адъютантами, а возле него Карамзина. Государь был очень бледен».

Между тем прибывали новые войска: восставшие вставали возле памятника Петру, верные царю — у Зимнего дворца. В три часа зашло солнце, на город спускались сумерки. Зловеще шумела толпа на площади и другая, не пропускаемая полицией, на подходах к ней, за спиной верных Николаю частей, которые, таким образом, оказались окруженными. Надо было действовать. Несколько кавалерийских атак на каре были отбиты. Николай приказал готовить к бою артиллерию. В начале пятого грянул первый орудийный выстрел. Через час на площади оставались только

убитые и тяжелораненые. В шесть часов Николай вернулся во дворец.

День 14 декабря Карамзин описал в письме Дмитриеву от 19 декабря:

«Мы здоровы после здешней тревоги 14 декабря. Я был во дворце с дочерьми; выходил и на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с „Полярною Звездой“, Бестужевым, Рылеевым и достойными их клевретами. Милая жена моя, нездоровая, прискакала к нам во дворец около семи часов вечера. Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит не действовали. Как скоро грянула первая пушка, императрица Александра Феодоровна упала на колени и подняла руки к небу. Она несколько раз от души говорила: „Для чего я женщина в эти минуты!“ Добродетельная императрица Мария повторяла: „Что скажет Европа!“ Я случился подле них, чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок и не смущает сердца: смотришь ей прямо в глаза с какою-то тишиною. — В большой зале дворца толпа знати час от часу редела, однако ж, все было тихо и пристойно. Молодые женщины не изъясляли трусости. В общем движении, в стороне, неподвижно сидели три магната: князь Лопухин, граф Аракчеев и князь А. Б. Куракин, как три монумента! В седьмом часу пели молебен; в осьмом стали все разъезжаться. Войско ночевало среди огней вокруг дворца.

В полночь я с тремя сыновьями ходил уже по тихим улицам, но в 11 часов утра, 15 декабря, видел еще толпы черни на Невском проспекте. Скоро все успокоилось, войско отпустили в казармы».

Восстание было подавлено. Начались аресты. 19 декабря, когда писалось письмо, Карамзин еще очень мало знал о размерах заговора, численности заговорщиков, надеялся, что их было немного. «Жалею о Н. Е. Кашкине: преступник кн. Оболенский ему родной племянник, если не ошибаюсь. Давали в отчаянии за их зятя, Трубецкого. Катерина Федоровна Муравьева раздирает сердце свое тоскою. Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай Бог, чтобы истинных злодеев нашлось между

ними не так много! Солдаты были только жертвою обмана».

Понемногу Карамзину становятся известны не только имена арестованных, но и ход следствия и предъявляемые им обвинения. 3 января Карамзин сообщает Дмитриеву: «Оба рыцаря „Полярной Звезды“ сидят в крепости; скрывается доселе один безумец Кюхельбекер или погиб. К нашему сокрушению, оба сына Катерины Федоровны Муравьевой взяты как члены этого законопреступного общества: Никита, то есть старший, был даже одним из начальников. Меньшой осужден только на шестимесячное заключение в крепости. Все это между нами».

Зная, что усилилось полицейское наблюдение, Карамзин мало говорит в письмах, гораздо меньше, чем знает; даже в письме Вяземскому, отправленном не по почте, а с оказией, он очень осторожен. Об арестованных по делу 14 декабря он пишет: «Главные из них, как слышно, сами не дерзают оправдываться. Письма Никиты Муравьева к жене и матери трогательны: он во всем винит свою *слепую гордость*, обрекая себя на казнь законную в муках совести. Не хочу упоминать о смертоубийцах, грабителях, злодеях гнусных; но и все другие не преступники ли, безумные или безрассудные, как злые дети? Можно ли быть тут разным мнениям, о которых вы говорите в последнем вашем письме с какой-то значительностью особенной?» Письмо Карамзина — предупреждение. Он просит Вяземского: «Только ради Бога и дружбы не вступайтесь в разговорах за несчастных преступников, хотя и не равно виновных, но виновных по всемирному и вечному правосудию... Не радуйте изветников ни самую безвиннейшую нескромностью!» Видя Николая, говоря с ним, Карамзин понимал, что царь сейчас во власти страха (ведь заговорщики имели намерение убить его и всю царскую семью); снedaемый чувством мести и жаждой расправы, он во всех подозревает тайных заговорщиков, и неосторожное слово в его глазах достаточный повод для преследования.

Немногословный в переписке, Карамзин не избегал говорить о заговоре в частных беседах. «Через некоторое время после сего, — рассказывает учитель детей Карамзина И. Я. Телешов, — имел я приятнейшее удовольствие слушать рассуждение о сем происшествии незабвенного Николая Михайловича Карамзина». Учитель приводит высказывания Карамзина как прямую речь. Конечно, это «не точные цитаты, а пересказ, причем пересказ, окрашенный собственным пониманием событий, но какие-то элементы карамзинских настроений тут безусловно присутствуют. „Провидение, — говорил он (пишет о Карамзине Телешов. — В. М.), — омрачило умы людей буйных, и они в порыве своего безумия решились на предприятие столь же пагубное, сколько и

несбыточное: отдать государство власти неизвестной, злодейски свергнув законную.

Бунт вспыхнул мгновенно; обманутые солдаты и чернь ревностно покорились мятежникам, предполагая, что они вооружаются против государя незаконного и что новый император есть похититель престола старшего своего брата Константина. В сие-то ужасное время общего смятения, когда смелые действия злодеев могли бы иметь успех самый блистательный, Милосердный погрузил предприимчивых извергов в какое-то странное недоумение и неизъяснимую нерешительность: они, сделав каре у Сената, несколько часов находились в бездействии, а правительство между тем успело взять все нужные противу них меры. Ужасно вообразить, что бы они могли сделать в сии часы роковые; но Бог защитил нас, и Россия в сей день спасена от такого бедствия, которое если б не разрушило, то, конечно, истерзало ее“».

Восстание не поколебало убеждений Карамзина. Сербинович вспоминает его слова, что для России «предпочтительным государственным строем является монархия», и вывод: «Я враг революций, но мирные эволюции необходимы; они всего удобнее в правлении монархическом».

Уверенный, что Николай в определении наказания заговорщикам будет крайне жесток, Карамзин делает попытки предупредить это. Он, очередной раз рискуя навлечь на себя царский гнев, объясняет царю, что происшедшее — одно из выражений объективного хода истории и что это уменьшает личную ответственность участников заговора. Видимо, подобные разговоры велись неоднократно. Об одном из них рассказывает в своих «Записках декабриста» А. Е. Розен: «Журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: „Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!“».

А в рavelинах Петропавловской крепости читали Карамзина. Михаил Бестужев обратился с просьбой к начальнику тюрьмы дать ему какую-нибудь книгу. «Через три дня мне принесли для чтения, — рассказывает он в воспоминаниях, — 9-й том „Истории государства Российского“. Странная случайность!.. Почему именно 9-й том попал ко мне? Не для того ли, что

судьба заранее хотела познакомить меня с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что меня ожидало? Хотя мне очень хорошо была известна эпоха зверского царствования Иоанна, но я предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства. Было ли это удовольствие — вкусить духовную пищу после томительной голодовки или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, меня ожидающей, я не знаю... Но я читал... перечитывал — и читал снова каждую страницу».

Рылеев сам просит жену в письме от 21 января: «Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов Карамзина „Истории“; но не те, которые испорчены наводнением, а лучшие: они, кажется, стоят в большом шкапу». И в следующем письме, 5 февраля, повторяет просьбу: «Я просил тебя прислать Карамзина „Историю“; ты, верно, позабыла. Пожалуйста, пришли».

Жизнь в Петербурге входила — хотя бы с внешней стороны — в колею. Карамзин возвращается к работе; 11 января 1826 года он пишет князю Шаликову: «Несмотря на грусть, начинаю заниматься своим делом: т. е. „Историю...“». В это время он писал пятую главу двенадцатого тома. Но в двадцатых числах января он заболел — сказалось нервное напряжение последнего месяца, кроме того, он простудился, врачи нашли воспаление в легких. Только в начале марта ему стало немного легче, уменьшился кашель, но он был очень слаб. 6 марта привезли в Петербург тело Александра, 13-го состоялись отпевание в Казанском соборе и похороны в Петропавловском. Карамзин не мог на них присутствовать.

«Медленная лихорадка» — такой диагноз поставили болезни Карамзина врачи и заявили, что ему необходимо переменить климат — пожить в Италии. 22 марта он пишет Дмитриеву: «Собираюсь, думаю, с силами, но незаметно. Слабею даже от пищи, хотя раз в день ем с истинным удовольствием. Говорят мне, и сам чувствую, что хорошо было бы мне удалиться отсюда летом, даже необходимо для совершенного выздоровления, но куда и как? наши способы? мой характер? Александра нет. Все мои отношения переменились. Но остался Бог тот же, и моя вера к Нему та же: если надобно мне зачахнуть в здешних болотах, то смиряюсь в духе и не ропщу. Не могу говорить с живостью: задыхаюсь. Брожу по комнате; читаю много; имею часто сладкие минуты в душе: в ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная».

Средств на поездку взять было неоткуда. Карамзину становится известно, что русский консул во Флоренции собирается подать в отставку, и он пишет письмо царю:

«Всемиловейший государь!

Вначале примите еще от слабого историографа невольно слабое выражение чувства сильного: живейшей сердечной благодарности за трогательные для меня знаки Вашего участия в моей тяжелой болезни... И в какие дни! Вы делали то, что делал Александр. Эта мысль еще более умиляла меня.

Оправляюсь, но тихо; чувствую еще раздражение в груди, кашляю и буду кашлять долго, как говорят медики, если *нынешним летом* не удалюсь отсюда в климат лучший, и, по моему собственному чувству, необходимый для восстановления физических сил моих. Третьего года я здесь умирал, прошлого изнемогал и худел, а ныне был в опасности, и в первую зиму или осень могу снова иметь воспаление в груди, уже расстроенной. Медики решительно советуют мне *пожить во Флоренции*:: но с семейством многочисленным и состоянием недостаточным, особенно с того времени, как наши крестьяне, подобно другим, худо платят оброк, не могу и думать о путешествии. Есть, однако ж, способ, и зависит единственно от Вашего соизволения, без всякого ущерба или убытка для казны. Резидент наш во Флоренции, г. Сверчков, будучи весьма слабого здоровья, думает, как мне сказывали, *скоро* оставить свое место, которого смиренно, но убедительно прошу для себя у Вашего Императорского Величества, уже изъяснив причину: надежду действием хорошего климата спастись от чахотки и, может быть, преждевременной смерти. Без нескромности, кажется, могу сказать, что имею понятие о политических отношениях России к державам Европейским и не хуже другого исполнил бы эту должность.

23 года, *по воле* Императора Александра, я неумоимо писал „Историю“, назывался *государственным историографом*, но не получал никакого жалованья от государства и никаких денежных наград, кроме суммы, выданной мне в 1816 году из кабинета для платежа типографщикам за печатание девяти первых томов, и кроме двух тысяч пенсии (ассигнациями), определенной мне, как почетному члену Московского университета. Я жил плодами своих трудов; но теперь дописываю уже последний том: с ним кончится и моя деятельность, и мой важнейший доход.

Если Ваше Императорское Величество милостиво исполните мою всеподданнейшую просьбу, то это будет для меня

величайшим благодеянием: других желаний и видов не имею. Неисполнение, признаюсь, огорчит меня; но да будет воля Божия! Ничто не охладит в душе моей истинной любви к Вам и признательности за благоволение и лестную доверенность, которые Вы мне уже оказали.

Могу ли ждать ответ? По крайней мере, мысль о долговременной неизвестности, в теперешнем моем физическом состоянии, несколько тревожит мое воображение».

Карамзин отправил письмо 22 марта. Николай ответил через две недели:

«Ежели ранее вам не отвечал, любезный Николай Михайлович, то не полагайте, чтобы то было из забывчивости, но напротив, из желания о всем дать ответ удовлетворительный. Я искал приладить желание ваше с возможностью, и полагаю, что, может, успел в том: предлагаю вам следующее; но наперед благодарю вас сердечно и за доверенность, и за содержание письма вашего; жалею сердечно, что первая услуга, которую вы ставите меня в возможность вам оказать, клонится к тому, чтоб вас удалить от всех нас! — Вы поверите, надеюсь, без труда, что с сердечным прискорбием убеждаюсь, что сие временное удаление необходимо. Но так видно Богу угодно, и должно сему покориться без ропота...

Но обратимся к делу. Вам надо ехать в Италию — вот что хотят медики; надо их послушать. Пребывание в Италии не должно вас тревожить, ибо хотя место во Флоренции еще не вакантно, но Российскому Историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особо Флорентийской. Словом, я прошу вас, не беспокойтесь об этом, и, хотя мне в угождение, дайте мне озаботиться способом устроить вашу поездку...

Повторяю, что мне больно слышать и верить, что вам надо ехать; дай Бог, чтобы здоровье ваше скоро восстановилось и возвратило бы вас к тем, кои Вас искренно любят и уважают; причтите меня к этим.

Вас искренно любящий *Николай*».

Император повелел снарядить специальный фрегат для проезда по морю. Отъезд был назначен на июнь.

Карамзин начинает собираться. Он полон надежд на целительное воздействие моря. С навещающими его друзьями он ведет оживленные разговоры. Сербинович в дневнике записывает: «Потом (Карамзин. — В. М.) говорил, что ему приходит в голову много соображений о политических обстоятельствах времени, о задаче жизни человеческой, о уповании на Промысл Божий, и многое, многое. Когда я сказал, почему бы не диктовать свои мысли другим? — „Нет! — отвечал он. — Я не привык к этому и не могу передавать мысли бумаге иначе, как сам, с пером в руке“».

«На сих днях отправлю в архив, — пишет Карамзин Малиновскому в конце апреля, — ящик с большею частию бумаг и книг, которые еще были у меня; удерживаю для окончания XII тома весьма немногие. Мне писать еще две главы: наслаждаюсь мыслию изображать характеры и действия Российской истории и любоваться вдали вершинами Апеннинскими; без работы, хотя самой легкой, для меня нет отдыха».

Но врачи и близкие уже знали, что дни его сочтены. Жуковский хлопочет о назначении Карамзину пенсии, которую по его смерти будет получать семья. 13 мая Николай своим указом распорядился о выплате «Историографу Российской империи, Действительному Статскому Советнику, отъезжающему для излечения своего за границу», пенсион по 50 тысяч рублей в год. Карамзин, прочтя указ, на слова Екатерины Андреевны, что это успокоит его старость, ответил: «Это значит, что я должен умереть». Он сердился за слишком большую, по его мнению, сумму пенсионера, разволновался и взял какую-то книгу, чтобы успокоиться за чтением.

На следующий день, 15 мая, он написал благодарственное письмо царю:

«Никогда скромные мои желания так далеко не простирались. Но изумление скоро обратилось в умиление живейшей благодарности: если сам не буду пользоваться плодами такой царской беспримерной у нас щедрости, то закрою глаза спокойно; судьба моего семейства решена наищастливейшим образом. Дай Бог, чтобы фамилия Карамзиных, осыпанная милостями двух монархов, заслужила имя *верной*, ревностной к

царскому дому. О! как желаю выздороветь, чтобы последние дни мои посвятить вам, бесценный государь, и любезному Отечеству! Вчера не мог я писать, и ныне голова моя очень слаба. Видом, говорят, я поправляюсь, но слабость не выпускает меня из полулюдей. Заклучу тем: милости, благодеяния ваши ко мне так чрезвычайны, что я и здоровый не умел бы выразить вполне моей признательности.

Повергаю себя к стопам вашим со всем моим семейством...»

Это были последние строки, им написанные.

Три дня спустя состояние Карамзина резко ухудшилось, и 22 мая он скончался.

Похоронили Николая Михайловича Карамзина в Петербурге на кладбище Александре-Невской лавры. На его надгробном памятнике — стих из Нагорной проповеди: «Блаженни чистии сердцем: яко тии Бога узрят».

Известно, что две тайны последних лет своего царствования, которые должны были оказать принципиальное, решающее влияние на будущую судьбу государства, император Александр I доверил Карамзину.

Первая тайна о порядке престолонаследия. Он сообщил Карамзину, что существует тайный манифест, по которому его наследником объявляется не следующий по возрасту брат Константин, а младший — Николай.

Вторая тайна касалась тайного общества, действующего в России и имеющего своей целью свержение монархии. Александр знал о нем, и знал имена всех заговорщиков. Но он не собирался что-либо предпринимать против них, поскольку считал себя морально виновным в том, что они стали такими, какие есть. Решение этой проблемы он оставлял Провидению.

Думается, вернее, и более того — я уверен, что Карамзину была открыта и третья тайна императора Александра I — тайна его смерти, до сих пор окутанной легендами, толками, дискуссиями историков.

За три дня до отъезда в Таганрог, 28 августа 1825 года, император пришел к Карамзину в его царскосельский домик проститься. Их беседа продолжалась с 8 часов вечера до 11 часов 30 минут. Дату и время последней своей беседы с императором Карамзин записал. Из ее содержания Карамзин упомянул только об одной детали: он торопил Александра: «Ваши дни сочтены, вам некогда что-либо откладывать, вам

предстоит еще столько сделать...» Логично рассудить, что эти слова Карамзина были вызваны сообщением императора об уже принятом им решении, плане и времени его отречения от престола. Публичного отречения царствующего монарха Россия до сего времени не знала. Видимо, Александр имел свой план отречения иным способом.

27 ноября 1825 года в Петербург из Таганрога прибыло сообщение о кончине Александра I. Карамзин каждый день по просьбе императрицы-матери бывает во дворце. При матери почти постоянно находится Николай, он уже присягнул Константину. Карамзин настойчиво, что противоречит этикету и его натуре, рассказывает им о государственной деятельности Александра и его планах, открыто указывает на Николая как на императора. Может быть, именно об этом просил его Александр.

По традиции в связи с кончиной монарха стихотворцы писали и публиковали стихи, посвященные его памяти. Некоторые знакомые удивлялись и спрашивали Карамзина, почему он ничего не пишет, ведь он был близок к покойному. Но Карамзин так и не написал ничего «на кончину».

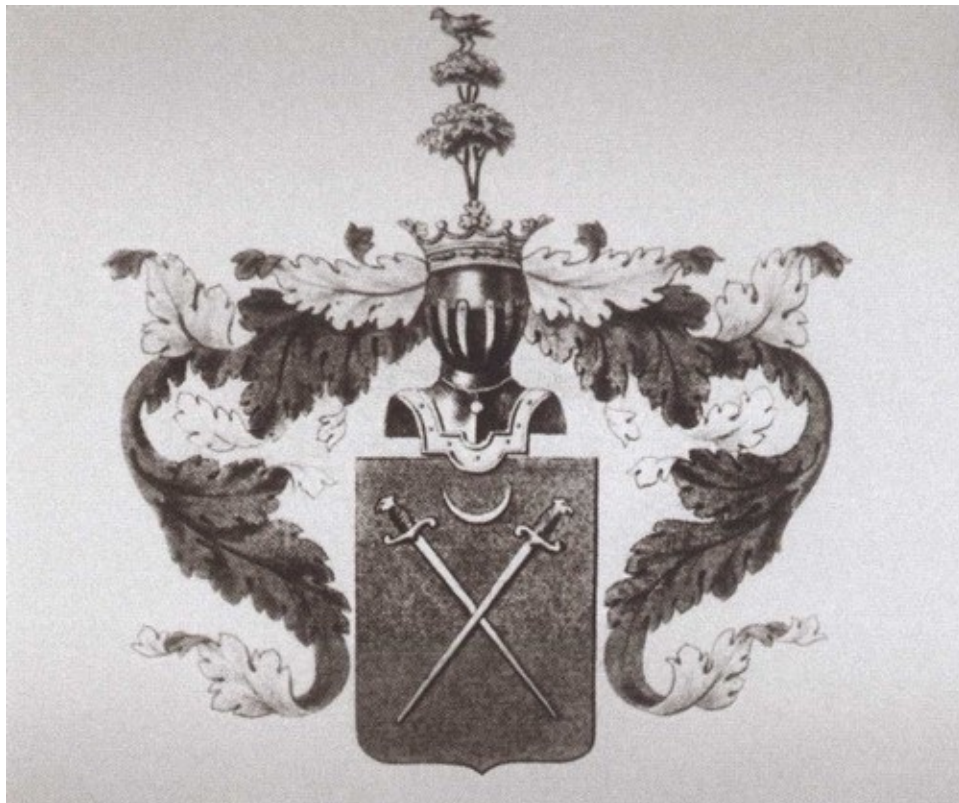
6 марта привезли в Петербург тело Александра, 13-го состоялись отпевание в Казанском соборе и похороны в Петропавловском. Карамзин не пошел проститься ни в первый, ни во второй. По официальной версии по болезни, но более вероятной представляется иная причина: он знал, что хоронили не императора Александра.

Существует довольно значительная литература о «старце Федоре Кузьмиче», объявившемся в Сибири в 1830-е годы и умершем в 1864 году, в которой исследуется легенда о том, что сибирский старец — это удалившийся от мира император Александр I.

Карамзин мог бы разрешить все сомнения. Однако он умел хранить доверенные ему тайны, причем не только не проговариваясь о них людям, но и не доверяя листу бумаги. Поэтому тут остается только сопоставлять и рассуждать.

Мир постоянно изменяется и все же всегда, при всех государственных строях и общественных формациях, остается неизменным, потому что все в обществе зависит только от человека. Наверное, все-таки единственный, дающий положительные результаты путь прогресса человечества — это тот, о котором говорил Карамзин: «Будем в середине немного лучше того, как мы были во вторник, и довольно для нас, ленивых».

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Герб рода Карамзиных



Вид города Симбирска. Гравюра XVIII в.



Молодой Карамзин. Миниатюра неизвестного автора



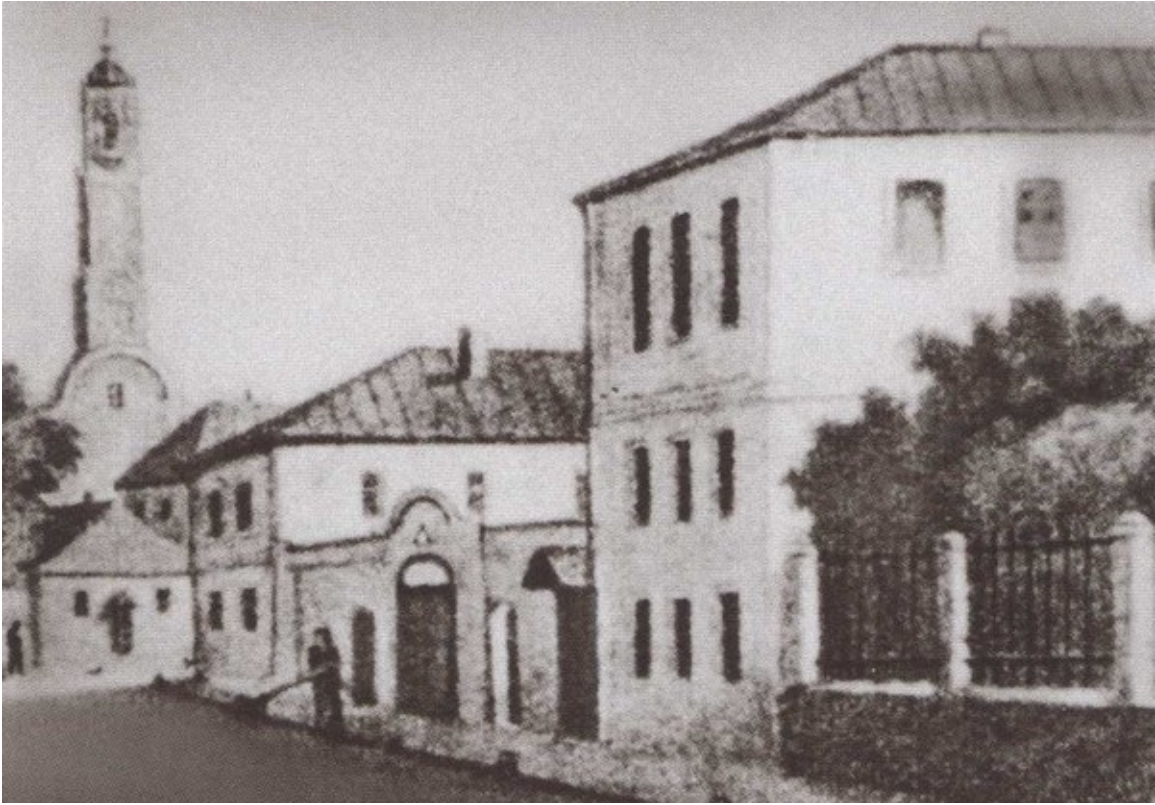
Москва. Кремль. XVIII в.



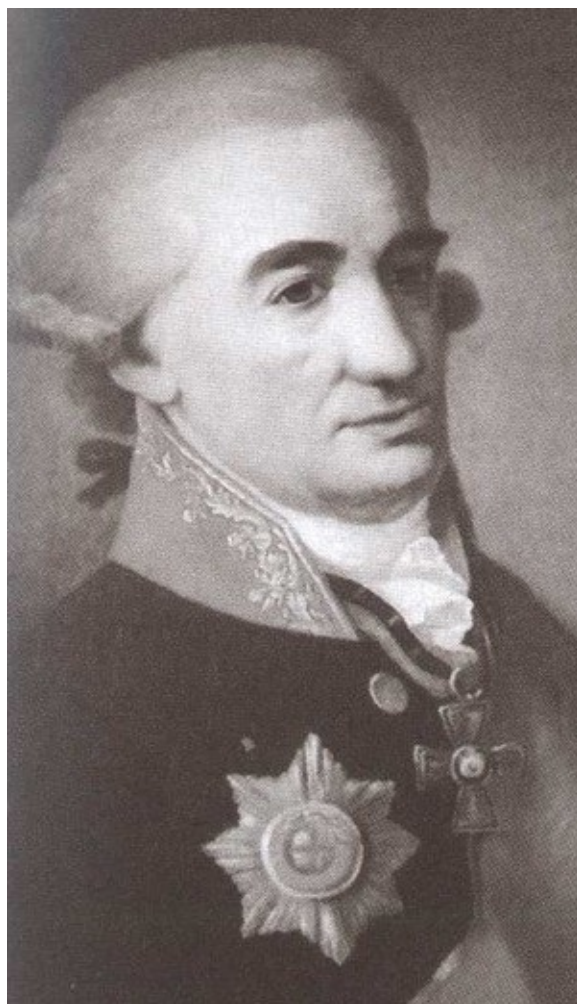
С. И. Гамалея



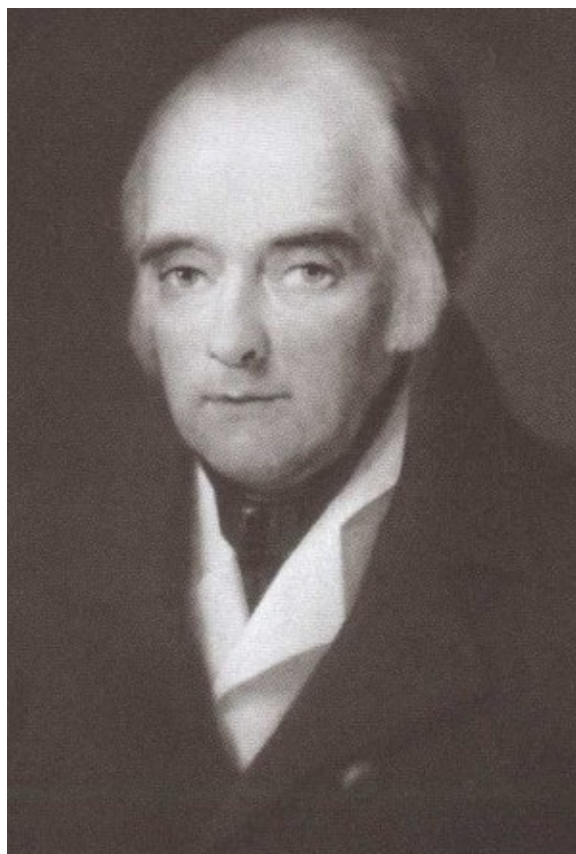
Н. И. Новиков



*Дом в Кривоколенном переулке, где жил Н. М. Карамзин. Литография
середины XIX в.*



М. М. Херасков



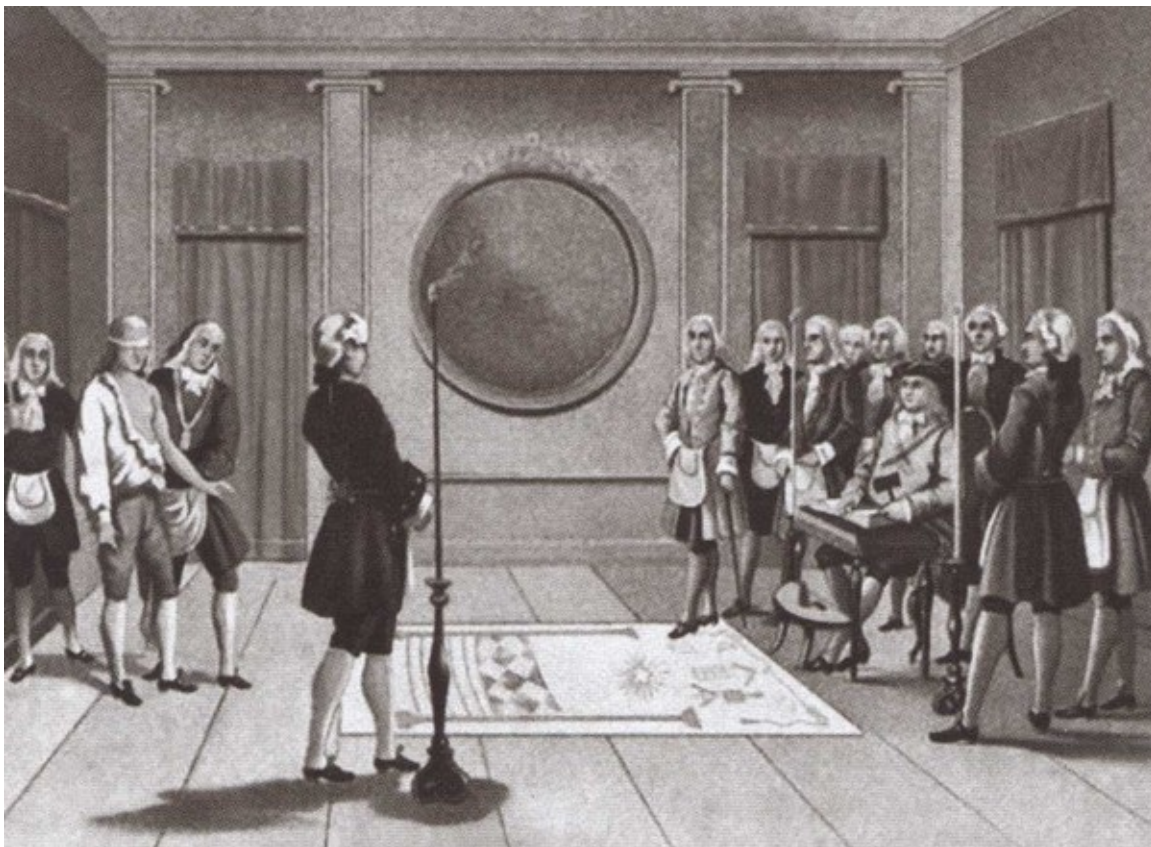
Ю. А. Нелединский-Мелецкий



Здание типографии Н. И. Новикова на Мясницкой. Акварель Ф. А. Алексеева



Тверская застава в Москве. Акварель. Конец XVIII в.



Посвящение в масоны. Английская гравюра XVIII в.



Фронтиспис немецкого издания «Писем русского путешественника»



Иллюстрация к «Письмам русского путешественника». Художник Ф. Кюнель



Н. М. Карамзин. Портрет художника Ф. Кюнеля. Гравер И.-Г. Липс



И.-К. Лафатер на прогулке с сыном



А. Н. Радищев. Гравюра И. Вендрамини. 1790 г.



Г. Р. Державин



К. Демулен выступает перед парижанами



*Императрица Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке.
Гравюра с картины В. Л. Боровиковского. 1794 г.*



Вид Симонова монастыря. Литография по картине К. Рабуса. Начало XIX в.



*Вид на Москворецкий мост и Кремль. Гравюра по рисунку Ж.
Делабарта. 1790-е гг. Фрагмент*

МОСКОВСКОЙ
ЖУРНАЛЪ.



Pleasures are ever in our hands or eyes.
Росл.



Часть 1.

МОСКВА,
ВЪ Университетской Типографии
у В Огорокова.
1791 года.

Титульный лист «Московского журнала». 1791 г.



А. Ф. Мерзляков. Гравюра К. Афанасьева. Начало XIX в.

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ,

издаваемый
Николаемъ Карамзинымъ

ЧАСТЬ I.

МОСКВА, 1802.

Въ Университетской Типографіи
у Люби, Гаріа и Понсова.

Титульный лист журнала «Вестник Европы». 1802–1803 гг.



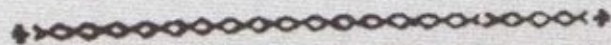
А. С. Шишков. Гравюра Н. Уткина с портрета художника Д. Доу. 1820-е гг.

А О Н И Д Ы,
ИЛИ
СОБРАНИЕ РАЗНЫХЪ,
Н О В Ы ХЪ
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й.

К н и ж к а I.

1 7 9 6.

Chérissons le rival qui peut nous sur-
passer,
Montrez moi mon vainqueur, & je
sous l'embrasser.



М О С К В А
ВЪ Университетской Типографіи,
у Рядисера и Клаудіа.

Титульный лист альманаха «Аониды». 1796 г.



В. Л. Пушкин. Рисунок И.-Е. де Шатобрена. 1823(?) г.



И. И. Дмитриев



М. Н. Муравьев



Император Павел I



Что слышу? грома восклицаній,
Сердечныхъ, радостныхъ взываній! . . .
Что вижу? весь народъ спѣшитъ
Во храмъ, украшенный цвѣтами;
Спѣшитъ съ подвѣтыми руками —
Вступаетъ . . . новый громъ гремитъ,
И слезы щастія лѣются! . . .
Се Россы добрые клянутся,
Тѣснясь къ святому олтарю,
Въ любви и вѣрности Царю!

Начальный лист Оды Н. М. Карамзина на случай присяги московских жителей Его Императорскому Величеству Павлу I. 1796 г.



Н. М. Карамзин. Гравюра Н. Уткина. С портрета А. Варнека. 1818 г.



Император Александр I



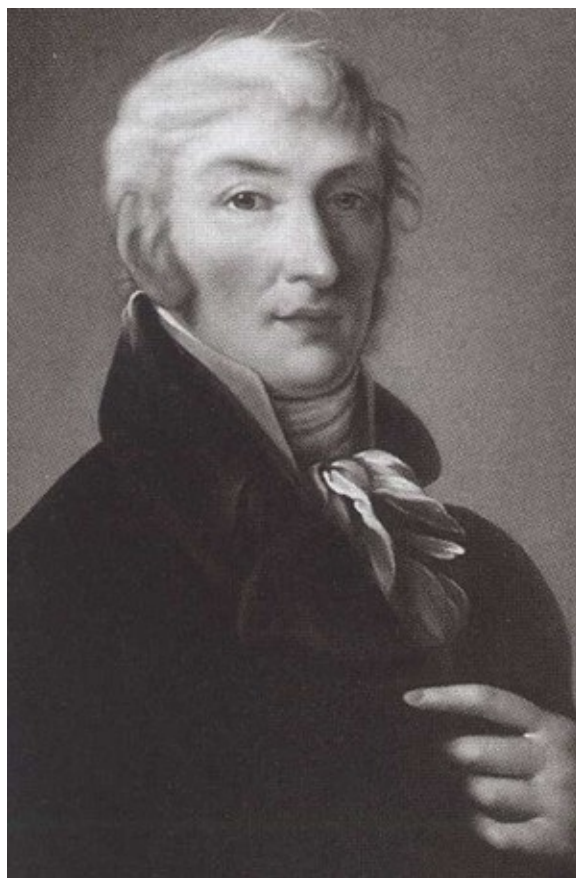
*Встреча императоров Александра и Наполеона на плоту на Немане.
1807. Гравюра по рисунку Гейслера. Фрагмент*



Князь А. И. Вяземский. С портрета Ж.-Л. Вуаля. 1773–1779 гг.



Остафьевский дворец. Современное фото В. Бондаренко



Н. М. Карамзин. С портрета Ж.-Б. Дамон-Ортолани. 1804 г.



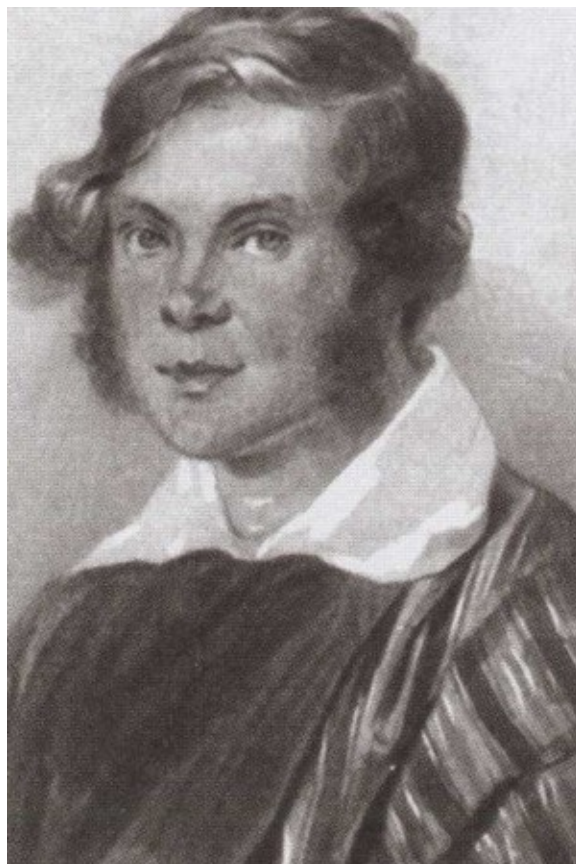
Е. А. Карамзина. С портрета М. Беннера. 1817 г.



*Остафьево. На втором этаже справа — окно Карамзинской комнаты.
С картины И.-Е. де Шатобрена. 1817 г.*



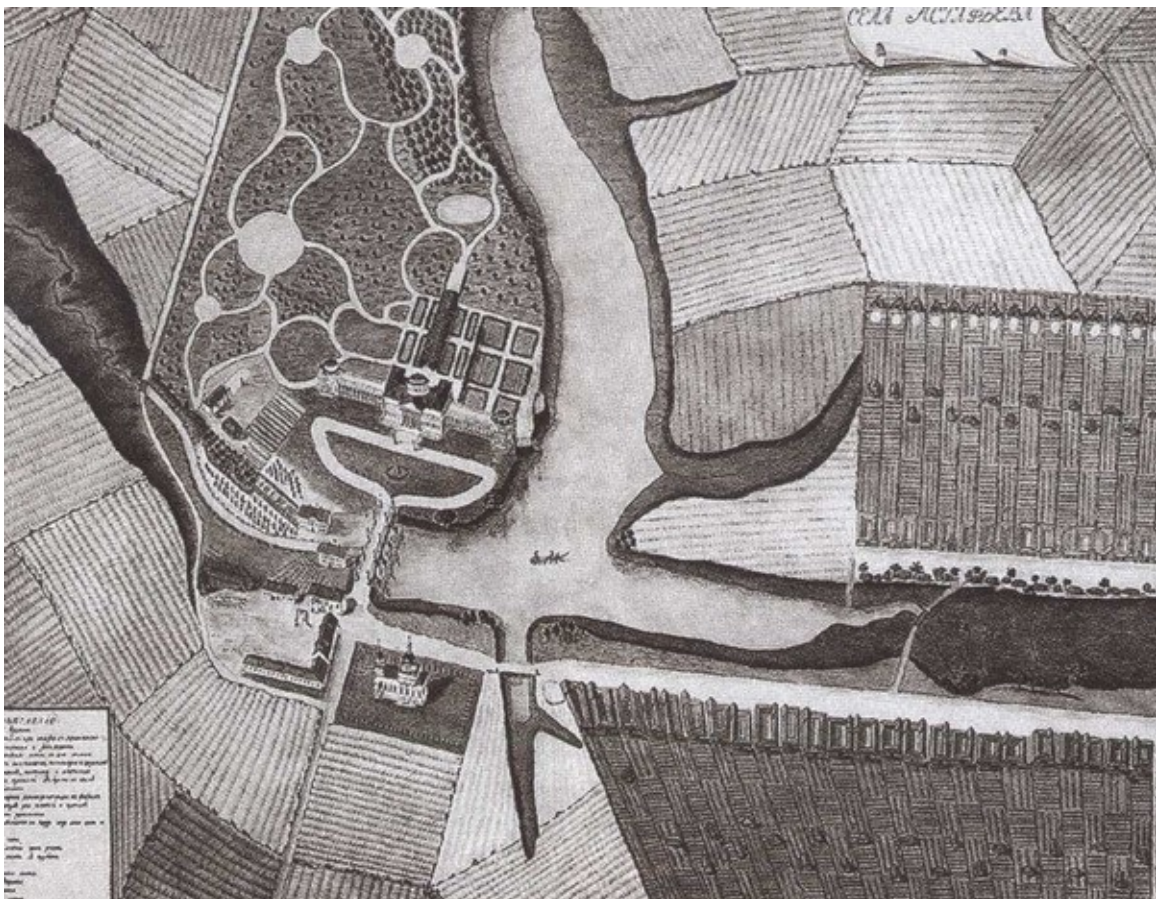
*Княжна В. Ф. Гагарина, в замужестве княгиня Вяземская. С портрета
А. Молинали. 1809 г.*



Князь П. А. Вяземский. С портрета П. Соколова. 1810-е гг.



Остафьево. Карамзинская комната. Здесь была создана «История государства Российского». Фото 1907 г.



План села Остафьева. Чертеж И. Вахромеева. 1805 г.



Москва, Новая Басманная. Дом Мордвинова, где в 1810–1811 годах жили Карамзины и Вяземский. Современное фото В. Бондаренко



*Великая княгиня Екатерина Павловна, сестра императора Александра
I. С портрета Дитриха*



Тверской дворец. Резиденция великой княгини Екатерины Павловны



*Лейб-гвардии гренадерский полк в сражении при Бородине. Художник
М. Греков. 1912–1913 гг.*



Генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин



*Пожар Москвы. Гравюра Жебеле. По картине Ноттофа. 1816 г.
Фрагмент*



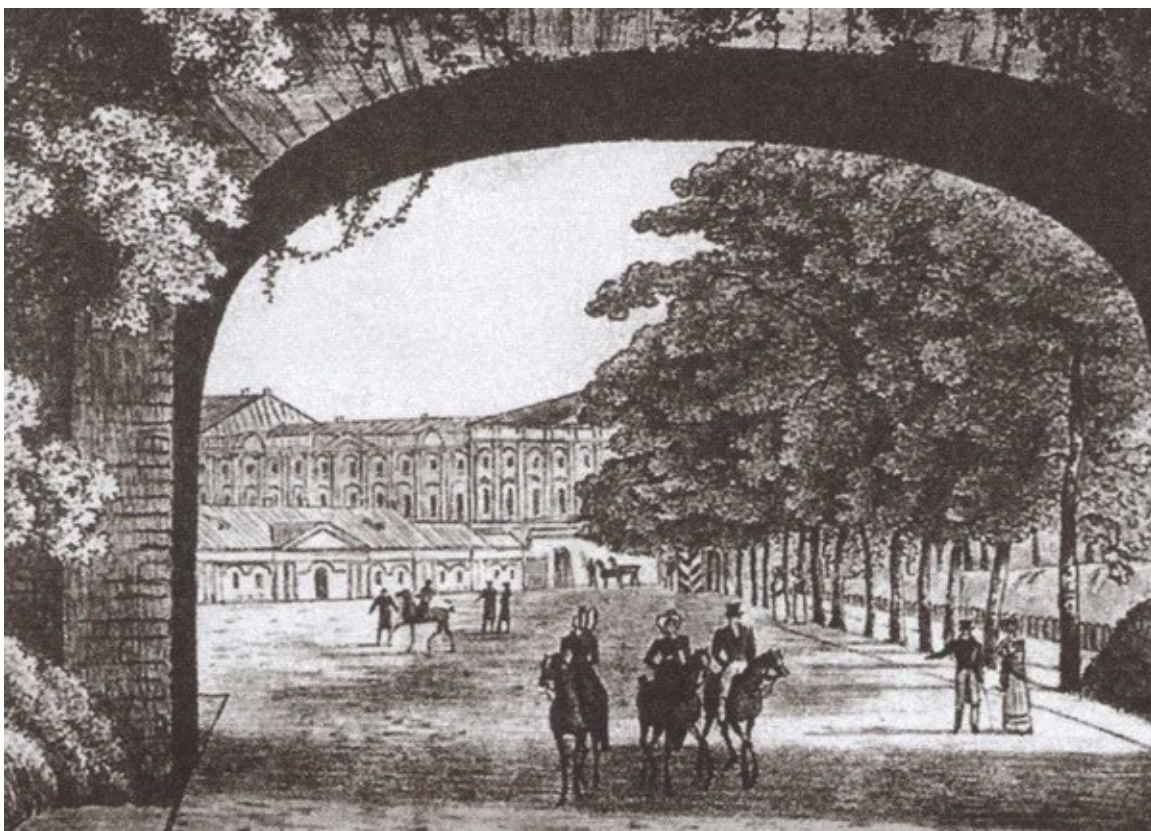
Граф А. А. Аракчеев



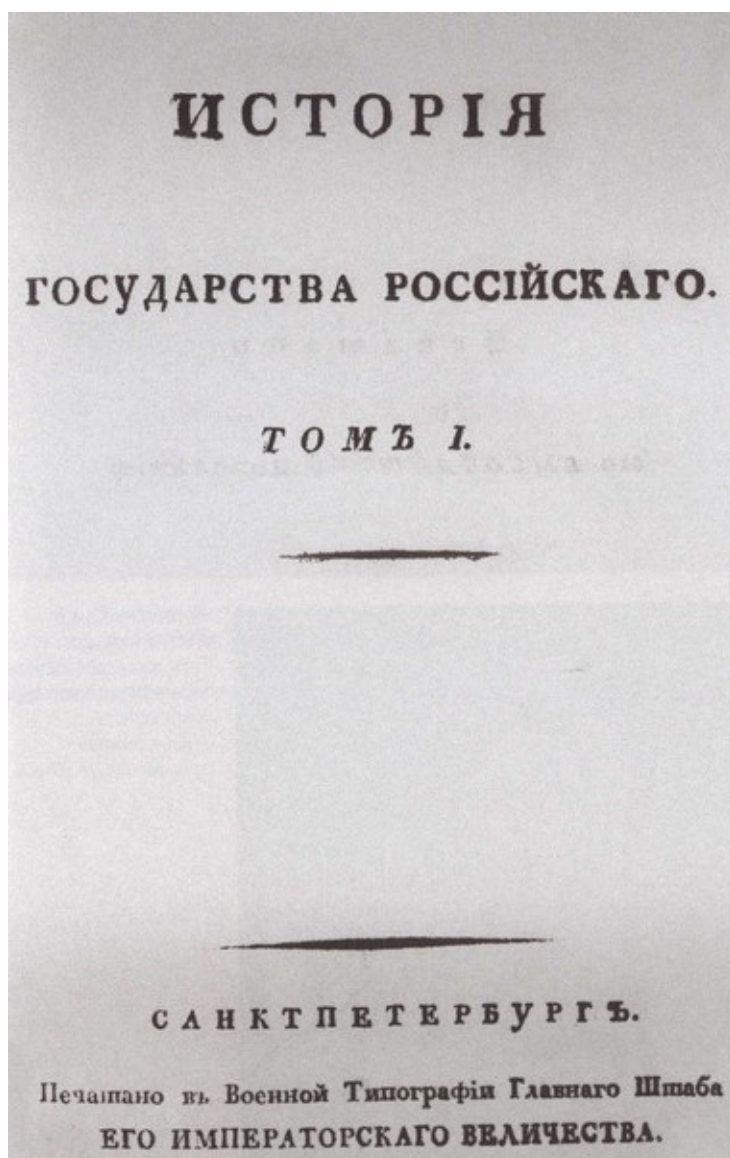
Отступление французской армии из Москвы в 1812 году. Гравюра Д. Ругендоса. Первая четверть XIX в. Фрагмент



А. С. Пушкин. Литография с портрета О. Кипренского



На улицах Царского Села. Литография по рисунку А. Мартынова. Около 1820 г.



*Титульный лист 1-го издания «Истории государства Российского».
1818 г.*



*С.-Петербург, Фонтанка, 26. Дом купца Мижужева. Последняя квартира
Карамзина. Неизвестный художник. 1830-е гг.*



Е. А. Карамзина. Неизвестный художник. 1830-е гг.



Смерть императора Александра I в Таганроге в 1825 году. Гравюра А. Афанасьева I



Отшельник Федор Кузьмич (?— 1864)



Памятник Н. М. Карамзину в Симбирске. Бюст Карамзина (в пьедестале) исполнен Н. А. Рамазановым. Памятник отлит и установлен в 1845 году П. К. Клодтом

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. М. КАРАМЗИНА

1766, 1 (12) декабря — родился в селе Михайловка Бузулукского уезда Симбирской губернии (по другим сведениям — в селе Богородском Симбирского уезда Симбирской губернии).

1775–1781 — воспитывается в Москве, в пансионе профессора И. М. Шадена.

1782 — находится в гвардейском Преображенском полку в Петербурге.

1783 — выходит в свет первое печатное произведение Карамзина — перевод с немецкого идиллии С. Геснера «Деревянная нога».

1784 — выходит в отставку с чином поручика и уезжает в Симбирск.

1785, июль — 1789, май — пребывание в Москве в кругу масонов.

1788–1789 — участвует в периодических изданиях — «Размышлениях о делах Божиих», журнале Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума» (здесь публикует свою первую повесть «Евгений и Юлия», 1789).

1789 — выходит из масонской ложи.

1789, 18 мая — 1790, 15 июля — заграничное путешествие.

1791, январь — 1792, декабрь — издает «Московский журнал». Публикация из номера в номер «Писем русского путешественника» (первые четыре части выходят в свет отдельным изданием в 1797 году; полностью (части 1–6) — в 1801 году; в 1799–1804 годах — переводы на немецкий, польский, английский и другие языки). Выход в свет «Бедной Лизы» (1792, отдельное издание — 1796), «Натальи, боярской дочери» (1792) и др.

1793–1796 — Карамзин с перерывами живет в имении Плещеевых Знаменское (Орловского наместничества). Выпускает в Москве два тома альманаха «Аглая» (1794–1795; переиздан в 1796 году), две части повестей под названием «Мои безделки» (1794–1795; 3-е изд. — 1801), «Мелодор к Филалету» (1795) и др.

1796 — «Ода на случай присяги московских жителей... Павлу I». Надежды Карамзина на смягчение цензуры, ограничение деспотизма власти, покровительство просвещению. Вскоре — разочарование в Павле.

1796–1799 — несмотря на цензурные препятствия, издает три книжки альманаха «Аониды», повесть «Юлия» (1796), прозаический философский диалог «Разговор о щастии» (1797), первую часть «Разных повестей»

(1798), журнал «Пантеон иностранной словесности» (1798) и др.

1801, март — восшествие на престол Александра I. Возобновление активной издательской деятельности Карамзина: оды Александру I («На восшествие на престол...», «На торжественное коронование...»), полное издание «Писем русского путешественника» (1801), «Историческое похвальное слово Екатерине Второй» (1802, написано в 1801-м) и др.

Апрель — женитьба на Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре давнего друга Карамзина Настасьи Ивановны Плещеевой.

1802, январь — 1803, декабрь — издание литературно-политического журнала «Вестник Европы». На страницах журнала опубликованы: «Моя исповедь» (1802), «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» (1802), «Рыцарь нашего времени» (1802–1803), «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1803), «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803) и другие произведения.

1802, апрель — смерть жены Елизаветы Ивановны, тяжело пережитая Карамзиным.

1803–1804 — издание сочинений в восьми томах (переизданы в 1814 и 1820 годах).

1803, 28 сентября — Н. М. Карамзин обращается к товарищу министра народного просвещения, попечителю Московского университета М. Н. Муравьеву с просьбой ходатайствовать об официальном назначении его историографом.

31 октября — высочайший указ о назначении Н. М. Карамзина на должность историографа.

1803–1816 — напряженная работа над первыми восемью томами «Истории государства Российского». В эти годы Карамзин проводит зиму в Москве, летом живет в Остафьеве, подмосковной усадьбе Вяземских.

1804, январь — женитьба на Екатерине Андреевне Колывановой, побочной дочери князя Андрея Ивановича Вяземского.

1805 — закончен первый том «Истории...».

1806 — работа над вторым томом.

1808 — закончен третий том.

Самостоятельно и с помощью сотрудников и помощников (А. Ф. Малиновского, К. Ф. Калайдовича, П. М. Строева и др.) открывает ценнейшие документальные материалы: Лаврентьевскую (Пушкинскую) и Троицкую (сгоревшую в 1812 году) летописи, два списка Ипатьевской летописи — Хлебниковский и Ипатьевский, рукопись Кормчей книги (XIII век), древнейший список Русской Правды, Судебник Ивана Грозного и многие другие. Находка Ипатьевской летописи заставляет Карамзина

совершенно пересмотреть уже почти готовый пятый том, который удалось закончить лишь в 1811 году.

1810 — знакомство в Москве с сестрой императора Александра I великой княгиней Екатериной Павловной. По ее приглашению Карамзин начинает посещать ее резиденцию в Твери.

1811, март — по инициативе великой княгини Екатерины Павловны подает императору трактат «О древней и новой России в ее политических и гражданских отношениях» («Записка о древней и новой России») (обнаружен в 1836 году, опубликован за границей в 1861 году; в России полностью впервые — в 1900 году, отдельным изданием — в 1914 году).

18 марта — читает императору (в присутствии великой княгини Екатерины Павловны) главы «Истории государства Российского».

1812, 12 июня — вторжение наполеоновских войск в Россию; начало Отечественной войны.

Июль — начало августа — Карамзин прерывает работу над «Историей...», отправляет семью из Москвы в Ярославль, отдав жене «лучший и полный экземпляр» «Истории».

26 августа — Бородинское сражение. Карамзин готовится вступить в народное ополчение, чтобы сражаться с неприятелем под стенами Москвы.

1 сентября — покидает Москву за день до вступления в нее французских войск; отправляется в Ярославль, а затем вместе с семьей — в Нижний Новгород.

1813 — Карамзин вместе с семьей пребывает в Нижнем Новгороде. Возобновление работы над «Историей...».

1814 — написан седьмой том.

1815 — восьмой том.

1816 — Карамзин отправляется в Петербург хлопотать об издании первых восьми томов «Истории...». Томительное ожидание аудиенции у императора Александра I; аудиенция у графа А. А. Аракчеева, а затем и у императора.

18 мая — вместе с семьей переезжает из Москвы в Санкт-Петербург.

1818, 28 января — выход в свет первых восьми томов «Истории государства Российского» (на обложке т. 1–3: 1816; т. 4–8: 1817). Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц, и сразу же потребовалось второе издание.

5 декабря — Карамзин избирается в Императорскую Российскую академию наук; «Речь, произнесенная... в торжественном собрании Императорской Российской Академии наук».

1821 — выход в свет девятого тома, посвященного эпохе казней в

царствование Ивана Грозного.

1824 — десятый и одиннадцатый тома «Истории...» (последний, двенадцатый том вышел в свет посмертно в 1829 году).

1825, 19 ноября — смерть императора Александра I.

14 декабря — восстание на Сенатской площади. Карамзин присутствует на площади и во дворце. Резкое неприятие декабризма. Надлом моральных и физических сил, усугубление болезни.

1826, 22 марта — письмо Карамзина императору Николаю I с просьбой о назначении его на должность русского резидента во Флоренцию (для излечения от болезни).

6 апреля — ответ императора: «...хотя место во Флоренции еще не вакантно, но Российскому Историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции..»

13 мая — рескрипт императора Николая I о назначении «Историографу Российской империи, Действительному Статскому Советнику Карамзину, отъезжающему для излечения своего за границу», пенсии по 50 тысяч рублей в год «с тем, чтобы сумма сия... была после него производима сполна жене его, а по смерти ее также сполна их детям — сыновьям до вступления всех их в службу, а дочерям до замужества последней из них».

22 мая (3 июня) — кончина Н. М. Карамзина.

25 мая — Н. М. Карамзин похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. М. КАРАМЗИНА И ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ^[14]

Карамзин Н. М. Сочинения: В 9 т. М., 1820.

Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966.

Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1984.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984.
(Литературные памятники).

Карамзин Н. М. История государства Российского. Издание пятое в трех книгах, заключающих в себе двенадцать томов с полными примечаниями. СПб., 1842–1843.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914.

Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1.

Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982.

Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. М., 1866. Т. 1–2.

Сиповский В. Л. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

Верховская Н. Карамзин в Москве и Подмосковье. М., 1968.

Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969 (XVIII век. Сб. 8).

Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд. М., 1986 (1-е изд. М., 1972).

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.

Осетров Е. И. Три жизни Карамзина. М., 1985.

Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.

Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценке современников. М., 1989.

Примечания

1

Гений (*фр.*).

Друзья мои, друзья мои! — Да, мы ваши друзья! (фр.).

3

Будь здоров! (*лат.*).

Неуместная деликатность (*фр.*).

Что существую (*фр.*).

Die Klippe (*нем.*) — утес, подводный камень.

Смотрят сквозь пальцы (*англ.*).

Живи и пиши (лат.).

«Альманах муз» (*фр.*).

Блистает: от briller — блестеть, блистать (*фр.*).

Воображение, чувство, страдание, сила, эпитет, выразительность, превосходить (*фр.*).

Но увы! Как ни старайся,
Сердце постоянно возвращается к своему,
Потому что такова его природа:
Ему необходимо любить (*фр.*).

«Беседы с Эмилией» — книга о воспитании девочек, сочинение госпожи де ла Лив д'Эпине.

Перечень дополнен по изданию: *Лотман Ю. М.* Карамзин // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 2: Г — К. М., 1992. С. 477. (*Прим. ред.*)